Юрий
Безелянский

ОТЕЧЕСТВО. ДЫМ. ЭМИГРАЦИЯ

Русские поэты и писатели
вне России

Книга первая



Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга 1

Юрий Николаевич Безелянский

Аннотация
Юрий Безелянский. Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая
Золотая и горькая эмиграция
1. Первый ряд литераторов-эмигрантов
Счастливые, беспокойные и окаянные дни Ивана Бунина
Мережковский как пророк грядущего Хама
Неистовая и загадочная Зинаида Гиппиус
Вячеслав Иванов – одна из вершин русской культуры
Бальмонт – поэт от рождения
Куприн: белый поручик, писатель, эмигрант, возвращенец
Иван Шмелев – самый распрерусский писатель
Ремизов: кудесник и чародей русского слова
Печальный Орфей Ходасевич
Алданов: последний джентльмен русской эмиграции

Адамович: лучший критик эмиграции
Марина Цветаева: буря и бездна
Георгий Иванов: «Стихи и звезды остаются»
2. Эмигранты поневоле
Леонид Андреев кричал: «Верните Россию!»
Игорь Северянин – брызги и осколки от шампанского
Эмиграция: нужда и ностальгия
Финал жизни
«Особый случай»: 100 % Nabokoff
Набоков: сочинитель с других берегов
Россия Набокова
Райский уголок Монтрё
Две смерти – Блок, Гумилев
«Философский пароход»
Русские беженцы в Европе и паспорта Нансена
Берлин, Париж – два центра русской эмиграции
Берлин – Berlin
Париж – Paris
Цари и революционеры
Русские литераторы-путешественники
Временные русские парижане
Маяковский, Париж, казино и пропаганда
Русские кафе и клубы

Жизнь и смерть в Париже
Игорь Северянин в Париже. Последний триумф
Конгресс писателей 1935 года
Андре Жид: бывший друг, ставший врагом
3. Второй ряд литераторов-эмигрантов
Минский: декадент, революционер, мистик
Сергей Волконский: фанатичный жрец искусства
Амфитеатров: литератор на все руки
Рубакин: энтузиаст и пропагандист чтения
Чириков: писатель-демократ
Айхенвальд: мастер литературных силуэтов
Сергей Маковский: неутомимый труженик культуры
Арцыбашев: резкий белоэмигрант
Осоргин: революционер, ставший оппозиционером
Борис Зайцев: писатель, любивший «Святую Русь»
Муратов: влюбленный в Италию
Замятин: индивид «Я» против всеобщего «Мы»
Оцуп: «Пусть мучится душа живая…»
Одоевцева: от берегов Невы к берегам Сены
Роман Гуль: летописец русской эмиграции
4. Третий ряд литераторов-эмигрантов
Две дочери из гнезда Толстого: Татьяна и Алек-

сандра
Нина Петровская: максималистка любви, экстремалка чувств
Бурлюк – отец русского футуризма
Вездесущий Анненков – художник и литератор
Мать Мария – истинная христианка XX века
Ладинский: вернувшийся в Советскую Россию
Роман Якобсон – титан филологии
Две судьбы: Раиса Блох и Владимир Луговской
Кленовый лист вдогонку
5. Эмигранты с младых лет
Владимир Смоленский – самый «лермонтовский» из всех эмигрантских поэтов
Случайная находка
Вне России. Бояь и страдание
Краткая канва биографии
Нина Берберова о своем поколении
Быт и бытие
Русская страда
Ходасевич и Смоленский
Болезнь и смерть
Мнения, оценки
Галина Кузнецова: закатный роман Бунина
Берберова: женщина из Серебряного века
Газданов: печальный эстет, работавший ночным таксистом

Юрий Одарченко сказал миру «Нет!»
Борис Поплавский – русский Эдгар По
Кирилл Померанцев: «Давай мы с тобой помечтаем…»
Княгиня Зинаида Алексеевна Шаховская
Небольшое отступление, или еще раз о молодых эмигрантах
Иван Елагин – «бесконечно перемещенное лицо»
6. Юмористы и сатирики
Тэффи – любимая писательница Николая II
Саша Черный: человек, который презирал «всё это»
Аверченко: король смеха
Потемкин: «Над пошлостью житейскою труня…»
Дон-Аминадо: ироничный путешественник по жизни
Горянский: «Отречься, сердцем отвратиться…»
И др
[Вместо эпилога]

Аннотация

Книга носит универсальный, разножанровый характер, можно даже сказать, что это – информационно-художественное издание. Не только рассказ о трудностях, проблемах и ностальгии эмиграции, но и повествование о судьбе эмигрантов, о том, как устроились они на чужбине, как приспосабливались к новым условиям, что писали и как тосковали по утраченной родине.

Вместе с тем книга представляет собой некую смесь справочника имен, антологии замечательных стихов, собрания интересных фрагментов из писем, воспоминаний и мемуаров русских беженцев. Параллельно эхом идут события, происходящие в Советском Союзе, что создает определенную историческую атмосферу двух миров.

Книга предназначена для тех, кто хочет полнее и глубже узнать историю России и русских за рубежом и, конечно, литературы русского зарубежья.

Юрий Безелянский
Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая

Золотая и горькая эмиграция

Итак, книга об эмиграции. Сначала определение из Энциклопедического словаря 1955 года:

«Эмиграция, вынужденное или добровольное перемещение населения из своего отечества в др. страну по политич., экономич., религиозным и пр. причинам. В эпоху капитализма Э. обусловливается гл. обр. наличием армии безработных и полубезработных, различиями в уровне зарплаты в отдельных странах и т. д.».

Коротко и научно. А в период социализма? Или до него, в огненную пучину революции? Об этом ни слова, как будто тогда люди не бежали сами из России из-за боязни смерти и репрессий или, как позднее, их насильно не депортировали из страны. Хочешь или не хочешь? Вон из СССР в объятия чужой бабы Эмиграции… Эх, лукавые советские энциклопедии. Власть не хотела педалировать вопрос об эмиграции. Игнорировала ее. А после революции шла гражданская братоубийственная война, и Маяковский похвалялся:

Серые шлемы с красной звездой
Белой ораве крикнули: стой!

Били Деникина, били Махно, —

Так же любого с дороги смахнем…

И били, и убивали «белую ораву», белую гвардию. И слово «белогвардеец» означало одно понятие: чужой человек, враг…

Хрустнул, проломанный, Крыма хребет.

Красная крепла в громе побед…

Все тот же Владимир Владимирович.

А белые, спасаясь от смерти, садились на корабли и плыли в неизвестную даль, на чужбину. Уезжали, уплывали их жены, дети, близкие… И все они стали эмигрантами в разных чужих странах. Сколько их было? Точно неизвестно. По некоторым подсчетам, более 2 миллионов подданных России покинули родину после революции 1917 года. Так называемая первая волна эмиграции. А за ней вторая, третья…

Откроем Большую книгу афоризмов (2000):

— Эмиграция — это похороны, после которых жизнь продолжается дальше (*Тадеуш Котарбиньский*, польский философ).

— Нельзя унести родину на подошвах своих сапог (*Жорж Дантон* перед арестом, в ответ на предложение бежать из Франции).

— Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя (*Гораций*, римский поэт до н. э.).

— Эмиграция — капля крови нации, взятая на анализ (*Мария Розанова*, жена Андрея Синявского, эмигрантка).

После афоризмов просится, нет, громко стучится хрестоматийная «Тоска по родине» Марины Цветаевой:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма…

…Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…

Всё это так и всё так немного литературно. А

сама жизнь всегда грубее и страшнее. И обыденнее. Достаточно открыть воспоминания Георгия Иванова «Петербургские зимы»: как жили в России, и что толкнуло некоторых решиться на эмиграцию. Вот первые две страницы Георгия Иванова о том времени:

«Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.

К 1920 году Петербург тонул уже блаженно.

Голода боялись, пока он не установился “всерьез и надолго”. Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили — не пускали на лестницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у него ночевал.

— Расстреляют, должно быть?

— Должно быть…

— А Спесивцева была восхитительна…

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петр Петрович, заходите к нам…

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет… шуба… молодого Перфильева и еще студента… А у нас в кооперативе выдавали сегодня селедку… Расстреляют, должно быть…

Два гражданина Северной Коммуны беседуют об обыденном.

Гражданина окликает гражданин:

Что сегодня, гражданин, на обед?

Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке.

Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.

Я сегодня, гражданин, плохо спал —

Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы не променять душу “на керосин” без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель,

вечная любовь, ангел во плоти…

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,
Над Невою полыньи дымятся,
И шальная пуля над Невою
Ищет сердце бедное твое…

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!»

* * *

Многие остались на родине. Приспособились, выжили в новой советской России. Помните комедию с элементами драмы «Мандат» Николая Эрдмана?

Маменька спрашивает сына:

— Как же теперь честному человеку на свете жить?

— Лавировать, маменька, надобно лавировать, — отвечает Павлуша Гулячкин.

И лавировали, да еще как! Примеров тьма: Брюсов, Маяковский, Городецкий, Демьян Бедный и т. д. Лавируя, скрывая свои истинные чувства и мысли. Об этом в книге кое-что будет сказано.

Но в основном она об эмиграции: как покидали Россию, что чувствовали, писали, как жили вдали от Родины.

В эту книгу, которую вы держите в руках и, может быть, даже намерены прочитать, включены далеко не все звучные имена русской эмиграции. Сознательно, из-за объема, не включены многие профессии: ученые, инженеры, физики, химики, политики, композиторы, музыканты, архитекторы, художники, актеры, режиссеры и т. д. Так что не представлены многие славные личности: Шаляпин, Дягилев, Шагал, Стравинский, Рахманинов, Зворыкин, Сикорский, Милюков, Михаил Чехов, Яша Хейфец и т. д.

Только литераторы: поэты, прозаики, драматурги, публицисты, сатирики и прочие, сочинявшие и писавшие. Им особенно было трудно вписаться в чужую жизнь, ибо их ремеслом был русский язык. Русская языковая среда, и поэтому они в эмиграции оказались некоей замкнутой кастой, их читали только свои, беженцы из России.

Существует множество классификаций литераторов. По одной из них выделены крупные персоны, составившие ядро русской зарубежной литературы. Это — Бунин, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов, Ходасевич,

Бальмонт, Цветаева, Тэффи, Ремизов, Шмелев, Куприн, Алданов, Адамович, Георгий Иванов… Можно сказать, классики первого ряда. О них и поведем речь, только вот Тэффи переведена в разряд сатириков и юмористов.

И, конечно, начнем с главного классика, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина.

1. Первый ряд литераторов-эмигрантов

1 первый ряд ЛИТЕРАТОРОВ-ЭМИГРАНТОВ



Счастливые, беспокойные и окаянные дни Ивана Бунина

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой
Тысячелетней рабской нищеты.
О, этот крест и этот ковшик белый…
Смиренные, родимые черты!

И. Бунин, 1905

Иван Алексеевич Бунин (1870, Воронеж — 1953, Париж).

Поэт, прозаик, переводчик. О Бунине написаны горы книг, статей и воспоминаний. Слегка прикоснулся к жизни Бунина и я, грешный. В книге «99 имен Серебряного века» Иван Алексеевич представлен небольшим очерком-эссе, перепечатываю его с некоторыми сокращениями, в частности, отсекая всех бунинских женщин, ведь основная тема не они в «Темных аллеях», а эмиграция… Итак…

Советские критики прозвали Брюсова «великолепным пришельцем с чужих берегов», а Бунин

при жизни так и остался на чужом берегу. Он клокотал ненавистью к «Совдепии», отвергал новую действительность как «окаянные дни», как «великий дурман» (как он выразился в докладе, прочитанном им в деникинской Одессе), поэтому в стране Советов Бунину приклеили ярлык злого антисоветчика, «певца дворянских могил», и утверждали, что «в произведениях эмигрантского периода сказался явный упадок художественного таланта писателя» (Энциклопедический словарь, 1953). После смерти Ивана Алексеевича его приняли в семью советской и русской литературы. И даже со временем стали печатать то, что не печатали прежде по идеологическим соображениям, например одно из стихотворений, написанных Буниным в июле 1922 года.

… А если б даже Божья сила
И помогла, осуществила
Надежды наших темных душ,
То что с того?
Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то.
Потерь не счесть, не позабыть,
Пощечин от солдат Пилата

Ничем не смыть – и не простить,
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.

В 1912 году вышла повесть «Суходол» о процессе распада родовых устоев в России, до этого — «Деревня» — о русской душе со всеми ее светлыми и темными сторонами. В повести «Деревня» уездный вольнодумец и чудак старик Балабашкин в споре кричал:

«Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили… Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели… А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?..»

В «Суходоле» крестьянка убеждена в том, что «у господ было в характере то же, что и у холопов: или властвовать, или бояться».

В 1902–1909 годах вышло первое собрание сочинений в 5 томах. Бунин — признанный и

почитаемый талант.

Стиль Бунина отличается от многих: он аристократичен, сдержан, строг. Никакой фальши, никаких декадентских вывертов. «На фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое, — отмечал в «Силуэтах русских писателей» Юлий Айхенвальд, — она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты… Его строки — испытанного старинного чекана; его почерк — самый четкий в современной литературе; его рисунок — сжатый и сосредоточенный. Бунин черпает из невозмущенного Кастальского ключа».

Из множества прекрасных бунинских стихов приведем одно:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне…
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Как утверждают буниноведы, писатель жаждал солнца, счастья, красоты, но полной мерой принял пустынный хлад одиночества, не зная своей посмертной славы на родной земле, под родными звездами.

В жизни Бунина сыграли определенную роль два писателя — Максим Горький и Лев Толстой. На первых порах Горький помогал Бунину, считая его «первым писателем на Руси». В ответ Бунин посвятил Горькому поэму «Листопад», хотя, потом признался, что посвятил по его, Горького, «бесстыдной просьбе». Они разошлись, потому что были слишком разные люди: Горький — человек высокого общественного темперамента и при этом умеющий приспособляться к обстоятельствам и идти на компромиссы. Бунин — не общественный человек и к тому же бескомпромиссный и гордый.

Льва Толстого Бунин почитал божеством. И бесконечно сравнивал себя с ним. И всегда помнил слова Толстого, сказанные ему: «Не ждите многого от жизни… счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими…». На столе умирающего Бунина лежал томик Толстого. Он перечитывал «Войну и мир» пятьдесят раз…

Возвращаясь к биографии Бунина, отметим, что он встретил Февраль и особенно Октябрь с резкой враждебностью. Из революционного Петрограда, избегая «жуткой близости врага», Бунин уехал в Москву, а оттуда 21 мая 1918 года в Одессу, где был написан дневник «Окаянные дни» — одно из самых яростных обличений революции и власти большевиков.

Приведем лишь один отрывок из него, день 25 апреля 1919 года (в сокращении):

«…И какой ужас берет, когда подумаешь, сколько народу теперь ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает “шевелюр”. Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная

старозаветная сабля.

Часовые стоят у реквизированных домов в комнатах, в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валявшуюся у меня лубочную книжечку: “Библиотека трудового народа. Песня народного гнева. Одесса. 1917 г.” Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим,
Месть беспощадная всем супостатам,
Смерть паразитам трудящихся масс!

Есть “Рабочая Марсельеза”, “Варшавянка”, “Интернационал”, “Народовольческий гимн”, “Красное знамя”.. И все злобно, кроваво донельзя, убого до невероятия:

– Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем…
Вихри враждебные веют над нами…
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело…

– Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем…

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями…»

Бунин пытался вразумить жителей России:

Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри…

Народ не внял и слепо пошел за поводырями.

Большевики, по мнению Бунина, — «висельники, разорившие богатейшую в мире страну и уморившие голодом буквально десятки миллионов русских». А Ленин — «нравственный идиот от рождения».

В Советском Союзе не остались в долгу и навешали на Бунина свои ярлыки: «космополит и изменник, прославлял интервенцию», а его художественные писания проникнуты «пессимизмом», «мелочны по тематике».

26 января 1920 года на пароходе «Спарта» Бунин отплыл в Константинополь и в конце марта прибыл в Париж. Началась эмиграция.

Пути Бунина и СССР кардинально разошлись, и лишь после его смерти на Втором съезде советских писателей под овации зала Бунина приняли

в советскую литературу.

Случай с Буниным особый. Эмиграция для него стала предельной высотой его писательской карьеры. Здесь, на Западе, он впервые почувствовал себя классиком и защитником традиций классической литературы. И это несмотря и вопреки тяжелым условиям жизни в чужой стране. В старинном прованском городке Грассе, на родине художника Фрагонара, прожил Бунин более 21 года: 16 лет на вилле «Бельведер» и 5 лет — на вилле «Жаннет». В Грассе Бунин много работал. Там он написал «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», серию рассказов и книгу прозы «Темные аллеи».

Свое шестидесятилетие Бунин отметил публикацией самого крупного своего произведения — романа «Жизнь Арсеньева», метко названного кем-то «вымышленной биографией». Там все достоверно и вместе с тем волшебно преображено. Георгий Адамович сказал, что «Жизнь Арсеньева» напоминает ему «монолог человека перед лицом судьбы и Бога». И конечно, в «Жизни Арсеньева» фигурирует Россия, «погибшая на наших глазах в такой волшебно короткий срок».

Очарованный «Жизнью Арсеньева» Константин Паустовский писал: «Это не биография. Это — слиток из всех земных очарований, горестей,

размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной-единственной человеческой жизни».

В ноябре 1933 года Бунину была присуждена Нобелевская премия «за правильный артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе русский характер». А хранитель библиотеки Шведской академии Оке Эрландссон сказал: «Премия Бунина была извинением перед русской литературой за Льва Толстого».

В 1934–1936 годах в Берлине издавалось новое собрание сочинений Бунина. В 1937 году писатель завершил философско-художественную книгу «Освобождение Толстого». А потом — война, старость. 30 марта 1943 года Иван Алексеевич писал в одном из писем:

«Живу, конечно, очень, очень плохо — одиночество, голод, холод и страшная бедность — все, что осталось от премии, блокировано, и все мои сношения с издателями теперь уже совершенно прерваны… Дни протекают в великом однообразии, в слабости и безделии… Много читаю — все, что под руку попадется… Больше же всего думаю — очень, очень грустно…»

В конце жизни, после войны, у Бунина был выбор — вернуться на родину (его звали и сулили

золотые горы) или уехать в Америку, где было бы сытно и вольготно. Бунин, однако, остался во Франции, в неуюте и в безденежье. Одному из корреспондентов на вопрос «почему?» писатель ответил: «Литературной проституцией никогда не занимался».

В последние месяцы Бунина одолевали мысли «о прошлом, о прошлом думаешь… об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих… недальновидности…».

В декабре 1999 года Лидским университетом в Англии издан каталог архивов Буниных и их друзей. Фонд самого Ивана Алексеевича состоит из 10 763 единиц хранения. А это — сотни стихотворений, более 120 рассказов, статьи, воспоминания, дневники и письма. Так что еще изучать и изучать.

…Раскрыв глаза, гляжу на белый свет
И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.
Всё – ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья

нет.

Это, правда, изданный Бунин. Стихотворение помечено днем 9 августа 1912 года. Бунину 42 года.

* * *

Современники по-разному воспринимали Бунина.

«Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда хорошо и строго одетый… много читавший и думающий, очень наблюдательный… Это был человек, что называется — непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу он задерживался у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Кипра, с острова Цейлон… Работать он мог очень много и долго… не ест, не пьет, только работает…» *(Н. Телешов. Записки писателя).*

По вечерам и в особенности ночью он никогда не писал.

«Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать у некоторых других крупных художников: соединение совершенно паршивого

человека с непоколебимо честным взыскательным к себе художником… Он был очарователен с высшими, по-товарищески мил с равными, надменен и резок с низшими, начинающими писателями… Был капризен и привередлив, как истерическая красавица» *(В. Вересаев. Литературные воспоминания).*

«Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил в литературу. Он не то что раздражался и сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова. Сам возражал на это большей нелепицей… Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт: — Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!» *(Н. Берберова. Курсив мой).*

«Желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами вокруг глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающих темных волос, с темно-русой испанской бородкой… и брюзжит, и косится на нас, декадентов…» *(Андрей Белый. Начало века).*

Очень интересны воспоминания Андрея Седых «Далекие, близкие» о Бунине, у которого он работал литературным секретарем.

«В Германии по дороге в Стокгольм в руках Бунина газета с его портретом.

Бунин хватается за голову.

— Милый, посмотрите на фотографию: опять это громадное, испуганное, бледное лицо.

— Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Когда в Стокгольме прохожие оглядывались на Бунина, он возмущался:

— Что такое? Совершенный успех тенора!»

10 декабря 1933 года Бунин вошел в концертный зал в годовщину смерти Альфреда Нобеля, «какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный… Шведская академия присудила Нобелевскую премию не Горькому, а Бунину. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы».

Нобелевскую премию русская эмиграция восприняла как свой триумф. На церемонии Бунин сказал, что впервые премия присуждена изгнаннику, за которым не стоит его страна. Ну а в советской стране устами своих дипломатов резко протестовали против вручения премии «белогвардейцу».

Премия — 150 тысяч франков. Часть денег Бунин раздал через специально созданный комитет

нуждающимся колле-гам-писателям. Нобелевские деньги быстро испарились, а тут еще вскоре разразилась Вторая мировая война, и в Грассе нобелевскому лауреату пришлось нелегко — почти голодать. «Мерзлую картошку едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом…» — записывал Бунин.

В годы оккупации в Грассе Бунин спас от гестапо трех скрывающихся евреев, которых прятал на вилле «Жаннет»: литературного критика Александра Барраха, пианиста Александра Либермана и его жену Стефанию. Маленький подвиг Бунина…

После войны к Бунину зачастили визитеры из СССР (в том числе приезжал и Константин Симонов), уговаривающие Бунина вернуться на родину. Привозили дефицитные продукты (гастрономическая операция советских спецслужб), обещали царские условия в Союзе. Хотели купить Бунина, но он не поддался ни на какие посулы и уговоры. К тому же был раздражен тем, что в Москве его начали печатать без согласования с ним и без всякого гонорара.

А первым переговорщиком Бунина был Алексей Толстой. Андрей Седых вспоминал, как в 1936

году в кафе на Монпарнасе «Бунин просидел с Толстым весь вечер. “Алешка” расточал комплименты и звал вернуться в Москву:

— По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели… Да тебя примут с триумфом…

Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

— Мерси. Мерси!»

Прошли две или три недели. В «Литературной газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он примерно так: «Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Прочел я его последние книги. Боже, что стало с этим когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура» и т. д.

Дальше следовали еще строк двадцать в таком же духе.

Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным. Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя, Но, как говорят французы, la vengeance est un plat qui se mange froid («Месть — это блюдо, которое надо

есть холодным»).

В ненавистную «Совдепию» Бунин не захотел возвращаться. Он привык к Парижу и к Грассу. И не был одинок, в его ближайшее литературное окружение входили Тэффи, Борис Зайцев, Алданов, Степун, Лев Шестов, а также его «студийцы»: Галина Кузнецова (последняя любовь Бунина) и Зуров. К ним у Бунина была приязнь, а неприязнь, антипатию испытывал он к Мережковскому, Зинаиде Гиппиус, Шмелеву, Марине Цветаевой, а имена Максима Горького, Леонида Андреева, Блока, Брюсова порождали у него, по свидетельству современника, поток брани.

В конце жизни Бунин выпустил книгу «Воспоминания» (1950), в которой на прощанье решил откровенно сказать, что думает о некоторых своих коллегах по перу.

«У Буниных, на рю Жак Оффенбах, обычно собирались писатели, журналисты и поэты, — выпить чашку чаю, послушать новое произведение собрата и просто посудачить.

На одном из четвергов Бунин прочел нам главу из своих «Воспоминаний». Был он превосходным чтецом, но на этот раз быстро устал, — он был уже совсем болен, вышел к гостям в халате и весь вечер сидел в кресле, прикрытый пледом. Когда

он кончил читать, в комнате наступило неловкое молчание… Н.А. Тэффи принялась что-то торопливо искать в своей сумочке. Г.В. Адамович сидел с красным от волнения лицом, — многих из тех, о ком говорил Бунин, он знал лично и расценивал их совсем иначе. Иван Алексеевич поглядел вокруг, понял и обиделся.

Чтобы выйти из неловкого положения, я шутливо сказал:

— Ну и добрый же вы человек, Иван Алексеевич! Всех обласкали» *(Андрей Седых. Далекие, близкие).*

В 40-50-е годы Бунин в длинных письмах к Седых жаловался на недоедание, болезни, на страшную дороговизну и полное отсутствие денег. С 1947 года и до конца жизни Бунина приходилось в частном порядке собирать для него деньги среди богатых людей. Взамен они получали книгу с автографом писателя, вспоминал Седых.

В одном из писем к своему молодому «спасителю»: «Я сед, худ, сух, но еще ядовит…»

«…Непоколебимо одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы адовы»

(21 июня 1949 года).

«…мне пошел 79-й год, и я так нищ, что совершенно не знаю, как и чем буду существовать…».

О своем юбилее Бунин сообщал в письме так: «…мое 80-летие вышло просто замечательно! “Визгу было много, а щетины — на грош!” — как говорили на ярмарке про свиней самой низкой породы…»

В переписке с Андреем Седых (Бунин звал его «милый Яшенька») много жалостливых строк Ивана Алексеевича о своей «позорной старости» и о том, что «начинаю подумывать об Америке! Серьезно! Можно ли жить где-нибудь недалеко от Нью-Йорка» (апрель 1949 года).

Последняя встреча Седых с Буниным в декабре 1951 года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели… «Полумрак, и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела…

Все же я быстро убедился, что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые… Зол он был на весь свет — сердился на старость, на болезнь,

на безденежье, — ему казалось, что все его хотят оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим.

— Вот, я скоро умру, — сказал он, понизив голос почти до шепота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново "Жизнь Арсеньева".

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу "Жизнь Бунина" *(Андрей Седых. Далекие, близкие).*

8 ноября 1953 года Иван Бунин скончался в возрасте 83 лет. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Бунин хотел, чтобы его сожгли, но сделал уступку жене, и его похоронили в земле. Вера Николаевна вложила в руку покойного маленький деревянный крестик. После смерти нобелевского лауреата в доме осталось всего 8 тысяч франков. Почти мелочь…

«День был чудесный, — писала Муромцева о дне похорон, — и когда мы ехали уже мимо лесов, то вспоминалось: "Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…" И меня как-то успокоило, что это осенью, в такой солнечный день, какой он особенно любил…»

А закончим наш короткий рассказ словами героя рассказа «Темные аллеи», обращенными к его бывшей возлюбленной:

«Всё проходит, мой друг, — пробормотал он. — Любовь, молодость — всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова: «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

А мы будем помнить об Иване Алексеевиче Бунине.

Мережковский как пророк грядущего Хама

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865, Петербург -**1941,** Париж). Прозаик, поэт, драматург, философ, литературный критик. Муж Зинаиды Гиппиус. Сложная фигура по жизни и творчеству, поэтому рассказ о нем лучше начать с внешнего вида.

«Маленький, щупленький, как былиночка (сквознячок пробежит — унесет его), поражал он особой матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, оттененных огромнейшим носом и скулами… строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики рисовали в нем постника, чувственно вспухшие губы… ручки белейшие, как у девочки… оранжерейный, утонченный, маленький попик…» — так карикатурно представлял Мережковского Андрей Белый в начале XX века.

А вот без карикатурных черт: «Приходилось слышать Мережковского в Москве на выступлениях. В Историческом музее маленькая его фигурка перед огромной аудиторией наполняла

огромным своим голосом все вокруг. Говорил он превосходно, ярко и полупророчественно… Слабость Мережковского — его высокомерие и брезгливость (то же и у Гиппиус). Они не кричали — вперед на бой, в борьбу со тьмой, — было много сложнее и труднее, но и обращенности к “малым сим”, какого-либо привета, душевной теплоты и света в них очень уж было мало…» *(Борис Зайцев. Мои современники).*

В своей книге о муже Зинаида Гиппиус отмечала, что «только наша бедность (да, бедность, это был русский и европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший — в крайней бедности) не позволила ему поехать в Египет, когда этого требовала работа, и на остров Крит… Он работал только дома. В своем скромном кабинете, в Париже. Ему, конечно, помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере — было полное отсутствие лени. Он, кажется, даже не понимал, что это такое…»

В мемуарах «Человек и время» Мариэтта Шагинян вспоминает о Мережковском, что это был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком, очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но

постоянно в быту как-то капризно-недовольный. Преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими.

Внесем поправку в характеристику, данную Шагинян: Мережковский был не в быте, а над бытом, который его вовсе не интересовал, он парил в эмпиреях.

Я людям чужд, я мало верю
И добродетели земной;
Иною мерой жизнь я мерю,
Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую
Недосягаемую твердь,
Всегда единую, простую
И непонятную, как смерть.

О небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

Это стихотворение «Голубое небо» написано Мережковским в 1894 году.

Поначалу Мережковский — поэт, и даже популярный. Поэт-ницшеанец с русской добавкой:

Мне страшен долг, любовь моя тревожна.

Чтоб вольно жить – увы! я слишком слаб…

О, неужель свобода невозможна

И человек до самой смерти – раб?

Приведем строки и из знаменитого стихотворения «Парки» (1892):

Мы же лгать обречены:

Роковым узлом от века

В слабом сердце человека

Правда с ложью сплетены,

Лишь уста открою – лгу,

А распутать не умею,

Покориться не могу…

Стихи у Мережковского всегда были холодными и рассудочными, неэмоциональными, без всплеска чувств. Он и сам это понимал и в середине 90-х перестал писать стихи, перешел на прозу, историю и религиозные искания «новой веры, новой жизни». Как отмечал Юрий Терапиано, «Мережковский по своей натуре был эсхатологом».

Идея прогресса, рая на земле без Бога, а также всяческое устроение на земле во всех областях вплоть до «совершенного искусства», «полного научного познания», а также личного спасения души в загробном мире» — для Мережковского — «мировая пошлость и плоскость, измена Духу».

А вот что писала Зинаида Гиппиус в биографической книге «Дмитрий Мережковский»: «Живой интерес ко всем религиям, к пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и нехристианским равно. Полное равнодушие ко всей обрядности…»

Георгий Адамович отмечал, что Мережковский «думал о Евангелии всю жизнь и шел к “Иисусу Неизвестному”» («Иисус Неизвестный» — один из центральных философских трудов Мережковского, изданный в Белграде в 1932–1934 годах в трех томах). Мережковский считал, что исторически христианство себя исчерпало и человечество стоит на пороге царств «Третьего Завета», где произойдет соединение плоти и духа…

В своей супруге Зинаиде Гиппиус Мережковский нашел ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз (и что интересно: без плотского фун-

дамента). «Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не отдаться влиянию друг на друга… Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой», — вспоминала Ирина Одоевцева.

На литературных приемах у Мережковских, по свидетельству Андрея Белого, «воистину творили культуру, и слова, произносимые на этой квартире, развозились ловкими аферистами слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова».

Лев Шестов называл Мережковского «страстным охотником за идеями». Все эти найденные или «подстреленные» Мережковским идеи расхватывались другими. Ну что ж, щедрый охотник…

В годы революционного брожения квартира Мережковских была «своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы» (Георгий Чулков).

В 1905 году в журнале «Полярная звезда» появилась знаменитая статья Дмитрия Мережковского «Грядущий Хам».

«Грядущим Хамом» окрестил Мережковский

грядущего человека социализма. Социализму он приписал религию «сытого брюха» и полного аморализма. Будущее виделось ему как «лицо хамства, идущего снизу, — хулиганства, босятничества, черной сотни». Отвечая на написанный Николаем Минским «Гимн рабочих», Мережковский предвещал, что «C£из развалин, из пожарищ" ничего не возникнет, кроме Грядущего Хама».

И вот Хам пришел. Революция принесла с собой голод, холод и смерть, и Мережковские — он и Зинаида Гиппиус — решили эмигрировать. Для чего написали в Комиссариат просвещения письмо с просьбой выехать на фронт для чтения лекций по Древнему Египту и на другие жизненно необходимые (!) темы. Им разрешили, и они вчетвером, со старым знакомцем Дмитрием Философовым и студентом Петербургского университета Владимиром Злобиным, отправились в декабре 1919 года в Минск, а затем нелегально пересекли границу с Польшей. Пожили немного в Польше, а оттуда в Париж, где у Мережковских была с дореволюционных пор своя собственная квартира в квартале Пасси.

16 декабря 1920 года в Париже Мережковский прочитал свою первую лекцию «Большевизм. Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную

ложь большевиков «мир, хлеб и свобода», обернувшуюся войной, голодом и рабством.

Узнав о визите в Россию Герберта Уэллса, Мережковский обратился с открытым письмом к английскому писателю. В нем он, в частности, писал: «Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а наши “марсиане”. Сейчас не только в России, но и во всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в “Борьбе миров”. На Россию спустились марсиане открыто, а тайно, подпольно кишат уже везде. Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих. А то, что они существа иного мира: их тела — не наши, их души — не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною сущностью…»

В ненависти к большевикам Мережковский в радиоречи поддержал в 1941 году даже Гитлера, подчеркнув, что необходим крестовый поход против большевизма как против абсолютного зла. Мережковский выступал за интервенцию, которая помогла бы спасти мир и возродить Россию. «Я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признавался Мережковский, — мне даже стыдно сейчас вспоминать, в какие только двери я не

стучался…» Однако Запад не услышал Мережковского. Его услышали в Москве, и пришли к нему, в парижскую квартиру в доме 11-бис на авеню дю Колонель Бонне, несколько вооруженных людей, но опоздали: Мережковский успел умереть естественной смертью.

А теперь вернемся назад. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На воскресеньях у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Гиппиус о петербургском периоде их жизни.

По воскресеньям у Мережковских собирались на дневные чаи. «Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:

— Дмитрий, выходи! Пришли.

…Дмитрий Сергеевич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он всё “на посту”, как прожил жизнь с книгами

своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь они оба много мягче и тише, чем во времена Петербурга…» — вспоминал Борис Зайцев.

В эмиграции следует отметить три момента: поездку в Италию и встречу там с Бенито Муссолини; выступление Мережковского по радио в 1941 году, где он выражал надежду, что Гитлер уничтожит большевистский режим Сталина (за эту речь многие резко осудили Мережковского, и сам он впоследствии от своих слов открестился). И обиду на Бунина, что тому присудили Нобелевскую премию, а не ему, Мережковскому.

Говорить о Мережковском как о прозаике трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в IV веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» Мережковский представил многих гигантов, таких как Плиний Младший, Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».

Петр I, по Мережковскому, — соединение «марсова железа и евангельских лилий». Таков вообще русский народ: и в добре, и во зле «меры держать не умеет», но «всегда по краям и пропастям блудит».

Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше». В 1933 году Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.

Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь (76 лет) и казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не было прорыва, влечения, даже доверия, — в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский — писатель одинокий».

«О, как страшно ничего не любить, — это уже восклицал Василий Розанов, — ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастию, — вечно писать, т. е. вечно записывать свою пустоту и уве-

ковечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только себе. От этого Мережковский вечно грустил».

Приведем воспоминания Надежды Тэффи: «…Перечитала недавно моих Мережковского и Гиппиус. Верьте слову, и половины не рассказала того, что следовало бы. Не хотелось перемывать грязное белье… Они были гораздо злее, и не смешные злые, а дьявольски. Зина была интереснее. Он — нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем — никогда».

О смерти Мережковского 9 сентября 1941 года Борис Зайцев рассказал так:

«Раз утром вышел он в кабинет, сел в кресло перед топившимся камином — думал ли он о св. Иоанне или о чем-то житейском? Бог весть. Но когда прислуга пошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уж очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие…»

Отпевали раба Божия Дмитрия в храме на рю Дарю. Было в церкви человек пятнадцать. И Зайцев прибавляет: «Хоронили знаменитого русского писателя, известного всей Европе».

У Мережковского в стихотворении «Morituri» есть строчки:

Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы…

Концовка такая:

Мы гибнем жертвой искупленья,
Придут иные поколенья.
Но в оный день, пред их судом,
Да не падут на нас проклятья:
Вы только вспомните о том,
Как много мы страдали, братья!
Грядущей веры новый свет,
Тебе от гибнущих привет!

Неистовая и загадочная Зинаида Гиппиус

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869, Белёв Тульской губернии — 1945, Париж). Поэт, литературный критик, прозаик, публицист, драматург, мемуарист. Столько граней одной пишущей профессии, опровергающих определение женщин, данное Оскаром Уайльдом, — «декоративный пол», Какой декоративный пол, когда у нее в руках сверкало огнедышащее перо.

Как ее только не называли: «Декадентская Мадонна», «Дама с лорнетом», «Чертова кукла» и т. д. Писали об ее загадке, Зазеркалье, об ускользающем образе, короче, авторы никак не могли определить, кто такая Зинаида Гиппиус. Владимир Соловьев написал в пародии:

Я – молодая сатиресса,
Я – бес…
Я вся живу для интереса
Телес.
Таю под юбкою копыта
И хвост…

Посмотрит кто из них сердито —
Прохвост!..

Сама же Зинаида Николаевна себя как-то назвала «белой дьяволицей».

Разумеется, не дьяволица, но очень талантливая и своеобразная женщина с мужским складом характера, не случайно у нее был псевдоним Антон Крайний. Она жила литературой, религиозными исканиями, Россией и Мережковским, с которым прожила 52 года, ни разу не расставаясь дольше, чем на несколько часов. «Мы никогда не расставались ни на одну ночь», — горделиво говорила она о своем союзе, скорее не обычном семейном, а исключительно литературном.

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете, —

знаменитая эпатирующая строчка эпатажной Зинаиды Николаевны.

Где родилась, как воспитывалась, как училась, как выглядела — всё опускаем. Об этом писано-переписано. О дооктябрьском периоде лишь скажем, что супруги З.Н. и Д.С. занимались утопией обновления жизни, сокращения разрыва между «мыслью» и «жизнью». И даже учредили совместный тройственный союз, куда привлекли

литератора Дмитрия Философова, и весь Петербург гадал: как это они живут втроем?..

В ноябре 1917 года вся эта бурлящая литературная жизнь со спорами и поисками Истины, Добра и новой Гармонии разом рухнула, канула, исчезла. Вместо всего прежнего — мучительное выживание, страх попасть в подвалы ЧК, голод и холод. Октябрьскую революцию Гиппиус определила, как «блудодейство», «неуважение к святыням», «разбой». И гневно писала в адрес большевиков:

Рабы, лгуны, тати ли —
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас, предатели,
Я ненавижу больше всех.

Стихи Зинаиды Гиппиус того периода содрогались от боли и презрения к новой власти:

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.

Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Прежде надменная, насмешливо-остроумная, Гиппиус превратилась в женщину бешеного общественного темперамента, человека-экстрима. Она кричала, билась не за себя, а за Россию, за ее блестящую культуру, за вековые ценности, гневно возмущалась пассивностью и отстраненностью коллег. Вот один из таких «криков», напечатанных в третьем номере декабрьского журнала «Вечерний звон» в 1917 году:

«Наши русские современные писатели и художники, вообще всякие “искусники”, все — варвары. Варвары, как правило, а исключения лишь подтверждают правила. И чем они великолепнее кутаются в “европеизм” — тем самым подозрительнее. О, нахватавшись словечек и щеголяют, как баба Дулеба, напялившая платье от Дусе.

То, что сейчас делают с Россией, всё, что в ней делается, и кто что делает — это, видите ли, их не касается. Это всё “политика”. Преходящие пустяки. А вот “искусство, вечность, красота”, “высокие культурные ценности” — вот их стихии. И там они “всегда свободны духом”, независимо от того, кто сидит над ними — Каледин, Ленин или

фон Люциус (германский дипломат, сторонник заключения сепаратного мира между Россией и Германией. — *Прим. Ю.Б.)*».

«О, поэты, писатели, художники, искусники, культурники! — негодовала дальше Зинаида Гиппиус. — Не обманывайте нас своей “божественностью”! Из дикарей, из руссо-монго-лов в боги не прыгнешь, надо перейти через человечность, именно в культурном смысле слова. Или уж не будем лезть и льнуть к Европе, а восхвалим стихийную, земляную силу Таланта, она вне культуры, пожалуй, ярче вспыхивает, то там — то здесь, и — гаснет… “без последствий”…»

И в заключение своего «литературного фельетона» (а в хлесткости Зинаиде Николаевне не откажешь!) Гиппиус приводит примеры решительных действий Ламартина и Жорж Санд, «потому что это были люди…».

«А вы… кто вы, русские болтуны, в тогах на немытом теле? И на что вы России? Сейчас ей куда нужнее какой-то крестьянин, Сопляков, правый ср.-р., член Учр. Собрания, — нужнее, извините меня, пожалуйста!»

Но еще более, чем «болтунов», Зинаида Гиппиус ненавидела «перебежчиков», которые переметнулись в лагерь новой власти, и этого она им

простить не могла.

В дневнике Зинаиды Гиппиус есть запись от 11 января 1918 года: «Для памяти хочу записать “за упокой” интеллигентов-перебежчиков… которых мы более или менее знали и которые уже оказались в связях с сегодняшними преступниками… важны сегодня первенькие, прошедшие, побежавшие сразу за колесницей победителей». Далее следует список имен, которых, по мнению Гиппиус, надо уничтожить физически. Первым идет писатель Иероним Ясинский (кто его знает сегодня?), вторым — Александр Блок, «потерянное дитя, внеобщественник…». И Гиппиус добавляет, что ей больше всех жалко Блока, он какой-то невинный. «И ему “там” отпустится…»

Есть в списке Демьян Бедный, «два поэта из народа» — Николай Клюев и Сергей Есенин, «оба не без дарования», «Корней Чуковский, литературный критик, довольно даровитый, но не серьезный, вечно не взрослый»… Последний в списке, кто за новую власть: Всеволод Мейерхольд. О нем З.Н. высказалась весьма категорично: «Этот, кажется, особенно дрянь». За то, что стал активно создавать боевой агитационный театр и провозгласил программу «Театрального Октября»?.. Среди ненавистных фамилий Андрей

Белый, Александр Бенуа и другие.

На следующий день, 12 января, Гиппиус поместила в дневнике строки, обращенные к власти:

Мне пулю – на миг…
А тебе нагайка.
Тебе хлысты мои —
на века!..

А что власть? Один из вождей революции Лев Троцкий в статье «Внеоктябрьская литература» разнес в пух и прах сборник Гиппиус «Последние стихи. 1914-18 г.», а саму поэтессу назвал «питерской барыней», у которой «под декадентски-мистически-эротически-христианской оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма». И сделал вывод, что у «почти классиков» — Бунина, Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Зайцева, Замятина и прочих нет будущего, что все они — «приживальщики и содержанцы» у советской власти».

Вернемся, однако, к Блоку. Его когда-то Гиппиус любила и написала о нем с не свойственной ей нежностью эссе «Мой лунный друг». И вот последняя личная встреча:

«– Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не сравнишь. Подымаю

глаза. Блок. Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шапка), длинное, желтое, темное.

— Подадите ли вы мне руку?

Я протягиваю ему руку и говорю:

— Лично — да. Только лично. Не общественно.

Он целует руку. И, помолчав:

— Благодарю вас.

Еще помолчав:

— Вы, говорят, уезжаете?

— Что ж… Тут или умирать — или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении…»

А вдогонку, несколько позднее, Зинаида Гиппиус внесла Блока в свой минус-список. Этот список Гиппиус поместила в своем дневнике, который она вела со времен Первой мировой войны.

Сначала это были «Петербургские дневники, затем «Черные тетради», в них Гиппиус рисовала картину сползания России в бездну безумия. Из окна своей квартиры на Литейном она «следила за событиями по минутам». Потом дневники Зинаиды Николаевны будут изданы и обожгут всех своей яростной болью. Своим проницательным умом она увидела то, что многие не видели и не догадывались о будущем России:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан

палкой,

Народ, не уважающий святынь.

Вот только одна запись из «Черной тетради» от 5 января 1919 года:

«…Мы, интеллигенция, какой-то вечный Израиль, и притом глупый. Мы в вечном гонении от всякого правительства, царского ли, коммунистического ли. Мы нигде не считаемся. Мы quantite negligeable (ничтожество — фр.), И мы блистательно доказали, что этой участи вполне достойны…

…В Октябрьские торжества внесли полотнища с хамской рожей и с хамскими словами внизу, хамски и жидовски начертанными:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем!

Это его — Блока — слова!!

Довольно.

Нас постигло “небытие”. Пусть мы, Россия, русский народ, виноваты сами. Я готова сейчас признать все вины, признать наше небытие, нашу тупость. Но ведь Европа еще жива! И мы — какая-то часть ее тела, все-таки, хотя бы самая ничтожная. Кто ослепил, одурил Европу, и она не понимает, как для ее жизни опасно наше трупное

разложение? Кто у нее отнял разум? Если бог, — за что ОН ее так наказывает?»

В конце декабря 1919 года Зинаида Гиппиус, Мережковский, Философов и сын их петербургской приятельницы Володя Злобин нелегально пересекают русско-польскую границу:

До самой смерти… Кто бы мог подумать?

(Сани у подъезда. Вечер. Снег.)

Никто не знал. Но как было думать,

Что это – совсем! Навсегда! Навеки!

Молчи! Не надо твоей надежды!

(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)

Но как бы знать, что нет надежды?

(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)

В Польше они ждали свержения большевистского режима, не дождались (в Варшаве Гиппиус сотрудничала с газетой «Свобода») и уехали в Париж, где у них с дореволюционных времен сохранилась квартира (11-бис, рю Колонель Бонне).

В Париже Гиппиус и Мережковский возобновили знакомство с Буниным, Бальмонтом, Шмелевым и другими пребывавшими в статусе

русских эмигрантов. Снова сборы, литературные чтения, обсуждения и споры. С 1927 года Зинаиде Николаевне удалось организовать регулярные «писательско-религиозно-философские» (И. Одоевцева) заседания общества под названием, ставшим знаменитым, — «Зеленая лампа».

К Мережковским «ходили все или почти все», как вспоминала Нина Берберова. И вновь, как в Петербурге, на этих литературных вечерах безраздельно царила Зинаида Гиппиус. К тому же она успевала много писать и издавать. В 1921 году увидели свет дневники Гиппиус 1919 года. Вышла книга стихов. В 1925 году в Париже издан двухтомник мемуаров Гиппиус «Живые лица». Последней ее работой, которая осталась незавершенной, стала биографическая книга «Дмитрий Мережковский».

С годами Зинаида Николаевна менялась и как человек, и как литератор. «Ее новые интонации, — писал представитель следующего поколения русской эмиграции поэт Юрий Терапиано, — подлинны, человечны, в них много примиренности и искренней мудрости».

Первым из супругов (52 года вместе!) умер Мережковский в декабре 1941 года. Зинаида Николаевна пережила его почти на 4 года.

«После смерти мужа она замкнулась в себе, — свидетельствует верный Владимир Злобин (оставшийся с нею до последнего ее часа), — и даже помышляла о самоубийстве — только “остаток религиозности” удерживал ее от самовольного ухода. Но — “жить мне нечем и не для чего”, — записывает она в дневник. И все же нашла в себе силы и продолжала жить».

Последние ее годы были трудными «для бабушки русского декадентства», как она шутливо называла себя. Она ушла из жизни 9 сентября 1945 года, не дожив двух месяцев до 76 лет.

И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить – до дна, —

написала она когда-то в молодые годы. И точно: она мужественно выпила свою чашу до дна.

Чаша выпита. Чаша разбита. И о чем разговор?.. «Я покорных и несчастных не терплю…» Это из стихотворения Гиппиус, написанного в 1907 году.

Вячеслав Иванов – одна из вершин русской культуры

Вячеслав Иванович Иванов (1866, Москва — 1949, Рим).

Одно из самых громких имен Серебряного века, одна из вершин русской культуры.

В книге «История русской литературы. XX век. Серебряный век», выпущенной французским издательством «Файяр», Вячеслав Иванов представлен так: «Крупный и своеобразный поэт, признанный лидер и виднейший теоретик символизма, эрудированный филолог-классик и религиозный философ, человек Ренессанса по многообразию интересов и, без сомнения, самая образованная личность в России своего времени. “Вячеслав Великолепный” выделялся масштабом даже на фоне ослепительной плеяды своих современников от Владимира Соловьева до Осипа Мандельштама».

«Вячеслав Иванов — редчайший представитель средиземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном

— как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей… Философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно, глубоко понимал также и живопись, и музыку…» *(Сергей Маковский).*

А теперь в качестве курьеза, и курьеза печального, приведем характеристику выдающегося деятеля Серебряного века из БСЭ 1933 года: «Мертвенное, чуждое даже для его современности, искусство Иванова оказалось близким лишь для кучки вырождающихся дворянских интеллигентов».

Да, советские литературоведы выдвинули на первый план «революционного поэта» Блока и задвинули на задний какого-то Вячеслава Иванова, который в феврале 1922 года заявил: «Я, может быть, единственный теперь человек, который верит в греческих богов, верит в их существование и реальность».

Крупнейший русский культуролог и исследователь античности, Вячеслав Иванов ощущал античность своей прародиной. Человек европейского образования, поэт культуры и духовности, он считал, что поэт и народ, толпа и рапсод — «неделимы в разделении», и мечтал о соборном

искусстве. Как отмечал философ Федор Степун, «в нем впервые сошлись и примирились славянофильство и западничество, язычество и христианство, философия и поэзия, филология и музыка, архаика и публицистика…».

Про Вячеслава Иванова ходила присказка: «Иванов — сложный поэт? Ничего подобного! Достаточно знать немного по-латыни, по-гречески, по-древнееврейски, чуть-чуть санскрита — и вы всё поймете».

Навскидку строки из цикла «Золотые завесы»:

Мне Память вдруг, одной из стрел-летуний

Дух пронизав уклончивей, чем Парф,

Разящий в бегстве, – крутолуких арф

Домчит бряцанье и, под систр плясуний,

Псалмодий стон…

и т. д. из жизни фараонов.

Кто-то заметил, что если русская литература вышла из гоголевской «Шинели», то поэзия символистов если не вышла из ивановской «Башни», то прошла через нее. Все модерни-сты-декаденты-символисты-акмеисты, начиная с Бальмонта, — Зинаида Гиппиус, Сологуб, Кузмин,

Блок, Брюсов, Волошин, Гумилев, Ахматова — проделали этот путь.

С осени 1905 года Вячеслав Иванов с женой Лидией Зино-вьевой-Аннибал превратил свою петербургскую квартиру в доме № 25 по Таврической улице в литературно-художественный салон. В этой угловой квартире, именуемой «Башней», по средам стали проходить журфиксы — сборы всех знаменитостей Петербурга и Москвы.

В «Башне» всё проходило на манер барочных итальянских академий, в атмосфере утонченной игры — чтения, дискуссии, споры, разыгрывание театральных и музыкальных пьес. В них участвовали маститые и начинающие, литераторы в славе и поэты на подступах к ней, и всех соединял Вячеслав Иванов, называющий себя «зодчим мостов». Внешностью, блестящим разговором, осанкой «жреца» он был русским «почти Гёте» — так воспринимал его, по крайней мере, Георгий Иванов.

Приведем несколько портретных высказываний о Вячеславе Иванове. Мстислав Добужинский вспоминал:

«Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходил ко всему облику Поэта. Он был

высок и худ и как-то устремлен вперед и еще имел привычку в разговоре подыматься на цыпочки. Я раз нарисовал его в этой позе “стартующим” к звездам с края “башни”, с маленькими крылышками на каблуках…» *(М. Добужинский. Встречи с писателями и поэтами).*

«Его познания во всех областях были колоссальны, а подача этих познаний — артистична. Из русских людей я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в этом искусстве серьезной и содержательной элоквенции. Вообще на меня он производил впечатление наиболее глубокого, проникновенного и одаренного из всех символистов» (*Л. Сабанеев. Мои встречи).*

Ему вторит Николай Бердяев:

«В. Иванов — лучший русский эллинист. Он — человек универсальный, поэт, ученый-филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и теософ, публицист, вмешивающийся в политику. С каждым он мог говорить по его специальности…

…Он всегда поэтизировал окружающую жизнь, и этические категории с трудом к нему применимы. Он был всем: консерватором и анархистом, националистом и коммунистом, он стал фашистом в Италии, был православным и католиком,

оккультистом и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым. Одаренность его была огромная» *(Н. Бердяев. Самопознание).*

Журфиксы серебристов, всех персонажей Серебряного века, отжурчали в 1917 году. Под впечатлением Февральской революции Вячеслав Иванов молил:

Боже, спаси
Свет на Руси,
Правду твою
В нас вознеси,
Солнце любви
Миру яви
И к бытию
Русь обнови.

Молитвы не помогли. «Революция протекает внерелигиозно…» — отмечал поэт. Примечательно: на складе издательства Сабашниковых сгорели все экземпляры только что напечатанной книги Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога». В тяжелейших условиях советского быта Вячеслав Иванов продолжает напряженно работать и летом 1920 года попадает

в московскую «здравницу для переутомленных работников умственного труда». Жизнь в одной комнате с историком и другом Михаилом Гершензоном дала возможность написать удивительную книгу «Переписка из двух углов» (1921) — образец культурной полемики о смысле бытия, смерти и бессмертии.

В 1924 году Вячеслава Иванова пригласили в Москву — прочесть в Большом театре на пушкинском торжестве доклад о Пушкине. После чего ему позволили покинуть Россию. Вячеслав Иванов с семьей уехал в Кисловодск, а далее в Баку, где он защитил докторскую диссертацию на тему «Дионис и прадионисийство» (опять ничего советского!).

Бакинский период закончился, и 28 августа 1924 года Вячеслав Иванов выехал со всей семьей в Рим. Началась эмиграция…

Почему в Рим, а не в Париж, куда чаще всего направлялись эмигранты и где были и его друзья? Просто Вячеславу Ивановичу было комфортнее в Риме без эмигрантской суеты и возни, ибо в Риме в основном обитали русские аристократы и царские дипломаты. Там ему было спокойно, он всегда считал Рим своей второй духовной родиной…

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим…

Кстати, еще несколько строк о Вячеславе Иванове как поэте. Мнение Федора Степуна:

«Лирика Вяч. Иванова занимает совершенно особое место в истории русской поэзии. Своею философичностью она отдаленно напоминает Тютчева, но как поэт Иванов, с одной стороны, гораздо отвлеченнее и риторичнее, а с другой — пе-регруженнее и пышнее Тютчева…» Некоторую витиеватость и ученую тяжеловесность можно продемонстрировать стихотворением «Родина»:

Родина, где ты?
В тайной пещере —
Видимо вере —
Светятся светы.

Кто не ослеп
В веке свирепом,
Людным и лепым
Видит вертеп.

Где невидимый

Зиждут соборне Храм, —
там и корни
Руси родимой.

А вот строки из «Римского дневника» 1944 года:

Европа – утра хмурый холод,
И хмурь содвинутых бровей,
И тень готических церквей.

Россия – рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы,
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы…

С 1926 по 1934 год Вячеслав Иванов был профессором в университете Колледжио Борромео в Павии и читал лекции о русской культуре. Общался с Муратовым, который жил в Риме. Принимал дальних гостей — Бунина, Зайцева, Мережковского. Написал удивительный цикл стихов «Римский дневник 1944 года». А так жил уединенно на виа Монте Тарцео — отшельником Тарцеевой скалы. 17 марта 1926 года перешел в католицизм и стал одним из провозвестников экуменического движения. Не успел закончить

роман-поэму «Свето-мир». И за месяц до своей кончины признался эстонскому поэту Алексису Ранниту с улыбкой, что, «если ему на том свете не дадут возможность читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен».

Вячеслав Иванов скончался 6 мая 1949 года в возрасте 83 лет.

Итальянский писатель Джованни Папини причислил Вячеслава Иванова к семи великим старикам (наряду с Бернардом Шоу, Гамсуном, Метерлинком, Клоделем, Ганди и Андре Жидом), в лице которых минувший век жил еще в культурной реальности послевоенного мира, семи великих из плеяды поэтов и мифотворцев, на ком лежала, хотя бы частично, ответственность за катастрофу XX века.

Мысль спорная. В конечном счете, виноваты политики, а отнюдь не поэты. Поэты витают в облаках, а политики вершат на земле свои конкретные черные дела. И, может быть, уместно вспомнить строки «Великолепного Вячеслава»:

Замирая, кликом бледным
Кличу я: «Мне страшно, дева,
В этом мороке победном
Медно-скачущего Гнева…»

А Сивилла: «Чу, как тупо
Ударяет медь о плиты…
То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта…»

P.S.

Вячеслав Иванов немыслим без своей жены. «…Эти двое — Вяч. Иванов и Зиновьева-Аннибал — счастливы своей внутренней полнотой, как не бывают счастливы русские люди… Не первого десятилетия двадцатого века — пришельцами большого, героического казались они, современниками Бетховена, что ли» *(Е. Герцык. Воспоминания).*

Жена Вячеслава Иванова — Лидия Дмитриевна Аннибал (1865–1907) была истинной царицей «Башни». Дальний потомок знаменитого арапа Петра Великого, она была женщиной необычной и яркой. В посадке ее головы было что-то львиное. Сильная, прямая шея, смелый взгляд. Белокурые волосы с розовым отливом. Особый блеск серых глаз. Весь Петербург удивляла своими декадентскими причудами и к гостям выходила в сандалиях и в греческом одеянии алого цвета. Полулежа на ковре, слушала стихи…

Лидия встретилась с Ивановым в Италии ле-

том 1893 года, куда она бежала от мужа с тремя детьми. К тому моменту он был женат уже семь лет… «Встреча с нею была подобна могучей дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело, — вспоминал Вячеслав Иванов. — …Друг через друга мы нашли себя и даже больше, чем себя». Иванова мучила вина перед женой, он пытался преодолеть страсть… Но расстаться с Лидией уже не мог.

Муж Зиновьевой-Аннибал отказался дать ей развод. В ожидании возможности венчаться Вячеслав и Лидия вынуждены были скрываться и прятать ее детей. Они странствовали по Италии, Флоренции, Англии, Швейцарии. Романтическое путешествие окончилось через четыре года в Ливорно, где их венчали по первохристианскому обычаю, возложив на головы виноградные лозы, перевитые белой овечьей шерстью.

После ранней смерти Лидии Аннибал «Башня» опустела и затихла. А Вячеслав Иванович, к удивлению всех, женился на дочери Лидии от ее первого брака Вере. Они обвенчались в Ливорно в маленькой церкви. Вера родила «Великолепному Вячеславу» сына и угасла от туберкулеза. Такова вот «лав стори». Можно как угодно относиться к этой истории, но лучше помнить строки поэта:

Пред Вселенною огромной —
Звездной пыли мы комок…

Бальмонт – поэт от рождения

Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто так бы любил мгновенья, как я. Я иду, я ухожу, я меняю и изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновенью, и оно мне снова и снова открывает свежие поляны. И вечно цветут мне новые цветы.

К. Бальмонт. Из записной книжки. 1904 год. 3 января. Ночь.

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867, деревня Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии — 1942, Нуази-Ле-Гран близ Парижа). Поэт, критик, эссеист, переводчик.

«Если бы надо было назвать, — писала Марина Цветаева, — Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: “Поэт”. Я бы не сказала так ни о Есенине, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке. Ибо в каждом из них, кроме поэта, было еще нечто. Даже у Ахматовой была молитва — вне стихов. В Бальмонте же, кроме поэта, нет ничего»

Если продолжить цветаевскую мысль, то поэт

— это житель альпийских высот, горний человек, возвышенный над бытом и живущий в мире поэтических представлений. «В Бальмонте, кроме поэта, нет ничего, — повторяет Цветаева. — До франков и рублей он просто не снисходит. Больше скажу: он вообще с жизнью не знаком…».

В мемуарах Бориса Зайцева говорится: «Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из “зачинателей” Серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью».

В начале XX века, писал Брюсов, «в течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния».

Всё крутилось вокруг его «Я» и его чувств.

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры…

И зову мечтателей… Вас я не зову…

Мечтатель, огнепоклонник, светослужитель (последняя книга «Светослужитель» вышла в 1937 году), он почти никогда не описывал социальной жизни. Его интересовали только личные ощущения, только «мимолетности». «Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник», — сказал о Бальмонте Максим Горький.

Им восхищались. Ему подражали. «Душами всех, кто действительно любил поэзию, овладел Бальмонт и всех влюбил в свой звонко-певучий стих» (Брюсов).

Я – изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты – предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я – внезапный излом,

Я – играющий гром,

Я – прозрачный ручей,

Я – для всех и ничей…

Бальмонт весь музыкален. «Его стихи — сама стихия», — определял Игорь Северянин, а уже в наше время Евгений Евтушенко добавил: «Изба-

лованный звукопроказник».

Из воспоминаний Тэффи:

«Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все — от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии — знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки: “Открой мне счастье, / Закрой глаза…”». Либеральный оратор вставлял в свою речь: “Сегодня сердце отдам лучу… ”. И ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-товарная, где телеграфист говорил барышне: “Я буду дерзок — я так хочу”».

Короче, Бальмонт был поэтом поколения Тэффи: «Он наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим “перезвоном хрустальных созвучий”, которые вливались в душу с первым весенним счастьем…»

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым, отмечала Тэффи. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный, вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает…

Бальмонт творил много и дерзновенно, лучшие

его дореволюционные сборники — «Горящие здания», «Будем как солнце» и «Только любовь» — принесли ему славу как одному из ведущих поэтов-символистов.

А потом облом. Крах. Революция. Как рассказывал Бальмонт Андрею Седых: «В Москве меня вызвали в Чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенсне, спросила:

— К какой политической партии вы принадлежите?

Я ответил кратко:

— Поэт».

Февраль 1917 года Бальмонт встретил ликующе. Но когда увидел истинное, грубое и страшное лицо революции, Бальмонт отверг ее. Получив разрешение выехать из советской России на полгода, Бальмонт 25 июня 1920 года уехал навсегда. «Мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, питался проклятой “пшенкой” без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь особе

— мало ли чем это могло кончиться» *(Б. Зайцев. «Воспоминания о Серебряном веке»).*

«Изгнанник ли я? — спрашивал себя Бальмонт. — Вероятно, а впрочем, я и не знаю. Я не бежал, я уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу…»

Мне кажется, что я не покидал России

И что не может быть в России перемен.

И голуби в ней есть. И мудрые есть змии.

И множество волков. И ряд тюремных стен.

Грязь «Ревизора» в ней. В ней гоголевский ужас.

И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин…

Это строки из стихотворения Бальмонта «Дурной сон». И разящие заключительные:

Жужжат напрасные, как мухи, разговоры.

И кровь течет не в счет. И слезы – как вода.

В Париже Бальмонта называли «Русский Верлен», сравнивая его бедственное положение и роковое пристрастие к вину с тяжелой судьбой французского поэта. Психическое заболевание оборвало струны его лиры. Нищета, больница, полное забвение. Он умер в оккупированном гитлеровцами Париже в возрасте 75 лет.

Печальный конец? Но такова жизнь. А в ее начале — энергия, сила, подъем…

Я вольный ветер, я вечно вею,

Волную волны, ласкаю ивы,

В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,

Лелею травы, лелею нивы.

Весною светлой, как вестник мая,

Целую ландыш, в мечту влюбленный,

И внемлет ветру лазурь немая, —

Я вею, млею, воздушный, сонный,

В любви неверный, расту циклоном…

В эмиграции, в Париже, Бальмонт не был уже

«вольным ветром». Напротив, злющий ветер чужбины сек его лицо и холодил душу. Но надо было жить, зарабатывать деньги, а это было ой как непросто. «Звенящие возможности», так метафорически как поэт называл Бальмонт денежные знаки, давались ему с превеликим трудом. Он продолжал жить в ритме своих поэтических ритмов, заклинаний, стихотворного шаманства, колдовства, но там, в эмиграции, это было никому не нужно, да и другим русским эмигрантам было не до стихов Бальмонта.

В своей книге воспоминаний Андрей Седых писал:

«Бальмонт ушел из мира живых давно, за десять лет до своей физической смерти. Он страдал душевной болезнью, о нем забыли, и мало кто знал, как борется со смертью непокорный дух Поэта, как мучительна и страшна была его десятилетняя агония…

Бальмонт жил в эти годы неподалеку от Люксембургского сада, совсем рядом с Тургеневской библиотекой. Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся. Ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей. К тому же это были тяжкие годы заката — поэзия его оказалась вдруг ненужной, и к человеку, который написал так много заме-

чательных стихов, новые, не всегда “молодые” поэты с Монпарнаса относились со снисходительным пренебрежением. Бальмонт от всего этого страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря.

“…Политическое переливание из пустого в порожнее…” Он не любил политики, чуждался ее и, кажется, считал политику ответственной за все свои личные несчастья и за то, что стихов его больше никто не читал.

Вот характерное для Бальмонта письмо, которое я получил от него в сентябре 1926 года:

“Я живу в лесном местечке, — писал он, — среди сосен, на берегу океана. Пишу стихи, пишу прозу. Появляется моего в печати очень мало…”»

Седых рассказывает случай, когда однажды в отеле «Лютеция» они сидели с Бальмонтом за бутылкой белого бордо. Официант бестактно намекнул им, что пора оплатить счет и покинуть зал. Бальмонт побелел от ярости, поднялся во весь рост, бешено сверкнул глазами и, подняв бокал с вином, не сказав ни единого слова, разбил его о голову официанта.

Очевидно, это было начало длительной душевной болезни поэта, которая привела Бальмонта сначала в больницу, потом в приют матери

Марии, где он прожил последние годы своей тяжкой жизни, притихший, ничего больше не сознававший, никогда больше не улыбавшийся… Невольно вспоминается «Ворон» Эдгара По в переводе Бальмонта:

И сидит, сидит зловещий Ворон черный,
Ворон вещий.
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,
Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет – никогда!

Господи! Как всё лучезарно светилось, и всё потом так помрачнело… И снова всплывают строчки Бальмонта:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,
А если день погас,
Я буду петь… Я буду петь о солнце

В предсмертный час!

Писатель Степан Скиталец рассказывал о Бальмонте:

«Он ведь, знаете, страшно нуждался, жил в каком-то доме призрения для бедствующих русских эмигрантов… Да и на какие средства было ему существовать?.. Стихи его печатались редко, ничтожными тиражами, а к 30-м годам, кажется, и вовсе не выходили отдельными сборниками… Но тут вдруг в его судьбу вмешивается Руставели. Да, да, не смотрите на меня удивленно, — говорил Скиталец, обращаясь к группе писателей, навестивших его. — Дело в том, что к моменту, когда в СССР затеяли празднование 750-летия “Витязя в тигровой шкуре”, выяснилось, что единственный русский перевод поэмы, которым практически можно воспользоваться, — это перевод, сделанный Бальмонтом… «Витязь в тигровой шкуре» вышел в его переводе. Ну а когда книга уже вышла, советское правительство выплатило Бальмонту, больному и нищему, почти всеми забытому поэту, огромную для него сумму — 75 тысяч франков. Для него это было как звезда с неба. Вот тогда-то, вскоре, он смог оставить дом призрения, в котором ютился вместе с женой, и снять отдельную квартиру, ну и вообще жить

по-человечески… Александр Иванович Куприн не без юмора писал мне, что в ту пору над столом Бальмонта появились портреты видных советских деятелей, и он заговорил о возвращении в Россию…»

Но это был миф, ибо хлопоты о гонораре затянулись, и он так и не был переведен поэту. Никакой благополучной жизни не получилось, ну а портреты вождей — досужая выдумка Куприна.

Бальмонту не оставалось никаких надежд. И он это понимал.

Отшумели, как в сказке, погони,
Больше нет мне вспененного бега.
Где мои раскаленные кони?
У какого далекого брега?..

Константин Бальмонт умер 23 декабря 1942 года в Нуази-ле-Гран, в русском общежитии, устроенном матерью Марией. Похороны были грустные. Из оккупированного Парижа никто не смог приехать. Шел дождь, и когда опустили гроб в яму, наполненную водой, он всплыл, и его пришлось придерживать шестом, пока засыпали землей могилу. На надгробии по-французски написали: «Constantin Balmont, poete russe».

Итак, ни поэтов, ни поклонников при про-

щании с Бальмонтом не было. Он, очевидно, предчувствовал подобный финал и в одном из своих последних стихотворений обратился к тем, кто его любил и знал:

Дети солнца, не забудьте голос меркнущего брата,

Я люблю вас в ваше утро, вашу смелость и мечты.

Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката.

В первый миг и в миг последний будьте,

будьте как цветы.

Он и сам был экзотическим человеком-цветком. На всю Москву прославился своими чудачествами, хождением в пальто и шляпе по лунной дорожке по морю, лазанием по деревьям для чтения своих «лепестковых стихов»… А его оригинальные отношения с женщинами… Много чего можно вспомнить и рассказать. А уж прочитать!.. «Чуждый чарам черный челн…». Это, можно сказать, почти «Черный квадрат» Казимира Малевича. «Черный челн» — это еще и ладья Харона, перевозящая мертвых через Стикс…

Но давайте отметим другое. Бальмонт был великим тружеником, он не ждал вдохновения или

«посещения музы», он писал регулярно, по много часов каждый день, всю жизнь, и писал с необыкновенной быстротой. Книги он любил как живые существа. Его творческое наследие огромно.

И в заключение «Слово о Бальмонте», которое принадлежит Марине Цветаевой:

«Бальмонт — помимо Божьей милостью лирического поэта — пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, т. е. 8750 печатных страниц стихов.

20 книг прозы, т. е. 5000 страниц, — напечатано, а сколько еще в чемоданах!

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По — 5 томов — 1800 стр.

Шелли — 3 тома — 1000 стр.

Кальдерон — 4 тома — 1400 стр.

…И еще *многое* другое.

В цифрах переводы дают более 10 000 печатных страниц. Но это лишь — напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многословные чемоданы его) — ломятся от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

…Бальмонт, по его собственному, при мне, высказыванию, с 19 лет — “когда другие гуляли и

влюблялись” — сидел над словарями. Он эти словари — счетом не менее пятнадцати — осилил и с ними души пятнадцати народов в сокровищницу русской речи — включил.

…Мы все ему обязаны».

Куприн: белый поручик, писатель, эмигрант, возвращенец

Александр Иванович Куприн (1870, г. Наровчат Пензенской губернии — **1938,** Ленинград). Прозаик.

«Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня, — вспоминала Тэффи. — Когда писал — работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро. Но человек был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую его втиснула судьба, была для него неподходящая. Ему нужно было плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров или в компании бродяг-золотоискателей, спасать погибающий караван…

Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему

пошла бы тюбетейка, пошла бы трубка…» *(Н. Тэффи. Моя летопись).*

Куприн учился в Московском кадетском корпусе и Александровском военном училище. Служил. В 24 года вышел в отставку в чине поручика. Несколько лет скитался, меняя города и профессии. Повидал и понюхал жизнь.

Далее писательство. В первых рассказах — сочувствие «меньшому брату» (солдату, мужику, рабочему). В повести «Олеся» Куприн воспел природу. В 1925 году из Парижа писал на родину: «Если бы мне дали пост заведующего лесами Советской республики, я бы мог оказаться на месте…»

Поначалу все складывалось более чем хорошо. Даже отлично. Прекрасные рассказы и повести: «Белый пудель», «Поединок», «Гамбринус», «Суламифь», «Гранатовый браслет» и т. д. А еще «Яма» в которой писатель поставил цель — помочь обществу очиститься от язвы проституции, считая ее «еще более страшным явлением, чем война, мор и т. д.». Вышло полное собрание сочинений Куприна аж в 11 томах.

К Куприну пришли и слава, и деньги, и у него закружилась голова. Репортеры желтой прессы обожали Куприна за его кутежи и скандалы. По

двум столицам гуляла шутка: «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне?»

Гулял и пил Куприн, как говорится, без просыпа. Утро начинал с шампанского, а завтракал с водкой. Обожал гнать лихачей и устраивать пиры в ресторанах — в «Норде», «Капернауме», а особенно в «Вене» на углу Гоголя и Гороховой.

Ах, в «Вене» множество закусок и вина.
Вторая родина она для Куприна, —

так кто-то из сатириков написал о писателе. А он тем временем гулял напропалую с цыганским табором и устраивал в пьяном виде дебоши, однажды даже бросил пехотного генерала в бассейн (это случилось в ресторане «Норд»).

Первая жена Куприна — Мария Давыдовна, впоследствии Иорданская, пыталась остановить и образумить писателя, но не смогла. Это удалось второй жене — Елизавете Гейнрих, незаконной дочери Мамина-Сибиряка. Она стала пестуньей и целительницей Куприна. Как вспоминает одна мемуаристка: «Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного, дикого пьянства она его отвела».

В 1918–1919 годах он работал в созданном Максимом Горьким издательстве «Всемирная литература». Жил в собственном особняке в Гат-

чине, а потом в Гатчину пришли белые войска, и Куприн стал редактировать газету, издаваемую штабом армии генерала Юденича.

Гражданская война с ее жескостью (с обеих сторон), разрушающей традиционный уклад русской жизни, возмутила Куприна. В октябре 1919 года он сначала уехал в Финляндию, потом — в Париж и 17 лет пробыл в эмиграции.

Вдали от родины Куприн продолжает работать. Создает очерки о Франции, повести «Колесо истории» и «Жанета», автобиографический роман «Юнкера». «Я хотел бы, — говорил Куприн своему знакомому по Парижу Юрию Говоркову, — чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. “Юнкера” — это мое завещание русской молодежи...»

Практически все произведения Куприна эмигрантского периода пронизаны ощущением грусти по уходящей России, исчезающей русской культуре.

Жилось Куприну несладко. «Знаменитый русский писатель, — вспоминал коллега по перу Николай Рощин, — жил в великой бедности, питаясь подачками тщеславных “меценатов”,

жалкими грошами, которые платили хапуги-издатели за его бесценные художественные перлы, да не очень прикрытым нищенством в форме ежегодных благотворительных вечеров в его пользу».

Сам Куприн о своей эмигрантской жизни писал:

«Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать — хуже, чем в Совдепии, ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же она меня давит, пригибает к земле. Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»

Своему приятелю беллетристу Борису Лазаревскому жаловался из Парижа в письме от 10 сентября 1925 года (и, как обычно, с применением ненормативной лексики):

«…Здесь скверно, как нигде и никогда еще не было. Кормят плохо. Есть некого. Выпить не с кем. Что за город, если на вопрос: “Есть ли у вас бляди?” собираются извощики, трактирщики, почтальоны, гарсоны и даже встречные молодые и старые… И вот уже месяц ни слова по-русски!

От этого такое ощущение, будто бы у меня рот заплесневел…»

Один из современников вспоминал о Куприне как эмигранте:

«Куприна безбожно обкрадывали, перепечатывали, не платя ничего, платили гроши за переводы, писали пошлейшие предисловия к его книгам. Куприн нуждался, ходил в рваных башмаках и не всегда сытый. На беженском тесном возу все перепуталось, уравнялось, снизилось. Куприн был “свой человек”, эмигрант. Куприна похлопывали по плечу…»

Во Франции с каждым днем чахла некогда богатырская сила Куприна, уходило здоровье, все хуже видели глаза. Все подошло к горлу, и надо было что-то предпринимать. В середине 30-х годов Куприн, повстречав Андрея Седых, сказал ему:

— А знаете, я верю, что умирать уеду в Россию.

— С чего это вы, Александр Иванович?

— Уеду, и вот когда-нибудь в Москве проснусь и вспомню этот бульвар, эти каштаны, любимый и проклятый Париж, и так заноет душа от тоски по этому городу!

Но в Париже было худо и мысль о возвращении не оставляла, и Куприн решил вернуться

на родину, вслед за Алексеем Толстым, но при этом Куприн сказал: «Уехать, как Толстой, чтобы получить “крестики иль местечки” — это позор, но если б я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле».

Так и случилось. Он уехал, точнее, его увезли.

«…В Москве на Белорусском под фотовспышки к нему кинулся Фадеев, еще недавно кричавший про Куприна, что он “не наш”, а ныне с той же верой в белесых глазах, что, напротив, “наш, конечно, наш!..”. “Дорогой Александр Иванович! — торжественно, прямо на перроне, начал митинг Фадеев. — Поздравляю вас с возвращением на родину!” Куприн, пишут, глянул на него сквозь темные очки и с каменным лицом отчетливо сказал: “А вы кто такой?”…

…Вождь знал, конечно, что Куприн в статьях называл Россию “вонючей ночлежкой, где играют на человеческую жизнь мечеными картами — убийцы, воры и сутенеры”. Знал, что революцию писатель окрестил “омерзительной, кровавой кашей, мраком, насилием, стыдом”, а вместо аббревиатуры СССР издевательски рычал: “Сррр…” Но вождь знал и подлую натуру человеческую…

“С чувством огромной радости я вернулся на ро-

дину…” “Я готов был идти в Москву по шпалам…” «Это чудо, что я снова в своей, ставшей сказочной, стране»… “Я бесконечно благодарен советскому правительству, давшему мне возможность вернуться…” Такими интервью Куприна запестрели советские газеты, стоило ему вернуться. Но ни одно слово в них не принадлежало писателю — все, до запятой, было придумано журналистами. Так что спектакль по имени «Возвращение» удался на славу!» *(В. Недошивин, журнал «Story»).*

Александр Иванович Куприн вернулся на родину 31 мая 1937 года, а через год и три месяца скончался. Его отъезд из Парижа вызвал многочисленные отклики в эмигрантских кругах. «Осуждать его нелегко. Могу только пожелать ему счастья», — писал Марк Алданов. Алексей Ремизов отозвался более сдержанно: «Что ж — поехал, и Бог с ним. Я его ничуть не осуждаю. А голодал он и нуждался очень. Но разве не испытывают и другие писатели эмиграции постоянную и острую нужду».

А в СССР ликовали. Не удалось уговорить Бунина, зато заполучили Куприна. Давний спор о том, чьим «достоянием» является Куприн — красным или белым, — закончился в пользу красных. Александр Куприн был торжественно внесен в

пантеон советской литературы.

А он не был ни красным, ни белым. Он был общепланетарным. Достаточно прочитать то, что он писал в парижской газете «Утро» в 1922 году:

«Двадцатый век пошел еще более жадным, головокружительным, темным… И как много эта жизнь, бесполезно выиграв в скорости, потеряла в красоте и в невинной радости…»

И в этой же статье о литературе:

«Теперь уже немыслима очаровательная простота Мериме, аббата Прево и пушкинской «Капитанской дочки». Литература должна им (читателям. — *Прим. Ю.Б.*) приятно щекотать нервы или способствовать пищеварению».

Нет, воистину Куприн оказался если не пророком, то, по крайней мере, дальновидцем: «Человечество погрузится в тихий, послушный желудочно-половой идиотизм».

Вот так смотрел на будущее выходец из Серебряного века белый поручик Александр Куприн. Смотрел с грустью и страхом.

А от себя добавлю. Читая и перечитывая сегодня Куприна, не могу не согласиться со словами Андрея Седых:

«Теперь закрываю глаза и стараюсь представить себе мертвого Александра Ивановича — и

не могу: идет по улице улыбающийся человек с татарским, широкоскулым лицом, в помятой, криво надетой шляпе, — живой Куприн».

Иван Шмелев – самый распрерусский писатель

Иван Сергеевич Шмелев (1873, Москва — 1950, Бюсси-ан-От, Франция). Писатель, мастер слова, наследник лучших традиций Лескова.

«Ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева, — вспоминала Муромцева-Бунина. — Небольшого роста, с нервным ассиметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека».

А в книге Белоусова «Ушедшая Москва» можно прочитать такую характеристику Шмелева: «Иван Сергеевич — человек нервный, с горячим темпераментом. Когда он писал какую-нибудь вещь, он весь горел и сливался со своими героями…»

Ему вторит Борис Зайцев: «Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно, навсегда связанный с Россией, в частности, с Москвой, а в Москве — с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком и остался в Париже, ни с какого конца Запада

принять не мог».

Интересно, каким видел Шмелева Куприн: «…У Шмелева только один помощник — это ШМЕЛЕВ. Его узнаешь сразу, по первым строкам, как узнаешь любимого человека по тембру голоса. Вот почему Шмелев останется навсегда вне подражания и имитации. Бог дал редкий свой дар — печать милосердия и щедрого таланта — спокойный задушевный юмор».

Родился Шмелев в замоскворецкой Кадашевской слободе на Калужской улице, 13, в богатой купеческой семье. «Мы из торговых крестьян, — вспоминал писатель, — коренные москвичи старой веры». Позже Шмелев со своей семьей жил на Малой Полянке, 6.

Шмелев окончил Московский университет и немного поработал чиновником во Владимирской казенной палате. Однако чиновника из Шмелева не вышло, по его признанию, он оказался «мертв для службы», вышел в 1907 году в отставку и отправился в свободное литературное плаванье. Общероссийскую известность Шмелеву принесла повесть «Человек из ресторана» (1911) о «маленьком человеке» — официанте Ско-роходове. Эту повесть критики сравнивали с дебютом Достоевского. Ремизов отметил, что

Шмелев встал в ряд русских писателей «совести и протеста», наряду с Горьким, Леонидом Андреевым и Куприным. Корней Чуковский отметил: «Шмелев написал совершенно по-старинному, прекрасную волнующую повесть, т. е. такую прекрасную, что ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется тебе, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал, или ты кого-то простил».

Особый шмелевский стиль, особое отношение к народу. Своего сына Сергея писатель наставлял: «Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное».

Абстрактно — всё правильно. А конкретно?.. В 1920 году единственный сын писателя Шмелева, офицер Добровольческой армии Сергей Шмелев, не пожелавший уехать с врангелевцами, был насильно изъят из лазарета и без суда расстрелян. В отчаянном письме к Максиму Горькому Шмелев писал: «Мой мальчик не активник. Он был мобилизован, он больше года больной… И все же его взяли и… кончили». И вопль: «Руки

буду целовать, руки, которые вернут мне сына!»

Ивана Шмелева горе если не сломило, то надорвало основательно. Уже в эмиграции он написал книгу «Солнце мертвых» о зловещих событиях в Крыму, которую многие прочитали в Европе и ужаснулись. Это — «кошмар, окутанный в поэтический блеск, документ эпохи» — так определил книгу Томас Манн. «Теперь я понимаю, через какие ужасы прошла ваша страна, — писал Шмелеву Редьярд Киплинг. — Произведение страшное в своей правдивости».

«Солнце мертвых» в СССР было строжайше запрещено: большевики не хотели помнить пролитую ими в Крыму большую кровь.

Смерть сына напрочь отвратила Ивана Шмелева от новой власти, и 20 ноября 1922 года писатель с женой выехали из Москвы в Берлин, а далее перебрались в Париж. «Думаете, весело я живу? — писал Шмелев 19 сентября 1923 года Куприну из Грасса, где его временно приютил Бунин. — Я не могу теперь весело! И пишу я — разве уж так весело? На миг забудешься… Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска… Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все — чужие. Души-то родной нет, а вежливости много… Всё у меня плохо, на душе-то».

В том же 1923 году Вера Бунина сделала такую дневниковую запись о Шмелеве: «В нем как бы два человека: один — трибун, провинциальный актер, а другой — трогательный человек, любящий всё прекрасное, доброе, справедливое».

В Париже Шмелев жил на улице Шевер, 12, напротив Дома инвалидов. Побывавший у него в гостях Томас Манн отметил небольшую квартирку, дышащую убогостью и скупостью. Однако бедно, но не худо. Ив Жатийом, фактически приемный сын Шмелевых, вспоминал, что во Франции Шмелевы жили так, словно никогда не уезжали из России. Ольга Александровна готовила русские блюда — пирожки с вязигой, рыбой, мясом, капустой, щи, гречневую и манную каши, куриный бульон. По воскресеньям к Шмелевым приходили гости — Куприн, другие русские писатели, генерал Антон Деникин с женой и дочерью Мариной. Шмелевых и Деникиных соединяла огромная любовь к России. Спокойный, сдержанный генерал и страстный экзальтированный писатель могли часами рассуждать о политике и культуре.

Летом Шмелевы жили в деревне, где писатель возился в огороде, сажал цветы и разводил подсолнухи, каждому из которых давал имена

знакомых писателей: Андрей Белый, Саша Черный и т. д.

В эмиграции Шмелев много писал — около 20 книг, в том числе несколько крупных романов — «Няня из Москвы», «История любовная», незаконченные «Солдаты» и «Пути небесные». В течение 17 лет работал над очерками дореволюционного русского быта «Лето Господне». Книга «Лето Господне» — не идиллия, не утопия, не миф, это эпос русской жизни, как и другая книга, «Богомолье».

«Шмелев прежде всего русский поэт по строению своего художественного акта, своего содержания, своего творчества, — такую оценку давал ему философ Иван Ильин. — В то же время он — певец России, изобразитель русского исторического, сложившегося душевного и духовного уклада, и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ — в его подъеме, в его силе и слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве…»

Всё, что написано Шмелевым, отличается от «Жизни Арсеньева» Бунина и от «Путешествия Глеба» Бориса Зайцева тем, что в их центре — не жизнь и судьба отдельной личности, не воспоминание о «светлом рае» детства конкретного

человека, а жизнь и судьба России.

А язык? А языковые обороты? «Осадил рюмку водки», «на палубе пороло дождем»… «Это — пламенное сердце и тончайший знаток русского языка… Шмелев, на мой взгляд, — отмечал друживший с ним Константин Бальмонт, — самый ценный писатель из всех нынешних». «Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого можно поучиться богатству, мощи и свободе русского языка», — сказал Куприн на 60-летии Шмелева в 1933 году.

Подобных отзывов можно привести много. Но, объективности ради, следует упомянуть и критику в адрес писателя. Некоторые критики не принимали монархизма и православия Шмелева, все «старое, исконное и кондовое», что было в России и которое он защищал. Обвиняли в «полицейщине» и «черносотенстве». Эти упреки и нападки были вызваны тем, что Шмелев «осмелился защищать историческую Россию против революции», против новой России.

Против чрезмерной «русскости» Шмелева протестовали в основном эмигранты молодого поколения, особенно усердствовал Георгий Адамович. Он говорил, что всё, что пишет Шмелев, — это-де «мертво», и «соляночка на сковородочке», и «стру-

на, на которой легко играть», и многое другое.

22 июля 1936 года умерла жена Шмелева, ее потерю он мучительно переживал. До этого «трепыхающийся и беспокойный человек», как называл себя сам Шмелев, впал в уныние и хандру, но работать не переставал.

К Шмелеву неожиданно обратилась незнакомая женщина из Голландии с письмом. Бредиус-Субботина. Мистика: ее имя и отчество совпадали с женой писателя — Ольгой Александровной… Они переписывались 10 лет. Эпистолярный роман? Писатель называл другую Ольгу последней любовью и последней музой. «Милый лебедь! Пробуйте полет!».

Полета не получилось, ибо, когда они встретились, Шмелев был слишком стар и болен… Он перенес операцию и отправился на поправку здоровья в обитель Покрова Божьей Матери в 150 километрах от Парижа. В день приезда с ним случился сердечный приступ, и Иван Шмелев там и скончался 24 июня 1950 года в возрасте 76 лет. В Бюсси-ан-От он собирался закончить роман «Пути небесные». Но не закончил и сам отправился в путь…

К началу Второй мировой войны Шмелев питал иллюзии, что Германия освободит Россию от

большевизма. Когда его обвинили в коллаборационизме, он заявил: «Фашистом я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда». Шмелеву просто был ненавистен советский строй.

И последнее. Первое монографическое исследование, посвященное глубинам религиозного духа Шмелева, создал немецкий литературовед Вольфганг Шрик. А фундаментальное исследование о летописце старой, ушедшей, как Атлантида, России, «Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева», написанное Ольгой Сорокиной, вышло в США, в Окленде в 1987 году.

Россия, как всегда, опаздывает с признанием своих пророков и кумиров. Одно лишь сделано благородное дело: перенесены останки Ивана Сергеевича Шмелева с кладбища в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем на кладбище Донского монастыря в Москве. Шмелев в это перенесение верил: «Знаю, придет срок — Россия меня примет».

Ремизов: кудесник и чародей русского слова

Алексей Михайлович Ремизов (1877, Москва — 1957, Париж). Прозаик, драматург, публицист, художник-каллиграф. И нужно добавить: скоморох, колдун, юродивый.

«Интересный писатель А. Ремизов! Как хороши его миниатюры из “Посолони” — это ароматные травы, окропленные росой, сверкающие алмазы!.. Ни слова простого не скажет Ремизов: здесь щипнет, там кивнет, там бочком подлетит, из пальцев козу сделает — козой-козой набегает, там чебутыком подкатится, и вдруг расплачется, разрыдается. Насмешливым вопленником умеет быть Ремизов. Многому нас научил. Уж и смеялись мы его забавам, и плакали. Мы его любим…» *(Андрей Белый. Из рецензии. 1907).*

«Сам Ремизов напоминает своей наружностью какого-то стихийного духа, сказочное существо, выползшее на свет из темной щели. Наружностью он похож на тех чертей, которые неожиданно выскакивают из игрушечных коробочек, приводя в ужас маленьких детей.

…Маленькая сутуловатая фигура, острая бородка, заканчивающая круглое грустное лицо, огромный трагический лоб и волосы, подымающиеся дыбом с затылка, — всё это парадоксальное сочетание линий придает его лицу нечто мучительное и притягательное, от чего нельзя избавиться, как от загадки, которую необходимо разрешить» *(М. Волошин. Лики творчества).*

Согласен с ним Добужинский: «Внешность Ремизова была необыкновенной (в старости, в Париже, он уже совсем согнулся), курносый, в очках, с огромным лбом и торчащими во все стороны вихрами, он походил на “чертяку” или колдуна из его сказок…» *(М. Добужинский. Встречи с писателями и поэтами).*

Встречаясь с Ремизовым на чужбине, Андрей Седых вспоминал: «Дома неизменно сидел за столом в вязаной бабьей кацавейке, поверх которой он надевал еще разные “шкурки”. Но главное — вышитая золотом татарская тюбетейка, на ногах — плед — ему всегда было очень холодно. Смотрел внимательно через толстые стекла очков, приглаживая на голове рожки — пучочки черных волос… Печатали его мало… Он грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет!.. И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: “Опять, думают, пришел!”»

А теперь вернемся к началу.

Алексей Ремизов — купеческий сынок, получивший воспитание в патриархальном старомосковском духе. Его детство было мрачным. Мать его не любила, ибо он был пятым нежеланным ребенком. И все его юные годы прошли при полном безразличии к нему со стороны окружающих. В дальнейшем Ремизов всю жизнь утверждал себя в образе гонимого судьбой и непонятого людьми писателя. Будучи студентом, увлекся революционными идеями, дважды подвергался аресту и высылался вначале в Пензу, потом в Вологду.

Судьба испытывала Ремизова. Хотел стать ученым — исключили из университета. Хотел стать музыкантом — дирижер прогнал из любительского оркестра. Актером — удалили за то, что свалил декорацию и «прищемил какую-то пигалицу». Художником — выгнали из Строгановского училища. И пошел Ремизов в писатели через трудности и боль.

В связи с первой публикацией — 8 сентября 1902 года — Ремизов признавался: «Отрава печататься входит с первым напечатанным. А какие мечты и сколько самообольщения. Ведь только у новичка такая вера в свое. А со временем придет разочарование, и сколько ни фырчи, ни фордыбачь, а всё ясно и при всякой дружеской критике, что ты не Пушкин, ни Толстой, ни Достоевский, а только козявка — аз есмь».

В 1907 году выходит первая книга Ремизова — цикл сказок «Посолонь», а в 1910–1912 годах — уже собрание сочинений» в 8 томах, куда вошли первые романы «Пруд» и «Часы». В 1912 году появляется роман «Пятая язва» — размышление о судьбе русского народа. Создает Ремизов и ряд драматургических произведений («Бесовское действо» было поставлено в театре Веры Комиссаржевской).

Писатель не плывет в общем русле модернизма и декаданса, а находит свое течение, а лучше сказать заводь — неоми-фологическую литературу. Он, блистательный обработчик мифов и легенд всего мира, нащупывает и заново воссоздает архетипы национального сознания, ищет соотношение между добром и злом, дьявольским и божеским в человеке и приходит к печальной

формуле: «человек человеку бревно» («Крестовые сестры», 1910), за что удостаивается определения от философа Ильина — «черновиденье».

Еще в эмигрантскую пору Ариадна Тыркова-Вильямс писала: «Как писатель Ремизов шел и продолжает идти тяжелым путем. Он одержим художественной гордыней и никогда ни с чьим мнением не считался. Его чудачества, житейские и литературные, сочетаются с большим, трезвым и ясным умом, с редкой верностью суждений. Отвесные тропинки, по которым он, чаще всего с большим усилием, тащит свои “узлы и закруты”, не ведут к легким успехам, к широкой популярности. Но в нем есть непреклонное, беспощадное к самому себе упорство, которое им владеет, не допускает снисхождения и поблажек моде, ко вкусам толпы и критиков, которые порой разбираются хуже, чем толпа».

Октябрьскую революцию Ремизов воспринял как трагический слом тысячелетней российской государственности и культуры («Слово о погибели Русской земли»). На короткое время он сближается с эсерами, но и они вызывают у него горькое разочарование: «До чего же все эти партии зверски: у каждой только своя правда, а в других партиях никакой, везде ложь. И сколько

партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей».

Как прозорливый художник Ремизов еще в 1907 году в сказании «Никола угодник» определил картину хаоса, который возникнет в результате революции: «Не узнал Никола свою Русскую землю. Вырублена, выжжена, развоёвана, стоит пуста-пустехонька, и лишь ветры веют по глухим степям, не найти в них правды…»

Навел Никола кой-какой порядок, вернулся в рай и поведал святым: «Всё со своими мучился, пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, отец на сына, дочь на мать! Да и все хороши, друг дружку поедом едят, обнаглел русский народ». Вот такой виделась Ремизову родная земля в революционных потрясениях.

Писатель эмигрировал в августе 1921 года, сначала жил в Берлине, затем с 5 ноября 1923 года и до самой смерти в Париже. Отъезд из России воспринимал трагически, как вечную разлуку с любимой землей. Оценку революционной эпохе дал в эпопее «Взвихренная Русь» (1927), которая, по мнению Андрея Белого, является одной из лучших художественных хроник России смутного времени. В дальнейшем Ремизов не

допускал лобовых антисоветских инвектив и за свою лояльность получил в 1946 году советский паспорт, но тем не менее не рискнул вернуться на родину.

В эмиграции Ремизов много работал, занимался мифами и легендами, экспериментировал со словом, писал автобиографическую прозу и продолжал делать то, что еще на ранней стадии подметил Максимилиан Волошин: «Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи».

Всё это так, но правда и то, что с 1931 по 1949 год Ремизов не смог опубликовать ни одной новой книги. Он их «издавал» сам, в единственном экземпляре, переписанном от руки красивым каллиграфическим почерком, и таких тетрадей было 430 штук.

В 1943 году умирает жена Ремизова, с которой он прожил 40 лет (они поженились в 1903 году). Ее облик Ремизов восстановил в книге «В розовом блеске» (1952). И в этом плане Ремизов был непохож на всех остальных серебристов. У Блока, Бальмонта, Маяковского, Есенина, Пастернака и других поэтов и писателей того времени было

много любимых женщин, жен, любовниц и муз, а вот у Ремизова была одна-единственная. Любимая и неповторимая для него.

Так кто она? Серафима Довгелло из старинного литовского рода, владеющего в Черниговской губернии даже замком. Когда Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича и привезла его в родовой замок, вся семья сразу шарахнулась от такого зятя. Маленький, почти горбатый, ни на кого не похож, университета не окончил, состояния никакого, пишет сказки. И при том из купцов. «Где она такого выкопала?..» — удивлялась вместе с родственниками и Ариадна Тыркова-Вильямс.

С ней было уютно и вкусно пить чай — приходившие в гости писатели смеялись: «какая сдобная булка». И вот «булки» не стало — без обожаемой Серафимы Павловны Ремизов прожил 14 лет. Жил аскетично, по принципу «немного еды и тепло в квартире».

Послевоенный мир Ремизов определил двумя фразами: «Какое последнее слово нашей культуры? — синема и гестапо. В чем наша бедность? — довольны мелочами».

Заботой самого Ремизова по-прежнему оставался русский язык. «Живой сокровищницей русской

души и речи» назвала творчество писателя Марина Цветаева. «А слово люблю, пер-возвук слова и сочетание звуков», — признавался сам Ремизов. «И безумную выпукль и вздор, сказанное на свой глаз и голос». Ремизов постоянно копался в кладовых слова, в словарях, много читал, выписывал. Это было настоящей страстью коллекционера. Марина Цветаева восхищалась Ремизовым, а вот для Бунина все усилия Ремизова «отмыть икону», найти исконный русский язык в «дебрях этимологической ночи» были смехотворны. Иван Алексеевич считал и нынешнее состояние русского языка превосходным, без всякой древней зауми.

Одна из последних книг Ремизова «Огонь вещей» — оригинальное исследование темы снов в творчестве русских писателей: Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева и других.

Вечный сон настиг Ремизова в преклонном возрасте (ему было 80 лет), когда он был уже беспомощным и почти слепым, в его квартире на улице Буало, 7 (ныне весьма престижный 16-й район Парижа), 26 ноября 1957 года.

«…Я не знаю своего последнего дня, но что последние дни — я знаю, — приводит строки из дневника писателя Андрей Седых. — От слабости

не смотрю на свет. Только чтение выводит меня в жизнь. Не поднимаясь, писал, вспоминал наш прощальный вечер. Весь день так легко выговаривались слова — пишу в воздухе, и вдруг понял, не будет восстановлено — не возможно».

“Ну запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо…”

На этой записи дневник оборвался…» *(А. Седых. Далекие, близкие).*

Что остается добавить? Ремизов — один из самобытнейших писателей Серебряного века и, пожалуй, всей русской литературы. Сам он учился у Гоголя, Достоевского, Лескова и Толстого, а у него училось последующее поколение писателей — Борис Пильняк, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков, Михаил Пришвин, Леонид Леонов, Константин Федин, Алексей Толстой, Артем Веселый. Можно сказать, что все они вышли из ремизовского корня.

О своей творческой манере Ремизов писал: «…о “слове” не думал. Только б закипело, слова придут. И они приходили сами собой, лезли назойливо и неотступно или накатывались таким хлыном, от которого весь я содрогался и не мог понять, что это со мной…»

Незадолго до смерти сокрушался: «И с моим

пропадом мое слово, моя музыка, весенний воздух, весенняя песня, — куда вы уйдете?..»

Не ушли. Через год после смерти Ремизова, в 1958-м, в Советском Союзе появились первые книги писателя. И перед глазами советских читателей предстали фразы «как медовые соты», и они ощутили излюбленную Ремизовым «путаницу времен».

А потом пришел черед и графике: в мае 2015 года в московском Манеже с успехом прошла выставка «Алексей Ремизов. Возвращение». Каллиграфические тексты, врезанные картинки к книгам. И надо вспомнить, что такие мастера живописи, как Пикассо, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, считали Ремизова профессиональным рисовальщиком, хотя он и заявлял: «Картинки свои не ценю».

Главное, чтобы все мы ценили творческое наследие этого удивительного человека.

И совсем напоследок. Уже будучи в эмиграции, Ремизов писал на родину писателю Владимиру Лидину: «Передайте тем из писателей, кто поверит мне, — это я сам чувствовал всегда, а тут живя, на примере увидел германском: литература есть цвет России и всякая веточка — краса России и надо только радоваться всякому новому

дарованию, сберегать и помогать, а не подсиживать и ругать, как это было у нас в обычае, писатель к писателю хуже волков, совсем забывают, что грызня — не украшение России, а общарапывание, забывают Россию».

Печальный Орфей Ходасевич

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886, Москва -**1939,** Париж). Поэт, переводчик, прозаик, критик, мемуарист.

По определению Николая Гумилева, «европеец по любви к деталям красоты», Ходасевич «все-таки очень славянин по какой-то особенной равнодушной усталости и меланхолическому скептицизму».

Владимир Набоков считал, что Ходасевич — «крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней».

Действительно, в отличие от акмеистов, символистов, футуристов и прочих «истов» начала XX века у Ходасевича кристально чистый пушкинский слог и тютчевское космическое восприятие жизни. Но при этом неизменная тревога, ожидание и печаль:

Всё жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит

Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькая вода.

Прервутся сны, что душу душат.
Начнется всё, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром – лишнюю свечу.

«Смолоду “мудрый как змий” Ходасевич, человек без песни в душе и всё же поэт Божьей милостью, которому за его святую преданность к русской литературе простятся многие прегрешения» *(Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).*

«Ходасевич культивировал тему Баратынского: “Мой дар убог, и голос мой негромок” — и всячески варьировал тему недоноска…» *(О. Мандельштам. Буря и натиск).*

Дружившая с Ходасевичем Нина Петровская наставляла его: «Вашу “Элегию” — отвергаю. Холодно, пахнет Пушкиным, — это не Ваше. Не забирайтесь на чужие вышки. Ломайте душу, всю до конца, и обломки бросайте в строфы, таков Ваш путь или никакой…»

Кто-то определил Ходасевича как поэта одной темы — неприятия мира. Отчасти это верно. Во многих его стихах буквально клокочет протест против зла, разлитого в мире, и одновременно почти ледяное бессилие исправить все несправедливости и несуразности бытия.

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема…

Или другая вариация на ту же тему:

Счастлив, кто падает вниз головой;
Мир для него хоть на миг – а иной.

Но, как часто бывает, современники не слишком ценили Ходасевича («большое видится на расстоянии»). Адепты авангарда считали его стихи «дурно рифмованным недомоганием». Острослов князь Святополк-Мирский называл его «любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзию». Язвительная Зинаида Гиппиус частенько бранила его в печати. Но больше всего Ходасевичу досталось от советских критиков. Его как эмигранта клевали нещадно. В советской России Ходасевич проходил как «один из типичных

буржуазных упадочников», как «нытик мистицизма». Один критик договорился до того, что-де ахматовы и Ходасевичи «организуют психику человека в сторону поповско-феодально-буржуазной реставрации».

Литературная энциклопедия (1975) не могла совсем замолчать крупнейшего русского поэта, но привела о Ходасевиче лишь небольшую заметку, в которой выделила его «резкое неприятие действительности, в т. ч. советской». Инкриминировали ему, что он с 1925 года перешел в «лагерь белой эмиграции, эволюционируя всё больше вправо». И в конце навесили ярлык: «Вера в незыблемость культурных ценностей сочетается у него с мыслями о безысходности бытия (какая может быть безысходность, когда социализм на дворе, — читалось в подтексте — Ю.Б.), лирическая обнаженность — с чертами усталости и цинизма, лаконизм поэтических средств — с суховатостью и дидактизмом».

Вот такая оценочка. Умели унижать советские литературоведы, ничего не скажешь.

Последняя книга Ходасевича — «Поэтическое хозяйство Пушкина» — вышла в России в 1924 году. Затем долгий период замалчивания, в то время как на Западе Ходасевич издавался широ-

ко. Прорыв произошел в период перестройки и гласности, когда стали выходить книги Ходасевича одна за другой.

В своем творчестве Ходасевич ратовал за «новый классицизм», за развитие традиций Пушкина и Державина и не поддавался никаким поэтическим новациям, оставаясь верным хранителем наследия золотого века — в словаре, семантике, ритмике, звукописи.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу…

Ходасевич неуклонно шел к своей литературной славе, но тут произошла революция, которая спутала все карты.

Как отмечал сам поэт: «Весной 1918 года началась советская служба и вечная занятость не тем,

чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех проживших эти годы в России».

В тяжелейших условиях Ходасевич продолжал работать, писать и переводить, переехал из холодной и голодной Москвы в Петроград, но и там оказалось не лучше. К этому прибавилось тяжелое заболевание. А дальше слово Нине Берберовой, которая стала третьей женой Владислава Ходасевича:

«…Говорили, что скоро “всё” закроется, то есть частные издательства, и “всё” перейдет в Госиздат. Говорили, что в Москве цензура еще строже, чем у нас, и в Питере скоро будет то же… ив этой обстановке — худой и слабый физически Ходасевич внезапно начал выказывать несоответственную своему физическому состоянию энергию для нашего выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача заграничных паспортов — одно из последствий общей политики нэпа. И у нас на руках появились паспорта… Но мы уезжали, не думая, что навсегда. Мы уезжали, как Горький уезжал, как уехал Белый, на время, отъесться, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали, что останемся навсегда… У нас были паспорта на три года, у меня для завершения образования, а у него — для лечения,

потому что в то время простого аспирина нельзя было купить в аптеке… И мы уезжали, думая, что всё попритихнет, жизнь немножко образуется, восстановится — и мы вернемся…»

Не вернулись.

22 июня 1922 года Ходасевич и Берберова покинули Россию и через Ригу прибыли в Берлин. Дальше — скитания по Европе, в том числе и жизнь у Горького в Сорренто. Кстати, Ходасевича и Максима Горького связывали весьма непростые отношения. Горький мечтал, чтобы Ходасевич оставил о нем воспоминания, но при этом отмечал, что Ходасевич «действительно зол. Очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы — ремесло».

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом…

Разве это злоба? Это позиция, занятая Ходасевичем по отношению ко всем мерзостям и злу жизни, к трагедийной судьбе человека вообще.

В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении паспорта, пред-

ложив вернуться в Москву, где, по словам Романа Гуля, «сам Лев Давыдович Робеспьер отзывался о Ходасевиче крайне презрительно». Естественно, поэт отказался и уехал в Париж. Так он стал фактически эмигрантом.

О парижском житье-бытье Ходасевича Нина Берберова вспоминала так:

«Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию “Дней”. Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в “Ротонде”… Ночами Ходасевич пишет… Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать…»

О чем? О литературе. О культуре Серебряного века. О России и Москве.

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере-что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял – теперь ищи…

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

Вместе с Берберовой Ходасевич прожил десять лет. «Мы сидим с Ходасевичем в остывшей к ночи комнате, вернее, он, как почти всегда, когда дома, лежит, а я сижу в ногах у него, завернувшись в бумазейный капотик, и мы говорим о России, где начинается стремительный конец всего — и старого, и нового, блеснувшего на миг. Всего того, что он любил…» — так писала в воспоминаниях Нина Берберова. Она трезво оценивала свое житье с Ходасевичем: «прежде всего два товарища, два друга, попавшие в беду».

В стихотворении «Перед зеркалом» (1924) Ходасевич писал:

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вот тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?..

Жить с малоприспособленным к быту Ходасевичем было трудно, и в 1932 году Нина Берберова решилась все-таки уйти от него. Один остряк заметил: «Она ему сварила борщ на три дня и перештопала все носки, а потом ушла».

Юрий Терапиано вспоминал: «Обладая широкой эрудицией, сам усердный работник, Ходасевич требовал такой же работы и от других. В этом отношении он был беспощаден, придирчив, насмешлив…» Добавим, что среди молодых поэтов он приобрел репутацию демона скептицизма.

Владимир Вейдле в воспоминаниях «Ходасевич издали-вблизи»: «Утверждали, что у него был “тяжелый характер”. Больше того, называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив едва ли не свыше меры. Тяжелого

ничего в нем не было; характер его был не тяжел, а труден для него самого еще больше, чем для других. Трудность эта проистекала, с одной стороны, из того, что был он редкостно правдив и честен, да еще наделен сверх своего дара проницательным, трезвым, не склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны, из того, что литературу принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную. От многих других литераторов отличался он тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки…»

И Вейдле приводит незаконченное стихотворение Ходасевича:

Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать, —
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью – одно.
Когда и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаем,
Что ж? Погибаем мы от пенья
Или от гибели поем?

Гибель была недалеко. Ходасевич умер, про-

жив 53 года. В год смерти, в 1939 году, в Брюсселе вышла его книга воспоминаний «Некрополь». Едкая, желчная, остроумная, отточенная мемуарная проза о тех, кого он хорошо знал и с кем был близок, в частности о Горьком.

В заключение приведу сформулированное Владиславом Ходасевичем кредо из анкеты далекого 1915 года: «Из всех явлений мира я люблю только стихи, из всех людей — только поэтов».

И Ходасевич был уверен (эта уверенность прозвучала в стихотворении «Петербург», написанном 12 декабря 1925 года) в том, что

И, каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывыхивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку

Чтобы понять: сбылось — не сбылось, надо покинуть серебряный сад русской поэзии и пройтись по мичуринским аллеям советской поэзии.

Алданов: последний джентльмен русской эмиграции

Марк Александрович Алданов (настоящая фамилия Ландау; 1886, Киев — 1957, Ницца).

Блистательный прозаик и мемуарист Марк Алданов! Но откроем литературную энциклопедию и прочитаем: «За рубежом опубликованы исторические романы, увлекательные по сюжету, но поверхностные и реакционные по содержанию…» Это напечатано в 1962 году, а сегодня пришло прозрение: классик русской литературы.

В 1991 году в России вышло первое собрание сочинений Марка Алданова, за ним последовали другие издания, и в мир алдановских героев с удовольствием погрузились читатели: занимательно, исторично, свежо, безукоризненный русский язык и щедро рассыпанные афоризмы. Но кем был сам Алданов? Как сложилась его судьба?

Никаких материальных трудностей в детстве и юности не испытывал. Окончил классическую гимназию и получил основательные знания, в том числе и иностранных языков: латынь, гре-

ческий, немецкий, французский и английский. В 1910 году Алданов окончил Киевский университет сразу по двум факультетам — правовому и физико-математическому (отделение химии). Правоведом не стал, а вот химик из Алданова получился отменный.

Научная скрупулезность и точность сказались и на Алданове-писателе. Он любил проверять и выверять все исторические факты, никогда не позволял себе никакой отсебятины. И любил повторять фразу французского профессора Олара: «Нет ничего более почетного для историка, если сказать: я не знаю». Хорошо знавший Алданова Леонид Сабанеев вспоминал: «Во всем он был не поверхностно, не с налету, а глубоко и тщательно осведомлен. Я думаю, что другого русского писателя с такой эрудицией в стольких областях совершено разных просто и не существовало… Не зря он говорил, что треть своей жизни просидел в библиотеках и за чтением книг».

Выписки, выписки… боже мой, как я понимаю Алданова, я сам такой выписыватель!..

Однако тишину библиотек взорвали сначала Февральская, а затем Октябрьская революции. И надо было делать выбор: по какую сторону баррикад встать. Алданов предпочел партию народных

социалистов, ему были любопытны герои народнического движения — Вера Фигнер и Герман Лопатин. С ними он встречался, разговаривал, также поддерживал хорошие отношения с лидером кадетов Павлом Милюковым. А большевиков он ненавидел.

В отличие от Бунина и Зинаиды Гиппиус, которые живописали большевистские кошмары, Алданов в своей книге «Армагеддон» (1918), как истинный ученый, препарировал и анализировал большевизм и его идеи. «Загадка русской революции» не являлась для Алданова тайной: он видел ее истоки и понимал сущность новых вождей. Как гуманист Алданов не мог принять режим, опирающийся на насилие и террор и стремящийся установить тотальный контроль над умами и душами людей. Разбирая причины не только русской, но и всех прочих революций, Алданов пришел к выводу, что все они «наводят на скорбные мысли»: «любая шайка может, при случайно благоприятной обстановке, захватить государственную власть и годами ее удерживать при помощи террора, без всякой идеи, с очень небольшой численно опорой в народных массах; позднее профессора подыскивают этому глубокие социологические основания».

Крамольная книга «Армагеддон» была уничтожена. Политическая борьба с большевиками была обречена на провал, и Алданову пришлось покинуть Россию. В марте 1919 года он эмигрировал. Жил то в Берлине, то в Париже. В одном из очерков написал: «Эмиграция — не бегство и, конечно, не преступление. Эмиграция — несчастье».

Первая книга в эмиграции — «Ленин» (1919), которая выдержала несколько изданий. О своем антигерое Алданов, спустя почти сорок лет сказал: «Я его ненавижу, как ненавидел всю жизнь… Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал». То есть гений и злодей в одном флаконе. В эмиграции Алданов окончательно сформировался как писатель исторической темы. Тема революционных потрясений — сквозная для всего его творчества.

Литературный успех пришел к Алданову с повестью о последних днях Наполеона «Святая Елена, маленький остров» (1923). Этот успех был закреплен трилогией «Мыслитель» (романы «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор»). Затем последовали исторические романы «Ключ», «Бегство», «Пещера». В исторических персонажах Алданова многие читатели искали современных

аналогий, и писателю пришлось объясняться: «Я не историк, однако извращением исторических фигур нельзя заниматься и романисту. Питта я писал с Питта, Талейрана — с Талейрана и никаких аналогий не выдумывал. Некоторые страницы исторического романа могут казаться отзвуком недавних событий. Но писатель не несет ответственности за повторения и длинноты истории».

Примечательно, что у читающей русской эмиграции Алданов стоял даже выше, чем Бунин и Набоков. Алданов мог бы расширить свою читательскую аудиторию, если бы перешел на какой-нибудь иностранный язык, но он не захотел этого делать и писал только по-русски. Бунин несколько раз выдвигал Алданова на Нобелевскую премию, но, увы, Марк Александрович так ее и не получил, хотя что это меняет для писателя? Как отмечал Георгий Иванов, Аданова «давно чтут» и «заранее» ему верят. Верили и верят, и чтут за историческую точность. В его книгах нет никакого исторического домысливания, одна чистая историческая правда. Каждый алдановский портрет исключительно достоверен и, говоря словами историка Кизеветтера, мог бы быть помечен: «с подлинным верно». Хотя сам

Алданов заметил: «Биографиям доверять вообще не надо, это самый лживый род литературы». Но это признание он сделал от невозможности быть абсолютно точным.

Алданов создал панораму переломных событий истории за 200 лет (с 1792 по 1953 год). В эту панораму из 16 романов искусно вплетены Екатерина II и Александр I, Байрон и Бальзак, Бетховен и Ганди, Дантес и Мата Хари, Клемансо и Черчилль, Сталин и Азеф и прочие исторические знаменитости.

Отвечая на анкету журнала «Числа» (1931), Алданов говорил: «Я думаю, что так называемая цивилизация, с ее огромными частными достижениями, с ее относительно общими достоинствами, в сущности, висит на волоске. Вполне возможно, что дикость, варварство и хамство в мире восторжествуют. Эта мысль сквозит в разных моих книгах, и, вероятно, оттого меня часто называют скептиком».

Невольно возникает вопрос: а что делать?! Бороться с «черной природой» человека, укреплять разум и волю, прислушиваться к сердцу — вот заветы Марка Алданова. По воспоминаниям Георгия Адамовича, «Алданов действительно с досадой и недоумением смотрел на “человече-

скую комедию" во всех ее проявлениях. Интриги, ссоры, соперничество, самолюбование, счеты, игра локтями — все это в его поведении и его словах полностью отсутствовало…»

«Это был редкий человек, и даже больше, чем редкий: это был человек в своем роде единственный, — продолжал свой рассказ об Алданове Георгий Адамович. — За всю свою жизнь я не могу вспомнить никого, кто в моей памяти оставил бы след… нет, не то чтобы исключительно яркий, ослепительный, резкий, нет, тут нужны другие определения: след светлый и ровный, без вспышек, но и без неверного мерцания… Для меня близкое знакомство с Алдановым было и остается одной из радостей, в жизни испытанных… Ни разу за все мои встречи с ним он не сказал ничего злобного, ничего мелкого или мелочного, не проявил ни к кому зависти, никого не высмеял, ничем не похвастался — ничем, ни о ком, никогда…»

Историк Карпович считал, что «в основе благожелательности Алданова лежало прежде всего то, что он был человеком культуры». «Последний джентльмен русской эмиграции», — так определил Алданова Иван Бунин. «Многие его любили. Явление редкое — Алданов действительно был

хорошим коллегой, не сплетничал, не завидовал и никого не ругал, как Бунин, например», — отмечал Юрий Терапиано. «Останется навсегда в памяти его моральный облик изумительной чистоты и благородства», — вторит ему Леонид Сабанеев.

В отличие от многих писателей-эмигрантов, Алданов ухитрялся сводить концы с концами, живя исключительно на гонорары, и при этом помогать тем, кто нуждался еще больше, чем он сам. Эту душевную щедрость выразил художник Арнольд Лаховски в портрете Алданова: мягкие черты интеллигента, высокий лоб, проницательный взгляд и грусть в глазах — все вижу и все понимаю.

Знаменитый астроном Тихо Браге в свое время говорил: «Меня нельзя изгнать, — где видны звезды, там мое отечество». Эти слова применимы к Алданову. Его звезды — излюбленные исторические личности — всегда были с ним, как в России, так и на Западе. В этом смысле он прожил относительно спокойную жизнь, а уж личную — точно. Женат был на своей двоюродной сестре Татьяне Зайцевой и в браке был счастлив. Единственную горечь ему доставили две эмиграции: сначала из России, потом, в конце 1940 года, из Франции. В

Нью-Йорке он вместе с Михаилом Цетлиным основал «Новый журнал» и выступал со статьями в газете «Новое русское слово». В Америке Алданов написал объемистый роман «Истоки». В 1947 году он вернулся во Францию и осел в Ницце. Свой последний роман «Самоубийство» он закончил в 1950 году: в нем снова фигурировал Ленин со своим «резервуаром ненависти» к России и русскому народу.

В последние годы Алданов часто говорил о смерти, почти всегда иронически. «Вот увидите, скоро вам придется писать: «Телеграф принес печальное известие…» — говорил он Адамовичу. Очень боялся Марк Александрович «кондрашки», то есть удара и паралича. В июле 1956 года писатель участвовал в заседаниях конгресса Международного ПЕН-клуба в Лондоне. Скромно и тихо отметил свое семидесятилетие и через четыре месяца — 25 февраля 1957 года — скоропостижно с кончался.

В своем последнем интервью 7 ноября 1956 года радиостанции «Голос Америки» Алданов пожелал всем, в том числе и себе, освобождения России. «Человеку свойственно и естественно желать свободы — бытовой, духовной, политической — “свободы от страха”, по знаменитому

выражению Рузвельта. Свободы веры и мысли и уверенности в том, что его не могут в любой день ни за что ни про что посадить в тюрьму или расстрелять… Желаю человеку человеческой жизни».

Перечитайте Алданова. Не пожалеете. Искусный, искрометный рассказчик увлечет вас: подарит свежей мыслью, интересной трактовкой исторической личности. Вот как описывает Алданов советскую элиту, увиденную в кинохронике (1933): «За президентом (Калининым. — *Ю.Б.*) следуют сановники и чекисты. Не разберешь, кто сановник, кто чекист. Лента на мгновение выбрасывает и уводит истинно страшное и зверское лицо. Кто это? Кем был этот человек до революции? Как могли подобные люди появиться в чеховской России, в той России, “где ничего не происходит”, где национальным недостатком считалась обломовщина… В отдельности они ничтожны, в массе очень страшны. Вот она, новая людская порода…»

В 1941 году Алданов написал статью-размышление о русском народе, в которой сделал попытку демифологизировать национальные недостатки и пороки: пьянство, лень, лживость, коварство, ксенофобию и пассивность. Особое внимание

писатель уделил «широте натуры» русского человека и ее главной черте — способности к крайностям. И привел наиболее яркий пример:

«Я весь 1917 год прожил частью в Москве, частью в Петербурге, тогда уже называвшемся Петроградом, но еще не называвшемся Ленинградом. При некотором скептицизме этот год можно назвать трагикомедией в трех действиях. В течение первых двух месяцев этого года в России была монархия, уже приближающаяся к своему концу, но со всеми ее вековыми атрибутами, со всем ее вековым этикетом. За неделю до революции едва ли один человек из тысячи допускал, что в России скоро установится республиканская форма правления. Затем в течение восьми месяцев в России была самая свободная демократия в мире — едва ли где-либо в мире было больше политической свободы, чем в России во время пребывания у власти моего друга Керенского. И, наконец, в последние два месяца того же обильного событиями года Россия стала тоталитарно-коммунистическим государством. И много, очень много людей на моей памяти за один год пели последовательно “Боже, царя храни”, “Марсельезу” и “Интернационал”

Думаю, это было бы невозможно без “широты

натуры”, без необыкновенной впечатлительности и переменчивости русских — а может быть, и без их способности к “триму” Очень удивил мир в тот год русский народ, очень удивлял он его и с тех пор. Решаюсь предсказать: он будет удивлять его и дальше».

И добавлю уже от себя: удивлял, и весьма. Озадачивал и ставил в тупик, и чем дальше, тем больше…

Адамович: лучший критик эмиграции

Устали мы. И я хочу покоя,
Как Лермонтов, – чтоб небо голубое
Тянулось надо мной, и дрозд бы пел,
Зеленый дуб склонялся и шумел.

Пустыня – жизнь. Живут и молят Бога,
И счастья ждут, – но есть еще дорога:
Ничто, мой друг, ничто вас не спасет
От темных и тяжелых невских вод…

Георгий Адамович, 1917

Георгий Викторович Адамович (1892, Москва — 1972, Ницца). Поэт, критик, переводчик. По национальности отца — поляк.

А. Бахрах об Адамовиче: «Он никогда не считал,

что звание поэта — признак какой-то избранности, не думал, что стихи — ответ на все проблемы, и, вероятно, не раз вспоминал язвительные слова Боссюэ о том, что "поэзия — самый хорошенький из всех пустячков"».

Георгий Адамович родился в Москве. Но ребенком был увезен в невскую столицу и там стал петербургским поэтом, продолжателем традиции петербургской поэтики, камерной лирики, в которой доминируют одиночество, тоска, обреченность…

Адамович учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета и начал писать стихи, будучи студентом. В университетские годы он вошел в литературный мир Петербурга и сблизился с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Георгием Ивановым. На раннем этапе испытал влияние Анненского, Блока и Ахматовой (при непохожести к «основному душевному тону» Анны Ахматовой). Характерная черта творчества Адамовича — это элегические медитации, внутренние диалоги с собратьями по поэзии, от Пушкина до Блока. Со временем его поэзия утрачивает краски и слова и становится «поэзией ни о чем»; вообще Адамович не уставал повторять, что «поэзия умерла», что «надо пере-

стать писать стихи». Апеллировал к молчанию. А если писал, то скупо, сухо, аскетично.

Один сказал: «Нам этой жизни мало…»
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, – каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

В 1916–1917 годах Адамович был одним из руководителей второго «Цеха поэтов». Далее революционные бури и грозы. «Времена настали трудные, — вспоминал Адамович, — темные, голодные. Моя семья, по каким-то фантастическим паспортам, уехала за границу, а я провел почти два года в Новоржеве…» Наблюдал? Писал стихи? Вспоминал судьбу Пушкина?

…Но было холодно. И лик луны
Насмешливо смотрел и хмурил брови.
«Я вас любил… И как я ждал весны,
И роз, и утешений, и любови!»

Ночь холодней и тише при луне.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...» —
Несчастный друг! Поверьте мне,
Вам только пистолет поможет.

Строки, написанные в 1917–1918 годах:

О, лошадей ретивых не гони,
Ямщик! Мы здесь совсем одни.
По снегу белому куда, спешить,
По свету белому кого любить?

И пришлось Адамовичу, как и многим другим, писателям и поэтам, отправиться по «свету белому». В 1923 году он эмигрировал во Францию и вскоре стал ведущим литературным критиком парижских газет, затем журнала «Звено», позднее — газеты «Последние новости». Его статьи, появляющиеся каждый четверг, стали неотъемлемой частью довоенной культурной жизни не только русского Парижа, но и всего русского зарубежья. К мнению Адамовича прислушивались почти все. Он выступал в роли непререкаемого мэтра и был признан лучшим критиком эмиграции.

В докладе «Есть ли цель у поэзии?», прочитанном на беседах «Зеленой лампы» у Гиппиус и

Мережковского, Адамович видел своих главных оппонентов в большевиках, превративших поэзию в государственное «полезное дело», тем самым произведя «величайшее насилие над самой сущностью искусства».

В 1937 году Адамович опубликовал статью «Памяти советской литературы», в которой утверждал, что «советская литература — сырая, торопливая, грубоватая…». Само понятие творческой личности было в ней «унижено и придавлено», а тысячи «юрких ничтожеств» заслонили в ней «нескольких авторов, мучительно отстаивающих достоинство и свободу замысла».

Но был момент, когда рука Адамовича вдруг дрогнула, и в одном из своих писаний он поставил советскую литературу выше эмигрантской, ибо последняя, как написал он, лишена «пафоса общности». Увы, эмиграция сама по себе есть разобщение, и откуда пафос?. Но это было одно из неверных суждений мастера критического анализа.

Адамович был убежден, что сущность поэзии — это «ощущение неполноты жизни… И дело поэзии… эту неполноту заполнить, утолить человеческую душу». Кстати говоря, свой первый сборник стихов «Облако» Адамович издал в 1916-

м в Петербурге лишь потому, что «все выпускали тогда свои книжки», это «Облако» Адамович старался затем позабыть, считал незрелым, эпигонским. Никогда не переиздавал. Он вообще редко читал свои стихи. А зря! Многие его стихи буквально обжигали:

Просыпаясь, дымит и вздыхает тревожно столица.

Рестораны распахнуты. Стынет дыханье в груди.

Отчего Вам так страшно? Иль, может быть, всё это снится,

Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди?..

В молодые годы Адамович испытал влияние Лермонтова, Тютчева, Блока, но особенно Иннокентия Анненского, с которым была у него метафорическая близость, бережное отношение к слову, трагический минор… И всё же часто можно услышать о поэзии Адамовича: «Конечно, не первый ряд, но все-таки написал несколько шедевров». Но вернемся к хронологии.

В Париже Адамович постоянно спорил с Ходасевичем. Полемика между ними воспринималась как одно из центральных событий литературной

жизни эмиграции. Суть расхождений Адамовича с Ходасевичем Глеб Струве сформулировал следующим образом: «С одной стороны, требование “человечности” (Адамович), а с другой — настаивание на мастерстве и поэтической дисциплине (Ходасевич)».

В 1939 году в парижском сборнике «Литературный смотр» Адамович опубликовал эссе «О самом важном» — он видел это «важное» в проблеме соединения правды слова с правдой чувства. Степень правдивости и искренности творчества он определял понятием лиризма. Свои взгляды на литературу Адамович выразил в книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955). Это книга критических эссе, где даны портреты современников и комментарии, размышления. «Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом? Не поздно ли искать искусственного рая?»

И, конечно, боль чужбины, тоска по Петербургу:

На земле одна столица,
Все другие – города.

В своих воспоминаниях и особенно в комментариях Адамович выделяется среди многочисленных критиков и мемуаристов нарочитым

субъективизмом, особым импрессионизмом и, конечно, стилем изложения материала. «Эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синими искрами», — отмечала Зинаида Гиппиус, правда, писала она это о стихах Адамовича, но это определение применимо и к его прозаическому письму.

Оценивая эстетику Адамовича, Игорь Чиннов писал: «В них больше от абсолютного слуха и интуиции, чем от пристального изучения… Но всякую аргументацию, разборы, медленное чтение — это он всегда оставлял в удел литературоведам».

Адамович часто выговаривал горчайшие истины, отчитывая признанных и знаменитых, снимая их с пьедестала. Так, говоря о Набокове, Адамович вынес приговор: «Не люблю бойкости». Но сам бойко и дерзко пускал критические стрелы, не признавая никаких авторитетов. К примеру, отмечал, что Тургенев — «человек слабый и в себе неуверенный, а писателем был «холодным», «что скучновато ему было обо всем писать и писал он почти нехотя…». Ну а уж с современниками расправлялся Адамович лихо и бесцеремонно.

Илья Эренбург — «Это какой-то Боборыкин,

начитавшийся Жироду».

Корней Чуковский — «Даровито-пошлый человек».

Лидия Сейфуллина — «Типичная поставщица ходкого товара, изворотливая, смышленая, но бездушная».

Стихи Осипа Мандельштама — «всего только бред. Но в этом бреду яснее, чем где бы то ни было, слышатся еще отзвуки песни ангела, летевшего “по небу полуночи”.

Ну а про Марину Цветаеву Адамович писал: «Как объяснить ее последнее стихотворение — набор слов, ряд невнятных выкриков, случайных и “кое-каких” строчек!..» В ответ Цветаева назвала Адамовича «гениальным болтуном».

Но Адамович продолжал выступать в роли зловредного критика Христофора Мортуса из набоковского «Дара». Вот что он писал о Брюсове и Блоке:

«У литературы есть странное, с виду как будто взбалмошное свойство: от нее мало чего удается добиться тому, кто слишком ей предан. В лучшем случае получается Брюсов, пишущий с удовольствием и важностью, поощряемый общим уважением к его “культурному делу”, переходящий от успеха к успеху, — и внезап-

но проваливающийся в небытие… У Блока — в каждой строчке отвращение к литературе, а останется он в ней надолго».

А вот еще одно удивительное мнение Адамовича: «…простительно проглядеть Пушкина; но непростительно восхищаться Кукольником».

А как вам нравится такое рассуждение Адамовича: «Когда в России восхваляется что-либо за особенную русскую сущность, можно почти безошибочно предсказать, что дело плохо…»

«Русской сущностью» Адамович, кстати говоря, никогда не отличался, в эмиграции он просто страдал ностальгией по утерянному Петербургу:

За всё, за всё спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней – всё потерять,
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,

Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже…

И воспоминания, воспоминания без конца:

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед…

Словом, в Париже о Петербурге… Однако Адамович жил не только в Париже, с 1951 года в течение 10 лет он обретался в Англии. В 60-е годы попеременно находился то в Париже, то в Ницце. Группировал вокруг себя молодежь и создал целое поэтическое упаднические направление под названием «Парижская нота» — с доминирующей темой смерти. Как отмечал Юрий Терапиано, «почти все молодые поэты, начавшие в эмиграции, думали по Адамовичу».

«На Монпарнасе, в отличие от Ходасевича, Адамович не обучал ремеслу, а больше призывал молодых поэтов “сказаться душой”, если не “без слов”, как мечтает Фет в одном из стихотворений, то с минимумом слов — самых простых, главных,

основных — ими сказать самое важное, самое нужное в жизни. Так возникла “Парижская нота”» *(И. Чиннов).*

Адамович осуждал метафоры, уверял, что без них стихи лучше, и приводил пример: «Я вас любил, любовь еще, быть может…». «Там нет ни одной метафоры. Ни одной», — говорил Адамович.

Из воспоминаний Зинаиды Шаховской:

«Адамовичу жилось трудно: маленькая комнатка (когда-то для прислуги), скромность предельной обстановки, одиночество, и это при дворе почитателей. Но Адамович никогда не жаловался. У него была страсть: картежная игра. До революции Адамовичи происходили далеко не из бедной семьи. Приехав во Францию с очень любимой матерью и сестрой, семья поселилась на Лазурном берегу, где у них была собственная довоенная вилла. Но денег не было, и мать послала Жоржика (Георгия Адамовича) в Париж эту виллу продать и обеспечить семье хоть некоторое время существование. Виллу Адамович продал и… деньги проиграл в карты. До старости простить себе этого не мог».

По воспоминаниям Чиннова, Адамович «был человек большого обаяния. Со всеми без исклю-

чения говорил совершенно просто, вежливо и естественно-изящно».

Другой мемуарист, Кирилл Померанцев, отмечал, что Адамович был совершено убежден, что мир летит в тартарары, к неизбежной планетарной катастрофе, и поэтому даже не старался разобраться в происходившем: «Да, да, знаю — Индия, Пакистан, новая напряженность на Среднем Востоке… Ну и?.. Вот расскажите что-нибудь “за жизнь”…»

Не приемля жгучую современность, Георгий Адамович перенес Серебряный век в эмиграцию и продлил ему жизнь.

Поэт и критик умер 21 февраля 1972 года, не дожив всего двух месяцев до 80-летия. Адамович жил с ощущением того, что

Легким голосом иного мира

Смерть со мной все время говорит.

Пронзительны строки Адамовича, которые вобрали все крики эмигрантов:

Когда мы в Россию вернемся… о Гамлет восточный,

когда?! —

Пешком, по размытым дорогам, в сто-

градусные холода,

Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов,

пешком,

Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем.

Больница. Когда мы в Россию…

колышется счастье в бреду.

Как будто «Коль славен» играют

в каком-то приморском саду,

Как будто сквозь белые стены,

в морозной предутренней мгле

Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы… довольно, довольно! Он болен, измучен и наг.

Над нами трехцветным позором полощется

нищенский флаг.

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно,

и слишком тепло.

Когда мы в Россию вернемся… но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.

Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Адамович четко понимал, что в Россию он не вернется. А если бы вернулся? Что его ждало? Горькое угасание Куприна? Концлагерь где-нибудь на Колыме? Или совсем простенькое: к стеночке под расстрел?.. Сколько из возвращенцев поплатились жизнью за свое ностальгическое возвращение на родину?..

Небольшое дополнение о загадочно интересных отношениях двух Жоржиков — Георгия Адамовича и Георгия Иванова. Их связывала теснейшая дружба еще в Петербурге, почти 25 лет, а потом эта дружба неожиданно сменилась 15-летней враждой. Отзвуки этих отношений отражены в переписке двух знаменитых поэтов. Но только отзвуки, ибо что было настоящей причиной разрыва — неясно. Обоюдная зависть — у одного к творческим успехам, у другого — к житейским? Об этом можно только догадываться по намекам и отдельным интонациям писем.

Внешняя причина очевидна — внезапно обнаружившееся несходство политических убеждений. Как относиться к Советскому Союзу, к покинутой родине? Как относиться к режиму Сталина? Георгий Иванов, как и Зинаида Гиппиус с Мережковским, всегда стоял «за интервенцию», и остался стоять на этом даже после начала Второй мировой войны, что в глазах эмигрантской общественности автоматически превращало его в коллаборациониста и пособника фашистов. Адамович же в статьях конца 30-х годов цитировал Сталина едва ли не на каждой странице, вынужденно признавая его главной защитой демократии от «коричневой чумы», поскольку на других надежды мало…

Началась война, и Адамович был полон желания бороться с фашистами, но воевать ему не пришлось, так как 10 мая 1940 года «странная война» между Германией и Францией была закончена. После демобилизации Адамович вернулся в Ниццу, где пребывал в сильнейшей депрессии и писал Бунину: «Не хочу только ехать ни в Нью-Йорк, ни в Москву, а остальное безразлично».

Алданов в письме к Адамовичу справлялся о судьбе Георгия Иванова, на что Адамович ответил

(28 июля 1945 года): «Скажу откровенно, вопрос о нем меня смущает. Вы знаете, что с Ивановым я дружен, — дружен давно, хотя в 39 году почти разошелся с ним. Я считаю его человеком с путаницей в голове, что на его суждения не стоит обращать внимания…».

Адамовичу помогли устроиться преподавателем в английский университет, и в начале 1950-го он стал читать лекции о поэзии в Оксфорде, а с 1951-го по 1960-й преподавал в Манчестерском университете.

В 1956-м бывшие друзья помирились, и Адамович предложил Георгию Иванову «переписку из двух углов» о поэзии, но в письмах писали не только о ней.

Из письма от 23 сентября 1955 года: «Дорогие Madame и Жорж… А дорогие дети, пишу я всякую чепуху, не взыщите уж. Сам не знаю, о чем писать, нечего сказать и всё надо сказать. Вот, вчера ночью, бродя по улицам, сочинял стихи “подражание Полонскому и Фругу”, насчет того, что всё умрет и все умрут:

…Старая истина, нету старей,
Только не в силах я свыкнуться с ней…»

Еще письмо Адамовича: «Дорогой Жорж, или

Жоржинька, уж не знаю, как Вас называть после того, как помирились мы “нежно и навсегда”, согласно Роману Гулю…».

6 января 1956 года: «…Над чем изволите работать? Я читал в Лондоне лекцию о смысле русской литературы, всех восхитившую, и хочу изложить это на бумаге, а то помрешь и ничего не останется. Но если бы я изложил, то негде печатать, потому что надо бы страниц сто…».

3 декабря 1957 года, судя по всему, дружба восстановлена, но разборка продолжается, ибо Адамович пишет Георгию Иванову:

«Откуда Ты взял, что я в жизни всего вкусил и катался как сыр в масле? Меня это глубоко поразило, как и то, что я тебя “не понимаю, как сытый голодного”! Я в сто раз более голодный. У тебя красавица-жена, семейная жизнь, на столе самовар и прочее. А я мыкаюсь, неизвестно зачем и для чего. Ты меня уверял в последний разговор наш, что я — “как Бердяев”. Во-первых, меня, наоборот, все шпыняют и называют дураком, а во-вторых, и в-третьих, и в сотых: что с того! ну, я — Бердяев, а Ты — Пушкин, а дальше? На этом точка…»

Но в конце письма Адамович вновь находит примирительные слова: «А вообще-то можно написать еще много, но всё ясно и без…».

Ясно, что смерть кружила уже рядом. Умер Ремизов, и Адамович отмечает в письме: «Все-таки плохой писатель, хотя Ты и ввернул гениальный…». И о Маковском: «Надо бы его унять, уж очень он возвеличился (к тому же) — на редкость противный и злой…».

Через год после этого письма умрет Георгий Иванов (26 августа 1958 года), а Георгий Адамович эмигрантскую лямку протянет еще 14 лет и умрет в Ницце 21 февраля 1972 года после второго инфаркта. И заплясали в голове невесть откуда взявшиеся строчки:

Ах, Жоржики, Жоржики,
Горькие эмигрантские коржики…

* * *

И последнее. В одном из эссе о Пушкине Адамович отмечает, что «Пушкин действительно явление грациозное, чарующее, последний из “чарующих”, удержавшийся на той черте, за которой очаровывать было уже невозможно…»

Адамович вспоминал письма Александра Сергеевича, пронзительно грустные: «В них Пушкин не притворяется, отсмеивается, не оглядываясь, пятится назад, нехотя балагурит, как будто зная,

что все равно все пойдет к черту: Россия, любовь, стихи, всё».

Марина Цветаева: буря и бездна

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.

Марина Цветаева, 1913

Марина Ивановна Цветаева (1892, Москва — 1941, Елабуга). Великий поэт.

«…Она никак не была литератором. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов (в Чехии), она писала мне в одном письме: «Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там с ними я бы сумела». Да, может быть» *(Р. Гуль. Я унес Россию).*

«…Никаких политических убеждений у Цветаевой не было. Всякая догма была для нее остывшей прописью. Живи Марина в эпоху военных поселений Аракчеева, она презирала бы так же царизм, как презирала и ненавидела большевизм. Своего прирожденного чувства и жажды свободы ни при каких обстоятельствах она не скрывала, не подавляла. «Бес разрушения», который казался некоторым в Марине, был живым негодованием перед всяким насилием и угнетением — в жизни, в искусстве. Для нее не существовало ни запретов, ни преград, ни ограничений в собственном исповедании или поведении. Полуправды для

нее не существовало» *(Н. Еленев. Кем была Марина Цветаева?).*

«В частной жизни у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев объекта. В любви и дружбе наделяла простых смертных… собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах?..» *(Зинаида Шаховская).*

Краткая хроника последних 10 лет жизни

1932 — весною Цветаевы покинули Медон и переселились в Кламар, в предместье Парижа. В октябре Цветаева устроила публичное чтение своих воспоминаний, слушатели «чудесные» («большинство женщины»). Читала Марина 2 часа 45 минут.

Возникла идея возвращенчества, особенно она была популярна среди эмигрантской молодежи, многим казалось, что на родине начинается какая-то новая жизнь, И Марина Цветаева тоже, очевидно, поддалась этой иллюзии и написала «Стихи к сыну» (а Муру не исполнилось еще и семи лет):

Езжай, мой сын, в свою страну, —

В край – всем краям наоборот!..

Сергей Эфрон стал хлопотать о советском паспорте… В начале года, в январе, Марина в сомнении обращается к Анне Тресковой: «Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют, а во благо ли ему — не знаю. И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей — там мне их и писать не дадут».

1933 — Цветаева сообщает Саломее Андрониковой: «…Я решительно не еду, значит — расставаться, а это (как ни грызем*с*я!) — после 20 лет совместности — тяжело. А не еду я, потому что уже раз уехала…»

Среди прочих написанных в том году стихов выделим цикл «Стол»:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать – столом,
Остался – живым стволом!..

В Кламаре Цветаева сначала жила на улице Кондорсе, а потом в доме № 10 на улице Лазаря Карно. Жившая неподалеку французская писательница из знаменитой русской семьи — Зоэ Ольденбург писала о Цветаевой так:

«Ссыльная королева, бродившая в старых стоптанных туфлях по улицам Кламара, — что там “уборка чужих квартир”, заработок более пристойный, чем многие другие, — натирая черепицу пола или раковину, продаешь лишь силу своих мускулов. А она жила, отгороженная от целого мира кошмарной музыкой слов, опалявших ее днем и ночью… и вакханка, волчица, колдунья, заклинательница, чаровница, звезда, упавшая с неба на перрон станции метро».

1934 — написано одно из самых знаменитых стихотворений Цветаевой — «Тоска по родине». С парадоксальной концовкой:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…

Однако в душе Цветаевой — буря противоречивых чувств: «Мне ничего не нужно, кроме своей души». Поэтесса Е. Тараховская спросила: «Марина, неужели вы в Париже не скучаете по России?» Цветаева ответила: «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под

этим окном…»

1935 — горькое признание в письме к Вере Буниной: «За последние годы я очень мало писала стихов. Тем, что у меня их не брали, — меня заставили писать прозу… Наконец — я испугалась. А что если я умру? Что же от этих лет останется?..»

Долгожданная встреча с Борисом Пастернаком в коридоре Международного конгресса писателей в защиту культуры в Париже. «Не-встреча», — так отозвалась о ней Цветаева. В письме к своему чешскому другу признавалась: «…Борис Пастернак, на которого я годы подряд — через сотни верст — оборачивалась, как на второго себя, мне на Писательском съезде шепотом сказал: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, я — испугался…». И далее Цветаева пишет: «Он страшно не хотел поехать без красавицы-жены, а его посадили в вагон и повезли…» В последней фразе, конечно, женская ревность и горечь…

1936 — эмоциональная переписка с молодым поэтом Анатолием Штайгером, но, увы, в конце концов он ясно дал понять Цветаевой, что не нуждается ни в ней, ни в ее заботе. Штайгер был моложе Цветаевой на 15 лет, и «он был очень

небольшой поэт» *(Г. Адамович).*

29 марта Цветаева пишет Тесковой: «…Живу под тучей — отъезда. Еще ничего реального, но для чувств — реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее — последний конец…»

В мае Шаховская устраивает Цветаевой выступления в Брюсселе.

1937 — 15 марта Аля (дочь Ариадна) уезжает в Москву. «Отъезд был веселый, — пишет Марина Тесковой, — так только едут в свадебное путешествие, да и то не все. Она была вся в новом, очень элегантная, перебегала от одного к другому, болтала, шутила. Потом очень долго не писала…» В одном из писем Аля сообщила, что умерла актриса Соня Голлидэй. Это известие глубоко потрясло Цветаеву, и она пишет «Повесть о Сонечке».

В сентябре произошло убийство советского невозвращенца Игнатия Рейсса и похищение генерала Миллера. Подозрения среди прочих падают и на Сергея Эфрона. Он скрывается от ареста. В газете «Возрождение» заголовок: «Евразиец Эфрон — агент ГПУ». Цветаеву вызывают на допрос. Она не в курсе дела и пытается читать следователям Расина и Корнеля. Ее отпускают, считая сумасшедшей…

1938 — Цветаева потрясена Мюнхенским соглашением о разделе Чехословакии, отторжением к Германии Судетской области, — это восприняла как акт предательства. «О Чехия в слезах! Германия в крови!..» 24 сентября пишет Тесковой: «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней, с ней и ею…»

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

И стихи о Германии, которая опустилась до грабительской войны:

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь – сказками туманила,
Днесь – танками пошла.

И в том же 38-м Цветаева начала готовиться к отъезду. Приводила в порядок бумаги. «Разбираю архивы… начинаю в 6 ½ утра, кончаю со светом — конца краю не видно…» Цветаева понимает, что не все рукописи можно везти с собою: «Я как кукушка рассовала свои детища по чужим гнез-

дам», — признавалась она. Зинаида Шаховская спросила Цветаеву, а зачем она едет? Цветаева ответила твердо: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» Шаховская: «Марина Ивановна, одумайтесь, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо, — а приехав туда, мечтать больше не о чем, и не на что надеяться. Ну как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?» На это Цветаева ответила: «Знайте одно, что я там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами» *(«Новый журнал», Нью-Йорк, 7 — 1967).*

1939 — год отъезда. После 17 лет эмиграции Марина Цветаева вернулась на родину.

Последний день в Париже — 12 июня. Таинственный кто-то (очевидно, кто-то из начальников Сергея Эфрона) принес билеты на поезд и на пароход и посоветовал, нет, велел, чтобы Цветаеву с сыном никто не провожал. Как пошутил 14-летний Мур: «Венков и цветов не приносить».

И вот вокзал Сен-Лазар. Едва сев в поезд, Цветаева пишет письмо своей подруге Анне Лесковой: «…Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад — и чего в нем не растет! — на прощанье посидели с Муром по старому

обычаю, перекрестились на пустое место от иконы… Кричат: — En voiture, Madame (По вагонам) — точно мне, снимая меня со всех прежних мест моей жизни. Нечего кричать — сама знаю».

Далее Гавр, с поезда на пароход «Мария Ульянова», на котором разместились дети испанцев, отправляющиеся в СССР. 18 июня пароход приплыл в Страну Советов. Уезжала Марина Цветаева из России, вернулась в СССР. Совсем в другую страну. Если взять газету «Известия» за воскресенье 18 июня 1939 года, то можно узнать: страна кипела событиями. Заголовки первой полосы: «Дадим стране высококачественный кокс!», «Вручение орденов и медалей Союза ССР», «Тираж займа третьей пятилетки», «За разбазаривание средств по государственному страхованию — к судебной ответственности». Передовая статья посвящена Максиму Горькому, годовщине его смерти: «Гигант мысли и волшебник слова». И о тех, кто убил «гиганта и волшебника»: «Убийцы Пушкина — насколько же по-своему они были честнее». Ну, и дальше в газете о спортивном празднике на стадионе «Динамо», о постановке оперы «Иван Сусанин», о Московском зоопарке и т. д.

Всё было другим: представления о человеческих ценностях и отношения между людьми;

новый, уже установившийся быт, новая лексика и фразеология… Это был совсем другой мир, с которым предстояло знакомиться заново.

В этом новом мире Цветаева не была ни великим поэтом, ни даже знаменитым, а только женой секретного агента, плохо выполнившего свою миссию, женой, чье дальнейшее присутствие на Западе могло стать опасным. Неизвестно, знала ли Марина Ивановна, как она была охарактеризована в 60-м томе Большой Советской энциклопедии (1934): «представительница деклассированной богемы, Цветаева культивирует романтические темы любви, преданности, героизма и особенно тему поэта как существа, стоящего неизмеримо выше остальных людей».

Через 21 год и спустя 14 лет после гибели Марины Цветаевой в трехтомном Энциклопедическом словаре (1955) о Марине Цветаевой ни слова. На букву «Ц» представлены: цветная капуста, цветная металлургия, цветная фотография, упомянута Елена Цветкова — русская оперная певица (сопрано), но нет Марины Цветаевой. Для советских людей того времени она — никто.

Но вернемся в год 1939-й. «Дано мне отплытие / Марии Стюарт», — писала Цветаева. У английской королевы была своя трагедия, у Марины

Цветаевой — своя.

С 19 июня по 10 октября, в течение 115 дней, Цветаева проживала в Болшево, на даче, предоставленной НКВД, то есть под надзором. Дача была тесная, обстановка тяжелая, настроение ужасное. Однако несмотря на все трудности быта, семья была вместе. А потом семья поредела. 27 августа в ночь арестовали Алю — Ариадна Эфрон обвинялась по статье 58-6 (шпионаж) и получила 8 лет лагерей. 10 октября арестовали Сергея Эфрона (он был расстрелян через два года). В годы массовых реабилитаций оба они были реабилитированы «за отсутствием состава преступления». Цветаева лишилась дочери и мужа, осталась одна с Муром. Развалины семьи… Одна из записей того периода: «Живу без бумаг, газет, не видя никого… Мое одиночество, посудная вода, слезы. Обертон, ундертон всего — жуть…»

1940 — Цветаева пишет отчаянные письма-прошения. Об Эфроне: «это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности»… отпустите, «умоляю!». Еще письмо: «Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешите мне просимое свидание…» Никакого свидания, да и вообще, кто такая Цветаева для советской власти, что она

мельтешит под ногами?!.

Надо на что-то жить, и Цветаева хочет издать книгу — сборник стихотворений и поэм 1920–1940 годов, но при этом она не идет ни на какие компромиссы и хочет издать книгу именно так, как она ее составила. Естественно, книгу не издают. Основания сформулировал критик Корнелий Зелинский: «…поэт почти два десятилетия (и какие десятилетия) был вне родины, вне СССР. Он был в окружении врагов…» Да, и в стихах — «пустота, бессодержательность».

После нескольких квартирных скитаний Цветаева получает жилье на Покровском бульваре — комнату в коммунальной квартире на 7-м этаже. Цветаева боялась лифта и поднималась пешком по лестнице. Пишет мало и стихов, и писем. Запись в сентябре: «Ничего не записываю. С этим кончено».

1941 — несколько встреч с Анной Ахматовой и Арсением Тарковским. «У меня нет друзей, а без них — гибель». Из прежних знакомых Цветаевой ее поддержал лишь Пастернак. Он просил Фадеева принять Цветаеву в Союз писателей или хотя бы в члены Литфонда, что дало бы ей материальные преимущества, но получил отказ, ее приняли лишь в групком литераторов. Кое-какие

деньги давали переводы. Только однажды Цветаевой удалось опубликовать свое стихотворение в мартовском номере «30 дней», старые стихи 20-летней давности: «Вчера еще в глаза глядел…» да и то с сокращениями и под заголовком «Старинная песня». Художник Аркадий Штейнберг вспоминает, как встретил Цветаеву в Гослитиздате в очереди за деньгами: «Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом. И вдруг лицо ее преобразилось, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то только что вошедшему. Я оглянулся и увидел Арсения Тарковского…» Это было последнее увлечение Марины Цветаевой.

А дальше — война, эвакуация, безысходность и… веревка. Предсмертные записки: «Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет…» И Муру: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжко больна, это уже не я…»

Самоубийство Марины Цветаевой произошло 31 августа. До полных 49 лет оставалось 38 дней.

Отказываюсь – быть.

В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей —

так писала ранее Цветаева, а в Елабуге за поэтическим словом последовало практическое действие:

На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

Вот такую жизнь прожила Марина Цветаева — «единственная в своем роде в подлунном мире», по определению Иосифа Бродского. На Западе она говорила: «В России я поэт без книг, здесь поэт без читателей». Возвращение к читателям России произошло в 1956 году — в альманахе «Литературная Москва» были напечатаны 7 стихотворений Цветаевой. С 1961 года пошли сборники избранных произведений. Ну, а еще позднее — хлынул цветаевский книжный поток с гигантскими тиражами.

Творческое наследие Цветаевой — 800 лирических стихотворений, 17 поэм, около 50 прозаических вещей, свыше 1000 писем… В «Поэме конца» есть строки:

Помилуйте, это – дом?

Дом – в сердце моем. – Словесность.

* * *

Итак, Марина Цветаева покончила счеты с жизнью. Как профессиональный календарист, я не мог не поинтересоваться «соседями» Марины Ивановны по дню 31 августа. Три смерти:

1867 — Шарль Бодлер, 46 лет. Последние годы жил в нищете, впадая в прогрессирующее слабоумие. Во вступлении к своему знаменитому сборнику стихов «Цветы зла» Бодлер писал:

> *Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы*
>
> *Без дрожи ужаса хватаем наслажденья.*

1948 — не стало Андрея Жданова, сыгравшего роль сатрапа, инициатора гонений на Зощенко и Ахматову. В сентябре 1946 года Жданов выступил с позорно знаменитым докладом о журналах «Звезда» и «Ленинград», где между всего прочего заявил: «Почему вдруг понадобилось популяризировать поэзию Анны Ахматовой? Какое она имеет отношение к нам, советским людям?..».

1967 — Илья Эренбург, 76 лет. Его кредо: «Всё нарушал, искусства не нарушу».

На 31 августа падают и рождения:

1749 (по новому стилю) — родился Александр Радищев, писатель с печальной участью, покончивший, как и Цветаева, с собою…

1811 — французский писатель и критик Теофиль Готье, обосновавший теорию искусства для искусства.

Всё прах. – Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Статуя
Переживет народ…

1909 — Уильям Сароян, американский писатель. В пору борьбы с космополитизмом (1949 год) Сарояна советские критики обзывали «декадентом-утишителем».

Георгий Иванов: «Стихи и звезды остаются»

Глядя на огонь или дремля
В опьяненьи полусонном —
Слышишь, как летит земля
С бесконечным, легким звоном.

Слышишь, как растет трава,
Как джаз-банд гремит в Париже —
И мутнеющая голова
Опускается всё ниже.

Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо – навсегда уснуть,
Больше ничего не надо.

Георгий Иванов, сб. «Розы», Париж, 1931

Георгий Владимирович Иванов (1894, Студенки Ковенской губ. — 1958, Иер-де-Пальма под

Ниццей).

Лучезарное небо под Ниццей
Навсегда стало небом родным.

Поэт, прозаик, мемуарист.

«Стихи Георгия Иванова — соединение эпической сухости с балладной энергией» *(Н. Гумилев. Письма о русской поэзии).*

«Он высокий и тонкий, матово бледный, с удивительно красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными, резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И… черная челка до самых бровей. Эту челку придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему, очень неудачно придумал.

Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по “трудным временам”. Темно-синий, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной.

…Он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали “Общественное мнение”…» *(И. Одоевцева. На берегах Невы).*

«Молодой, бодрый, чуть прилизанный, остроумный и часто задирчивый, но вместе с тем с каким-то душевным надломом. Это сразу в нем

чувствовалось, да, собственно, он и не пытался свою “уязвимость” скрывать» *(А. Бахрах. Из нигилизма и музыки).*

В рецензии на сборник «Горлица» (Петербург, 1914) Александр Блок писал:

«…Книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом — один из самых ярких, потому что автор — один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века: — проявление злобы действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам — возмездие».

«Зарезанного цивилизацией» — как Блок точно определил! Цивилизацией, временем, революцией, эмиграцией, болезнью, судьбою…

У меня к Георгию Иванову особое, личное отношение. В мае 1980 года приятель дал мне на одну ночь (и чтобы никому не показывать! — крамола!..) сборник стихов неведомого (это в 1980-м!) Георгия Иванова, привезенный нелегально, тайно, из Парижа… Книгу я прочитал залпом и выписал из нее множество стихов для своей коллекции, которую собираю еще со школьных лет. А затем в стол написал текст о поэте, с обильным

цитированием его строк. Меня он поразил: «Я не помню у кого-нибудь такого глубокого отчаяния, такого мощного сгустка печали, такой черной тоски, как у Георгия Иванова».

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат,
Балтийское солнце садилось
На синий и дальний Кронштадт.

И так широко освещало
Тревожное море в дыму,
Как будто еще обещало
Какое-то счастье ему.

Он трезво смотрел на жизнь. Не ждал «ни счастья, ни солнечного света». А молил о самой малости:

На этот бледный лоб немного льду,
Немного жалости на сердце это.

В те годы мало кто знал о Георгии Иванове, он был не «наш» поэт, не советский… Я написал материал о Георгии Иванове «Вернуться в Россию стихами…» и послал его в редакцию журнала «Отчизна», где печатались материалы об эмигрантах. Мой опус долго согласовывали в ЦК,

мурыжили, тужились и не решились на публикацию. Лишь через несколько лет, когда наступила пора гласности, появились первые публикации об ошеломившем меня поэте.

В 2007 году вышла моя книга «99 имен Серебряного века», и в ней моя давняя любовь — Георгий Иванов. Вот это представление с некоторыми сокращениями.

…Среди поэтов-эмигрантов Серебряного века Георгий Иванов, пожалуй, был единственным, кого вычеркнули из истории литературы за его явно антисоветские стихи, к примеру, такие:

Россия, Россия «рабоче-крестьянская» —
И как не отчаяться! —
Едва началось твое счастье цыганское,
И вот уж кончается.

Деревни голодные, степи бесплодные…
И лед твой не тронется —
Едва поднялось твое солнце холодное.
И вот уже клонится.

(1930)

Литературная энциклопедия (1966) с неприязнью написала: «Стихи И. насыщены настро-

ениями неясной тоски, утомленности, эротич. мотивами, романтич. картинами старины; их лирич. герой весь в прошлом, он растерян и ищет утешения в религии».

Так кто он такой, Георгий Иванов? Отец — дворянин, бывший военный, мать из родовитой голландской семьи, баронесса Вир ван Бренштейн (из-за нее поэта в молодые годы звали «баронессой»). Как и у Блока, у Георгия Иванова детство было поистине золотое: живописное имение с великолепным парком и прудами, любящие родные, комфортный быт, частые приемы, музыкальные вечера, пикники и фейерверки. А потом все исчезло. Имение сгорело, отец покончил жизнь самоубийством.

Согласно семейной традиции, Георгий Иванов избрал военное поприще: поступил во Второй кадетский корпус в Петербурге, но курс не закончил. Юного кадета увлекла поэзия.

Блок отнесся к стихам начинающего поэта с бережным вниманием. Перед Блоком Георгий Иванов благоговел: «Залита солнцем большая мансарда, Ваш лик в сиянье, как лик Леонардо» («Письмо в конверте»). И до конца своей жизни Георгий Иванов сохранил память об Александре Блоке. Отзвук блоковских мелодий часто слы-

шится в его стихах:

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.

Дебют Георгия Иванова в печати состоялся в 1910 году в журнале «Все новости литературы, искусства, техники и промышленности». Решив стать профессиональным литератором, Георгий Иванов оставил кадетский корпус вопреки желанию матери и сестры.

Первая книга «Отплытие на о. Цитеру», как вспоминал на закате своих лет Георгий Иванов, «…целиком написана на школьной парте роты его величества… Вышла осенью 1911 года в 200 экз… Через месяц после посылки этой книжки в “Аполлон” — получил звание члена “Цеха поэзии”. Вскоре появились очень лестные отзывы Гумилева в “Аполлоне” и Брюсова в “Русской мысли”. И я легко и без усилий нырнул в самую гущу литературы, хотя был до черта снобичен и глуп» (письмо В. Маркову от 7 мая 1957 года).

Георгий Иванов — участник столичной жизни, завсегдатай «Бродячей собаки», самого популярного литературного кафе дореволюционных

лет. Вино, женщины, горячие споры, неуемные фантазии.

Над розовым морем вставала луна,
Во льду леденела бутылка вина,
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

Эти строки Георгия Иванова стали одной из песенок Александра Вертинского. Всё, что пишет Георгий Иванов, изящно и красиво. Гумилев отмечает «безусловный вкус» и «неожиданность тем и какую-то грациозную глуповатость в той мере, в какой ее требовал Пушкин» (журнал «Аполлон», 1912).

Талант, ум, вкус в стихах Георгия Иванова отмечал и Блок. Общее мнение о раннем Георгии Иванове, пожалуй, подытожил внимательный летописец времени Корней Чуковский: «Какой хороший поэт Георгий Иванов, но послал бы ему Господь Бог простое человеческое горе, авось бы в своей поэзии почувствовалась душа».

Друг Георгия Иванова Георгий Адамович писал о том же: «Разве только случится с ним какая-нибудь житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья».

И Корней Чуковский, и Адамович исходили из старой проверенной формулы: поэта делает страдание. А коли его нет, то нет и истинной поэзии. Горе и страдание пришли вместе с революцией в октябре 1917 года и почти всех коснулись сразу. Гумилев был расстрелян. Блок задохнулся в бездуховной атмосфере. А вот Георгий Иванов сначала и не почувствовал особых перемен, гнета и давления новых властей. Все дело в том, что он как поэт развивался медленно и по-настоящему во весь голос заговорил уже в эмиграции. Как большой поэт он по существу родился вне родины.

Пять лет Георгий Иванов прожил в советизированной России. Активно работал, сотрудничал со многими журналами, с издательством «Всемирная литература», переводил. Отстраняясь от политики, упивался культурой.

О муза! Гофмана я развернул вчера
И зачитался до рассвета…

Вместе с Георгием Адамовичем он возглавил второй «Цех поэтов», вокруг которого группировалась талантливая молодежь: Ирина Одоевцева, Всеволод Рождественский, Сергей Нельхиден и другие. Академические штудии проходили на фоне хозяйственной разрухи, голода и холода.

Долго жить в такой обстановке было трудно, и Георгий Иванов добивается командировки в Берлин «для составления репертуара государственных театров» и осенью 1922 года вместе со своей второй женой Ириной Одоевцевой покидает родину.

«1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..» (Г. Иванов. «Петербургские зимы»).

Покинув Россию, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева жили сначала в Берлине. Потом перебрались в Париж. Когда началась война, супруги переехали в Биарриц. Потом снова Париж. Денег не было. Стихи никто не покупал. И что осталось?

Я не знал никогда ни любви, ни участья.
Объясни, что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?..

Ледяное, волшебное слово: Тоска.

Конечно, не все было мрачно. Случались и про-

светы. Радость приносила работа. Георгий Иванов и Адамович были очень авторитетны среди литераторов в эмиграции. Они были властителями дум русского Монпарнаса, создали особый стиль, «парижскую ноту», как тогда говорили, объединили многих молодых писателей и поэтов тех лет. Георгий Иванов помог талантливому поэту Борису Поплавскому. Открыл поэта Владимира Смоленского. Оказал поддержку и многим другим. Но, как известно, другим помогать легче, чем самому себе. К тому же Георгий Иванов был мало приспособлен к добыванию денег, и в некоторые периоды жизни они жили преимущественно на гонорары от рассказов и романов Одоевцевой.

Георгий Иванов тяжело переживал разлуку с Россией. Никуда не ездил, не желал путешествовать, из французских писателей читал одного лишь Стендаля.

В 1931 году вышел сборник Георгия Иванова «Розы», и, по замечанию маститого литературоведа Константина Мочуль-ского, Георгий Иванов «перестал быть изысканным стихотворцем, став поэтом». По отзывам других ценителей поэзии, Георгий Иванов превратился в «королевича» русской поэзии.

Над закатами и розами —

Остальное все равно —
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено.

Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.

Все другое – только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.

«В годы эмиграции, — писал В. Завалишин, — Георгий Иванов как поэт сильно рос, достиг высокого формального совершенства… от Верлена Георгий Иванов взял прежде всего умение превращать слово в музыку, с ее тончайшими нюансами. Но при этом поэзия Иванова не утрачивает пушкинской чистоты и прозрачности. Сделав ритм своих стихов по-новому музыкальным, что позволило воспроизвести сложные оттенки настроений, Георгий Иванов не отрекся

от ясновидящей чеканности классического стиха. В этом сочетании музыкальности и классичности — секрет обаяния поэзии Иванова… Поэзия Георгия Иванова воспринимается как траурный марш, под скорбную и величественную музыку которого уходит в сумрак былая Россия…»

Из новой России шли тяжелые вести о репрессиях, о лагерях, о гибели многих писателей и поэтов. Особенно горько переживал Георгий Иванов гибель Мандельштама, друга своей юности. Отсюда его строки:

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу…

Поэт действительно летел в пропасть: болезни и нищета, «старческий дом» на юге Франции. Написанный Георгием Ивановым «Посмертный дневник» — один из самых пронзительных документов, отчеканенный в великолепных стихах. В нем он обращается к прошлому, к Пушкину:

Вы мне всё роднее, вы мне всё дороже,
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже

Захлебнуться горем, злиться, презирать,

Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

Георгий Иванов скончался, немного не дожив до 64 лет, на больничной койке. Он оставил нам блестящие воспоминания о Серебряном веке: «Петербургские зимы», мрачную и апокалипсическую книгу «Распад атома» (1938), неоконченный роман «Третий Рим» и «Посмертный дневник» (1958) — по существу реквием, моцартианский по музыке, шекспировский — по духу.

Георгий Иванов, воплотивший в своих стихах трагизм существования, по оценке Романа Гуля, был единственным в русской литературе экзистенциалистом, экзистенциализм которого уходит корнями «в гранит императорского Петербурга».

В заключение сделаем — нет, не рекламную паузу, а стихотворную, — и почитаем отдельные строки и стихотворения Георгия Иванова.

* * *

Холодеет осеннее солнце и листвой пожелтевшей играет, Колыхаются легкие ветки в

синеватом вечернем дыму — Это молодость наша уходит, это наша любовь умирает, Улыбаясь прекрасному миру и не веря уже ничему.

* * *

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

1930

* * *

По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим,
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Opera взорвать?
Иль просто – лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться...

* * *

Страсть? А если нет и страсти?
Власть? А если нет и власти
Даже над самим собой?
Что же делать мне с тобой.

Только не гляди на звезды,
Не грусти и не влюбляйся,
Не читай стихов певучих

И за счастье не цепляйся —

Счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,
Камнем в море утонуло,
Рыбкой золотой плеснуло,
Льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать —
Или жить, как все на свете,
Или умирать.

* * *

...Паруса уплывают на север,
Поезда улетают на юг,
Через звезды, и пальмы, и клевер,
Через горе и счастье, мой друг.

Всё равно – не протягивай руки,
Всё равно – ничего не спасти.
Только синие волны разлуки,
Только синее слово «прости».

И рассеется дым паровоза,

И плеснет, исчезая, весло…
Только вечность, как темная роза,
В мировое осыпется зло.

* * *

Что-то сбудется, что-то не сбудется.
Перемелется всё, позабудется…

Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава!

…Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

* * *

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
Забывать никогда не научимся…

Спит спокойно и сладко чужая страна.
Море ровно шумит. Наступает весна

В этом мире, в котором мы мучимся.

* * *

Всё чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
«Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.

Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно, ничего!

* * *

Всё представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники,

Темные волны прекрасной реки...
Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, всё пустяки.

...Вот вылезаю, как зверь из берлоги я,
В холод Парижа, сутулый, больной...
«Бедные люди» – пример тавтологии,
Кем это сказано? Может быть, мной.

* * *

Рассказать обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках?

Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах?

Для чего?
Тишина под парижским мостом.
И какое мне дело, что будет потом.

* * *

В громе ваших барабанов

Я сторонкой проходил —
В стадо золотых баранов
Не попал. Не угодил.

А хотелось, не скрываю, —
Слава, деньги и почет.
В каторге я изнываю,
Черным дням ведя подсчет.

Сколько их еще до смерти —
Три или четыре дня?
Ну, а все-таки, поверьте,
Вспомните и вы меня.

* * *

(Из стихотворения, посвященного Ирине Одоевцевой)

...Я даже вспоминать не смею,
Какой прелестной ты была
С большой охапкою сирени,
Вся в белом, в белых башмаках,
Как за тобой струились тени
И ветра ласковый размах

Играл твоими волосами
И теребил твой черный бант…

– Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?

* * *

Звезды синеют. Деревья качаются.
Вечер как вечер. Зима как зима.
Всё прощено. Ничего не прощается.
Музыка. Тьма.
Все мы герои и все мы изменники,
Всем, одинаково, верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?

* * *

Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —

Одни снега, снега, поля, поля…

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия – только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

* * *

Теперь тебя не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но – русский человек устал…

Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться,
А может быть, – пора на слом…

…И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом!

* * *

Пускай царапают, смеются,
Я к этому привык давно.
Мне счастье поднеси на блюдце —
Я выброшу его в окно.

Стихи и звезды остаются,
А остальное – всё равно!..

2. Эмигранты поневоле

2 ЭМИГРАНТЫ ПОНЕВОЛЕ



Что такое поневоле? Согласно словарю, вопреки желанию, независимо от него. Просто революционные события в России застали кое-кого за пределами России, возвращаться было опасно, они там и остались. Эмигранты поневоле. Остановимся лишь на двух — на Леониде Андрееве и Игоре Северянине. Первого революция застала в Финляндии, другого — в Эстонии. На финской и эстонской земле оба писателя нашли покой.

Леонид Андреев кричал: «Верните Россию!»

Леонид Николаевич Андреев (1871, Орел — 1919, деревня Нейвала близ Мустамяки, Финляндия. В 1956 году его прах перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде). Прозаик, драматург, публицист.

Построил дачу в Финляндии, знакомым сказал: «Юга не люблю, север — другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Корней Чуковский писал об Андрееве: «…тяготение к огромному, великолепному, пышному сказывалось у него на каждом шагу. Гиперболическому стилю его книг соответствовал гиперболический стиль его жизни. Недаром Репин назвал его “герцог Лоренцо”. Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты. Как величаво являлся он гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую! Если бы в ту пору где-нибудь грянула музыка, это не показалось бы странным».

Георгий Чулков в воспоминаниях «Годы стран-

ствий» подчеркивал еще одну черту Леонида Андреева — «он был русским скитальцем… был сыном своего времени, он был весь в предчувствии катастрофы».

В моей книге о писателях Серебряного века он представлен так.

«Большая Советская энциклопедия (БСЭ) в 1950 году писала о Леониде Андрееве: «Развивая традиции Достоевского, Андреев как писатель шел к изображению патологической психологии, инстинктов и раздвоения сознания. Для драматургии Андреева характерны крайний схематизм, трескучая риторика, фантастика кошмаров и ужасов… Типичный представитель реакционно-идеалистической упадочной литературы».

Вот так наотмашь! Советскому читателю, мол, Леонид Андреев и вовсе не нужен. «Упадочная литература». Правда, позднее все ярлыки с Андреева сняли и именовали его просто: русский писатель.

Так в чем «упадочность»? Корней Чуковский вспоминает, как Леонид Андреев любил закатывать монологи о смерти: «То была его любимая тема. Слово “Смерть” он произносил особенно — очень выпукло и чувственно: смерть, как неко-

торые сластолюбцы — слово “женщина”. Тут у Андреева был великий талант: он умел бояться смерти, как никто. Тут было истинное его призвание: испытывать смертельный отчаянный ужас. Этот ужас чувствуется во всех его книгах…».

Лев Толстой добродушно-насмешливо говорил про Леонида Андреева: «Он пугает, а мне не страшно».

Иннокентий Анненский в «Книге отражений» отмечал: «Русский писатель, если только тянет его к себе бездна души, не может более уйти от обаяния карамазовщины…». И далее Анненский писал: «У Леонида Андреева нет анализов. Его мысли, как большие сны, выпуклы: иногда они даже давят, принимая вид физической работы…».

Сам Леонид Андреев признавался: “Пишу я трудно. Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным… мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок…”

И тем не менее, по мнению Бориса Зайцева, «Леонид Андреев как-то сразу поразил, вызвал восторг и раздражение… Его имя летело по России. Слава сразу открылась ему. Но и сослужила плохую службу: вывела на базар, всячески стала

трепать, язвить и отравлять».

В начале XX века Леонид Андреев — один из наиболее популярных авторов. Каждое его новое произведение обсуждается критикой, часто вызывая острые дискуссии. Кому-то писатель казался неубедительным и вызывал отторжение. Кому-то он очень нравился и вызывал даже восторг. В «Силуэтах русских писателей» Юлий Айхенвальд посчитал Леонида Андреева «самым необязательным и неубедительным из беллетристов». И дал окончательную оценку: «Виртуоз околесицы, мастер неправдоподобия». Александр Блок, напротив, прочитав рассказ «Тьма», обратился к Леониду Андрееву со словами: «“Тьма” — самая глубокая, самая всеобъемлющая, самая гениальная из всего, что вы написали!»

Похвала Блока пришлась на время расхождения Леонида Андреева с символистами. Писатель оказался чужим в их лагере. Дмитрий Мережковский отмечал, что «мистика Достоевского по сравнению с мистикой Андреева — солнечная система Коперника по сравнению с календарем».
Разошелся

Леонид Андреев и с реалистами. Жизнь, по Андрееву, — это хаотический и иррациональный поток бытия, в котором человек обречен на оди-

ночество. С такой позицией был категорически не согласен Горький. «Буревестник революции» верил в разум, а Леонид Андреев — нет. Разум, как считал Леонид Андреев, — это порождение зла *(«Дневник сатаны»).*

В 1908 году Леонид Андреев поселился в финской деревне Ваммельсу в роскошном доме и жил там на широкую ногу. Путешествовал на собственной яхте, занимался цветной фотографией, живописью, спортом, постоянно «разбирался» с любимыми женщинами (одна из его Любовей — молодая актриса Алиса Коонен, которая его отвергла).

В начале Первой мировой войны писатель призывал к разгрому германского «цезаризма». Но, пережив угар войны, понял всю ее пагубность. Написал повесть «Иго войны. Признания человека о великих днях».

1917 год. Короткая вспышка любви к Февральской революции (мы — «первые и счастливейшие граждане свободной России») и полное неприятие Октября.

Увидев, как «по лужам крови выступает завоеватель Ленин», Леонид Андреев с ненавистью обрушился на установившуюся в России большевистскую диктатуру. Об этом он яростно писал

в письмах, в дневнике, в статьях. «Вообще, я думаю, Ленин относится к человеку с величайшим презрением и видит в нем только материал, как видели все революционеры, тот же Петр Великий. И разница между Петром Великим и Лениным не в революционном духе и страсти, одинаковых у обоих, а в уме. Будь Ленин умнее, он стал бы Преобразователем России, сейчас он — ее губитель». С гибнущей Россией «ушло, — по мнению писателя, — куда-то девалось, пропало то, что было творчеством». И крик: «Я на коленях молю вас, укравших мою Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните…»

Трагедия Леонида Андреева — трагедия сострадания. Он воспринимал боль России как свою личную боль, ее трагедию — как трагедию собственную.

В 1994 году в двух издательствах в Москве и Петербурге вышли книги «Верните Россию!..» (сборник публицистики Леонида Андреева 1916–1919 годов) и «S.O.S.» (дневник, 1914–1919, письма, статьи и интервью, воспоминания современников). Как написал один из рецензентов: «Такого Андреева мы не знали». Это надо обязательно читать. Потрясающие документы человеческого страдания и боли.

За три дня до своей смерти Леонид Андреев писал в письме к Василию Бурцеву: «А какой вид будет имеет Россия, когда уйдут большевики? Страшно подумать. Больше всего меня страшит страшная убыль в людях. С одной стороны, защищая себя, большевизм съел среди рабочих и демократии всё наилучшее, сильнейшее, более других одаренное. Это они в первую голову гибли на бесчисленных фронтах в бесчисленных сражениях и кровопролитиях. И наоборот: наиболее трусливое, низкое и гнусное остается в ихнем тылу, плодится и множится и заселяет землю — это они палачествуют, крадут, цинически разрушают жизнь в самых основаниях. С другой стороны, нападая, он съел огромное количество образованных людей, умертвил их физически, уничтожил моральной своей системой подкупов, прикармливания…»

Это было написано в сентябре 1919 года, задолго до «философского парохода», истребления кулачества как класса, судебных процессов над неугодными и массовым террором 1937 года. Леонид Андреев оказался истинным провидцем.

А как злободневно звучит такой короткий диалог из рассказа «Так было» (1906):

«– Нужно убить власть, — сказал первый.

— Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство».

Писатель не чуял своей кончины и собирался в поездку. В письме к И. Гессену он сообщал: «Еду в Америку. Там читаю лекции против большевиков, разъезжаю по штатам, ставлю свои пьесы… и миллиардером возвращаюсь в Россию для беспечной маститой старости».

Тут Леонид Андреев не угадал. Никакой старости. Умер 12 сентября 1919 года, прожив всего лишь 48 лет. Скончался скоропостижно от паралича сердца. Писательское сердце не выдержало сильного напора страданий. Прах Леонида Андреева покоится на Литераторских мостках Волковского кладбища в Петербурге.

* * *

У Леонида Андреева было два сына: **Вадим** (1902–1976) и **Даниил** (1908–1959). Два яблока от яблони укатились в разные стороны, и судьба у них сложилась разная.

Вадим Андреев не вернулся в Россию. Учился в Берлинском университете и в Сорбонне. Во время войны сражался в рядах французского Сопротивления. Писал стихи под псевдонимом Сергей Осокин. Был просоветски настроен и спокойно

вернулся в Союз. Работал в ЮНЕСКО в Женеве, где и скончался 20 мая 1976 года. Оставил роман о годах войны — «Дикое поле».

Короче, у Вадима все относительно спокойно и благополучно, а вот у Даниила — всё трагично. Он был одаренным поэтом и глубоким мыслителем. В 1937 году написал пророческие строки:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу – не ввысь, но вглубь тюрьмы,
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные – отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?

Именно в 1937 году Даниил начал писать роман об интеллигенции «Странники ночи», но гроза еще не разразилась над его головой (висело клеймо «сын Леонида Андреева»)… Во время войны

Даниил был признан нестроевым и участвовал в ней санитаром. Написал поэму «Германцы», не созвучную с позицией власти, его архив был уничтожен, а за самим пришли с арестом в апреле 1947 года. Даниилу Андрееву впаяли 25 лет тюрьмы, а его жене Алле — 25 лет лагерей.

После смерти Сталина последовала реабилитация, но на свободе Даниил прожил немного. Как сыну Леонида Андреева (новые веяния) ему выписали даже небольшую пенсию и выдали небольшой отцовский гонорар, на который Даниил купил пишущую машинку. Умер Даниил Леонидович 30 марта 1959 года в 53 года. В 1991 году увидела свет его «Роза мира» — итог философских раздумий и мистических откровений, и эта книга мгновенно стала для многих учебником русской духовности.

Игорь Северянин – брызги и осколки от шампанского

Мои стихи – туманный сон.
Он оставляет впечатление…
Пусть даже мне неясен он, —
Он пробуждает вдохновение…

О люди, дети мелких смут,
Ваш бог – действительность угрюмая.
Пусть сна поэта не поймут, —
Его почувствуют, не думая…

Игорь Северянин, 1909

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев, 1887 — Петербург — 1941, Таллин). Поэт, лидер эгофутуристов. В одном из писем Георгия Шенгели Шкапской (25 апреля 1924 года) можно прочитать:

«Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал. Все его стихи — сплошное издевательство над всеми и всем, и над собой. Вы знает, что Игорь никогда (за редчайшим ис-

ключением) ни с кем не говорил серьезно? Ему доставляло удовольствие пороть перед Венгеровым чушь и видеть, как тот корежится «от стыда за человека». Игорь каждого видел насквозь, непостижимым чутьем, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника — но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения».

А вот мнение Владислава Ходасевича: «Многое в Игоре Северянине — от дурной современности, той самой, в которой культура олицетворена в биплане, добродетель заменяется приличием, а красота — фешенебельностью.

Пошловатая элегантность врывается в поэзию Северянина, как шум улицы в раскрытое окно» («Русская поэзия»).

Начало XX века напоминало мрачное удушье перед мировой грозой. Предгрозье, как надвигающийся трагизм жизни, ощущалось всеми, особенно интеллектуалами и читающей публикой. Что делать и где скрываться? Уходить в «изящную» мечту, расписанную символистами, не хотелось: уж больно абстрактно. Все начинали уставать от бесполых символистов, от неврастенично-болезненных декадентов, от витиевато-заумных модернистов. Просвещенному народу хотелось

реально ощутимого: яркой и брутальной жизни. Набирающий силу буржуазный бомонд жаждал здоровых развлечений и отвлечений с изрядной долей пряного эротизма. Этот исторический момент гениально угадал Игорь Северянин.

На долю Игоря Северянина выпало много хулы и хвалы. Его поэзию возносили до небес и низвергали в грязь. Полярность суждений, мнений и оценок удивительна, но при всем этом нельзя забыть факт, когда 27 февраля 1918 года в Москве в переполненном зале Политехнического музея состоялось «состязание на звание короля поэзии, звание присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» (газета «Власть народа»). Первое место занял Игорь Северянин, второе — Маяковский, третье — Бальмонт…

В связи с избранием Северянин горделиво писал:

Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре…

Я так велик и так уверен

В себе, настолько убежден,
Что всех прощу и каждой вере
Отдам почтительный поклон…

Я избран королем поэтов —
Да будет подданным светло!

Дореволюционный Игорь Северянин — это вечера, поэзоконцерты, встречи, рестораны. И море удивительных стихов — изысканные сюрпризы, капризничающие слова. Долой условности, да здравствуют чувства с призывом:

Вонзите штопор в упругость пробки, —
И взоры женщин не будут робки!

Или: «Ананасы в шампанском», «Ты пришла в шоколадной шаплетке…».

И еще:

От грез кларета – в глазах рубины,
Рубины страсти, фиалки нег.

Можно привести эпизод, когда один из знакомых Северянина приехал в гости к нему на его мызу, где всюду цвела сирень. Дача сиреневая, песок сиреневый, сирень — в кадках. Входит Северянин в сиреневом пиджаке, выводит женщину в сиреневом платье и говорит: «Знакомьтесь!

Моя 116-я!» Разумеется, звонкая гипербола, в духе Игоря Васильевича. Об этой мызе в Эстонии он писал:

Здесь царство в некотором роде,
И оттого, что я – поэт,
Я кровью чужд людской породе
И свято чту нейтралитет.

Блеск огней, вино, женщины. Всё вращалось, как карусель, вокруг «короля поэзии» Игоря Северянина:

Домик. Нежно и уютно. Упоенье без оглядки.
Валентина безрассудна! Валентина влюблена!..

Упоенье жизнью, сплошной гедонизм, и лишь иногда прорывалось разочарованье:

В деревне хочется столицы…
В столице хочется глуши…
И всюду человечьи лица
Без человеческой души…

В мае 1915 года Северянин признавался:

Я тяготился отчего-то,

Себя пытаясь обмануть.
Халатность это или лень —
Я не задумывался много

И, положась на милость Бога,
Всё верил в поворотный день.

И вот этот поворотный день, а точнее 1917-й год, настал. Сначала Февраль с его обещаниями разных свобод, а потом грозный Октябрь с грабежами, насилием и растаптыванием только что полученных свобод.

Революция Игорю Северянину, как и многим российским интеллигентам и литераторам, виделась как очищающая гроза: вся грязь будет сметена, и расцветут яркие цветы. И, как провозглашал поэт,

И невозможное возможно
В стране возможностей больших!

Но реальность обернулась разгулом террора, насилием, новым варварством.

Сегодня «красные», а завтра «белые» —
Ах, не материя! ах, не цветы! —
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты…

Новые времена — новые песни:

Нет табаку, нет хлеба, нет вина, —
Так что есть тогда на этом свете?!

Красный конь революции на бешеном скаку выбросил из седла всадника с тонким, нервным, вытянутым в рюмочку лицом. Революционные бури застали Северянина в Эстонии, в местечке Тойла, там он и остался на берегу Финского залива. В Россию он больше не вернулся, хотя хотел и рвался.

Прошлое мгновенно улетучилось, а вместе с ним и легкая, поющая, ироническая поэзия. Северянин стал иным, иными стали и его стихи. Сначала он возмущался:

С ума сойти – решить задачу:
Свобода это иль мятеж?
Казалось, всё сулит удачу, —
И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревых теорий
И практика – мрачней могил…
Какая ширь была во взоре!
Как стебель рос! и стебель сгнил…

Как знать: отсталость ли европья?

Передовитость россиян?
Натура ль русская – холопья?
Сплошной кошмар. Сплошной туман…

Игорь Северянин с ужасом увидел, что с революцией резко понизился культурный уровень народа. И это изменение он зафиксировал в стихотворении «Их культурность» (сб. «Менестрель», Берлин, 1921).

Мне сказали однажды:
«Изнывая от жажды
Просвещенья, в России каждый, знай, гражданин
Точно любит искусство,
Разбираясь искусно
Средь стихов, средь симфоний,
средь скульптур и картин».

Чтобы слух сей проверить,
Стал стучаться я в двери:
«Вы читали Бальмонта, – Вы и Ваша семья?»
– «Энто я-то? аль он-то?
Как назвали? Бальмонта?

Энто что же такое? не пойму что-то я.

Может, энто письмовник?

Так читал нам садовник.

По прозванью Крапива – ик! —

Крапива Федул.

Может, энто лечебник?

Так читал нам нахлебник,

Что у нас проживает: Парамошка Разгул.

Может, энто оракул?» —

Но уж тут я заплакал:

Стало жаль мне Бальмонта, и себя, и страну:

Если «граждане» все так —

Некультурнее веток,

То стране такой впору погрузиться в волну!..

Одному из редких гостей, навестивших Северянина в эмиграции, поэт пожаловался:

— Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателей. Я теперь пишу стихи, не записываю их и потом навсегда забываю…

— На какие же средства вы существуете?

— На средства Святого Духа, — бесстрастно ответил Игорь Северянин.

* * *

Игоря Северянина я любил со школьных лет, а когда вступил на литературную дорогу, то несколько раз писал о нем. Главу о жизни поэта в эмиграции из моей книги «Ангел над бездной» (2001) перепечатываю полностью.

Эмиграция: нужда и ностальгия

В январе 1918 года Северянин покинул голодный, холодный и опасный Петроград, и с этого дня началась его жизнь на чужбине, хотя эта чужбина, эстонская Тойла, ему была знакома еще с предреволюционных времен. Когда в 1930 году его назвали эмигрантом, Северянин обиделся и гордо сказал:

— Прежде всего, я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 года. В 1921 году принял эстонское гражданство. Всегда был вне политики… У меня даже стихи есть: «Долой политику — сатанье наваждение!».

Итак, дачник. И вне политики. Жил в Эстонии. Несколько раз выезжал в Европу: Берлин, Париж, Югославия, Румыния, Польша, Болгария… Гастролировал с концертами. Читал стихи. Но уже без всякой былой звонкой славы. Писал и печатал стихи, и хотя они были хороши (на новом витке творчества), но прежнего оглушительного успеха не было. Наоборот, все шло тяжело и натужно. В одном из писем к Шенгели Северянин как бы подвел итоги:

«…Минутами я чувствую, что я не вынесу безработицы, что никогда не оправлюсь в этом климате, в этой комнате, вообще — в этих условиях. Душа тянется к живому труду, дающему право на культурный отдых. Последние силы иссякают в неопределенности, в сознании своей ненужности. А мог бы, мне кажется, еще быть во многом полезным своей обновленной родине! И нельзя жить без музыки, без общения с тонкими и проникновенными людьми. А здесь — пустыня — непосильный труд подруги и наше общее угасание. Изо дня в день. Простите за этот вопль, за эти страшные строки: я давно хотел сказать (хоть сказать!) Вам это. Моя нечеловеческая бодрость, выдержка и жизнерадостность всегдашняя порою (и часто-часто) мне стали изменять. Я жажду

труда, дающего свои деньги, и отдыха заслуженного, а не бессмысленного. Любящий Вас Игорь».

Крик души. Но еще в апреле 1920-го Северянин написал свою «Поэзу отчаянья»:

Я ничего не знаю, я ни во что не верю,
Больше не вижу в жизни светлых ее сторон…

Северянин изверился, потому что жизнь круто переменилась. В Петербурге он был кумиром толпы. На его пьезоконцертах женщины млели от восторга. И все это кануло, ушло в прошлое. В ноябре 1924 года он выступил в Риге — и что? Рижская газета «Народная мысль» высмеяла поэта сначала в язвительной рецензии, а потом в сатирических стихах:

Очень гордо, в вестончике черном,
Он вчера на эстраду взошел.
Ввысь уставился взглядом упорным
И пошел… и пошел… и пошел.
Пел о том, что, увы, на Камчатке
Нет культуры и даже в зачатке,
Что, по мненью одной шансонетки,
Неприемлем биплан без кушетки,

Что поэту порой у бассейна
Воды грезятся, мнятся кисейно…
Так далее – чушь extra fin,
И затем, et puis, et enfin:
Что он птичка и вне всяких критик —
Он единственно-приторный нытик,
Величайший в сем мире поэт,
Каких не было раньше и нет…

Что ж, отчасти верно. «Северянщина» устарела. Вышла из моды. Но Северянин стал со временем принципиально иным поэтом — более сдержанным, более сердечным, более размышляющим, более человечным. Однако именно такого Северянина читающая публика не желала приветствовать. Старый Северянин с сиренями и ноктюрнами уже не прельщал. Новый — с тоскою в сердце и со слезой на глазах — был толпе не нужен.

Что оставалось?

Сам от себя – в былые дни позера,
Любившего услад дешевый хмель, —
Я ухожу раз в месяц на озера,
Туда, туда – «за тридевять земель»…

Так пишет Северянин в стихотворении «Вода примиряющая» (сентябрь 1926 года).

Люблю сидеть над озером часами,
Следя за ворожащим поплавком,
За опрокинутыми в глубь лесами
И кувыркающимся ветерком…

И концовка стихотворения, полная боли и слез:

Так как же мне от горя и позора
К ненужью вынуждающей нужды
Не уходить на отдых на озера,
К смиренью примиряющей воды?..

Некогда яркая, широкая и громкокипящая жизнь Северянина в те эмигрантские дни свелась к простоте и незатейливости: летом — природа и рыбная ловля, превратившаяся в страсть, любимейшая книга — Аксаков, «Об уженье рыбы», голубая лодочка «Ингрид», а зимой — снег выше окон, лыжи, стихи, творчество и перечитывание классиков…

Здоровый образ жизни — скажет кто-то из читателей. Так-то оно так. Но ведь еще и кушать надо… А безденежье — постоянная петля на шее

поэта. Хорошо, что нашлась добрая душа — Августа Баранова, которая любила стихи Северянина и помогала ему в течение ряда лет, была для него как Надежда фон Мекк для Чайковского. Августа жила в Швеции, работала в стокгольмском отделении Российской железнодорожной миссии. Туда, в Стокгольм, и летели письма-просьбы-исповеди Игоря Северянина:

«Если бы Вы, дорогая Августа Дмитриевна, выручили меня, я с такой нежной благодарностью приветствовал бы Вашу сердечность!»

«Всё та же нужда, вопиющая, ужасающая, тем более мрачная, что мать жены совсем измучилась с ведением хозяйства, не получая от меня никаких подкреплений. Сидим буквально на одном картофеле и хлебе с чаем… Если бы Вы жертвовали ежемесячно, только до осени, когда-то прославленному, ныне душимому нуждой русскому лирику по 30 крон, он благословлял бы Вас…»

Неловко просить? Это, конечно, Северянин понимает и от неловкости начинает кокетничать в духе себя прежнего, молодого: «…Вы исполните мою просьбу? Правда? Ну пожалуйста, я очень-очень хочу этого. Ах, Августа Дмитриевна, ведь я как ребенок! Неужели Вы не чувствуете, не

видите этого? Так что же Вам, доброй и мудрой, стоит побаловать ребенка?»

В другом письме: «… А я буду и малому рад: много ли мне, соловью, нужно?!.»

И вновь:

«Я так устал, мой друг, от вечной нужды, так страшно изнемог, так изверился в значении Искусства, что, верите или нет, нет больше (по крайней мере теперь пока) ни малейшего желания что-либо писать вновь и даже ценить написанное. Люди так бесчеловечны, так людоедны, они такие животные, говоря с грустной — щемящей сердце — откровенностью. Так не нужны они мне, так несносны, не меньше, о, не меньше, чем я — им! Не сумели ценить и беречь своего соловья…»

По какой-то странной ассоциации мне пришли на память ранние строки Игоря Северянина «Ты ко мне не вернешься…», написанные в далеком 1910 году:

О живых ни пол слова у могильной плиты!

Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги, —

Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!

Эти строки в свое время были посвящены женщине по имени Злата. Но их можно прочесть и иначе — как обращение к славе, которая отвернулась и покинула поэта.

Августа Баранова и другие доброхоты предлагали ему служить где-нибудь, чтобы защитить себя и семью от нужды, но гордый Северянин — он же соловей поэзии! — отвергал их совет с негодованием: «Всю жизнь я прожил свободным, и лучше мне в нищете погибнуть, чем своей свободы лишиться».

Это был его выбор.

Помимо безденежья Северянина мучила и ностальгия по России, хотя он и возглашал: «Эстония, страна моя вторая», — и время от времени сочинял в ее честь гимны:

И вся ты подобна невесте,
И вся ты подобна мечте,
Эстония, милая Эсти,
Оазис в житейской тщете!

И все же он не мог забыть Россию, забыть своих старых друзей: Маяковского, Сологуба, Брюсова, Собинова. Уход из жизни каждого из них он болезненно переживал. В 1924 году Северянин пишет надрывное стихотворение «Моя Россия»,

начинающееся словами:

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!..

Вдали от родины все ему в ней кажется романтически приподнятым: «И эти земли неземные, и эти бунты удалые…». Он готов простить всё. И хотел вернуться на первую свою родину, но помешала война. Возвращение представлялось ему как праздник «большой, большой». Его преследовали видения:

В ней и убогое богато,
Полны значенья пустячки:
Княгиня старая с Арбата
Читает Фета сквозь очки…

И все же судьба была милосердна к Северянину — в том, что он не вернулся в Россию. Какая княгиня с Арбата? Она давно гнила в ГУЛАГе. И кто читал Фета в Советской стране, в которой, по выражению бывшего друга Маяковского, «к штыку приравняли перо»? Да и кому был нужен в СССР Северянин? Возможно, только как кратковременная пропагандистская акция: Куприн вернулся, а вот и Северянин. А потом о нем бы напрочь забыли. В лучшем случае. Но это все

предположения…

Финал жизни

Нас, избранных, всё меньше с каждым днем:
Умолкнул Блок, не слышно Гумилева…

Игорь Северянину 1924

О последнем годе поэта можно судить по его письмам к Георгию Шенгели:

«Дорогой Георгий Аркадьевич! Я решил приналечь на работу… Мицкевича послал 31 января и трепещу за участь переводов: слишком многое с этим связано. И В.Б., и я совсем расхворались на своем чердаке: у нее бронхит, у меня кашель, насморк, бессонница, и сердце таково, что ведра поднять не могу: задыхаюсь буквально…» *(6 февраля 1941 года).*

«…О своем здоровье ничего утешительного сообщить не сумею: колики в сердце, одышка. Ночные ежедневные поты, отчаянье от безработицы и невыясненности положения и от ужаса перед необходимостью сидеть в пайдеском болоте. О, если б я смог, пока жив, получить наконец

более-менее постоянную переводную работу из Москвы!..» *(24 февраля 1941 года).*

«…Сердце — сплошная рана. Кашель, вызывающий рвоту. Куда я годен? На слом!..» *(7 марта 1941 года).*

В том же письме Северянин пишет о минимальных потребностях: «…Я привык жить совершенно самостоятельно, мой друг. Корку хлеба с солью и крепкий чай — да дома у себя. Характер у меня очень трудный и замысловатый. Постоянное общение с людьми меня сразило бы…»

И все же Северянин надеялся, что его стихи напечатают в Советской России. При этом он нещадно бичевал себя:

«При старом режиме писатель часто терял чувство внутренней дисциплины, похабно разволивал себя и впадал нередко в непереносимую пошлость и темы, и трактовки ее, и даже стиля. У советского же писателя есть целомудрие, благородство и отрадная скупость в словах и выражениях. Я надеюсь, что со временем освою все это в совершенстве: я ведь, в сущности, не “балаболка”, и в сущности моей много глубинного…» *(20 марта 1941 года).*

У «советского писателя»! Еще одно заблуждение Северянина. Что он знал о советских писателях?

Он не мог и предпо-дожить, что им уготовано петь лишь в общем политическом хоре, а все, кто выбивается из хора, поет не в тон, да, упаси Господи, ежели к тому же талантлив, то ему приходится, мягко говоря, туго — достаточно вспомнить судьбу Осипа Мандельштама. У Северянина было превратное мнение и о новых литературных хозяевах. Ему и Андрей Жданов казался «отзывчивым и сердечным человеком».

А тем временем здоровье поэта катастрофически ухудшалось. «25 мая в 4 ч. утра со мной произошел сердечный припадок, — пишет он в письме к Шенгели. — Верочке пришлось вызвать врача… Велел лежать 12 дней, экономя движенья. Мне чуточку лучше… И все-таки Вера хочет вызвать на днях европейское светило — проф. Пуссена, приехавшего на свою дачу. Вещи, правда, продаем полным ходом, но хватит ли их на светил — не знаю… Переводы с туркменского мне запрещены, как и вообще чтение и письмо. Но я не слушаюсь, иначе с голода помрем: продавать вскоре и нечего будет. Работа, конечно, очень трудная и нудная, но она может дать деньги, и я энергично (понемногу!) работаю. Теперь взялся за “Серго”. Вы, со своей стороны, будьте строги и решительны: исправляйте все, что надо» *(15*

июня 1941 года).

«Серго» — это кто? Пламенный большевик Орджоникидзе? До чего же пал Игорь Северянин! Вот уж воистину: «Мы живем, точно в сне неразгаданном…» А переводы с туркменского! Туркменская поэзия и Северянин — это конец света!..

В том же письме от 15 июня, почти за полгода до смерти, Северянин восклицает: «…О, если бы хоть что-нибудь взяли когда-нибудь: невыразимо трудно болеть в безденежье!..»

Брали скупо. Сонет о Чайковском «забраковали по понятным причинам: нытье». Еще бы! В нем была такая строка: «Безумье. Боль. Неврастения. Жуть». Это явно противоречило бодрому и светлому настрою советской литературы. Какая боль? Какая неврастения? Художник обязан декларировать личную радость и верность властям. Увы. Северянин этому обучен не был.

На оставшиеся полгода жизни пришлась война. Поэт оказался в занятом фашистскими войсками Таллине. Больной, нищий русский поэт. Умер он 20 декабря, в возрасте 54 лет.

Задолго до смерти 23-летний Северянин написал стихотворение «Мои похороны»: «Меня положат в гроб фарфоровый…» Не угадал. «Всё

будет весело и солнечно…». Всё было хмуро, морозно и горько. Проводить умершего пришли две жены: Вера Коренди и Фелисса Круут.

Ну а в заключение приведем концовку стихотворного медальона, написанного Северяниным в 1926 году о самом себе:

Он – в каждой песне, им от сердца спетой,

Иронизирующее дитя.

Как правило, самооценки бывают неверны, ошибочны. Но эта… Иронизирующее дитя. Любознательный и прыткий ребенок. Соловей русской поэзии. И Северянин отнюдь не виноват, что творимую им «чаруйную поэму» жизнь «превратила в жалкий бред». Поэт хотел как лучше…

«Особый случай»: 100 % Nabokoff

Почему особый? Во-первых, во Владимире Набокове были заложены крепкие аристократические основы. Во-вторых, отменное образование и английский язык на уровне второго родного. Третье: несомненный талант. Блестящий и искрящий. Но была и четвертая причина успеха Набокова за рубежом: крепкий тыл, Вера Слоним — его жена, муза и охранительница очага. Женщина необычная — красивая и радикальная, по молодости носившая в дамской сумочке пистолет… чтобы убить Троцкого. Ершистая, любящая поспорить, неутомимая и упрямая. Она водила машину, печатала на машинке, занималась переводами и сочинением язвительных писем. Упорный литературный агент. Словом, за ней Набоков чувствовал себя как за каменной стеной, в надежном укрытии. Вера Набокова, в отличие от Лили Брик, была не хищницей, а защитницей. Женщиной, которая создала Набокова, — так считали многие критики на Западе. И не случайно Набоков большинство своих произведений посвятил жене.

В стихотворении «Встреча» (1923) Набоков писал:

… Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей…
И если ты – судьба моя…
Тоска и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба…
Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба…

Из письма Набокова Вере Слоним (8 ноября 1923 года): «Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями?.. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо нужна…» Через полтора года — 15 апреля 1925 года — они поженятся. Любопытное письмо жене из Парижа в Прагу, 10 мая 1937 года:

«Наношу прощальные визиты. Обедал с Буниным. Какой он хам!.. Зато Вера Николаевна хотя придурковата и еще все жаждет молодой любви… А Иван с ней разговаривает как какой-нибудь хамский самодур в поддевке, мыча и передразнивая со злобой ее интонации… жуткий, жалкий, мешки под глазами, черепашья шея, вечно под

хмельком. Но Илюша ошибается: он вовсе не моей литературе завидует, а тому “успеху у женщин”, которым меня награждает пошловатая молва…»

Писатели о писателях — лучше этого не знать. Но не будем отвлекаться и ходить по боковым тропам. Предъявим визитную карточку.

Набоков: сочинитель с других берегов

Безвестен я и молод в мире новом,
кощунственном, – но светит всё ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою моей.

Вл. Набоков, концовка стихотворения, посвященного И. Бунину, 1921–1922

Владимир Владимирович Набоков (до **1940** года псевдоним В. Сирин; **1899,** Петербург — **1977,** Лозанна). Поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик.

До переезда в США считался русским писателем и американским — после того как стал писать на английском языке. Помимо сочинительства

известен как энтомолог, открывший новые виды бабочек, автор научных статей.

«…Неожиданным было сочетание с беззаветной влюбленностью в жизнь, склоняющей к предположению о покладистости, — строгой принципиальности и независимости самостоятельных суждений, завлекающей противопоставлять парадоксы шаблонным высказываниям…» *(И. Гессен. Годы изгнания).*

Расхожее выражение: хозяин — барин. Поэтому позволю вспомнить свое небольшое исследование-эссе к 100-летию Владимира Набокова «Как трепет бабочки жемчужной…» *(книга «Страсти по Луне», 1999).*

В начале набоковский эпиграф:
Глаза прикрою – и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостиной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

Набоков… «Лолита»… В сознании массового читателя (как говорил Набоков, «средних читателей», которым нравится, «когда им в привлекательной оболочке преподносят их собственные мысли») это сочетание привычно: автор и героиня одноименного романа оказались

даже как бы повязаны. Но «Лолита» — всего лишь художественный вымысел, маленькая частичка богатейшей фантазии писателя. Интересно, а каким он был в жизни, этот самый эстетный, самый изысканный и самый загадочный писатель XX века?

Летом 1993 года в Коктебеле проходил Первый всемирный конгресс по русской литературе. В одной из его секций шла оживленная работа — дискуссия под названием «Владимир Набоков — русский писатель:??? или!!!». К окончательному выводу, с каким оставить писателя знаком — с вопросительным или восклицательным, специалисты не пришли.

Спор о Набокове продолжается. В апреле 1999 года исполнилось 100 лет со дня его рождения, и в связи с юбилеем множество набоковедов пытаются разложить творчество и жизнь писателя по полочкам и ящичкам, чтобы лучше его понять и классифицировать. Но пусть гадают, спорят и классифицируют без нас. Наша задача скромнее: хотя бы коротко рассказать о частной жизни Владимира Владимировича Набокова.

С 1943 по 1951 год в американских журналах появлялись главы из книги Набокова, которую принято считать автобиографической. И все

же «Другие берега» — не автобиография в привычном смысле слова, это опять набоковский переплав, некое фантастическое преломление отдельных жизненных ситуаций и фактов. Как признавался сам писатель: «Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций».

Детство и юность Набокова прошли в Петербурге, в особняке из розового гранита с цветными полосами мозаики над верхними окнами на Большой Морской (ныне ул. Герцена).

В 16 лет и без того богатый отпрыск семьи сделался мультимиллионером — умер дядя Владимира Набокова со стороны матери и оставил ему наследство, что позволило юноше иметь два роскошных автомобиля — «бенц» и «роллс-ройс». Для того времени это было захватывающе интересно, и дети с улиц бегали за автомобилем юного Набокова с криками: «Мотор! Мотор!..»

Что составляло мир молодого Набокова? Он увлекался коллекционированием бабочек, с азартом играл в футбол, сочинял стихи и расширял свои знания в Кембридже. Роскошный и интеллектуальный мир новоявленного денди рухнул в 1917 году. Из Петербурга пришлось бежать в Крым. Тревожным апрелем 1919 года пароход с

оптимистическим названием «Надежда» увез в эмиграцию супружескую чету Набоковых и пятерых их детей. Старшему, Владимиру, было 20 лет.

Два десятилетия прожил Набоков в России и больше никогда в нее не возвращался. На корабле юноша не вздыхал тяжко и тем более не рыдал по утраченной родине. Он меланхолично писал стихи о кипарисах, о шелковой глади воды и о кристально чистой луне.

Начались тяжелые эмигрантские годы. Богатство и роскошь остались в России, и пришлось зарабатывать на жизнь нелегким трудом. В основном Набоков давал уроки. «Это обычно страшно утомляло меня, — вспоминал он. — Приходилось ездить из конца в конец города (речь идет о Берлине. — *Ю.Б.).* Я всегда вставал усталым. Писать приходилось ночью. Затем нужно было тащиться с места на место ради уроков. В дождь. В домах, где я давал уроки, меня кормили обедом. Это было очень любезно. В одном месте еда была действительно поразительная. И они с таким удовольствием кормили меня. Это осталось в памяти. Но были и другие. Они говорили после часового урока: «Извините, но мне нужно на работу, на работу...». И затем он ехал со мной

в западную часть города, по дороге все время пытаясь заставить меня продолжать урок».

Набоков упорным трудом зарабатывал на жизнь и параллельно с тем же упорством поднимался по ступенькам литературной славы. В этом русско-английском мальчике были заложены мужество, стойкость и целеустремленность киплинговских героев. Короче, он сделал, вылепил себя сам, без поддержки Союза писателей СССР и без подкормки советских издательств. Действовал в одиночку, полагаясь лишь на свой, данный ему Богом талант.

Примерно до 1927 года у Набокова еще теплилась надежда на возвращение в Россию после падения Советов. «Не позже. Не позже. Но до этого была оптимистическая дымка. Дымка оптимизма. Думаю, что мы расстались с мыслью о возвращении как раз в середине тридцатых. И это не имело большого значения, ибо Россия была с нами. Мы были Россией. Мы представляли Россию. Тридцатые были довольно безнадежные. Это была романтическая безысходность».

Еще раньше, 28 марта 1922 года, трагически погиб отец писателя — Владимир Дмитриевич Набоков, эта смерть окончательно сделала сына мужчиной. Он отбросил литературный псев-

доним Вл. Сирин и стал для всех Владимиром Набоковым. Хотя кто-то на иностранный лад звал его Набокофф.

В пору, когда писатель приближался к своему сорокалетию, Зинаида Шаховская описывала его так: «Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до чрезвычайности…»

Шло накопление земного и космического материала? Сам Набоков признавался, что соглядатайство, наблюдательность были у него развиты беспредельно. Он презирал тех, кто не замечает лиц, красок, движенья, жестов, слов, всего, что происходит вокруг. А что удивляться? Набоков был не только прозаиком, но и поэтом. И каким поэтом! Я бы рискнул назвать его философски-акварельным за глубину мысли и за краски деталей, за тончайшую нюансировку че-

ловеческого бытия. Не об этом ли говорит начало его стихотворения «Поэты» (июнь 1919 года):

Что ж! В годы грохота и смрада,
еще иссякнуть не успев,
журчит, о бледная отрада,
наш замирающий напев…

И, слабый, ласковый, ненужный,
он веет тонкою тоской,
как трепет бабочки жемчужной
в окне трескучей мастерской…

Согласно сложившейся легенде, Набоков был человеком мрачным, держался, как правило, холодно и надменно. Но вот «любимая сестра любимого брата» Елена Сикорская (урожденная Набокова) — говорит иное: «Мрачным я его вообще не помню — он был очень веселым и жизнерадостным человеком. Постоянно шутил, у него даже были своеобразные ритуалы розыгрышей… Но в каких-то вещах Володя был, безусловно, человеком очень сдержанным — сдержанность вообще наша семейная черта, сказывалась строгость “английского воспитания” — у нас не принято выставлять напоказ свои эмоции. Зато все мы любим критиковать и даже

высмеивать, а Володя был даже излишне иронич-ным и насмешливым…»

Но самое главное — Набоков был необыкно-венно работоспособным, писал буквально с утра до вечера.

Итак, составляющие Набокова: талант, рабо-тоспособность, чувство гармонии и изящества, тонкая ирония и едкий сарказм. Некоторые критики находят у него много общего с Салты-ковым-Щедриным. Это подтверждает и Зинаида Шаховская, «…но стилистическая грация первого оттеняет тяжеловесную поступь второго, — отме-чает она. — Щедрин — тяжеловесный арденский конь. Набоков — английская чистокровка».

Однако оставим тему творчества Набокова литературоведам. «Творчество Набокова можно рассматривать как прощальный парад русской литературы XIX века». «Это писатель ослепитель-ного литературного дарования, — так определил Владимира Набокова Александр Солжени-цын, — и именного такого, которое мы зовем гениальностью…».

Далее пропускаем истории многочисленных влюбленностей Владимира Набокова — от фран-цузской девочки на пляже Колетт до невесты Светланы Зиверт. Затем историческая встреча

с Верой Слоним. 15 апреля 1925 года Набоков и Сло-ним связали свои судьбы.

Сначала супруги жили в Берлине, потом в Америке, а с 1961 по 1977 год местом своего обитания избрали небольшой городок Монтрё на берегу живописного Женевского озера, а в Монтрё — гостиницу «Монтрё-Палас».

«После России “собственного дома” у них никогда не было, — вспоминает сестра Набокова. — “Вести дом”, заниматься хозяйством, у них не было ни времени, ни желания. К тому же у Владимира и Веры полностью отсутствовало влечение к вещам. Просто невозможно представить, чтобы они купили себе, скажем… какую-нибудь вазу. Покупалось только необходимое, и ничего лишнего. Правда, в Монтё они жили не совсем “гостиничной” жизнью, снимали практически небольшую квартиру: гостиная, кабинет, две спальни и кухня. В ресторан они спускались крайне редко, только когда кто-нибудь приезжал — готовить к ним приходила женщина, которая делала самые простые обеды. Но уборка и прочее лежало, конечно, на гостиничном персонале, и это было для Володи и Веры очень важно, так как они были чудовищно заняты…»

На этом обрываю мое старое эссе о Набокове, но

кое-что надо добавить.

В Крыму в 1918 году в предчувствии своего исхода из России Набоков писал:

Пока в тумане странных дней
еще грядущего не видно,
пока здесь говорят о ней
красноречиво и обидно, —

сторонкой, молча проберусь
и, уповая неизменно,
мою неведомую Русь
пойду отыскивать смиренно.

…Где ж просияет берег мой?
В чем угадаю лик любимый?
Русь! иль во мне, в душе самой
уж расцветаешь ты незримо?

В Германии, как и во Франции, к Набокову русская эмиграция относилась по-разному, весьма неоднозначно. Его первый роман «Машенька» (1926) все заметили, а вот с третьего романа — «Защита Лужина» — косяком пошли восторги, даже Бунин высоко оценил Сирина как первого, кто «осмелился выступить в русской литературе» с новым видом искусства, «за который надо быть

благодарным ему». Возник даже некий «сиринский бум» в эмигрантской печати. Алданов писал «о беспрерывном потоке самых неожиданных формальных, стилистических, психологических, художественных находок». Но, разумеется, и критических отзывов было немало. Так, Георгий Иванов иронизировал: «Не знаю, что будет с Сириным. Критика наша убога, публика невзыскательна… А у Сирина большой напор, большие имитаторские способности, большая самоуверенность… При этих условиях не такой уж труд стать в эмигрантской литературе чем угодно, хоть классиком» *(«Числа», 1930).*

«Очень талантливо, но неизвестно для чего…» (В. Варшавский, 1933). Короче, для многих Набоков оставался «странным писателем», и не знали, с кем его можно сравнить — с Прустом, Кафкой, Жироду, Селином или немецкими экспрессионистами.

Итак, подведем промежуточные итоги. «Старая гвардия» эмиграции, и в первую очередь Зинаида Гиппиус, предпочитала вовсе не говорить о Набокове и не слушать, когда другие говорили о нем. Не признавала и не видела, как говорится, в упор. А вот «молодая эмигрантская поросль» пребывала в восхищении от Набокова.

После «Лолиты» и «Дара» популярность Набокова ушла далеко от эмигрантских берегов: Набоков стал явлением всемирной литературы, и пришлось ему в многочисленных интервью говорить о себе и определять себя. Из набоковского сборника «Резкие мнения» (1973):

«Сказать по правде, я верю, что в один прекрасный день явится новый оценщик и объявит, что я был вовсе не фривольной птичкой в ярких перьях, а строгим моралистом, гонителем греха, отпускавшим затрещины тупости, осмеивавшим жестокость и пошлость — и считавшим, что только нежности, таланту и гордости принадлежит верховная власть…

…Я всегда был ненасытным пожирателем книг, и сейчас, как и в детстве, видение света ночной лампы на томике у кровати — это обетованное пиршество и путеводная звезда всего моего дня. К числу других острых моих удовольствий принадлежат телевизионные футбольные матчи, время от времени — бокал вина или глоток баночного пива, солнечные ванны на лужайке и сочинение шахматных задач…».

Ценны впечатления современников о Набокове. Вот что писала Нина Берберова в своем «Курсиве»:

«Номер “Современных записок” с первыми главами “Защиты Лужина” в 1929 году. Я села читать эти главы, прочла их два раза. Огромный, зрелый, сложный, современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование было оправдано…

Набоков — единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции), принадлежащий всему западному миру (или — миру вообще), не России только. Принадлежность к одной определенной национальности или к одному определенному языку для таких, как он, в сущности, не играет большой роли: уже 70 лет тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире — Стринберг (в “Исповеди”), Уайльд (в “Саломее”), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, писали не на своем языке. Язык для Кафки, Джойса, Ионеско, Беккета, Хорхе Борхеса и Набокова перестал быть тем, чем он был в узконациональном смысле 80 или 100 лет тому назад. И языковые эффекты и национальная психология в наше время, как для автора, так и для читателя, не поддержанные ничем другим, перестали быть необходимостью…

…Но Набоков не только пишет по-новому, он

учит также, как читать по-новому. Он создает нового читателя. В современной литературе (прозе, поэзии, драме) мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся.

…В 1964 году вышли его комментарии к "Евгению Онегину" (и его перевод), и оказалось, что не с чем их сравнить: похожего в мировой литературе нет и не было, нет стандартов, которые помогли бы судить об этой работе Набокова. Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его, и сколько людей во всем мире найдется, которые были бы способны судить о результатах? Пушкин превознесен и… поколеблен "Слово о полку Игореве" переведено, откомментировано им и… взято под сомнение. И сам себя он "откомментировал", "превознес" и "поколебал" — как видно из приведенных цитат его стихов за 24 года…»

Набоков долгие годы привлекал к себе внимание журналистов. В Монтрё к волшебнику с Женевского озера слетались целые стаи, чтобы услышать мнения и оценки мэтра. В 1979 году был опубликован составленный Набоковым по собственным записям сборник, включающий 22 интервью, относящиеся к 60-м и началу 70-х

годов, и несколько статей и писем к читателям. Этот сборник писатель назвал просто: «Ясные мысли». Как отозвался западногерманский «Шпигель», это мысли «несгибаемого одиночки, придерживающегося весьма пестрых элитарных космополитических взглядов, русского по происхождению, утонченного петербуржца по воспитанию, насквозь пропитанного западноевропейской культурой…»

Своими размышлениями о самом себе Набоков поделился в одном из стихотворений, написанном в Сан-Ремо в 1959 году:

Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться

на мраморе моей руки.

Почти самоэпитафия. Писатель определял жизнь следующими точными и печальными словами: «Жизнь — только щель слабого света между двумя идеальными черными вечностями». Этот зазор слабого света исчез 2 июля 1977 года, и 68-летний мэтр и волшебник слова растворился в черной вечности.

При жизни Набокова успела побывать у него и Белла Ахмадулина. Молодая гостья с берегов отчизны дальней удостоилась беседы с патриархом мировой литературы. Беседуя, им обоим было о чем спросить и узнать. Набоков спросил Беллу:

— Правда ли мой русский язык кажется вам хорошим?

— Он лучший, — отвечала Ахмадулина.

— Вот как, а я думал, что это замороженная клубника, — несколько иронично удивился мэтр.

Шел ли разговор о «Лолите»? Несомненно. В массовом сознании Набоков — это Лолита. В одном интервью Набоков сделал горькое признание: «Вся слава принадлежит “Лолите”, а не мне. Я всего лишь незнаменитнейший писатель с непроизносимым именем».

«Лолиты» — не будем касаться. Оставим ее в

покое. Я предпочитаю другой роман Набокова — «Приглашение на казнь» (1938), в котором явные аллюзии на советский режим.

Герой романа Цициннат Ц. признан виновным в преступлении, которое вовсе не преступление, оно заключается в том, что он — личность. Его приговорили к казни, да еще требовали при этом, чтобы он благодарил и любил власть. И последняя милость осужденному: «Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и предложил ему тур вальса. Цициннат согласился. Они закружились… Их вынесло в коридор…»

Цициннат согласился на танец с властью, а Набоков всю жизнь отстаивал свое достоинство и индивидуальность. Отстаивал свободу своего мира дум и чувств. Он чтил магический кристалл своего таланта…

Кажется, Фазиль Искандер сказал о Набокове: «Свирепый маэстро головокружительного искусства».

А как человек? — зададим еще раз этот вопрос. На него ответил сын Дмитрий Набоков: «Отец говорил, что больше всего ненавидит в жизни тиранию, жестокость, глупость, грязь и бессмысленный музыкальный фон».

И чем закончить краткое повествование? Ко-

нечно, стихами. Стихотворение «Неродившемуся читателю» (1930):

Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время – раковина муз…

…Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.

Набоковский сквознячок бродит сегодня по коридорам и тупикам современного мракобесия… И еще две строчки Набокова:

…И двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз…

«Крушение», 1925

Россия Набокова

В эссе-исследовании «В поисках Набокова» (Париж, 1979) Зинаида Шаховская отмечает, что Набоков много писал о России, но в набоковской России нет русского народа, нет ни мужиков, ни мещан, мелькает лишь прислуга. «У Набокова — роман с собственной Россией, она у нас с ним общая только по русской культуре, которая его воспитала. Общая родина наша — это Пушкин…»

«…Это ограничительная Россия. Эдем, из которого Набоков был изгнан, его королевство. Он не просто изгнанник, эмигрант, беженец — он принц или король, потерявший свой наследственный удел… Король без королевства, одинокий изгнанный принц…»

И этот одинокий король — Solus Rex, отрекается от Руси, которая корчится от боли и отчаяния:

Ах, как воет, как бьется кликуша.
Коли можешь – пойди и спаси.
А тебе-то что? Полно, не слушай…
Обойдемся и так – без Руси.

«И все-таки, и все-таки, — пишет Шаховская, —

Владимир Набоков самый большой писатель своего поколения… Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней останется. Он будет все же, вероятнее всего, как Пруст — писателем для писателей, а не как Пушкин — символом и дыханием целого народа. На нем заканчивается русский Серебряный век».

Россия была для Набокова потерянным «земным раем», и он на протяжении всей своей долгой жизни мысленно возвращался к ней. Приведем несколько его стихотворений и отрывков о России:

…Была ты и будешь… Таинственно создан я

из блеска и дымки твоих облаков.

Когда надо мною ночь плещется звездная,

я слышу твой реющий зов!

Ты – в сердце, Россия! Ты – цель и подножие,

ты – в ропоте крови, в смятенье мечты.

И мне ли плутать в этот век бездорожия?

Мне светишь по-прежнему ты…

«Россия», 1918

* * *

Кто меня повезет
по ухабам домой,
мимо сизых болот
и струящихся нив?
кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?..

1921

* * *

Ночь дана, чтоб думать и курить,
и сквозь дым с тобою говорить…

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю…

«К родине», 1924

* * *

Санкт-Петербург – узорный иней,
ex libris беса, может быть,
но дивный… Ты уплыл, и ныне
мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледной ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк
в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт-Петербург.

И долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

1923

Сны

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый…

…Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто – нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать… За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно…

1926

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,

глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

1927

Ну и последнее стихотворение (оно написано в годы Второй мировой войны) как удар хлыста:

Каким бы полотном батальным не являлась
советская сусальнейшая Русь,
Какой бы жалостью душа ни наполнялась,

не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой

немого рабства – нет, о нет,

еще я духом жив, еще не сыт разлукой.

Увольте, я еще поэт.

В одном интервью в Америке Набокова спросили: «Вы намерены вернуться в Россию?». Он ответил:

— Никогда, в силу той простой причины, что вся необходимая мне Россия всегда со мной: литература, язык и мое русское детство. Нет, я никогда не вернусь. Это было бы равносильно капитуляции. Уродливая тень полицейского государства не ляжет на мою судьбу… В Америке я счастливей, чем в любой другой стране. Здесь — мои лучшие читатели и наиболее близкие мне умы. Это действительно второй дом — по крайней мере, в интеллектуальном смысле…

И завершим рассказ о Набокове вот чем. Сорвалась попытка советской власти вернуть на родину Бунина, не прошел фокус и с Набоковым. В Берлин приезжал второразрядный беллетрист Тарасов-Родионов, автор романа «Шоколад», с миссией уговорить Набокова вернуться в Со-

ветскую Россию. Набоков возражал и привел аргумент, что ни один русский художник не вернется. На что писатель-вербовщик ответил: «Нет, вы ошибаетесь. Я как раз говорил с Прокофьевым, он возвращается…» Да, некоторые вернулись, и об этом мы поговорим позднее, в главе «Возвращенцы». Но Набоков не поддался ни на какие уговоры и радужные перспективы в СССР.

Были, очевидно, и другие попытки, не случайно «Литературная газета» разорвала сенсационную бомбу в номере от 1 апреля 1995 года, опубликовав на целой полосе текст магнитофонной записи заседания секретариата Союза писателей СССР на предмет приглашения Владимира Набокова на родину.

Первоапрельская шутка? А может быть, и нет, ибо, как восклицал Игорь Северянин: «И невозможное возможно в стране возможностей больших!..»

Текст, до отвращения пахнущий реальностью, а если и стилизован, то безукоризненно. На секретариате речь шла о политической проблеме: из СССР писатели уезжают, а никто из эмиграции не возвращается.

Реплика: — А кто, кроме евреев, бежит?..

Ведущий заседания (кто? Марков? Верченко?)

твердо разъясняет): — Главная политическая проблема, чтобы не уезжали от нас, а, наоборот, приезжали к нам. Вот всемирно известный писатель Набоков. Товарищи, кто из вас читал Владимира Набокова?

Голоса: — Читали! Дрянь! Порнография!.. Антисоветчина!..

Ведущий: — Тише, тише, товарищи! Нам, работникам идеологического фронта, врагов надо знать в лицо. Кстати. Они-то нас знают. Целые институты в Америке работают. Набоков, конечно, враг опасный. Хотя как писатель сильно слабоват. Я перед нашим заседанием посмотрел роман «Дар». Такая, извините, бредятина и, главное, поклеп. На Николая Гавриловича Чернышевского.

Крики, неразбериха. И перекрывающий голос ведущего:

— Великий Ленин нам завещал: врага надо использовать для революции. Партия решила: давайте пригласим к нам Набокова. Вот приедет, поживет, советским воздухом подышит… Почитает наших писателей. В Коктебель пригласим…

Голоса возражения, но ведущий гнет свою линию:

— Согласен. Набоков — штучка сложная. Антисоветчик, я бы сказал, с рождения. Богатый.

Живет в Швейцарии… Но не все так просто… Он социализма в глаза не видел. Опять же ностальгия. В книжке «Возвращение черта» написал: мол, только в Россию привезите, а там хоть расстреляйте…

«ЛГ» привела и другие «веселенькие» пассажи, но я их опускаю. Итак, на секретариате СП высказывали идею послать нужного человека в Швейцарию, чтобы добиться от Набокова принципиального согласия на приезд в СССР.

Далее приведено письмо Набокова сестре Елене Сикорской, в котором рассказано, как к нему в Монтрё явился какой-то Кичкин или Бричкин и «оказывается, существует целая программа по возвращению меня как национального достояния на родину» и обещаны «особые льготы и привилегии в случае возвращения в СССР».

И концовка письма Набокова:

«…Мы договорились увидеться назавтра, а назавтра подговоренная мною Вера через дверную щелку сказала Бричкину, что писатель Набоков после вчерашнего сильнейшего нервного потрясения был ночью увезен в клинику для душевнобольных, а я тем временем, притаившись за шкапом, беззвучно рыдал и смеялся».

Выдумано, но очень похоже на правду. Нет,

Набокова сманить, уговорить, убедить было невозможно. Свой категорический ответ он дал еще в 1939 году в стихотворении «К России»:

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье,
всё, что есть у меня, – мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,

сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь всё то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! – никто не ответит,
и душа никому не простит.

Райский уголок Монтрё

Можно поставить точку? Но как не хочется расставаться с Набоковым. Я часто думаю о нем и вспоминаю райское местечко Монтрё, где в течение 16 лет (1961–1977) жил Владимир Набоков. И я благодарен судьбе, что мне удалось побывать там 14 сентября 2011 года в рамках тура «Швейцарская классика» (от Цюриха до Женевы).

В тот день мы с женой посетили Шильонский замок, а потом туристический автобус повез нас в Монтрё, в жемчужину Швейцарской Ривьеры.

К сожалению, там мы совершили лишь короткий обзорный пробег по цветочной набережной. Набережная небольшая в сравнении с Ниццей, но уютная, утопающая в цветах и субтропических деревьях. Над ней высятся ультрасовременные здания и аристократические особняки XIX века. Сам городочек Монтрё крохотный — 23,5 тысячи жителей. Ощущение уюта. Спокойствия. Покоя. Даже воды Женевского озера вели себя спокойно и благопристойно. Замечательный климат, теплый, без температурных перепадов.

Здесь, в Монтрё, бывали Лев Толстой и Чехов, Чайковский и Стравинский. Отдыхал и играл в казино Достоевский. Поблизости, в Веве, Гоголь решительно перерабатывал первые наброски «Мертвых душ». А потом, уже в Петербурге, написанное читал Пушкину, а тот под впечатлением гоголевского письма воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!». Кстати, в Веве жил и скончался Чарли Чаплин. Набоков и Чаплин — мистическое соседство двух гениев.

Над набережной высится отель «Палас-Монтрё», а на набережной в небольшом парке поставлен памятник писателю. Набоков сидит на стульчике и скептически взирает на окружающий его мир. Весь вид его как бы говорит: как

ужасна и прекрасна жизнь! Не помню, из какого-то рассказа или романа я взял слова Владимира Владимировича:

«…Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое — вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль каналов, — рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, — я с гордостью несу свое необъяснимое счастье… во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».

Один час с хвостиком в Монтрё, но какой мощный поток мыслей, воспоминаний, ассоциаций и чувств…

5 ноября 2015 года

Две смерти – Блок, Гумилев

Два поэта… два капитана… две встречи… два расставания… две смерти… Две смерти одного 1921 года — 7 августа Александра Блока, 25 августа — Николая Гумилева, — произвели в советской России гнетущее впечатление. Многие до этого сомневавшиеся и колебавшиеся решили: в Совдепии жить нельзя, смертельно опасно и надо уезжать. Эмиграция — это, конечно, плохо, но другого выхода нет…

В поэме «Возмездие» (1910–1921) Блок «гневным», «упругим ямбом» (так поэт определил размер поэмы) написал:

Двадцатый век… еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень люциферова крыла).
……
И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,

Невиданные мятежи.

Примечательно выступление Блока 13 февраля 1921 года на торжественном заседании, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина:

Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе…

И руку не подал. И не помог по известной причине: с 1917 года не Пушкин правил в России, а Ленин, Дзержинский и ЧК. Они определяли, кому жить, а кому умереть.

Необходимое отступление: **Александр Александрович Блок** (1880, Петербург — 1921, Петроград). Грандиозный поэт. Потрясающий лирик. В 1916-м Марина Цветаева написала восторженные стихи о Блоке:

Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ.
Имя твое – пять букв,
Серебряный бубенец во рту…

И «поцелуй в глаза», и «поцелуй в снег». Блок у многих вызывал восторг и восхищение.

Высокий, красивый, как «юный бог Аполлон»

(В. Пяст).

«В его лице было что-то германское, гармоническое и стройное… Его можно было себе представить в обществе Шиллера, Гёте, или, может быть, Новалиса» *(Г. Чуяков).*

«Лицо Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска» *(М. Волошин).*

«Лицо у него было страстно-бесстрастное» *(К. Чуковский).*

Последний поэт-дворянин. Он не покинул Россию, более того, пытался сотрудничать с новой революционной властью и превратился в мелкого чиновника. Что-то делал, где-то заседал.

В 1918 году Блок написал странную революционно-мистическую поэму «Двенадцать», которую новая власть посчитала гимном революции и зачислила автора в советские классики. В 1934 году на Первом съезде писателей СССР Николай Бухарин говорил: «Блок — за революцию, и своим “да”, которое он провозгласил на весь мир, он завоевал право на то, чтобы в историческом ряду стоять на нашей стороне баррикады».

А сам Блок после завершения «Двенадцати» осознал, что написал что-то не то, и пытался уничтожить тираж «Двенадцати». Твердил перед

смертью: «Прости меня, Господи!»

В книге «Китайские тени (литературные портреты) Георгий Иванов вспоминал Блока на представлении «Балаганчика» в 1913 году:

«Блок глядел вокруг с каменным скучающим лицом. “Ущерб” Блока уже начался — странный, болезненный ущерб, озаренный в 1918 году зловещим блеском “Двенадцати”, в 1921 — смертью…

Должно быть, этот ущерб и начался с равнодушия, с презрения к жизни и к людям, которое все явственнее слышится в разговорах Блока последнего, «закатного» периода.

…Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь, начнется всё сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь».

Георгий Иванов вспоминал о дореволюционной жизни поэта:

«…Блок живет отшельником. Рано встает. Запирается в кабинете. Его покой тщательно

оберегается. Если звонит телефон, подходит жена или прислуга: Александр Александрович уехал… Александр Александрович болен… Блок не болен и не уехал. Должно быть, он занят какой-нибудь срочной работой. Не всегда. По большей части, он сидит и смотрит в одну точку. Так он может сидеть час, два, три, целый день. В окнах — лицейский сад, крыши, трубы, купола. На столе — начатая бутылка вина — «Нюи» елисеевского розлива № 22. В квартире тишина…»

По мнению Георгия Иванова, Блок «прожил жизнь несчастную, беспокойную и томительную», а его поэзия была «что-то вроде падучей».

Стихи, можно согласиться, — это погружение в какой-то астрал, и тот же Георгий Иванов подчеркивает, что Блок — «самый серафимический, самый неземной» из поэтов. Но как земной человек он был аккуратен и методичен до странности. На его столе ни пылинки. Все письма пронумерованы и аннотированы: от кого, когда, краткое содержание. Вел Блок и дневники, а еще записные книжки, как бы наметки для будущих развернутых записей.

В 2000 году издательство «Вагриус» издало «Записные книжки. Александр Блок» (1901–1919). Выберем некоторые записи трех революцион-

ных лет.

1917. 14 апреля — «...Я — “одичал”: физически (обманчиво) крепок, нравственно расшатан (нейрастения). Мне надо заниматься своим делом, надо быть внутренно свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником. Бестолочь дружины (я не имею права особенно хулить ее, потому что сам участвовал в ней), ненужность ее для государства.

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?..»

22 апреля — «“Пишете вы или нет? — Он пишет. — Он не пишет. Он не может писать”». Отстаньте. Что вы называете “писать”? Мазать чернилами по бумаге? — это умеют делать все заведующие отделами 13-й дружины. Почему вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю».

30 апреля — «Моя служба в 13-й инженерно-строительной дружине противна мне своей неопределенностью и бесполезностью. Быть рядовым я не умею, идти в военное училище, кажется, поздно, но вряд ли из меня выйдет по-

лезный офицер…»

«Внимательное чтение моих книг и поэмы вчера и сегодня убедило меня в том, что я настоящий сочинитель…»

1918. 2 января — «Митинг “Народ и интеллигенция” в зале Армии и Флота… К ночи — под окнами опять стрельба».

4 января — «Александринский театр “Бедность не порок”. Идти пешком — скользко, холодно, темно, далеко (стар). Трамваев нет. Я был. Серый спектакль…»

5 января — «Аэроплан летает, несмотря на сильный мороз (бомбы или прокламации?)… Весь день и вечер тоскую, злюсь, таюсь. — Где-то кажется, стреляли, а я не знаю и не интересно».

10 января — «…Хлеба почти нет. Совет Народных Комиссаров порицает самосуды…»

22 февраля — «…Днем у меня усталая, больная, бедная мама. — Люба вечером в “Привале комедиантов”.

9 марта — «Безделье, возня с бумажками. Злые и одинокие мысли. Бурная злоба…»

17 апреля — «…*Я* уже стар, мне и так трудно добывать хлеб; слушать разговоры умных и глупых, молодых и старых людей я больше не могу: умру с голоду. — Затихаю, затихаю… Собраться,

собраться пора…»

30 апреля — «Ни пищи, ни денег…».

13 мая — «Вечер “Арзамаса” в Тенишевском училище. Люба читает “Двенадцать”. Отказались Пяст, Ахматова, Сологуб».

29 июня — «…Неудачный день — украли деньги из кармана и другое… Встреча с Пястом, который не подал руки…»

5 августа — «Все буржуазные газеты закрыты. — Разборка старых писем».

19 августа — «Какая-то болезнь снедает. Если бы только простуда. Опять вялость, озлобленность, молчание. Холодная осень…»

21 августа — «Как безысходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко — на солнце, и жить совершенно иначе».

24 августа — «…Ужасы разговоров с Любой, шатание в пустоте, уходящая, охамевшая прислуга…»

10 декабря — «…Сколько людей свихнулось в наши дни…»

20 декабря — «Ужас мороза. Жру — деньги уплывают. Жизнь становится чудовищной, уродливой, бессмысленной. Грабят везде…»

31 декабря — «…С тяжелым чувством держу корректуру “Катилины” — слух о закрытии всех

лавок. Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. — Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая с голоду. Светит ясная и большая звезда».

1919. 15 апреля — «…Я устарел и больше не имею успеха. Не пора ли в архив?..»

4 мая — «Кое-что работал. Но работать по-настоящему я уже не могу, пока на шее болтается новая петля полицейского государства…»

15 июня — «…Дождь. Тоска. Опять в доме ждут обысков».

23 июля — «…Уплотнение квартиры». И на следующий день: «Люба пошла спасти квартиру…»

15 сентября — «…Письмо Зиновьеву; его резолюция: «Прошу оставить квартиру Ал. Блока и не вселять никого».

17 ноября — «До каких пределов дойдет отчаянье? — сломан на дрова шкапик — детство мое и мамино».

29 ноября — «Вечером мне 39 лет».

И последняя запись от 6 декабря: «Утром — опять где-то зачем-то регистрироваться».

А что? Социализм — это не творчество. Социализм — это учет.

Любовь Гуревич встретила Блока в середине

октября 1919 года:

— Вы мало пишете, Александр Александрович.

— Я совсем не пишу, — ответил он тяжко. — Я служу. Я всё это время должен был служить. Ведь нас трое, жизнь очень тяжела. А служба всегда, какая бы она ни была, не дает мне возможности внутренне работать…

«Советская власть, — писал Максим Горький Ромену Ролла-ну, — отказала Блоку и Сологубу в их просьбе о выезде за границу, несмотря на упрямые хлопоты Луначарского за Блока. Это я считаю печальной ошибкой по отношению к Блоку, который — как видно из его “Дневников” — уже в 1918 году страдал “бездонной тоской”, болезнью многих русских, ее можно назвать “атрофией воли к жизни”».

В своем последнем предсмертном письме к Корнею Чуковскому 26 мая 1921 года Блок писал:

«На ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует. Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен… жар не прекращается и всё всегда болит… Итак, “здравствуем и посейчас” сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка — своего поросенка… Ваш Ал. Блок».

Одна из знакомых семьи записала:

«Болезнь развивалась как-то скачками… Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло всё время ужасные страдания, он всё время задыхался… К началу августа он уже почти всегда был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком… Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало… И всё время твердил: “Ну вот — начали колоть мебель: вот и поедем!”»

7 августа 1921 года Александра Блока не стало. Умер «один из чудотворцев русского стиха» (О. Мандельштам). Его кончину могли отсрочить врачи за рубежом, но власть оставила его умирать на родине.

По словам Иванова-Разумника, Блок был «конкретным максималистом» и умер «от великой любви и великой ненависти». Смерть Блока многие современники восприняли как конец целой поэтической эпохи. И в качестве последнего блоковского аккорда давнее желанье поэта (в стихотворении от 28 февраля 1910):

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

Эх, не пора ль разлучиться, раскаять-

ся…

Вольному сердцу на что твоя тьма?

Вольное сердце Александра Блока успокоилось и окончательно разлучилось с Русью, а всем нам, ныне живущим, досталось поэтическое наследие поэта, и мы повторяем вновь и вновь слова Блока:

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

«На поле Куликовом», 1908

* * *

А теперь **Николай Степанович Гумилев (1886,** Кронштадт — **1921,** близ Петрограда). Капитан Серебряного века (а Гумилева можно назвать именно так) тяготел к бурям и иным мирам. Он увлекался мистикой и восточными культами. Бродяга и путешественник — по странам и времени, континентам и эпохам — «поэт географии» (Айхенвальд). Гумилев прославлял в стихах скитальца морей Синдбада, скитальца любви Дон

Жуана и скитальца вселенной Вечного Жида. Эти три имени могли бы войти в геральдику его поэзии. Гумилев верил в карму (судьбу) и сансару (перевоплощение), увлекался астральным мистицизмом. Все это вместе взятое позволило Блоку и Максиму Горькому считать Гумилева иностранцем в русской поэзии, он же, по его пониманию, был «чужих небес любовник беспокойный». И вместе с тем Гумилев — поэт русский. Пусть странный, но русский.

Блок и Гумилев. «Для Блока поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни, — считал Ходасевич. — Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь поэтом тогда, когда он писал стихи… Они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали… Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не оценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично…» Кстати, Гумилев в результате «переворота» сменил Блока на посту председателя Всероссийского Союза Поэтов.

Рассказывать жизнь и разбирать творчество Гумилева нет необходимости: горы книг, моно-

графий и статей. После расстрела — забвение. Потом слава. Чисто русский вариант. Лучше полистаем воспоминания Георгия Иванова:

«…Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, — трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, расцвете жизни…»

Георгий Иванов ошибался: никаким «отважным заговорщиком» Гумилев не был. Знавший его Андрей Левинсон в воспоминаниях отмечал:

«О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие организации и клубы… Одно время я осуждал его за это. Но этот “железный человек”, как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и

свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя…

Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения» (из статьи в парижских «Современных записках», 9-1922).

Два слова о внешности Гумилева: «Он действительно был очень некрасив. Но у него были прекрасные руки и редкая по очарованию улыбка» (Г. Иванов).

Первую мировую войну Гумилев «принял с прямолинейной горячностью», война застала его душу «в наибольшей боевой готовности». И как отмечал Левинсон: «Патриотизм Гумилева был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности».

Гумилев ушел на фронт добровольцем в уланский полк, затем был переведен в гусарский полк,

участвовал в трагическом походе в Восточную Пруссию, был ранен, заслужил двух Георгиев. Потом был направлен во Францию, где в принципе мог остаться, но не остался (воин не может быть эмигрантом!). Просил свое начальство отправить его на персидский фронт:

Вдали от бранного огня
Вы видите, как я тоскую.
Мне надобно судьбу иную —
Пустите в Персию меня!..

Вместо Персии Гумилев отправился в Англию, а затем в Россию.

Февральскую революцию Гумилев встретил в Петербурге. Как писал Георгий Иванов: «Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там в библиотеке сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый халат, он мало напоминал блестящего кавалериста. Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: “Я не читаю газет”.

Потом Гумилева отправили в командировку в Салоники, но туда он не доехал и застрял в Париже, куда посылались противоречивые приказы

«прапорщику Гумилеву» из Петрограда.

За границей на русских смотрели косо, деньги кончились. Гумилев с приятелями-офицерами сидел в кафе и обсуждал, что же делать дальше. Один предлагал поступить в иностранный Легион, другой — ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: ^CЯ дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей".

Гумилева отговаривали, но напрасно. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие преподнесли Гумилеву серую кепку из модного магазина Пикадилли, чтобы имел соответствующий вид в пролетарской стране…»

В царской России Гумилев жил на ренту, в советской — пришлось зарабатывать на жизнь своим трудом. Часто платили натурой — хлебом, крупой… Гумилев выступал перед матросами, рабочими, но при этом не боялся заявить, что он монархист. Однажды в рабочем зале прочитал строки:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Георгий Иванов вспоминал: «Гумилева угова-

ривали быть осторожным. Он смеялся в ответ… Гумилева предупреждали в день ареста об опасности и предложили бежать. Он отклонил совет: «Благодарю вас, но мне бежать незачем — большевики не посмеют меня тронуть. Все это пустяки».

23 августа 1921 года Гумилев был арестован. «В тюрьму Гумилев взял с собой Библию и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и — вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни. Так же спокойно, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности «своему Государю» в лицо матросам Балтфлота.

За два дня до расстрела он писал жене Анне Энгельгардт: «Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы. Пришли сахару и табаку».

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести;
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.
Область унынья и слез —
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон…
…Лучше слепое Ничто,

Чем золотое Вчера!..

Через десятилетия было предано гласности «дело Гумилева» на 107 листах, сфабрикованное — иначе и не назовешь — Петроградской чрезвычайной комиссии секретно-оперативным отделом. Неувязки, нестыковки, явная фальсификация. Любопытен один из вопросов протокола допроса: политические убеждения? Ответ: аполитичен. Путаница с отчеством: не Степанович, а Станиславович. А в итоге всей этой несуразицы: «…применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел».

Следователь Якобсон (подпись синим карандашом). Выходит, что один-единственный человек взял на себя функцию суда и начертал смертельный приговор. И кто этот таинственный злодей Якобсон? Это — Яков Агранов, сделавший затем большую карьеру и ставший специалистом (!) по работе с интеллигенцией, входивший в ближайший круг знакомых Лили Брик и Владимира Маяковского, эдакий милый и весьма полезный Янечка, как все его звали. (В 1939-м Агранов по приказу Сталина был ликвидирован.)

Среди других приговоренных был сотрудник

Русского музея князь С. Ухтомский. Кто-то по «заговору Таганцева» был помилован, но, к сожалению, у Гумилева влиятельных ходатаев не нашлось… «Приговоренных, — рассказывала Анна Ахматова, — везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался».

«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж.д., — читаем в книге С. Мельгунова “Красный террор в России, 1918–1923”. — Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму… А затем сталкивали в яму и стреляли по ним. Кого-то убили сразу, кто-то был ранен и стонал, но тех и других засыпали землей». Варварская расправа. Людоедская. В духе ЧК.

«Конечно, Гумилев не любил большевиков, — говорил о нем Ходасевич. — Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме “стилистической отделки” каких-то прокламаций, не им даже написанных. Его убили ради наслаждения убийством вообще, еще — ради удовольствия убить поэта, еще “для острастки”, в порядке чистого террора…»

Василий Немирович-Данченко, брат режиссера, вспоминая Гумилева, писал: «Мне рассказывали, как на постановке одной из восточных пьес Гумилева в коммунистическом театре сидели в

первом ряду комиссар Чека и двое следователей. Усердно аплодировали и… вызывали автора! Убитого ими. С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелящееся тело… Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что пред нею средневековый danse macabre?»

Сообщение о расстреле в чекистских застенках 61 заговорщика появилось в петроградских газетах 1 сентября. Приведенный список был не алфавитный, и Гумилев там шел 30-м: «Гумилев Н.С. 33 л. Филолог, поэт, беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций…»

И кто-то ведь поверил в заговорщиков и измену. У Эдуарда Багрицкого в «Стихах о поэте и романтике» есть строки:

Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева…

Но никакого предательства — ни черного, ни белого, — не было.

В парижской газете «Последние новости» от 9 сентября литератор Соломон Познер (1880–1946) в статье «Памяти Н.С. Гумилева» писал:

«Он большевиком никогда не был; отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попав-

шей в обезьяньи лапы кремлевских правителей. Но нигде и никогда публично против них не выступал. Не потому, что боялся рисковать собой — это чувство было чуждо ему, а потому, что это выходило за круг его интересов. Это была политика, а политика и он, поэт Гумилев, — две полярности. Поэт, передавший на русском языке граненый хрустальный стиль Теофиля Готье, переводчик Гильгамеша, мечтатель экзотических картин природы далекой Абиссинии, певец героических деяний конквистадоров, он жил грезами за пределами окружающей современности и удивился бы, если бы его позвали на борьбу с нею. Его жизнь при большевиках была трагически тяжела. Он голодал и мерз от холода, но мужественно переносил лишения. Ходил на Мальцевский рынок и продавал последний галстук, занимал у знакомых по полену, проводил целые дни в Доме литераторов, потому что там было тепло и светло. Но все, на что мог решиться, это на побег, которого так и не осуществил.

Он жил литературой и поэзией. Жил и старался приобщать к ним других…»

Николай Гумилев погиб в 35 лет. Предчувствовал ли он свою судьбу? В 19 лет в стихотворении «Credo» он писал:

Откуда я пришел, не знаю…
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду…

Отблистал Николай Степанович, отсверкал и оказал большое влияние на советскую поэзию 20-30-х годов. Гумилевские ноты можно найти у Тихонова, Светлова, Сельвинского, Бориса Корнилова и у других поэтов. Многие хотели попасть на вокзал и «в Индию духа купить билет». Но, живя в СССР, ни о какой духовной Индии нельзя было и мечтать. И оставалось перечитывать в который раз «великого Гума»:

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга…

«Философский пароход»

Ах, не солгали предчувствия мне,
Да, мне глаза не солгали.
Горло сдавило, и весь я в огне,
Словно по сердцу идет пароход!

Песня из репертуара Леонида Утесова, слова Д'Актиля

Это песня. Это лирика. А в жизни была драма. Трагедия сломанных судеб.

Выходец из интеллигентной среды Владимир Ульянов (Ленин) люто ненавидел интеллигенцию. Какими только оскорбительными эпитетами не награждал он ученую, писательскую, творческую братию. Российская интеллигенция — г… — и всё! И никакие умники нам не нужны! Прочь с дороги! Только рабочие и революционные матросы!..

Едва оправившись от инсульта, Ленин первым же делом написал письмо Феликсу Дзержинскому «о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции». И поручение Сталину: «…Арестовать несколько сот и без объ-

явления мотивов — выезжайте, господа!..»

18 сентября 1922 года Генрих Ягода высылает Ленину список, кого предполагается выслать в первой партии. Среди антисоветской интеллигенции Петрограда: **Питирим Сорокин,** Изгоев, Зворыкин, будущий изобретатель ТВ, еще Иван Ильин, Франк, Осоргин и другие. Примечательно, что против многих фамилий написано: «ар. высылается», т. е. арестован и высылается. Против некоторых — сожаление: «не разыскан».

Через несколько дней ГПУ подводит итог: «Всего высылке подлежат из Москвы — 67 чел., из Петрограда — 53 чел., с Украины — 77, всего 217 чел.»

В конце сентября интеллектуалов группами стали высылать за границу. Сначала по железной дороге в Ригу и Берлин, а затем на пароходах из Петрограда в Германию. Украинцы отправлялись морем в Константинополь. Первым рейсом в изгнание отправились в основном философы, отсюда и термин — «Философский пароход» (иногда, правда, употребляли выражение «корабль мудрецов»). И торжество ленинского решения: «Всех их — вон из России!».

Горячо поддержал высылку неугодных интеллигентов один из коммунистических вождей

Григорий Зиновьев:

«Найдутся люди на Западе, которые заступятся за обиженных интеллигентов. Возможно, Максим Горький снова начнет поучать, что Советской России нужна интеллигенция, но мы знаем, что делаем. Рабочий класс не позволит никому, даже лучшему спецу, сесть ему на шею».

Первым высылаемым по желанию вождя стал **Питирим Сорокин** (1889, село Турья Вологодской губернии — 1968, Уинчестер, США). Профессор социологии, автор двухтомной «Системы социологии». Все социологические выкладки Сорокина о распаде семей и прочем негативе Ленин определил как реакционные, а самого ученого как «лакея поповщины». Чекисты обнаружили в трудах Питирима Сорокина «целый ряд инсинуаций против “Соввласти” (орфография ЧК). Советской власти Питирим Александрович оказался ненужным, а вот в Америке — весьма востребованным (в 1930 году он принял американское гражданство) и организовал в Штатах Центр социологического развития. Сорокин создал теорию социального изменения и исследовал влияние социальных потрясений на поведение личности. И снова цитата из Ленина:

«Вышлем безжалостно и очистим Россию на-

долго».

И очистили науку и бедную социологию….

30 сентября 1922 года в немецком городе Штеттин пришвартовался пароход из России «Обербургомистр Хакен». Он доставил в эмиграцию Бердяева, Степуна, Лосского и других философов.

Существует много воспоминаний пассажиров «философского парохода». Вот одно из них, не философа, а члена семьи — 20-летней Веры Рещиковой (урожденной Угрюмовой). Ее отец Александр Угрюмов, агроном, профессор. Вот маленькие отрывочки:

«…И наступил день отъезда. Дома у нас был последний прощальный молебен… мой отец, посидевший по русскому обычаю несколько минут, встал, перекрестился и начал прощаться:

— Ну, мы через год вернемся.

У нас была полная уверенность, что мы вернемся через год… На Николаевский вокзал собралось провожать нас довольно много народа, что было по тем временам некоторой смелостью… В Петрограде мы провели два дня перед отплытием в Штеттин… На пристани были проводы… Пароход уходил из Петрограда рано утром… Пока мы ехали по морю и кругом была вода, не было чувства острой разлуки, но когда мы ступили на

немецкую землю, стало очевидно: чужбина…

На пристани наняли три фуры, навалили весь багаж и поехали на вокзал, чтобы дальше ехать в Берлин. А за фурами, не по тротуару, а прямо по мостовой, взявши под руки своих жен, шли профессора. Это было целое шествие по Шеттину, напоминающее чем-то похоронную процессию…»

Далее вокзал… «В одном купе с нами ехал писатель Осоргин. Он сидел и плакал, совсем “раскис”, и жена его утешала… Что будет дальше? куда деваться? где жить?..»

А дальше началась берлинская жизнь. О себе Вера записала: «Я, конечно, много плакала, много читала и училась танцевать модные танцы…» Перед молодыми открылись новые возможности…

Эта книга посвящена литераторам, а потому о философах совсем бегло, тем более что я когда-то представлял их в своей книге «99 имен Серебряного века».

Николай Александрович Бердяев (1874, Киев — 1948, Кламар, под Парижем). Русский Гегель XX века, один из величайших философов и пророков новейшего времени. Утверждал, что «в низах Россия полна дикости и варварства… Но на вершинах своих Россия сверхкультурна…

Верхние и нижние этажи жили как бы на разных планетах…»

Перед высылкой на допросе следователь спросил Бердяева:

— Скажете, гражданин Бердяев, ваши взгляды на структуру советской власти и систему пролетарского государства?

— По убеждениям своим, — ответил Бердяев, — я не могу стоять на классовой точке зрения и одинаково считаю узкой, ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянства, и идеологию крестьянства, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии. Стою на точке зрения человека и человечества, которой должны подчиняться всякие классовые ограничения и партии.

Типология «русской души» выражена, как считал Бердяев, в таких началах, как утопизм, нигилизм, анархия, экстремизм, фанатизм и тоталитаризм… «Противоречивость русской души, — писал Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» (Париж), — определяется сложностью русской и исторической судьбы, столкновением и противоборством в ней восточного и западного элемента. Душа русского народа была сформирована православной церковью, она получила чисто религиозную форму. И эта рели-

гиозная формация сохранилась и до настоящего времени, до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины…

Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли…»

Последнее незавершенное произведение Бердяева — книга «Царство Духа и царство Кесаря» (1946–1948). Она начинается словами: «Мы живем в эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу…»

И далее: «Если наша эпоха отличается исключительной лживостью, то ложь эта особенная. Утверждается ложь, как священный долг во имя высших целей…»

Боже, как это знакомо нам сегодня! «Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов…»

Разумеется, такой философ с такими мыслями о советской власти был не нужен. «Идеологически вредный» — как написали спецы-чекисты о другом мыслителе, Лосском.

Николай Онуфриевич Лосский (1870, местечко

Кеславка Витебской губернии — 1965, Париж). Среди прочих заслуг Лосского — перевод «Чистого разума» Иммануила Канта.

В истории русской философии по Зеньковскому сказано, что Лосский — один из самых плодовитых русских писателей по философии им написано очень много книг… Ясность и четкость изложения и смелость в высказываниях…

В эмиграции Лосский сначала жил в Праге, потом перебрался во Францию. Пожил и в США. В последние пять лет Николай Лосский находился на попечении в Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа. Ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Несколько слов о сыновьях Николая Лосского. На день отъезда старшему из них Владимиру было 19 лет, младшему

Борису -17. Впоследствии они оба стали известными людьми. Владимир Лосский — религиозный философ, богослов, возглавлял Братство св. Фотия. Участвовал в антифашистской борьбе. Младший Борис стал искусствоведом и историком архитектуры. Кавалер ордена Почетного легиона.

Семен Людвигович Франк (1877, Москва — 1950, близ Лондона). Русский философ, который мог стать и еврейским, но в 1912 году порвал

с иудаизмом, принял православие. Более того, увлекся марксизмом, но потом и в нем разочаровался.

В сборнике «Вехи» Франк поместил статью «Этика нигилизма». Нравственное миросозерцание интеллигенции Франк определяет как «нигилистический материализм»: «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые…»

Из России Франк был изгнан с такой формулировкой: «…Франк не опасен как непосредственно боевая сила, но вся его литература и выступления в Юридическом обществе и Петроградском философском обществе направлены к созданию единого философско-политического фронта определенно противосоветского характера». И прелестный вывод: «Несомненно вредный».

В эмиграции Франк жил в Берлине, потом перебрался в Париж, а в 1945-м уехал в Англию к детям. Франк полагал, что во тьме есть свет… «Символ веры русского интеллигента, — писал Франк, — есть БЛАГО НАРОДА, удовлетворение нужд “большинства”. Служение этой цели

есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то от лукавого…»

Вернемся к началу. Как писал в статье «Золото Серебряного века» (1999) Даниил Данин: «Пароход с длинным немецким названием — “Обербургамистр Хакен” отплыл на исходе сентября 1922 — за месяц с небольшим до 5-й годовщины “Великого Октября”. И, словно в позорное ознаменование наступившего светлого будущего праздника, он увозил подальше от русской земли целую когорту ее высоколобых интеллекту-алов-гуманитариев. Для революции непригодных: слишком высоколобых…»

Вслед за сентябрьским пароходом на Штеттин в середине ноября от Василеостровской пристани в Питере отплыл на Запад корабль «Пруссия» с еще одной элитарной группой российских интеллектуалов… Это уходил в изгнание Серебряный век русской гуманитарности!..

Лев Троцкий, тогдашний второй человек в государстве, определил эту террористическую акцию как благодеянье: «превентивное милосердие»! Он сознавал, что не сегодня завтра «профессоров, помогающих контрреволюции» могли ожидать на родной земле тюремные нары или пуля в

затылок…

Эстет и некогда жеманник **Михаил Кузмин,** яркий представитель Серебряного века, написал тогда простенькие строки:

Уходит пароходик в Штеттин.
Остался я на берегу…

Кузмин предполагал, что отправленные в изгнание, по всей вероятности обретут, на Западе свободу, а вот он остался на берегу несвободы. Он, который некогда говорил:

Отрадно улететь в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони…

Незабываемый, эффектный, оригинальный поэт и кабаретный драматург Михаил Кузмин после революции потускнел, увял, сгорбился. Его не печатали, был мало востребован. Его интеллект, изящество и фривольность не были уже нужны, это про таких, как Кузмин, Маяковский угрожающе спрашивал: «Кто там шагает левой?!.» Изысканная поэзия Куз-мина больше не пользовалась спросом, новая советская литература была сориентирована на примитивную

«простоту», на «общепонятность», на то, как писали, к примеру, Демьян Бедный, Лебедев-Кумач и прочие истинно советские литераторы. А Кузмин остался Кузминым. В дневнике он записывал: «Действительно, дорвавшиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только ловким молодцам, вроде Рюрика (Ивнева) и Анненкова или Лурье и Альтмана».

Мысль о том, чтобы самому приспособиться, была совершенно чужда Кузмину, что в конечном итоге привело его к почти полной изоляции в 20-30-х годах. В кругу надежных людей Кузмин подчеркивал свое полное неприятие большевистской власти, пока это было можно произносить, не рискуя своей головой.

В 1907 году Кузмин придумал себе эпитафию: «30 лет он жил, пел, смотрел, улыбался…» Надпись же на могильной плите предельно проста:

«Михаил Кузмин 1875-1936

Поэт».

Философский пароход спас многих российских интеллектуалов. А у тех, кто остался в Советской России, сложились разные судьбы. Историк и философ **Михаил Гершензон** активно работал и после революции, достаточно назвать книги «Мечта и мысль Тургенева», «Мудрость Пуш-

кина». Не конфликтовал с властью. А своему товарищу-философу гневно писал: «Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя здесь нет?» (15 февраля 1924 года).

Михаил Степанович Гершензон умер в Москве 18 февраля 1925 года, в возрасте 55 лет. На его похоронах какой-то коммунист, естественно, одетый в кожаную куртку, в «кожанке», сказал о том, что, хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого «пережитка буржуазной культуры».

* * *

Но вернемся к тем, кого выслали морем.

Федор Августовович Степун (1884, Москва — 1965, Мюнхен). В 1910 году защитил в Гейдельбергском университете докторскую диссертацию по историографии Владимира Соловьева.

После Октября оставался в Москве, где «сердце каждого человека билось не в груди, а холодной руке невидимого чекиста», читал лекции в ряде театральных студий, преподавал в Вольной Академии духовной культуры, составил сборник «Освальд Шпенглер и Закат Европы», в котором, кроме Сте-пуна приняли участие Бердяев и другие философы. Сборник попался на глаза Ленину,

усмотревшему в нем «литературное прикрытие белогвардейской организации». Последовал мгновенный арест. На вопрос: «Каково ваше отношение к советской власти?» Степун ответил: «Как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель, считаю, однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления».

За арестом последовала высылка из новой России. «Разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки разного белья. Вот и всё. Даже нательные кресты надо было снимать с шеи…» *(Ф. Степун. «Бывшее и несбывшееся»).*

В ноябре 1922 года «в ветреный, сырой и мозглый день» Степун с другими учеными и общественными деятелями был отправлен в эмиграцию (кто на поезде, кто на пароходе). Первое пристанище — Берлин. И первая работа — в эмигрантском журнале «Современные записки», где он руководил литературно-художественным отделом. И еще один журнал — «Новый Град». Как христианский демократ, Степун в 20-30-е годы сосредоточился на проблеме исторической судьбы

России и осмыслении феноменов революции и большевизма.

В результате американской бомбардировки Дрездена в 1945 году Степун чудом остался жив, но потерял дом и все свое имущество. Перебрался в Мюнхен, где возглавил созданную специально для него кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана. В нем Степун преподавал до 1960 года и был одним из самых блестящих лекторов университета. К 80-летию Степуна правительство ФРГ наградило его высшим знаком отличия. Через год Федор Августович Степун скоропостижно скончался, возвращаясь с одной из своих публичных лекций. Можно считать это смертью «на боевом посту».

Иван Александрович Ильин (1883, Москва — 1954, Цолликон, пригород Цюриха). Философ, в революционные годы — идеолог Белого движения, убежденный монархист. А еще можно сказать — поэт России.

Ильин любил Россию самозабвенно и писал о ней, как настоящий поэт: «Россия одарила бескрайними просторами, ширью равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих в легкий, далекий путь. И просторы эти раскрыли

наши души и дали ширину, вольность и легкость, каких нет у других народов. Русскому человеку присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание неизведанных небывалых возможностей…

Созерцать научила нас Россия. В созерцании наша жизнь, наше искусство, наша вера…

Россия дала нам богатую, тонкую, подвижную и страстную жизнь чувства…

И еще один дар дала нам наша Россия: это дивный, наш могучий, наш поющий язык…»

Но Россию Ильин любил с мечом. «Теоретик православного меча» за это весьма чтим нынешними властями России, а вот Бердяев о воззрениях Ильина выразился так: “Чека” во имя Божье еще более отвратительно, чем “чека” во имя дьявола». Свою статью Бердяев назвал «Кошмар злого добра».

Высланным из России оказался и **отец Сергий (Сергей Николаевич Булгаков,** 1871, Дивны Орловской губернии — 1944, Париж). Философ, богослов (до богослова был марксистом и революционером), публицист, литератор и даже журналист. «Философский пароход» доставил Сергея Булгакова в Константинополь, далее Прага, Париж. После его смерти осталась книга

«Тихие думы».

В книге «В своем углу» Сергей Дурылин писал о Сергее Булгакове: «Темперамент сердца, преданного неустанным волнениям “проклятых вопросов” о смысле бытия, о сущности религии, о судьбе родины… Что-то юное, что-то… вечностуденческое в этом немолодом уже лице русского человека из интеллигентов».

Еще один «пароходник» — **Александр Изгоев.** Сущностный, говорящий псевдоним, который избрал себе Арон Лянде (1872, Ирбит — 1935, Хаапсалу, Эстония). Яркий публицист. В декабре 1905 года, спасаясь от еврейских погромов, переехал в Петербург, где был избран в ЦК партии кадетов. Февральскую революцию воспринял пессимистически, считая, что культурный уровень большинства российского социума довольно низкий и поэтому почти невозможно перейти от авторитаризма к республиканской форме правления, к демократическим свободам. После Октября был заключен в Ивановский концлагерь, а в августе 1922 года выслан на «философском пароходе». Сначала жил в Праге, а потом обосновался в Эстонии. Изгой Изгоев. Беженец-интеллектуал…

* * *

Многие русские мыслители эмигрировали сами, не дожидаясь высылки на «философском пароходе»: Струве, Шестов, Шпет…

Петр Бернагардович Струве (1870, Пермь — 1944, Париж). Он пережил несколько фаз: от красного Струве до белого Струве. Начинал как легальный марксист, а закончил активным участником Белого движения. Ленин называл Струве ренегатом. Для Струве террор был неприемлем, для Ленина — обязательный инструмент захвата и удержания власти. Струве состоял в Национальном комитете при генерале Юдениче, вместе с белыми эвакуировался в Константинополь. Ну а далее в Париж, где поначалу занимался пропагандой интервенции в СССР.

В Париже возглавлял газету «Возрождение» и вел рубрику «Дневник политика». Немец по происхождению, он обладал типичным русским духом и был чем-то похож на Герцена и Хомякова. Страстный, неутомимый борец. Струве прожил 74 года. Из трех его сыновей наиболее известен Глеб (1898–1985). Переводчик, сыграл огромную роль в развитии славистики в США. А другой сын, Ни-

кита, остался в Париже и возглавлял крупнейшее издательство «ИМКА-пресс», которое издавало русских авторов.

Лев Исаакович Шестов (по-еврейски Иегуда Лейб Шварцман, 1866, Киев — 1938, Париж). Философ, родившийся из собственной личности в семье купца-миллионера. И, естественно, разрыв с отцом. «Трагизм из жизни не изгоняют никакие общественные переустройства, и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность, а принять их, признать и, может быть, понять».

В 1920 году эмигрировавший из России Лев Шестов с семьей осел в Париже, а потом в предместье. Жил уединенно. Преподавал в Институте славяноведения при Парижском университете. Умер от болезни.

В своем творчестве Шестов занимался великими людьми — Шекспиром, Паскалем, Ницше, Достоевским. Главная тема — трагизм индивидуального человеческого существования. Как философ-экзистенциалист Лев Шестов предлагал не бежать и не закрывать глаза на трагедию, а занять твердую стоическую позицию перед лицом смерти, и тогда, как он считал, может что-то открыться… «Мы не слепые, которых насмешливая

или бессильная судьба загнала в лес и оставила без проводников, а существа, сквозь мрак и страдания идущие к свету».

Снова парадокс: абсурд жизни и все же надежда на свет.

«Никакая гармония, никакие идеи, никакая любовь или прощение, словом, ничто из того, что от древнейших времен придумывали мудрецы, не может оправдать бессмыслицу и нелепость в судьбе отдельного человека», — писал Шестов. И в то же время он же: перед лицом смерти… — «последняя тайна». «Золотая безмерность», как однажды выразился философ.

Христианский мыслитель и философ **Георгий Петрович Федотов** (1886, Саратов — 1851, Бэкон, штат Нью-Джерси, США).

В 20-е годы две книги — «Абеляр» и «Об утопии Данте», одна вышла, другая нет по цензурным соображениям. И Федотов понял: надо уезжать. В 1925 году под предлогом работы в иностранных библиотеках покинул Советский Союз. И навсегда. Во время Второй мировой войны перебрался в США. Выпустил много интересных работ: «Загадка России», «Запад и СССР», «Россия и свобода», «Судьба империй» и т. д.

Свою статью «Россия и свобода» (Нью-Йорк,

1945) Федотов начал словами: «Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России…». Если предположить, что эта федотовская статья появилась в СССР, то легко себе представить, как бы недоумевал народ-победитель, который за годы правления коммунистов забыл, что такое свободный человек и свободное общество, о чем и писал Федотов:

«…Вглядимся в черты советского человека, конечно, того, который строит жизнь, не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив, партию или Родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен

Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире; третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные “орды”, впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ори-ентализируя его…»

Прочитав эту выдержку из статьи Федотова, старшее поколение мгновенно вспомнит всё: и «на буржуев смотрим свысока…», и «я другой такой страны не знаю…», и, конечно, «кипучую, могучую, никем не победимую…». Да, был такой подлинный угар патриотизма и влюбленности в советскую власть (пропаганда недаром ела хлеб).

* * *

Все перечисленные философы и мыслители спаслись. А многие, кого не выслали и которые не решились на отъезд по тем или иным причинам, получили, как говорится, сполна. Испили

горькую чашу страданий, многие из них погибли в советских концлагерях.

Василий Васильевич Розанов умер в 1919 году в крайней степени нужды. По умирающему Розанову (немного не дожил до 63 лет) отходную прочитал отец Павел Флоренский.

Отец Павел — **Павел Александрович Флоренский** (родился в 1882 году) погиб в заключении 8 декабря 1937 года, оставив удивительную для своего положения рукопись — «Предполагаемое государственное устройство в будущем». Без насилия? Арестов? Концлагерей?.. Флоренский много сделал, а сделать мог еще больше в науке, в философии.

В сентябре 1935 года Флоренский писал жене из Соловецкого лагеря: «…Последнее время нет-нет, а выглянет солнце, правда, лишь на время и большей частью светящее жидким северным светом. И дождит не сплошь, а временами и слабо. По виду из окна можно подумать, что находишься в Италии или в Швейцарии…»

Он был расстрелян в Соловецкой тюрьме особого назначения. В списке смертников шел под номером 190.

В одном из последних писем 13 февраля 1937

года Флоренский писал: «…Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за то страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания».

Еще одна жертва — **Густав Густавович Шпет** (1879, Киев -1937, лагерь в Томской области). Оригинальный философ. До революции ездил учиться по многим университетам Европы — Гёттинген, Берлин, Эдинбург, Париж. С 1918 года профессор Московского университета. Вроде бы приветствовал советскую власть и на нее работал: Институт слова, худсовет МХАТа, Академия высшего актерского мастерства, где Шпет был вице-президентом. Но в 30-е годы началась чистка…

В одно прекрасное утро пришли трое мрачных людей и сказали, что они — «комиссия по чистке». А далее последовал диалог:

— Где у вас партком?

— У нас нет парткома.

— А где у вас местком.

— У нас нет месткома.

— Что за странное учреждение, — удивились пришедшие. — А кто у вас главный? Скажите, чтоб завтра собрались все сотрудники. Мы будем

проводить чистку.

Президента на месте не оказалось, и за всё и всех решил отвечать Густав Шпет. Он категорически приказал никому на «чистку» не ходить. Тогда комиссия стала разбираться с самим Шпетом. После разборки Шпет вышел к сотрудникам академии и сказал: «После всего, что я им сказал, академию закроют, поэтому уходите сами в разные места».

Академию закрыли. Из дневника Шпета: «Очень плохое самочувствие; не работается, спится, “разложение”…»

Развязка наступила 14 марта 1935 года — к ночи пришли люди из НКВД арестовывать Шпета. Что они искали? Оружие, взрывчатку, ход в Кремль из каминной трубы, списки тайной организации? Кроме книг, рукописей и записных книжек, у Густава Шпета ничего не было «политически вредного», Приговор был сравнительно мягкий: 5 лет ссылки в Енисейск. Условия оказались более или менее сносными, и Шпет занялся переводом «Феноменологии духа» Гегеля.

Там же, в ссылке, 27 октября 1937 года Шпет был арестован за участие в создании Большого немецко-русского словаря, издатели которого сели в Москве за «пособничество Германии». А

дальше все простенько в духе кровавого 37 года: заседание тройки, приговор и расстрел. Жена Наталья Константиновна дожила до 1956 года и получила справку о реабилитации Густава Густавовича «ввиду недоказанности преступления» и лживое свидетельство о его смерти 23 марта 1940 года «от воспаления легких».

В дальнейшем всплыл протокол о приведении приговора в исполнение от 16 ноября 1937 года, очевидно, в этот же день и расстреляли Густава Шпета на пустыре Каштак. Сейчас там завод и новостройки.

Густав Шпет погиб в 58 лет.

И вдогонку, чтобы не было совсем печально:

«О Шпете начинают ходить легенды и анекдоты. Кто-то из профессоров жалуется, что если рядом читает Шпет, то в его аудиторию заходят только за стульями. Многие его не любят. Бердяева он как-то назвал Белибердяевым — злая шутка вполне в его духе» *(М. Поливанов. Очерк биографии Г.Г. Шпета).*

Лев Платонович Карсавин (1882, Петербург — 1952, лагерь Абезь в Сибири). Философ, публицист. Одна из его многочисленных книг — «Восток, Запад и русская идея» — о духовном синтезе православного Востока с культурой Запада.

Когда грянула революция, то Карсавин не принял сторону большевиков, но в то же время твердо верил в глубинный творческий смысл русской революции. А власть воспринимала профессора Карсавина как мятежника духа, и, соответственно, он был арестован, а 15 ноября 1922 года выслан на пароходе «Пруссия» с другими русскими философами. Берлин, Париж… Но Карсавину хотелось быть поближе к России, и он перебрался в Литву, в 1927 году занял кафедру университета в Каунасе. Тогда мало кто предполагал, что Литва станет советской, а она ею стала, и печальный финал для Карсавина: арест в декабре 1949 года и этапирование в Воркуту. О тех временах и лагерях создано много народных песен:

Жестокий закон для народа создали,
Настроили тюрем, кругом лагеря,
И тысячи тысяч этапами гнали
Туда, где в безмолвии стынет земля…

Или другая песня, «Лагерная»:

День и ночь над тайгой завывают бураны,
Крайний Север суров, молчалив и

угрюм.

По глубоким снегам конвоиры шагают,

Неизвестно куда заключенных ведут…

Карсавина определили в Абезь, в инвалидный лагерь. Долго он там не протянул и скончался 20 июля 1952 года в изоляторе для безнадежных, на 70-м году жизни.

Среди его творческого наследия — 5 томов «Истории европейской культуры», 6-й том изъят при аресте и утрачен.

Вот такая судьба, и она отличается от судьбы его сестры **Тамары Карсавиной** (1885–1978), примы-балерины Мариинского театра. Петр Пильский писал о ней:

«…Вся — ослепительный блеск, великолепное колдование, сладкое и мягкое владычество, волшебство танца, непобедимая притягательность, в огнях и пыланье своего огромного таланта…» *(«Роман с театром»).*

Тамара Карсавина связала себя не с Россией, а с балетом. Начала гастролировать по Европе с 1906 года, а с 1919-го по 1928-й блистала в труппе Сергея Дягилева. А когда оставила сцену, то в течение 25 лет являлась вице-президентом Королевской академии танца в Лондоне. И никакой совдепии,

СССР и лагерей…

* * *

Ну, и что в заключении «Философского парохода»? Философы — самая интеллектуальная часть интеллигенции, той русской интеллигенции, которая радела за народ и подталкивала его к революционным переменам, наивно предполагая, что с революцией придут свобода духа, благоденствие и народное счастье. Ничего из этих мечтаний не сбылось. Революция снесла старую Россию и построила новую, отнюдь не лучше первой, а в чем-то и хуже. В этом смысле на интеллигенцию ложится часть ответственности за происшедшее в стране. Пусть маленькая, но все же вина. Стало быть, интеллигенция несет в себе некий дуализм — комплекс жертвы и палача. Впрочем, сама жизнь диалектична, в ней добро и зло, любовь и ненависть порою связаны между собою.

И еще соображение. Конечно, в судьбе народов виноваты прежде всего кормчие, национальные лидеры, наместники Бога — цари, генсеки, президенты. Они определяют вектор направления истории, устанавливают законы и порядки, регламентируют жизнь своих подданных и с

натяжкой сказать — граждан. А сам-то народ? Что он?.. Писатели-классики много чего об этом написали, много чего высказали в глаза. Правду неприятную, колющую, болезненную. Как написал Гершензон о временах Герцена и Писарева: «…Полвека толкутся… перебраниваясь. Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, — да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома…»

И еще одна цитата из письма Тургенева графине Ломберт, 1861 год: «История ли сделала нас такими, в самой ли нашей натуре находятся залоги всего того, что мы видели вокруг себя — только мы действительно продолжали сидеть в виду неба и со стремлением к нему по уши в грязи…»

…А пароход тем временем плывет все дальше навстречу губительным айсбергам, и на борту его можно разглядеть название — «ТИТАНИК».

Русские беженцы в Европе и паспорта Нансена

Давно замечено, что когда работаешь над книгой, материалы сами плывут к тебе. Так к главе о «Философском пароходе» приплыла лекция профессора Андрея Зубова, опубликованная в

«Новой газете» 16 и 20 ноября 2015 года. Лекция о русских беженцах в Европе. Глупо ее игнорировать, и поэтому я взял кое-какие цифры и факты из профессорской лекции. Главный тезис первой части: «Страна, уничтоженная революцией, сохранила себя на Западе». И второй: «Становиться советскими гражданами русские беженцы также категорически не желали. Они желали оставаться русскими гражданами, пусть и без России».

Американский Красный Крест называл на 1 ноября 1920 года число выехавших из России — 1 млн 194 тыс. человек. Лига Наций в августе 1921 года — 1 млн 400 тыс. человек. В значительной степени беженцами были люди образованные, люди культурной и политической элиты. Юрист Борис Нольде в первом номере уже эмигрантских «Последних новостей» за 1 апреля 1920 года писал: «Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшаяся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа, но все те, в руках которых было сосредоточено руководство страны».

Знаменитый «Философский пароход», отчаливший от Английской набережной Петрограда осенью 1922 года, стал царским подарком Ленина миру и еще одним актом опустошения большевиками России… Люди уходили, спасаясь от

ненавистной новой власти…

Советская власть предписала всем уехавшим подтвердить свое гражданство в консульствах РСФСР. На июль 1922 года 1 млн 160 тыс. не захотели стать советскими гражданами и оказались в положении апатридов. Европа не осталась безучастной к бедственному положению русских беженцев (а сколько среди них было недоучившихся гимназистов, студентов!). Только за апрель 1920 — август 1921-го на обустройство русских беженцев Великобритания потратила около одного миллиарда фунтов. Во Франции каждому беженцу полагался паек (в России был голод, а на Западе эмигрантов худо-бедно кормили)…

Большую роль в судьбе российских беженцев сыграла Лига Наций, которая создала специальную комиссию по делам русских беженцев. Ее возглавил знаменитый полярный исследователь и филантроп Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен. Он возглавлял и другой комитет, ПОМГОЛ — помощи голодающим в России. Нансен предложил, и это было принято: для тех русских, которые не желают принимать советское гражданство, выдать специальный документ — паспорт апатрида, который стали сразу называть «нансеновским паспортом». Русским беженцем «признавалось

лицо русского происхождения, не принявшее никакого иного подданства».

Нансеновский паспорт не только устанавливал личность беженца, он давал ему еще и права, практически равные с гражданами той страны, где он проживал: право на труд, социальную защиту, призрение по старости и т. д. Из беспризорного апатрида русский беженец превращался в социально защищенное и правоспособное лицо. Примерно 600 тыс. получили нансеновские паспорта. Почему не все? Многие приняли гражданство Англии, Франции и других стран. Можно сказать, что Европа не оставила русских изгнанников в беде. Сама Европа вследствие Первой мировой войны и разразившегося экономического кризиса была обескровлена и ослаблена. И тем не менее европейцы протянули руку помощи русским. И не случайно в 1922 году верховному комиссару Комиссариата по делам русских беженцев Фритьофу Нансену была вручена Нобелевская премия мира. Об этом у нас на родине предпочитают не говорить. Более того, советская власть ответила «адекватно»: все проживающие за границей лишались гражданства СССР: уехали — и бог с вами! Вы нам не нужны!..

После смерти Нансена, 30 сентября 1930 го-

да, был создан Международный офис по делам беженцев имени Нансена; но по настоянию Советского Союза он был закрыт в 1938 году. Советская власть ни заботиться, ни думать об эмиграции не хотела. Отрезанный ломоть!.. А вот Запад и не только западные страны были вполне милостивы к русским изгнанникам: гоминьдановский Китай приютил 300 тыс. россиян. Маленькая Чехословакия усилиями Томаса Масарика сделала очень многое: открыла Русский университет, гуманитарные и технические школы в разных уголках страны, на учащихся выделялись деньги на питание, одежду, медицинское обслуживание и т. д. Эта благородная помощь называлась «Русская акция», ее расцвет пришелся на 1924 год. А в 1968-м мы «благодарно» ответили вторжением советских танков в Прагу…

Вот только некоторые выжимки из лекции профессора Зубова, а закончил он свою лекцию вопросом: «Почему же мы все это забыли?.. Почему же мы забыли о том, как весь мир протягивал нам руку?..»

Почему да почему? Я добавлю: почему мы все время ищем логику в действиях власти? И сам отвечаю: «Логика в России не ночует, она предпочитает другие места обитания…» А в народе на

вопрос «почему?» отвечают грубо и просто: «Да по кочану!..» И все ученые вопросы сразу отпадают. Россия — вечная загадка и тайна.

Отправимся-ка лучше в Берлин, а затем в Париж, посмотрим, как там обустраивались русские в разные исторические периоды.

Берлин, Париж – два центра русской эмиграции
Берлин – Berlin

Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия.

Марина Цветаева

В Германии русские чувствуют себя еще более дома, чем на родине.

Андрей Белый

Не помню, кто именно назвал Берлин «мачехой русских городов». В книге немецкого исследователя Фрица Мирау «Русские в Берлине. 1918–1933 годы. Встреча культур» говорится, что к 1923 году на берегах Шпрее обосновалось до 300 тысяч из 2,5 миллионов русских эмигрантов. Писатель Лев Лунц, который смертельно больной приехал в Германию лечиться, делил их на три группы. Первую составляли деловые люди, биржевики, которым в общем-то было все равно, где жить. Они не особенно тосковали по родине и не интересовались политикой. Вторая группа — политэмигранты, которые хотели бы вернуться, да не могли. Третья — интеллигенция, снедаемая

ностальгией. Им претило все немецкое, от языка до кухни. Но они не возвращались, хотя никто им вроде бы не препятствовал. Если верить Лунцу, их было больше всего.

Историк Глеб Струве отводил Берлину с конца 1920 до начала 1924 года роль второй после Парижа, притом литературной столицы русского зарубежья. Не надо забывать и то обстоятельство, что Германия до 1924 года была одной из немногих стран, признавших Советскую Россию, именно туда из Петербурга и Москвы приезжали писатели, художники, журналисты. И происходило как бы живое общение между двумя половинами русской культуры. Необычная интенсивность этого диалога — вот что отличало «русский Берлин» от «русского Парижа», «русской Праги», «русского Харбина» и других столиц межвоенной эмиграции *(Вадим Чудов. «Эхо планеты», 1-1993).*

На главной улице Курфюрстендамм была громко слышна русская речь, и «русский дух» витал над четырьмя районами Берлина — Шарлоттенбург, Тиргартен, Вильмерсдорф и Шенеберг.

В 20-х годах, вспоминал Андрей Белый, в этих районах встречались адвокат из Москвы и литературовед из Петрограда, генерал Петр Краснов

и бывший министр Виктор Чернов. Заслышав немецкую речь, «шарлоттенградцы» испытывали шок: как? Немцы? Что им нужно в «нашем городе»? Одно дело — Бердяев и Борис Зайцев, Пильняк и Пастернак, Маяковский — это нормально. А немцы?!.

В Берлине давал симфонические концерты Игорь Стравинский, пел Федор Шаляпин, играл в театрах и снимался на киностудиях Михаил Чехов… Деятели культуры регулярно собирались в Доме искусств на Курфюрштрассе, где велись дискуссии о новых течениях в искусстве: Сергей Рафалович докладывал о футуризме, Сергей Шаршун — о дадаизме, Эль Лисицкий — о конструктивизме, Таиров — о своем Камерном театре, Бердяев — о Достоевском и т. д. Дискуссии вращались главным образом вокруг темы: возможно ли развитие русского искусства вне России?..

Литераторы облюбовали кафе «Леон» и «Прагер диле», там встречались Бунин и Андрей Белый, Максим Горький и Алексей Толстой, Эренбург и Николай Минский, Цветаева и Лев Шестов… В Берлине начинал свою литературную карьеру Владимир Набоков, после того, как рухнула финансовая: он три часа проработал в одном

немецком банке, откуда был уволен, поскольку не пожелал сменить английский свитер на принятый в германской столице строгий костюм… Алексей Ремизов, живший одно время в германской столице, не уставал удивляться по субботам и воскресеньям колокольному звону, теряясь, где он находится — «ли ты в Москве, ли ты в Берлине». А Набоков находил прелесть нового местонахождения: «…Нежен и туманен Берлин, в апреле, под вечер».

Но хватит отвлечений. Именно в Берлине зародилась удивительная дружба-любовь между Рильке, Пастернаком и Цветаевой. Трио поэтов обменивалось письмами, признаниями и стихами. Марина Цветаева с присущей ей экспрессией признавалась: «Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня». Иначе — есть телесное и есть нечто высшее.

Илья Эренбург советовал всем мужчинам, интересующимся порнографическими изданиями: «Надо уметь купить, не краснея». Но сам не переставал удивляться обилию в Берлине геев и лесбиянок: «Проститутка, скромно зазывающая на Егерштрассе прохожего, начинает казаться образцом добродетели. Пожалуй, среди кафе, где женщины любят женщин, а мужчины мужчин,

просто-напросто самая обыкновенная традиционная проститутка. Ведь это же — идиллия!» Самое время вспомнить популярную песню «Черная моль»: «Я дочь камергера», — вынужденная продавать свое тело… Тогда многим эмигрантам казалось, что Запад — это сплошной порок и растление. Виктор Шкловский писал: «Я чувствую себя на берлинском асфальте как корова на льду… Горька, как пыль карбида, берлинская тоска…»

Не выдержав тяжести эмиграции, вернулись на родину Алексей Толстой, Шкловский, Эренбург, Пильняк и другие. А кто-то из Берлина отправился на другие чужбины — в Чехословакию, во Францию, в США.

Всем под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке… —

так писал Владислав Ходасевич. Берлин стал для него первым пристанищем в эмиграции (если не считать житье на Капри на вилле Горького).

Владислав Ходасевич и Нина Берберова приехали в Берлин 30 июня 1922 года и жили в пансионате. Среди постояльцев — Андрей Белый. Рядом комната вице-губернаторши. Она ходила

в глубоком трауре не то по государю императору, не то по Распутину. В первый же день она спросила Берберову: что такое Пролеткульт, училась ли в Пролеткульте, кончила ли Пролеткульт, собиралась ли ехать обратно и держать экзамены в комсомол?.. Уже по этим вопросам ясно, что старые эмигранты с трудом себе представляли, что происходит в новой России.

Кого только не было в Берлине 20-х! В дверях ресторана стояли в ливреях русские генералы, а пальто, шляпы и трости подавали камер-юнкеры. По берлинским улицам в черной шляпе ходила Нина Петровская, старая, хромая и несчастная. Суетился Виктор Шкловский, чинно выхаживал Марк Слоним, приехавший в Берлин «для поправления здоровья». Еще Борис Пастернак, Владимир Лидин, пушкинист Модест Гофман, Сергей Маковский, Семен Юшкевич и многие, многие другие. Генералы и вице-губернаторы постепенно отходили в небытие, социалисты-революционеры обрастали Керенским, Черновым и другими видными политиками. Гужевались эсдеки. По отдельности собирались петербуржцы и москвичи. Каждая группа держалась обособленно, по интересам и по политическим взглядам. Сбивались в кучу литераторы — Роман Якобсон,

Илья Эренбург, молодой Набоков, философ Лев Шестов и, как пишет Берберова в своем «Курсиве», возвратившийся потом в Россию, чтобы там погибнуть, Илья Лежнев…

Бурлила русская речь. Вспыхивала русская литература. Напечататься было не проблемой: в начале 20-х русских издательств насчитывалось около двухсот. Одним из успешных издателей был Зиновий Гржебин. Имея договор с Госиздатом, он печатал русские книги в Берлине и отправлял их в советскую Россию, но потом Ленин посчитал его издательство контрреволюционным, и «лавочка» Гржебина разорилась. Все писатели были в отчаянии, Михаил Осоргин восклицал: «Что можно было сделать, если бы не мешали!»

В 1923 году в Германию из Польши приехал Александр Вертинский и подивился жизни в Берлине. «Наши неунывающие русские эмигрантские дамы, — как писал он в своих воспоминаниях, — сразу стали учить немок, как одеваться. Понавезя из России чернобурок, лисиц, соболей, шеншелей, норок, белок и других мехов, они открывали салоны мод, задавали тон, проживая остатки вывезенных средств…»

«Русская эмиграция не особенно задерживалась в Германии, во-первых, потому, что рядом был Па-

риж, к которому издавна влекло русские сердца, а во-вторых, инфляция…» И, конечно, в ухудшении жизни винили приезжих. «Ферф-люхтер ауслендер!» — проклятый иностранец! — слышалось на каждом шагу. Русских действительно было так много, что ходил анекдот, как старый немец, почтенный бюргер, отчаявшись услышать в Берлине немецкую речь, с горя повесился.

В 1926 году русская жизнь в Берлине стала сокращаться и замирать. Русская эмиграция начала концентрироваться в Париже. Париж превратился в центр эмигрантских бурлений и завихрений. В Париже клокотала жизнь, кому-то улыбаясь удачей, а кому-то давая злобного пинка под зад…

И как горько написал Ходасевич в статье «Литература в изгнании»: «Судьба русских писателей — гибнуть. Гибель подстерегает их и на чужбине, где мечтали они укрыться от гибели».

«Злые духи» — одна из ариэток Вертинского, написанная в 1925 году в Берлине:

…Вынимая билетики счастья, я смотрю
в несчастливые лица,
И под вечные стоны шарманки
мне мучительно хочется спать…

...Это все ваши злые духи. Это черные мысли

как птицы,

Что летят из флакона – на юг, из флакона «Nuit de Noëi».

На этом, пожалуй, закончим горько-лирические импровизации о Берлине и откроем солиднейший, тяжеленный том «Москва — Берлин, Berlin — Moskau, 1900–1950», совместное российско-германское издание 1996 года. 700 страниц с роскошными иллюстрациями — советую туда нырнуть. А мы выдернем оттуда отрывочек из вступительного слова Эберхарта Дипгена, бургомистра Берлина:

«...От этих двух европейских метрополий исходили импульсы, положительно изменившие мир. Берлин и Москва были до конца 20-х годов лабораторией модерна. Из Берлина берут свое начало экспрессионизм, дадаизм, баухауз. Москва принесла конструктивизм и авангард ранних 20-х годов, которые привели в движение мир искусства. Эль Лисицкий, Казимир Малевич и Владимир Татлин являются такими же знаками эпохи, как Отто Дикс, Райнер Мария Рильке и Арнольд Шёнберг. Это было золотое время ис-

кусства. Очень скоро, однако, обе страны были ввергнуты в пучину насилий и бедствий…»

Ну а потом, как говорят в народе, суп с котом! Реалии, химеры, агрессия и зло до полных краев…

«Что стало бы с Берлином и Москвой, не произойди катастрофы? Оба города были в 1914 году накануне превращения в столицы мирового значения. По сравнению с Парижем и Лондоном Берлин считался выскочкой. Но из года в год Берлин посещало все больше иностранцев, Берлинский университет становился одним из ведущих в мире, больницы и музеи обретали мировую известность, Берлин был “величайшей фабрикой в мире”…»

Да и Москва с Петербургом до Первой мировой войны благоденствовали. Русская буржуазия догнала, а где-то и перегнала европейцев. Не случайно Осип Мандельштам писал в 1913-м:

От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

А потом Первая мировая война и патриотический угар, которому поддались многие русские поэты и писатели, и Игорь Северянин в 1914-м

восклицал:

Друзья, но если в час убийственный
Падет последний исполин,
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Первая мировая кончилась плачевно и для Германии, и для России. А у нас на родине война породила еще и революцию.

В конечном счете в обеих странах демократия была растоптана и воцарился тоталитаризм. Если говорить о литературе, то поражает тематическое и стилистическое сходство советской и фашистской системы. Один и тот же «культ героя, солдата, молодости, здоровья и силы, прославление мучеников идеи (Павел Корчагин — Курт Бессель). Особенно характерна гипертрофия эстетической категории: клятвы верности идеям расы или класса, обращение к потомкам, воспевание человеческого труда. Культ вождя в литературе обеих стран стал почти нормой» *(А. Рудник, В. Крижевский. «Власть метода и методы власти», с. 373).*

Стоп. На этом точка. И из Берлина — в Париж.

Париж – Paris

Он часть истории, идея, сказка, бред…

Валерий Брюсов, «Париж», 1903

Смею утверждать, что у каждого русского есть свой Париж. В мечтах или реальный. Воссозданный по прочитанным книгам, по страницам альбомов, по кадрам кинофильмов. А для избранных — увиденный воочию и исхоженный вдоль и поперек.

С давних времен русского интеллигента тянет в Париж, как обычного мужика — на водку, чтобы немного забыть обыденное и ошалеть от неувиденного. Легко на бумаге написать или набрать на клавиатуре слово «Париж», а как трудно раскрыть историю и душу этого уникального города, очень притягательного, манящего и недостижимого для русского человека (кому-то повезло — быть или жить в Париже, а кто-то остался в родных Тетюшах с мечтой о Париже в своем сердце).

Ах, Нотр-Дам, ах, Эйфелева башня! Ах, Елисейские поля! Champs — Elysees, как пел Джо Дассен.

Ну и прочие ахи и вздохи по поводу уникального города Парижа. И как пел Высоцкий:

Куда мне до нее – она была в Париже,
И я вчера узнал – не только в ём одном.

Как сказал папа Хэм, Париж — это праздник, который всегда с тобой. Для туристов особенно. А для эмигрантов — вопрос…

Литератор и переводчик Борис Носик, эмигрировавший давным-давно из нашей прекрасной страны, написал несколько книг из серии «Прогулки по Парижу» и «Вокруг Парижа». Читаешь их, и со страниц встают Мопассан и Бунин, д'Артаньян и Арамис, Дама с камелиями и королева Марго, два Дюма и Виктор Гюго, инспектор Мегрэ и Растиньяк, Жерар Филип и Эдит Пиаф, Нижинский и Дягилев, Тургенев и Набоков, княжна Тараканова и анархист Бакунин, Петлюра и Махно, Жак Тати и Бриджит Бардо, Ренуар и Роден, Жорес и Флобер, Виктор Некрасов и Андрей Синявский, и многие-многие другие знаменитости и звезды, кумиры и идолы. А еще изгнанники из разных стран, революционеры, бунтари. Все уживались под крышами Парижа (в моей коллекции была когда-то пластинка «Под крышами Парижа»). В Париж, как пчелы на цветочный

нектар, слетались гении и таланты, представители различных видов искусств, от Шаляпина до Пикассо. А уж писателей и поэтов не счесть.

Цари и революционеры

Наш краткий перечень — и только русских! — начнем с царских особ. В Париже бывал юный Петр **I.** А **Александр I** даже завоевал Париж, победив всесильного Наполеона. Как утверждает легенда, с русскими казаками связано возникновение парижских бистро — «быстро! быстро!» — кричали казаки, некогда рассиживаться. По коням и вперед!..

И только сам император-победитель никуда не спешил, наслаждался победой и любовался французскими женщинами. В один прекрасный весенний день 1814 года он посетил бывшую императрицу Франции Жозефину. С Жозефиной и ее дочерью Гортензией, императрицей Голландии, Александр I размеренно разгуливал по парку Мальмезона. Русский император, жуир по натуре, купался в светских разговорах и с удовольствием продолжил встречи, на одной из которых Жозефина, одетая в легкое воздушное платье, простудилась и 29 мая умерла. А Александр, отри-

нув печаль, продолжал ухаживать за Гортензией, о чем она с удовольствием вспоминала в своих мемуарах.

Любопытно, что Александр не оставил без внимания и вторую супругу Наполеона Марию-Луизу, которой он нанес визит 13 апреля 1814 года в замке Рамбуйе. Мария-Луи-за приняла врага своего мужа по совету собственного отца, австрийского императора, который был союзником Александра. Эта встреча далась нелегко Марии-Луизе. «Я старалась казаться в присутствии врагов храброй, но сердце мое обмирало», — записала супруга поверженного французского императора.

И еще деталь: Александр I пожелал увидеть наследника, Орленка, сына Наполеона, и был очарован его красотой. Поцеловал и долго любовался им. Да, такие вот были нравы царей и королей в те далекие времена (сопоставьте с расстрелом царской семьи у нас в 1918-м). Тогда война была войной, а этикет этикетом.

Другой русский император **Александр II** лихо скакал по Сен-Жерменскому лесу в окрестностях Парижа, а рядом скакала молодая наездница (и его будущая супруга де-факто) Катенька Долгорукова. Был чудесный июньский день, и казалось, что впереди их обоих ожидает счастье. Но…

На царя-реформатора русские революционеры-террористы охотились, как на зверя. И одно из многих покушений произошло в Париже в Булонском лесу 6 июня 1867 года, когда пламенный поляк из Волыни Антон Березовский дважды выстрелил в медленно проезжающего по лесу «царя-освободителя». К счастью, террорист промахнулся и ранил только лошадь, и она обрызгала кровью императора Александра II.

Все французы отметили, что русский царь отнесся к этому покушению с «надменным равнодушием». Вернувшись во дворец, он принял своих министров и сказал им: «Вот видите, господа, похоже, что я гожусь на что-то, раз на меня покушаются».

Террористы добили Александра II: он был убит 1 марта 1881 года динамитным снарядом на набережной Екатерининского канала в Петербурге. И Катенька Долгорукова, после морганатического брака ставшая светлейшей княгиней Юрьевской, осталась вдовой. Но это уже другая история…

Если продолжить тему русских революционеров, то нельзя не вспомнить **Михаила Бакунина,** который боролся с царизмом и дышал свободой в Париже, где познакомился с Марксом и Энгельсом, перевел на русский язык «Манифест

коммунистической партии» и горячо приветствовал Французскую революцию 1848 года. «Я вставал в 5, в 4 часа поутру, а ложился в 2, был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях — одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца…»

За свою революционность Бакунин получил на Западе прозвище «Проклятый русский».

Еще одна примечательная фигура — **Петр Лавров.** Революционер, философ, публицист, критик. Его знаменитые «Исторические письма» способствовали движению молодых «в народ». Ленин считал Лаврова своим соперником в борьбе за влияние на народные массы и остро критиковал его в статье «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов» (1894). А Лавров всей душой болел за народ. За свои пламенные призывы был осужден на смерть, помилован, бежал из ссылки в Париж, участвовал в Парижской коммуне, издавал свой журнал. Агент III отделения (считай: царского КГБ-ФСБ) докладывал в Петербург: Бакунин устал, Огарев разрушается, а Лавров полон энергии. Лавров

утверждал: «Не важно — кто победил; важно, что победило». Лаврову принадлежат слова «рабочей Марсельезы»: «Отречемся от старого мира!..»

Лавров умер 16 февраля 1900 года. Его прах покоится на кладбище Монмартра. Интересна характеристика, которую Лаврову дал Тургенев: «Голубь, который всячески старался выдать себя за ястреба… воркует о необходимости Пугачевых, Разиных… Слова страшные, а взгляд умильный и улыбка добрейшая…»

Никакой добрейшей улыбкой не обладал другой русский революционер **Григорий Гершуни.** Оно и понятно: не теоретик революционной борьбы, а чистый практик. В России в 1904 году Гершуни был осужден на смерть, помилован (ах, не хватало царской охранке жестокости; правда, потом Дзержинский и его сменщики все эти поблажки отменили). Сосланный в Сибирь Гершуни сумел бежать, и, конечно, прямо в Париж, где и умер от естественных причин (здоровье было подорвано). В 1908 году во французской столице прошли шумные похороны Гершуни. Он прожил 38 лет, на год больше, чем Пушкин.

А если вспомнить истоки революционных бурь, то это, конечно, **Герцен** с его «Колоколом», который разбудил мыслящую Россию. На ро-

дине Александру Ивановичу развернуться не дали, и пришлось ему помотаться по всей Европе. Вечный эмигрант пожил и в Париже, где не успел закончить 8-й том «Былого и дум». В январе 1870 года Герцена похоронили на кладбище Пер-Лашез. На его могилу был возложен венок от французских политических деятелей с надписью «Вольтеру XIX столетия». Позднее прах Герцена, согласно его завещанию, был перезахоронен в семейной могиле в Ницце.

Таким же вечным эмигрантским скитальцем был и друг и единомышленник Герцена **Николай Огарев.** В письме Герцену: «К чему выставлять желание вернуться на родину?.. Не верю я в возможность и нужду возвращения…» Умер Огарев в Лондоне.

Но если Герцен и Огарев боролись за истинную демократию и чистую свободу, то другие русские бунтари-революционеры бились за нечто иное, за какие-то свои личные корыстные интересы и выгоды. И Париж частенько становился сценой, где происходили различные террористические акты.

25 мая 1926 года в Париже произошло убийство. Среди бела дня один мужчина подошел к другому и спросил его по-украински: «Вы господин Пет-

люра?» Тот ответил: «Да». Тогда спрашивающий достал пистолет и трижды выстрелил Петлюре в грудь. Стрелявший, а это был **Самуил Шварцбард,** не стал убегать с места преступления, закурил спокойно папиросу и стал ждать полицию. Когда появились полицейские, Шварцбард сдал им оружие и заявил: «Я убил убийцу!»

Симон Петлюра — бывший глава директории Украинской народной республики в период 1919–1920 годов — был повинен в еврейских погромах на Украине. Был суд, скрупулезно разбирали это дело, и парижские присяжные полностью оправдали Шварцбарда: невиновен!.. Впоследствии Самуил занимался материалами для еврейской энциклопедии и умер 12 лет спустя после Петлюры, в 1938 году. Одна из улиц Иерусалима освящена в честь Шварцбарда и носит название: улица Мстителя!..

Ну а Париж — это город, где много чего происходило захватывающе интересного и трагического.

6 мая 1932 года на книжной ярмарке русский эмигрант Павел Горгулов застрелил президента Франции Пьера Думера. На суде Горгулов назвал себя «одичавшим скифом». Это что? Реальное подтверждение Блока:

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, —

С раскосыми и жадными очами!..

Этого одичавшего и ошалевшего скифа приговорили к смерти и отрубили ему голову, как во времена Великой французской революции.

* * *

На **Ленина,** жившего в Париже, никто не покушался: то ли Фанни Каплан еще не подросла, то ли власть Российской империи не видела в нем угрозы: скиф с университетским образованием, какой-то чудак-революционер, постоянно жаловавшийся своей супруге Крупской: «Ах, Наденька, как нам гадят эти “отзовисты” и “богостроители”!..»

А тем временем “Старик” (так звали Ильича молодые партийцы) устроил семинары большевиков в Лонжюмо, на некогда знаменитой почтовой станции на пути к Парижу. В прелестном Лонжюмо Владимир Ильич снимал дачу (денежки у него водились благодаря успешным бандитским эксцессам Красина, Камо и Кобы (Сталина), которые грабили банки и почтовый транспорт). На этих партийных курсах занималась и Инесса Арманд, красивая женщина, влюбленная в будущего вождя. В Лонжюмо чита-

лись лекции по международному положению, по аграрным вопросам и даже по литературе. А после занятий большевики-подпольщики выходили в поле и на просторе пели боевые революционные песни и, конечно, «Интернационал»:

Это есть наш последний
И решительный бой:
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

И все поющие надеялись, что «гром великий грянет / над сворой псов и палачей». Себя они мнили исключительно освободителями.

Андрей Вознесенский в период пересмотра истории (Сталин — плохой, а Ленин — хороший) написал поэму «Лонжюмо» (1962–1963). И удивил всех, сказав, что Ленин по существу не был эмигрантом, ибо всем сердцем болел за Россию, а вот

настоящие эмигранты
пили в Питере под охранкой,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты —
эмигранты…

Эх, Андрей Андреевич, ради понравившихся

ему необычных рифм исказил историю. И вообще в своей поэме Андрей буквально бушевал:

Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживаясь газетами
от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами —
эмигрировали…

Белиберда какая-то!..

А тем временем праведник-эмигрант Ульянов-Ленин «резался в городки». Учил, поучал, заряжал идеями. И концовка поэмы:

«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает.
На все вопросы отвечает Ленин.

Ну конечно, мы сами, народ и интеллигенция, не можем найти ответа ни на один вопрос. И вообще: «Нам думать неча, коли думают вожди!» — это уже непререкаемый Маяковский.

А еще с Парижем связано имя **Максима Литвинова** (тот еще Максим Максимович по фамилиям Финкелынтейн, Валлах, Меер Моисеевич).

Нынешнее поколение его не знает, а это была примечательная фигура. Революционер со стажем и бывалый эмигрант. В январе 1908 года был арестован в Париже за попытку разменять рублевые банкноты, добытые в результате дерзких грабежей в Тифлисе (во главе бандитов стояли Камо и Коба (Сталин)). Посидев в парижской тюрьме, Литвинов уехал в Лондон, где работал под прикрытием мелкого служащего какой-то фирмы. Женился на англичанке Фэйси Лоу. А в дальнейшем сделал феерическую карьеру и с успехом исполнял функции наркома иностранных дел СССР (1930–1939). Перед союзом с фашистской Германией был заменен на русского Молотова, чтобы нацистам было комфортнее вести дела с советским правительством. 4 мая 1939 года ночью в дом Литвинова пришла сановная тройка — Берия, Маленков и Молотов — снимать хозяина квартиры и с поста наркома. Хорошо, что просто сняли, а не ликвидировали сразу…

Но хватит о революционерах и политике. К сожалению, все мы, русские, чрезвычайно политизированные люди, и всё время разговоры сбиваются на переустройство России и всего мира. «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Строим — и развали-

ваем, снова строим — и снова обломки. Поэтому хватит. И вспомнился Шолом-Алейхем. Слова точные не помню, поэтому перефразирую: — Что вы, пан Шолом-Алейхем, все о грустном и печальном, о бедах и несчастьях, лучше поговорим о другом: как насчет холеры в Одессе?..

Вот именно. Поговорим о холере, то бишь о литературе и писателях, связанных с темой Парижа. Если перечислять всех, кто был и жил в Париже, то нужна специальная книга, поэтому бегло, впроброс, и лишь о некоторых.

Русские литераторы-путешественники

Но сначала вновь исторический экскурс. Граждане царской России жили «в заграницах» годами, лишь изредка, время от времени, наезжая, наведываясь на родину (ну как там дома? Все ли разворовано, все ли в порядке?!.). Совершенное знание иностранного языка стирало психологическую и интеллектуальную отчужденность русских от местных жителей основных европейских стран. Стало быть, отъезд за границу для русского дворянства был делом обыденным, заурядным, сугубо бытовым.

Перечислять русских путешественников можно долго, и начать, очевидно, следует с **Николая Михайловича Карамзина.** Более года он путешествовал по Европе (19 мая 1789 -15 июля 1790), о чем и поведал впоследствии в «Письмах русского путешественника». Берлин, Вена… В Кенигсберге Карамзин вел беседы с Иммануилом Кантом. И почти четыре месяца прожил в Париже, дыша воздухом Великой французской революции, посещая чуть ли не каждый день Национальное собрание и слушая выступления знаменитых ораторов — Мирабо, Робеспьера и других. В

дальнейшем оценки Карамзиным Французской революции менялись от восторга к осуждению (опять же политическая конъюнктура!), но одно его убеждение оставалось неизменным — путь цивилизации один для всего человечества, и Россия идет той же дорогой просвещения, по которой движутся другие народы Европы. Выскажи Карамзин это сегодня, он натолкнулся бы на яростное неприятие: у России особый путь развития!..

Но бог с ним, с этим особым путем (это не первое и, увы, не последнее российское заблуждение), мы с вами в этой книге продолжаем свое воспоминательное движение. Нельзя не отметить **Гоголя.** В общей сложности **Николай Васильевич** прожил за границей около 12 лет (Германия, Италия, Франция, Швейцария) — это треть взрослой жизни.

В ноябре 1836 года в Париже Гоголь познакомился с Адамом Мицкевичем, а в феврале 1837-го, в разгар работы над «Мертвыми душами», он получил потрясшее его известие о гибели Пушкина.

Более 17 лет, если сложить все поездки, прожил за границей **Василий Жуковский** — и в Париже, и в Веймаре, где посещал великого Гёте.

Жуковский умер в апреле 1852 года, работая над психологическим эссе «Агасфер. Вечный жид». Похоронен был в Баден-Бадене, а уж потом его прах перезахоронили в Петербурге.

Там же, в Баден-Бадене, нашел упокоение еще один русский писатель-путешественник, **князь Петр Вяземский,** «декабрист без декабря». Опять же суммарно проведший на Западе многие годы и решительно заявлявший: «Я Петербурга не люблю…». У Вяземского есть прямо просящиеся в эту книгу строки, написанные в 1851 году:

И, распростившись с берегом финским,
Я от родного рубежа
Петром Ивановичем Добчйнским
Достиг местечка Парижа…

Как вам нравится: местечка Парижа? И в конце этого стихотворения:

Измучился Улисс несчастный;
Да и теперь, как вспомню я
О вашей «Франции прекрасной»,
Коробит и тошнит меня.

Коробило и тошнило, и тем не менее свои последние 15 лет князь Вяземский провел именно

на Западе.

Мрачнейший и мизантропический поэт **Константин Случевский** однажды изрек:

Я видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий мне в глаза пылил,
Я вдоль по тундре Безземельной,
Везом оленями, скользил…

…Я видел варварские казни,
Я видел ужасы труда;
Я никого не ненавидел,
Но презирал – почти всегда.

Алексей Жемчужников, Сухово-Кобылин, Александр Иванов, Брюллов и еще сотни других известнейших лиц и десятки тысяч неизвестных нам, радуясь или, напротив, раздражаясь, катались по Европам с непременным заездом в Париж.

«О заграница мечтали и стар и млад. Ездили все, и даже люди с очень скромным достатком, и даже те, кто из патриотизма готовы были все чужеземное хаять…» — писал Александр Бенуа.

Литератор Георгий Чулков отмечал, что «русские часто бранят Париж. Но жить без Парижа русские не могут. И время от времени каждый

совершает свое паломничество в этот пленительный город».

Но были и исключения. Не удалось побывать в Европе нашему солнцу — Александру Пушкину. Юрий Олеша всю жизнь понапрасну мечтал о том, чтобы его тень легла на камни Парижа. Михаил Булгаков заболел после того, как его не пустили во Францию. Стресс от невозможности воплотить желание…

А вот классик русской поэзии **Николай Алексеевич Некрасов** гулял по Парижу и даже кое-что сочинил:

Город есть такой: Париж,
Про него недаром сказано:
Как заедешь – угоришь…

Угоришь не угоришь, а можно, даже обвенчаться с избранной женщиной, Марией Боткиной, что и сделал в Париже **Афанасий Фет** в 1857 году в русской православной церкви. Ну а **Тургенев** наш замечательный десятки лет жил в Париже у чужого гнезда любимой им Полины Виардо. Замок Куртавель — самый счастливый период жизни Ивана Сергеевича, когда он писал Боткину, что каждый день становился для него подарком. Он обожал Куртавель и когда подъезжал к нему, то,

по его признанию, «чувствовал острое замирание сердца и нежность». Парижский период был для Тургенева благотворным и в творческом плане, только он сердился, когда его спрашивали, на каком языке он пишет. Тургенев раздраженно отвечал: «По-русски, по-русски и только по-русски!»

В Париж примчался другой русский классик **Федор Достоевский** и 27 августа 1863 года буквально ворвался в номер гостиницы на рю Суфло, где остановилась Аполлинария Суслова. Именно в Париже произошло решительное объяснение с капризно-взбалмошной любимой женщиной Достоевского. Она отвергла Федора Михайловича, заявив, что без памяти влюблена в студента-испанца Сальвадора.

По не совсем ясным мотивам 31 июля 1911 года в парижской пролетке покончил жизнь самоубийством **Виктор Гофман.** Выстрел из пистолета оборвал жизнь 27-летнего поэта. В молодые годы Гофман писал:

Я боюсь умереть молодым,
На заре соблазнительных грёз,
Не упившись всем счастьем земным,
Не сорвавшим всех жизненных роз.

И в итоге не упился. Не сорвал. А больно укололся о шипы. Гофман хотел быть «наперсником грёз», но грёзы его обманули. И он обиделся:

Чуждо мне ушедшему, что было так любимо.

Проходите мимо. Я не знаю вас…

О любовные драмы! Париж как бы создан для них. Любовь-амор, страсти-мордасти. И вот уже молодоженка **Анна Ахматова** сбежала от Николая Гумилева в начале мая 1911 года в Париж и познакомилась с молодым художником-красавцем Амедео Модильяни. Она позировала. Он ее рисовал. А что дальше? Зачем гадать, когда есть ахматовские строки:

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся…

Страна обманная — разве это не любовь?..

* * *

Кому любовь, а кому история Парижа и искусство, представленное в нем, значило почти столько же, сколько сама жизнь. Таким истинным парижанином был поэт, художник, историк искусства **Максимилиан Волошин.** Андрей Бе-

лый считал его «насквозь пропарижаненным до… цилиндра». Марина Цветаева писала про Волошина:

«Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века и нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времени был им равно исхоженным. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома, был… Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков… Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт — весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещен» *(М. Цветаева. Живое о живом).*

Максимилиан Волошин учел совет Чехова, данный ему в Ялте: «Учиться писать можно только у французов». А рисовать? Страсть к живописи возникла у Волошина тоже от Франции. Он и сам выглядел довольно экзотично: «Гривастый лисовик с рыжими кудрями, русское подобие Зевса» *(О. Форш).*

Макс поставил себе цель стать одним из образованнейших людей своего времени по собственной системе, благодаря книгам, музеям,

путешествиям. «Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде», — писал он матери в 1901 году.

Первое путешествие было в Среднюю Азию, затем — почти вся Европа. И, разумеется, Париж, куда он отправился «на много лет, — учиться художественной форме — у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мыслей — у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, прозе — у Флобера, стиху — у Готье и Эредиа…».

Насытившись Европой, Волошин вернулся в Россию, а с весны 1917 года поселился в Крыму, в Коктебеле, и там, в Крыму, перед его глазами развернулись ужасно-кровавые картины Гражданской войны. В 1919 году в цикле «Неопалимая Купина» Волошин с болью писал:

С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,

Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи:
Германцев с запада, Монгол с востока.

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда.

Революция, Гражданская война, голод, страх, ужас, «грядущий хам», ставший явью. И «Двенадцать» Блока:

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни…

В зубах – цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!..

И это не поэтическое воображение Александра Блока, это суровые реалии новых «товарищей», задумавших: «Паль-нем-ка пулей в Святую Русь».

И покатили волны революционной эмиграции. Первая волна, вторая, третья… Изгнание. Чужбина. С трудом, с грехом, со слезами стали обустраиваться, кто как мог, у кого какие были средства и возможности.

Временные русские парижане

В **1925** году в Париж приехал **Александр Вертинский.** Как артист, он видел все глазами артистов — ночную и ресторанно-кабаретную часть парижской жизни:

«Весь Монмартр кишел русскими. Вся эта публика группировалась около ресторанов и ночных дансингов. Одни служили гарсонами, другие метрдотелями, третьи на кухне мыли посуду и т. д., потом шли танцоры — “дансэр де ля мэзон”, или “жиголо” (по-французски), молодые люди, красивые, элегантно одетые, для танцев и развлечений старых американок… Вдоль стен по уголкам и диванам сидели так называемые “консоматорши” — женщины, с которыми можно танцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу… потом артисты, певцы, музыканты, балетные танцоры, исполнители лезгинок, молодые красавцы грузины в черкесках, затянутые в рюмочку, шофера. Все это была русская эмиграция, которая жила главным образом за счет иностранцев».

В Париже Вертинский много выступал, пел старые и сочинял новые ариэтки, одна из них

— Piccolo bambino:

Вечерело. Пели вьюги.
Хоронили Магдалину,
Цирковую балерину.

Провожали две подруги,
Две подруги – акробатки.
Шел и клоун. Плакал клоун,
Закрывал лицо перчаткой…

И еще песенка Femme raffinee (1933, Париж):

Разве можно от женщины требовать многого?
Вы так мило танцуете, в Вас есть шик.
А от Вас и не ждут поведения строгого,
Никому не мешает Ваш муж-старик.

Только не надо играть в загадочность
И делать из жизни le vin triste.
Это все чепуха и Ваша порядочность —
Это тоже кокетливый фиговый лист…

И убийственная концовка. Убийственно-при-

мирительная, можно даже сказать:

Разве можно от женщины требовать многого?

Там, где глупость божественна, ум – ничто!

У турецкого сатирика Азиза Несина есть рассказ «Ах, почему я не женщина?!». Такие возможности! А ежели ты не женщина, а мужчина, к тому же поэт или писатель, да еще в изгнании, в Париже, что делать тогда? Все приспосабливались к эмигрантской жизни по-разному. Вот, к примеру, был такой поэт **К. Льдов** (Витольд-Константин Розенблюм, 1862–1937). Еще переводил, писал прозу и детские вещицы, типа «двадцать проказников, десять шалунов». Кочевал из издания в издание.

Бледнеют полночные тени;

Я в комнату тихо вошел…

Букет из лиловой сирени

Поставил мне кто-то на стол…

Это в молодые годы, в 26 лет. А потом поиски счастья в Париже, куда Льдов перебрался в 1914-м. Издавал там газету «Иностранец» — был редактором и автором. Разорился. И запел другие песни:

Дремучий лес. Темна дорога…
Как страх невольный побороть?
Кто в этих дебрях ищет Бога,
Того нашел уже Господь.

Закончил свой жизненный путь К. Льдов в Брюсселе.

* * *

Многие русские литераторы еще до революции успешно осваивали парижскую жизнь, к примеру, чета Мережковских. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов два года (1906–1908) искали новые религиозно-философские пути во французской столице, новый способ троебрачности, что в Париже не вызывало никакого удивления. Сначала они жили в огромной квартире, где из мебели было всего три постели, несколько кухонных столов и три соломенных кресла. Потом троица перебралась в другой дом на улице Теофиля Готье, 15. Принимали там гостей, занимались издательской деятельностью, активно писали.

Среди гостей однажды к ним нагрянул анархист князь Петр Кропоткин, от которого Зинаида Николаевна оказалась в восторге: «Это самый

мирный и добрый человек на свете. Это такой славный и безобидный дядя, что его только по лысенке хлопать, да чай с ним пить…»

Увы, сегодня имя Кропоткина основательно забыто, а он, между прочим, потомок Рюриковичей и был весьма знаменит в свое время анархическими эскападами. Сразу же после Февральской революции он возвратился в Россию, где ему устроили пышную встречу. Керенский предложил ему на выбор пост во Временном правительстве, но Кропоткин отказался. Октябрь он встретил настороженно, считал, что устроенное большевиками переустройство жизни ошибочно и централизованное якобинство может привести к реакции, террору и гибели революции. Жил в Дмитрове. Общался с Лениным, и тот предложил старому анархисту переиздать его лучшую работу о Великой французской революции.

Умер Петр Алексеевич Кропоткин 8 февраля 1921 года, и похороны старого революционера были грандиозными. Венков множество, один от Совнаркома: «Ветерану борьбы против царизма и буржуазии».

Музей Кропоткина просуществовал до 1939 года, а затем был закрыт за ненадобностью. А Кропоткинская улица в Москве существует и

поныне.

Но вернемся к русским эмигрантам. Один из них — **Александр Онегин,** почти что Евгений Онегин, и не случайно. После рождения малыша мать подкинула его к подножию памятника Пушкину. Придворная дама усыновила подкидыша и дала ему свою фамилию Отто — Александр Отто. Он получил хорошее образование, разъезжал по Европе, а с 1882 года навсегда осел в Париже и был, кстати, литературным секретарем у больного Тургенева. С детства Александр боготворил Пушкина, со временем стал заядлым пушкинистом и то, что писал сам, подписывал: Александр Онегин. Собрал богатейшую коллекцию книг, рукописей, портретов, связанных с Александром Сергеевичем. Так в Париже на улице Мариньян, 25, возник Пушкинский музей, а затем он стал и музеем Жуковского. Вся квартира Отто-Онегина состояла из шкафов и ящиков, а хозяин ютился где-то в уголочке.

Умер Александр Отто-Онегин 25 марта 1925 года, завещав свое собранное богатство Пушкинскому дому в России. Себя он велел похоронить поскромнее, тело сжечь, а пепел не сохранять…

* * *

А самая громкая эмигрантская знаменитость в Париже — **Иван Бунин,** нобелевский лауреат, жил в районе Пасси, который все русские называли «в Пассях». Писатель Носик уже в наше время как-то подошел к дому Бунина на рю Жака Оффенбаха («живу на Яшкине», говорил сам Иван Александрович), и консьержка спросила, что он ищет. Носик ответил: «Здесь жил известный русский писатель…» Консьержка закивала головой: «Знаю-знаю — Зуров…» Литературного секретаря старая француженка помнила, а вот Бунина — извините…

А философа **Николая Бердяева?** Семья Бердяевых была выслана из России на «философском пароходе», немного прожила в Берлине, а с лета 1924 года обосновалась в Калмаре, рабочем пригороде Парижа. Сначала Бердяевы снимали квартиру, в 1938-м переехали в собственный дом, полученный в наследство от друга семьи — англичанки Флоранс Бест. «Бердяев стал… домовладельцем», — в среде русской эмиграции это было воспринято как парадокс. По отзыву Бориса Вышеславцева, «у Бердяевых был милый помещичий дом, “Ясная Поляна”, где живет

русский барин, боящийся сквозняков, любящий заниматься философией и решивший стать “пророком” и достигший успеха на этом поприще».

Попутно следует отметить и супругу Бердяева — Лидию Юдифовну. Бердяев и она прожили в браке более 40 лет и выполнили завет, который послал своей невесте будущий «пророк»: «Мы должны создать для себя необыкновенный мир, наше собственное царство». И создали, и во многом заслуга в этом Лидии Юдифовны. Позднее она признавалась мужу: «Мне всегда был и даже ненавистен всякий быт, а особенно семейственный… и атмосфера семьи, связывающая, контролирующая, опекающая, хотя бы и любовно, — мне неприятна. Я какой-то духовный пролетарий. Нет у меня потребности в родине, в семье, в быте… Я очень люблю и ценю души человеческие, отдельные, самые противоположные. Но все коллективное — не мое…»

Живя во Франции, Л.Ю. стала деятельной участницей русского католического движения, занималась благотворительной деятельностью, помогала мужу в работе, правила корректуры, участвовала в заседаниях Религиозно-философской академии. А еще вела дневник. Вот одна из записей 1939 года:

«За обедом разговор: Многие наслаждаются сознанием своей принадлежности к умственной элите. А меня это сознание мутит. Вся эта “элита” — навоз! А она претендует решать мировые вопросы, судьбы мира. Вообще я с горечью замечаю, что во мне все увеличивается скептицизм. Я всюду вижу отрицательное…»

В дневнике Бердяевой много записей, связанных с оккупацией Парижа. Это особая тема, и о ней писали многие, в частности Зинаида Гиппиус. Приведем отрывки из ее дневников:

29 мая 1940 года: «Из Парижа уезжают почти сплошь все…»

Июнь: «Над Парижем — черные крылья дымовой завесы. По дорогам брошенные автомобили, толпы людей с котомками, потерянные дети, дохлые лошади в канавах… Все это дрожит, все будущее полно отчаяния, полоумия…»

В июне 1941 года гитлеровские полчища напали на Советский Союз, и это стало шоком для русских эмигрантов, многие не могли решить, что для них важнее: ликвидация советского режима или разгром фашистских орд? Писатель-эмигрант **Николай Рощин** (1896–1956), друг Бунина, записывал в дневнике (дневник — одно из спасений в эмиграции):

«…Для каждого из эмиграции пришли дни самые страшные и самые суровые, грозные… Каждый представлен только самому себе, своему разуму и совести, каждый вновь сам решает свою судьбу, — как и в годы Гражданской войны. Ошибутся ли на этот раз? Почти уверен, что нет…» *(23 июня 1941 года).*

Запись от 7*февраля 1943 года*: «…номер подпольной газеты “Резистанс” (“Сопротивление” — фр.). Вспомнились первые русские герои “армии Сопротивления” — **Вильде и Рогаль-Левицкий,** первый открытый процесс немецкого военного суда над представителями гражданского населения. Оба — “французы в первом поколении”, дети русских эмигрантов, оба — молодые ученые из Музея человека (Трокадеро), оба любили Францию и ненавидели фашистов. Эти двое русских создали первую в оккупированной Франции свободную газету, это от них, из подвалов старого дворца, впервые прозвучал гордый голос непокоренной Франции, Франции Великой революции и “Прав человека и гражданина”

Их судили как “английских агентов” Оба умирали с необыкновенным мужеством. Их расстреляли на площади Мон-Валерьен… Друзья-французы говорят, что, умирая, они пели

“Марсельезу” Альбер утверждает, что под дулом немецких винтовок они пели другое. Они пели “Интернационал”».

* * *

Многое помнит Париж: и геройство, и злодейство, и страдание, и упорный труд. А если возвратиться к основной теме книги — то многих русских писателей и поэтов помнит Париж.

Не так много прожил в Париже **Владимир Набоков.** Еще одна литературная звезда. Одно время с семьей он жил на рю Сайгона, 8, — в маленькой квартирке и друзей приходилось принимать на кухне. А работал Набоков в ванной комнате (в общей спал маленький Митя), писал ночами на чемодане. И многие удивлялись: гений не имеет письменного стола!.. Потом семья Набоковых переехала на улицу Буало, а уже оттуда в США.

Маяковский, Париж, казино и пропаганда

Можно вспомнить и залетную птицу — Владимира Маяковского. В один из своих приездов в Париж он жил в гостинице «Истрия» на бульваре Распай, и здесь у него украли все деньги и документы. По другой версии, он проиграл деньги в казино. Известный картежник и бильярдист…

Любой текст в какой-то момент начинает утомлять, и задача автора — время от времени взбадривать, вздрючивать читателя, чтобы он не отложил книгу или не заснул. Такие вздрючки на литературном жаргоне называются оживляж. Вот сейчас именно такой случай оживления нашего длиннющего рассказа о Париже.

Итак, Маяковский. Версия о карточном проигрыше вполне имеет место, достаточно вспомнить его давнее, досоветских времен, стихотворение «Теплое слово кое-каким порокам (почти гимн)», в котором поэт укоряет работяг — бухгалтера и портного за их тяжкий и малооплачиваемый труд:

Говорю я тебе, начитанный и умный:

Ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель,

Ни строчке, ни позе, ни краске надуманной

Не верили – а верили в рубль…

…Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,

Вытелятся и вытянутся какие-то дети,

Мальчики-бухгалтеры, девочки-помощницы,

те и те

Будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,

просто

Снял в железку по шестой руке

Три тысячи двести – со ста…

…Игроческие очи из ночи

Блестели, как два рубля,

Я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий

Разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,

Как без труда и хитрости,

Чистоплотно и хорошо

Карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд,

и еще, и еще,

Будто хрен натирают на заржавленной тёрке,

Я ласково спрашиваю, взяв за плечо:

«А вы прикупаете к пятерке?»

Гигант! Сначала любил пороки, а потом — социализм. К его личности мы еще вернемся в главе «Туда-сюда-обратно!», а сейчас коснемся темы «Париж и Маяковский».

Маяковский — удачливый игрок, Маяковский — грандиозный поэт, но Маяковский и умелый, нахрапистый пропагандист. Нещадно хаял капиталистическую систему и яростно превозносил социалистическую. У них все — дерьмо, а у нас — одна прелесть! Свои вояжи в Париж (1924, 1925, 1927, 1928 и 1929) за государственный счет отрабатывал стихотворными обличениями гнилого Запада, ну и Парижа, разумеется. Никто так много и так презрительно из русских поэтов не писал о Париже, как Маяковский. Писал, а что чувствовал?

Встречавшийся в Париже с поэтом художник Юрий Анненков вспоминал, как Маяковский на самом деле любил Париж, тяготел к нему: «Переулки, площади, уличная оживленность, насыщенность художественной жизни, монпарнасские кафе, ночное освещение — обо всем этом он часто говорил со мной, не скрывая своих чувств…»

В смокинг вшитопорен,
побрит что надо.
По Гранд по Опере
гуляю грандом…

А давал оценки?.. «Фаворит советской власти, Маяковский должен был всякий раз после своего возвращения в Советский Союз давать отчет о своем путешествии, иначе говоря — печатать свои впечатления поэта в стихах, впечатления, выгодные для советского режима и для коммунистической пропаганды. Он должен был в своих поэмах, написанных в Париже, показывать советским людям, что СССР, во всех отраслях перегоняет Запад, где страны и народы гниют под игом “упадочного капитализма”. Этой ценой Маяковский оплачивал свое право на переезд через границу “земного рая” (Ю. Анненков).

Маяковский опускался даже до того, что написал о Париже: «Провинция — не продохнуть!..» И в то же время признавался:

Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли – Москва!

Маяковский всех зазывал «к нам, в СССР», даже Эйфелеву башню:

Идемте! К нам!.,
я вам достану визу!

А когда любимая женщина, эмигрантка Татьяна Яковлева, отказала Маяковскому быть с ним вместе и предпочла кого-то другого, то гигант Володя обиделся и пригрозил (даю опять без «лесенки»):

Я всё равно тебя когда-нибудь возьму —
одну или вдвоем с Парижем.

Не взял. Запутался во многих Любовях и в главной, к советской власти, и нажал на курок…

…Другая история. Как вспоминал Анненков, в Париже торжественно встречали полномочного представителя СССР **Леонида Красина.** На ступеньках советского посольства на улице Гренель Красин заявил ошеломленным французским

журналистам:

— Милостивые государи и милостивые государыни! С моим приездом во Францию здесь водворяется социальная революция!..

Все в ужасе смотрели на посла. Шел 1924 год. А через короткое время Красина, испытанного большевика, перекинули послом в Великобританию. В Лондоне Красин и умер в феврале 1926 года, в возрасте 55 лет. Тот самый Красин, который когда-то уговорил Савву Морозова делать миллионные взносы большевикам.

Русские кафе и клубы

Хватит персоналий, поговорим о зданиях, имеющих значение для русской эмиграции, и это прежде всего Плейель. Здание, названное в честь Игнация Плейеля, ученика Гайдна, жившего в Париже.

В зале Дебюсси-Плейель в конце 20-х проходили литературные посиделки «Зеленой лампы», как некогда в Петербурге. Георгий Иванов вспоминал Пушкина, Мережковский говорил о Лермонтове, Адамович — о Тютчеве, хозяйка «Лампы» Зинаида Гиппиус — о своем «лунном друге» Блоке, Николай Оцуп — о Некрасове и т. д. Часто выступали в этом зале Бунин, Тэффи, Борис Зайцев… Весной 1937 года в фойе прошла выставка, посвященная столетию Пушкина. И то, что говорили в Париже о «нашем всём», — значительно отличалось от юбилейных восхвалений в Москве. В Париже делали акцент на вольнолюбии Пушкина, на его стремлении к свободе, ну а в Москве Пушкина представляли в образе государственника, защитника российских устоев.

В 1935 году проходил Международный конгресс писателей в защиту культуры, но об этом

будет специальный рассказ, а в 1949-м — Конгресс защитников мира. Известный французский ученый, большой друг СССР и, возможно, шпион Фредерик Жолио-Кюри предупреждал, что современный Запад рвется по следам Деникина, Врангеля и Гитлера к советским рубежам. Выступали на конгрессе Фадеев, Эренбург и митрополит Николай. Конгресс умело управлялся «рукой Москвы».

Никакой «руки Москвы» не было в Русском клубе, который открылся в 1926 году в заречном квартале д'Отей, атмосфера там напоминала дореволюционный Петербург. И тот же набор выступающих, от Куприна до Тэффи.

Еще один Русский клуб существовал на улице Данфер-Рошро. В нем Цветаева читала свои стихи о Белой армии. В один из вечеров происходил интересный диспут на тему «Культура смерти в русской революционной литературе».

И сборы в различных кафе. Популярно было кафе «Доминик», его владелец Доминик — русского разлива, а точнее, Лев Адольфович Аронсон из Петербурга. К Доминику хаживали и сидели за столиками почти все русские поэты и писатели. Эмигранты со стажем вспоминали преимущественно прежнюю жизнь в России, а молодые

тянулись и жадно впитывали все новое, чем был богат Париж. В этом смысле интересны воспоминания Зинаиды Шаховской «Отражения». Вот что она писала:

«Новый мир блистал передо мной и открывал свои язвы. Париж 20-х годов — это целая эпоха… Невероятно пестра стала моя жизнь и так увлекательна, что я почти не замечала бедности. Жила я в джунглях, в самом центре Монпарнаса, в общежитии, рядом с “Ротондой” и “Домом”, куда я ходила как на спектакль — не участницей, а зрителем. Чашка кофе за стойкой или вечером за столиком — вот и все, что для этого требовалось…»

А дальше упоминание созвездия имен:

«Пикассо, Фужита, мулатка Айши, излюбленная модель монпарнасцев, длинный Иван Пуни, грузный Хаим Сутин, Хемингуэй и Цадкин. Я с ними еще не общаюсь, только смотрю…

Всё есть на Монпарнасе — и наркотики, и стаканы с перламутровым абсентом, и пеконгренадин, и пьяницы, и проститутки, и мирные буржуа, которые, опустив железные ставни своих лавок, приходят на аперитив…

А где же Россия? Связь с ней не порывается… Она собирается в церкви и у церкви, есть борщ

и котлеты, в ресторанах дорогих и дешевых, от Корнилова до Медведя, смотря по возможностям, пляшет на беспорядочных почему-то балах, ходит на доклады, скандалит на политических собраниях, протест предпочитая академической дискуссии. Она создает церкви, школы, университеты, скаутские отряды и литературные объединения, ждет и надеется, почти без ропота принимая все испытания…»

Уже в 30-е годы: «…Ночные монпарнасские русские сидения чаще всего происходили в “Селекте” или “Наполи”…Кафе было клубом спасения от одиночества… Настроение меланхолическое, все безденежные, но те франки, которые имеются, делятся. Если не хватает на вино или алкоголь, то хватает все же на кофе, можно часами сидеть и говорить, говорить, говорить то о важном, то о неважном, кого-то поддеть… Кто уходит, кто остается до рассвета… Говорится об искусстве, о литературных стилях, о Марселе Прусте (в эти годы — кто о Прусте не говорит?!), о последнем воскресенье у Мережковских и т. п. Завязывались и развязывались романы, происходили ссоры и примирения…»

Но когда появлялись лишние франки, то эмигрантскую жизнь можно было разогнать в каком-

нибудь питейном заведении, например в русском ресторане «Эрмитаж». Именно его облюбовал для выступлений молодой певец Юлий Бринер, будущая звезда Бродвея и Голливуда («Король и я», «Великолепная семерка» и другие фильмы). Юлий Бринер (потом он американизировался в Юла Бриннера) приехал в Париж из Харбина в 1932 году вместе с матерью и сестрой Верой. У

Юлия был приятный баритон и неотразимый мужской магнетизм. И когда он пел, что

Окончен путь, устала грудь,
И сердцу хочется немного отдохнуть,
—

то сидящие за столиком русские тут же наливали бодрящее алкогольное по новой.

Гулять так гулять! Эх, матушка Россия, до чего ж ты нас довела!.. Или очень буднично, как описывал Гайто Газданов в своем романе «Призрак Александра Вольфа», прийти подкрепиться в затрапезный русский ресторан, где никто не поет, а хрипит граммофон, и низкий женский голос надрывает душу:

Не надо ничего,
Ни поздних сожалений…

Хватит воплей и слов, достаточно привычных, напоминающих детство, незатейливых котлет и борща, в который невольно соскальзывает эмигрантская слеза…

Жизнь и смерть в Париже

Нельзя не вспомнить и еще одну категорию эмигрантов — их жен, подруг и приятельниц. Всех их, конечно, заедал быт, но и они частенько вырывались на «Дамский чай» — так назвал одно из своих стихотворений Дон-Аминадо:

…Тянет барынь, это факт,
На лирический антракт,
На словесный поток
Под чаек и кофеек…

И сидят они в кафе,
Не в Калуге, не в Уфе,
А в Париже, черт возьми,
От пяти и до семи!

Всё прошло… Война и мир,
И Россия, и ампир,
И восторг, и ореол…
Только возраст не прошел.

Жажда мыслить и страдать,
Кофе ложечкой болтать.

Вот и мыслят и сидят,
Все под сорок – пятьдесят,

И стремятся в ширь и даль,
В то кафе на рю Рояль,
Где известно наперед —
Кто живет и с кем живет…

Не только это известно, но и кто завершил земной путь на чужой земле. И снова можно процитировать большого оптимиста Дон-Аминадо:

Дни чем дальше, тем короче.
Ночь длиннее. Гуще мгла.
И выходит, между прочим,
Что и жизнь уже прошла…

И самое время посмотреть в глаза дамы Статистики. По некоторым подсчетам, через Париж прошло 140 тысяч русских эмигрантов. В 1926 году население «русского Парижа» — главного центра послеоктябрьской эмиграции — составляло 71 928 человек. В Париже в начале 30-х годов их число сократилось до 63 тысяч. Всего же, по данным комиссии Нансена, к концу 30-х годов во Франции осело около 400 тысяч русских.

А сколько умерло? Первые могилы на русском

православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем появились в 1927 году, и, как писал Всеволод Рождественский:

Здесь похоронены сны и молитвы,
Слезы и доблесть, «Прощай» и «Ура!»
Штабс-капитаны и гардемарины,
Хваты-полковники и юнкера.

Белая гвардия, белая стая,
Белое воинство, белая кость.
Влажные камни травой зарастают.
Русские буквы – французский погост…

В кризисные 30-е эмигранты умирали от голода, доживали свой сиротский век в приютах, как Бальмонт. А еще не надо забывать о том, как советские спецслужбы вели борьбу с белогвардейцами, мечтавшими вернуть былую Россию. Их похищали, убивали. И еще один прискорбный факт: в 1947 году в Борегаре под Парижем был создан советский лагерь, куда помещали отловленных неугодных русских, и в частности бывших военнопленных, не желающих возвращаться в СССР. Многие из них были уничтожены…

Старая история: и в смерти люди не равны — кому пуля в затылок, а кому отпевание в зна-

менитом кафедральном соборе Св. Александра Невского на рю Дарю (собор, построенный в русско-византийском стиле, освящен в 1861 году).

Собор видел много счастливых лиц и слышал много венчальных клятв в верности и любви. В 1916 году здесь венчались неукротимый Пабло Пикассо и русская балерина Ольга Хохлова. И что вышло из этого бракосочетания?..

А скольких знаменитых людей провожали в соборе на рю Дарю в последний путь: в 1938-м отпевали Федора Шаляпина, в 1944-м — Василия Кандинского, в 1953-м — Ивана Бунина, в 1986-м — Сержа Лифаря, а в 1987-м — Виктора Некрасова и Андрея Тарковского. Марина Влади вспоминала о похоронах Андрея Арсеньевича:

«Были все друзья. Мстислав Ростропович, сидя на верхней ступеньке на паперти кафедрального собора, излил свое и наше всеобщее горе в рвущихся из самой души горестных звуках виолончели…»

Всё, закрываем эту печальную тему.

Игорь Северянин в Париже. Последний триумф

Игорь Северянин иногда покидал Эстонию и отправлялся в турне по Европе. Так, после поэтических гастролей в Югославии он приехал в Париж и 12 февраля 1931 года выступал в зале Дебюсси (рю Дарю, 18) с трехчастным концертом: ирония, лирика и стихи о России. Тэффи отметила в газете «Возрождение»:

«Это был удивительный вечер! Чудесный!.. Публика пришла послушать вычурные поэзы о ликерах, шелках и принцессах, потому что — поэт Игорь Северянин, а первые строфы его новых стихов как-то удивили… Потом перестали удивляться и ушли вслед за ним к дальнему морю, к тихой, бедной и ласковой жизни.

В антракте говорили: А ведь он гораздо лучше прежнего! — Потому что он прост. — Потому что он нежен. — Потому что он глубок…

Оказалось, что для былых поклонников Игоря Северянина обаяние этого таланта неувядаемо».

Второй вечер состоялся 27 февраля в зале Шопена. Снова успех, хотя нашлись и зубоскалящие

недруги: «Из Диканьки в Булоньку!», как написал Дон-Аминадо, посчитав, что

Ананасы в шампанском окончательно скисли,

А в таком состоянье их немыслимо есть.

Дону-Аминадо стихи Северянина не понравились, а Марина Цветаева не смогла сдержать охвативший ее восторг: «Ваш зал… Себя пришли посмотреть: свою молодость: себя — тогда… молодость, любовь», — писала она в письме Северянину.

«…И последнее. Заброс головы, полузакрытые глаза, дуга усмешки и — напев, тот самый, тот, ради которого… тот напев — нам — как кость — или как цветок… — Хотели? нате! — а уже встающий — уже стоящий — разом вставший — зал…»

Марина Ивановна, как всегда, вся в рефлексии и лирическом захлебе. Но даже суровый критик Адамович отметил, что «фонтан», бьющий стихами неудержимо, показался чем-то волшебным…

Триумф парижских вечеров оказался последним всплеском северянинской славы. Больше такого внимания, интереса и восторга к своему творчеству Игорь Северянин уже не испытывал.

Эмигрантская удавка и нищета все сильнее сдавливали горло поэта…

Конгресс писателей 1935 года

В историческом альманахе «Минувшее» (1992, № 24) я натолкнулся на обширный материал «Великая иллюзия — Париж, 1935». И сразу мелькнула, взять что-то оттуда для своей книги. Будучи коллекционером и собирателем всякой исторической и культурной информации, мне иногда кажется, что я выступаю в роли гоголевского Плюшкина, который не довольствуется тем, что у него во дворе уже много собрано, «он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывая под мостики, под перекладины, и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабьи тряпки, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в кучу…» Всякий «дрязг», как выразился Гоголь, почему-то был надобен помещику Плюшкину. Вот и я все читаю и все, что попадается мне на глаза, выписываю и складываю в свои бумажные архивы. Глядишь — и какой-то фактик пригодится. Ну а «Минувшее» о Париже сам бог велел. Тем более что Международный конгресс писателей в защиту культуры вызвал широкий интерес у всей русской эмиграции: кто приедет из советской России, что

будет говорить? — жгуче интересовало многих. Попробуем из 74 страничек «Минувшего» сделать выжимку, да еще внести свою собственную нотку. Итак…

1935 год — Европа бурлит. Фашистская Германия наращивает военные мускулы, СССР развивает экономическую мощь. А вся европейская левая интеллигенция оказалась зажатой между двумя тоталитарными системами и со страхом следила за имперскими устремлениями двух титанов. В защиту культуры и был созван Международный конгресс в июне 1935 года. Сталину этот конгресс был нужен как международная поддержка развернувшегося строительства социализма в стране. Он жаждал одобрения, поддержки и горячей любви со стороны западных интеллектуалов. Оренбург, один из творцов конгресса, сформулировал две задачи: 1. Борьба с фашизмом. 2. Активная защита СССР.

И началась подготовка к проведению конгресса. Со стороны Запада самыми видными и деятельными были Анри Барбюс, Андре Мальро (который принимал участие в работе Первого съезда советских писателей в 1934 году и заявил: «Культура — это не наследство. Культура — это не подчинение. Культура — это завоевание»).

Просоветски настроенный писатель Андре Жид (в Москва дважды издавали его собрание сочинений) и Луи Арагон, порвавший благодаря Эльзе Трио-ле свои связи с сюрреалистами и откровенно симпатизирующий советской политике и литературе. Это главные фигуры.

А с советской стороны основными закоперщиками были: Илья Эренбург, который в середине 30-х годов умудрился стать центром круга французской левой интеллигенции; Михаил Кольцов, возглавлявший Иностранную комиссию Союза писателей. И партийный функционер Александр Щербаков, окончивший Институт красной профессуры и в дальнейшем поднявшийся до поста секретаря ЦК. Щербаков и был главным начальником советской делегации на конгрессе, хотя французы считали главным Эренбурга.

Парижский конгресс собрал писателей из 35 стран, но главными скрипачами были хозяева — французские писатели и советские «инженеры человеческих душ». Подготовка с нашей стороны велась тщательно и с обязательным согласованием самого вождя. Именно Сталин неожиданно решил не включать в состав советской делегации главного писателя страны, и которого очень ждали на Западе, — Максима Горького.

В ходе подготовки конгресса произошло два события: на праздновании 7 ноября побывал Анри Барбюс, объявивший, что пишет книгу о Сталине. А в декабре 1934 года в Ленинграде был убит Киров, его убийство стало сигналом к началу кампании массовых репрессий. Как успел шепнуть Бухарин Эренбургу: «Это очень темное дело».

Горький вначале был утвержден главой советской делегации, а потом вообще выпал из нее. Шолохов по каким-то своим причинам отказался участвовать в конгрессе, и туда вошли другие, малозначимые фигуры: Луппол, Тихонов, Караваева, Киршон, Лахути и т. д. Всем членам делегации пошили по одному летнему пальто, серому костюму и рекомендовали каждому сшить себе по второму (черному) костюму, но уже за свой счет. Рекомендаций было много, в том числе при звонках из Парижа в Москву пользоваться условными обозначениями в разговоре: Горький — Анатолий, Барбюс — Андрей, Эренбург — Валентин и т. д. Оно и понятно: кругом враги!.. Тем более что было известно, что сюрреалисты наметили сорвать работу конгресса.

Узнав о составе советской делегации, французы настаивали на включении в нее хорошо извест-

ных на Западе Бабеля и Пастернака. Пришлось их срочно включать в делегацию, хотя Пастернак категорически отказывался ехать в Париж и согласился скрепя сердце, когда позвонивший ему секретарь Сталина Поскребышев сказал, что это приказ и обсуждению не подлежит. Конгресс уже открылся, и туда отправились Бабель с Пастернаком. Возвратившись из Парижа, Исаак Бабель рассказывал, как всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами: «Я болен, я не хотел ехать, я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах… Не хочу ехать, я болен, я не могу!» В Германии каким-то корреспондентам Борис Леонидович сказал, что «Россию может спасти только Бог». «Я замучился с ним, — говорил Бабель. — Путешествие мое с Пастернаком достойно комической поэмы».

А тем временем, пока Бабель с Пастернаком ехали на поезде в Париж, конгресс вовсю работал, а в перерывах гости знакомились с Парижем, а некоторых членов делегации интересовало совсем другое; например, украинский писатель и драматург Иван Микитенко, избранный в международное бюро борьбы против фашизма, заинтересовался фривольными журналами, о коих в Советском Союзе и помыслить было нельзя.

Галактион Табидзе, по слухам, искал во французской столице наркотики, и т. д.

Наконец две советские знаменитости доехали до Парижа, и Борис Пастернак выступил на конгрессе. Эренбург и Кольцов помогали поэту подготовить речь, но Борис Леонидович отбросил заготовленный текст и сказал от себя, что, во-первых, он болен, а во-вторых, прочитал одно стихотворение, вызвавшее шквал оваций в зале. Кстати, Мальро представил Пастернака так: «Перед вами один из самых больших поэтов современности». Это было 25 июня. До Пастернака выступил Всеволод Иванов и сообщил, к удивлению собравшихся, что в Советском Союзе писатели много зарабатывают, имеют квартиры, дачи, машины… Это произвело на всех плохое впечатление: значит, куплены, значит, ангажированы, значит, служат власти… А когда вышел к трибуне Пастернак, то он по-детски оглядел всех и неожиданно сказал: «Поэзия… ее ищут повсюду… а находят в траве…» — раздались аплодисменты, а затем целая буря восторга.

Речь эта в советской прессе была опубликована частично, а главное опущено; а главное было то, что Пастернак призвал писателей: «Не организуйтесь! Организация — это смерть искусства.

Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали в защиту чего-либо. Умоляю вас — не организуйтесь!» С точки зрения власти, Борис Леонидович не сказал, а ляпнул совсем не то, что должен был заявить. В дальнейшем и это ему припомнили…

А лучше всех выступил Бабель: он речи не писал, сел за стол, надел очки и повел изумительную и живую и вместе с тем умную беседу по-французски…

Третий день конгресса — день провокации, как определила советская делегация: покончил с собой 35-летний писатель, сюрреалист Рене Кревель, открыв на кухне газ. Советские лица посчитали это провокацией, а Клаус Манн высказал иное об ушедшем: «Он совершил самоубийство, потому что страшился безумия. Он совершил самоубийство, потому что считал мир безумным…» Написанную речь Кревеля «Индивид и общество» прочитал на конгрессе Луи Арагон.

Заключительный день конгресса прошел 27 июня во дворце Трокадеро в присутствии более 5 тысяч человек. На банкете Щербаков выделил Андре Жида: «Особенно ценим мы и гордимся дружбой и любовью Андре Жида к Советскому Союзу» (затем эта «любовь» имела продолжение).

Щербаков от имени правительства пригласил многих французских писателей посетить СССР.

Конгресс закончился, отзвуки от него остались, но практического результата он не имел. Были другие последствия. Анри Барбюс, как и предполагал, приехал в Москву, но там серьезно заболел и 30 августа 1935 года скончался. Подозрительная смерть. Мавр сделал свое дело?..

В 1935 году в Москве напечатали одну из самых слабых книг Эренбурга «Не переводя дыхания»: она пользовалась огромным успехом у советских критиков. Только вот эмигрант Михаил Осоргин сказал о ней правду: «Оренбург уже не просто пишет, он поет. Поет он лучшее, что есть в современной советской жизни, — работающую и жизнерадостную молодежь. Поет не соло, а в хоре. От его участия хор выигрывает; но скажу откровенно, мне было жаль потерять солиста, писателя с отчетливой, не всем слышимой индивидуальностью. Для перехода в хор нужно отказаться от очень многого, а научиться только пустякам. Этим пустякам Эренбург научился без труда» *(«Последние новости», Париж, 1 октября 1935 года).*

И, наконец, история с поездкой Андре Жида. Он прибыл в Москву 17 июня 1936 года. Фран-

цузский писатель давно хотел познакомиться с Максимом Горьким. Но встреча не состоялась: Горький скончался (как и почему? — об этом много чего написано). Андре Жид присутствовал на похоронах великого пролетарского писателя и даже был приглашен подняться на трибуну Мавзолея и в присутствии Сталина произнести речь. Но примечательно: Сталин не удостоил Жида специальным приемом. Видно, чекисты донесли вождю, что писатель пишет не совсем то, чего от него ждут. И действительно, книга Андре Жида «Возвращение из СССР» оказалась скорее со знаком минус, чем с плюсом. Сам Андре Жид записывал в дневнике: «Я писал о поездке в СССР в том же стиле и в том же духе, что и о разоблачениях колониальных злоупотреблений в Конго, которые вызывали у меня отвращение…»

А вот книга «Возвращение из СССР» вызвала в Москве гнев. В «Литературной газете» от 6 декабря 1936 года появилась статья, озаглавленная: «Куда Андре Жид возвратился из СССР?», где вчерашнего друга буквально припечатали к стенке: «Слезливая, двойственная книжка Жида выдала в нем человека слабого, неустойчивого, ограниченного и жалкого. Может быть, он написал антисоветский пасквиль под давлением наших

заклятых врагов из французского филиала троцкистско-фашистской банды и для установления своей “индивидуалистической” совести проливал при этом слезы старого циника. Тем хуже, тем отвратительнее выглядит вся эта клеветническая стряпня».

«Фас» из Москвы подхватила и коммунистическая печать Франции, клеймя Андре Жида как ренегата, предателя, врага прогресса, мира и социализма. В СССР, естественно, все книги Андре Жида тут же сняли с производства, а уже вышедшие из печати изъяли из библиотек. Любопытно, что именно в Москве в это время находился немецкий писатель Лион Фейхтвангер, и московские острословы опасались, как бы «сей еврей не оказался Жидом». Поэту Лахути пришлось заново садиться за статью об Андре Жиде: в первый раз он его восхвалял, а затем вынужден был спускать неугодного француза с небес и основательно помазать его грязью. Увы, такова подоплека социалистического реализма. Даже Эренбург сделал пируэт и назвал Андре Жида «стариком со злобой ренегата, с нечистой совестью». Что сказать об Андре Жиде с позиции нынешних лет: он за два месяца разглядел то, на что многим наблюдавшим советскую жизнь изнутри не хватило целой

жизни: «То, что Сталин всегда прав, означает, что Сталин восторжествовал над всеми. Диктатура пролетариата? Нет, диктатура одного человека».

Прошло еще немного времени, и наступивший 1937 год показал всем, что такое Сталин и сталинизм — террор и еще раз террор. Печальная участь настигла многих людей, так или иначе участвовавших в подготовке Парижского конгресса, в их числе Бухарин, Радек, Стецкий, Динамов, Киршон, Микитенко, Виктор Кин, Кольцов, Бабель, Луппол и другие. Арест, тюрьма, ссылка, а кому сразу — расстрел.

Второй конгресс в защиту культуры состоялся в Мадриде — туда приехавших оказалось очень мало, а те, кто приехал, клеймили в речах Андре Жида и прочих ренегатов и, разумеется, троцкистов и фашистов. Других врагов у культуры не было. А вскоре грянула Вторая мировая война…

Андре Жид: бывший друг, ставший врагом

Однако вернемся к личности Андре Жида и о «бедном» французе замолвим хотя бы словечко: чем же он провинился?

Из французских писателей у нас в стране он, кажется, наименее известный — не Дюма и не Флобер. «Для меня важнее всего мыслить свободно», — утверждал Андре Жид. Он родился в Париже 22 ноября 1869 года, скончался 19 февраля 1951-го. Классик французской литературы XX века, лауреат Нобелевской премии. Боготворил Достоевского и написал о нем проникновенную книгу. Художник морального поиска. Он любил называть себя «человеком диалога», человеком противоречий.

Творчество Андре Жида: жанровая неопределенность — стихи и эссе, пьесы и психологические повести, трактаты и романы, путевые очерки и политические репортажи, статьи о литературе и огромный массив автобиографической прозы. Один из романов Жида, «Подземелье Ватикана» — фарсовый перифраз «Преступления

и наказания» Достоевского.

Другой известный роман Жида «Фальшивомонетчики» — о фальшивых людях, которых воспитывает общество — семья, школа, церковь, суд и другие институты. Фальшивые люди отгораживаются от подлинной действительности ширмами удобных предрассудков или мифов. Один из героев романа говорит:

— Заметили ли вы, что в этом мире Бог всегда молчит? Говорит только дьявол… в Евангелии сказано: «Вначале было слово». Я часто думал, что слово Бога и было самим творением. Но дьявол завладел им… (и после нахлынувших рыданий — *Ю.Б.*) Дьявол с Богом действуют сообща…

А теперь о политике. В связи с угрозой фашизма в Европе Андре пришел в стан левой интеллигенции и обратил свои взоры к Советской России. В Советском Союзе писатель надеялся обрести новое подтверждение собственным евангелическим идеалам любви, братства и всеобщей справедливости. Краткий визит в СССР в 1936 году (17 июня — 24 августа) развеял все его иллюзии и надежды. Советская действительность оказалась сложнее, грубее, трагичнее умозрительных схем парижского интеллектуала и аристократа духа и уничтожила оптимизм писателя в отношении

«победившего социализма».

О своем разочаровании Андре Жид рассказал в книге «Возвращение из СССР». Но при этом он критиковал не народ, а «тех, кто им руководит».

Власть в СССР ждала лояльности от Андре Жида, а он написал о бедности в СССР, о нарождении у нас «новой разновидности сытой рабочей буржуазии» и «новой разновидности аристократии» (имея в виду разветвленную систему всевозможных привилегий). Писатель обнаружил атмосферу «тотальной подозрительности», процветающие соглашательство, конформизм, слепую веру в обожествление «вождя народов». И при этом Андре Жид проявил сочувствие к русскому народу: «…вскоре от этого прекрасного героического народа, столь достойного любви, никого больше не останется, кроме спекулянтов, палачей и жертв».

И за эту правду в своей книге Андре Жид был заклеймен и обвинен в «ренегатстве», «клевете», «коллаборационизме», «эстетстве», «цинизме» и т. д. А его бывший друг Эренбург презрительно добавил о нем как писатель о писателе: «только однодневка».

Я перечитал «Возвращение из СССР». В предисловии Андре Жид искренне писал:

«Три года назад я говорил о своей любви, о своем восхищении Советским Союзом. Там совершался беспрецедентный эксперимент, наполнивший наши сердца надеждой, откуда мы ждали великого прогресса, там зарождался порыв, способный увлечь все человечество. Чтобы быть свидетелем этого обновления, думал я, стоит жить, стоит отдать жизнь, чтобы ему способствовать. В наших сердцах и умах мы решительно связывали со славным будущим СССР будущее самой культуры. Мы много раз это повторяли, нам хотелось бы иметь возможность повторить это и теперь…»

Короче, свобода, равенство и братство. Да здравствует либерти! Да здравствует справедливость!..

«Не ошибся ли я с самого начала? — задал вопрос в книге Андре Жид. — В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение… На социальной лестнице, сверху и донизу реформированной, в самом лучшем положении наиболее низкие, раболепные, подлые. Те же, кто чуть-чуть приподнимается над общим уровнем, один за другим устраняются или высылаются…»

Хватит цитат, а то настойчиво лезут в голову параллели из сегодняшнего дня, а превращать книгу в памфлет — такой задачи у меня нет (ну

прямо в рифму!)…

Распростимся с Андре Жидом… С Парижем. Боже мой, как давно я там не был!..

Ах, Egalite! Ах, LiberteL

Глубоко вздохнем и перейдем к следующей главе.

3. Второй ряд литераторов-эмигрантов

Чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и всё, что было в ней, – брызгами разлилось в Европе.

Зинаида Гиппиус

Как часто я прикидывал в уме,
Какая доля хуже!
Жить у себя, но как в тюрьме,
Иль на свободе, но в какой-то луже.

Николай Оцуп

3 второй ряд ЛИТЕРАТОРОВ-ЭМИГРАНТОВ



В Советском Союзе долгие годы насаждалась и буквально пестовалась легенда, будто советская литература — это великая литература, наследница русской классической литературы на новом революционном витке. И был придуман термин «социалистический реализм». А те писатели и поэты, которые эмигрировали, — это «белогвардейская литература», упадническая, гнилая, неинтересная. И на долгие годы были вычеркнуты из литературных списков Бунин, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Шмелев, Ремизов и многие другие «не наши», чужаки, изгнанники. И только спустя десятилетия после войны и особенно в период гласности на родину вернулись имена писателей-э-мигрантов и начался процесс объединения разъединенных на два лагеря имен (такой же процесс шел в живописи, музыке, театре и других сферах искусства).

Но до сих пор не преодолена черта между теми, кто остался и воспевал Советскую страну и ее вождя, и теми, кто уехал и неодобрительно относился к Советскому строю. Несмотря на то, что книг эмигрантов-писателей издано множество и читатели могут познакомиться с целым потоком воспоминаний и мемуаров. Однако не

все современные читатели приняли эмигрантов, предубежденность к ним, вбитая десятилетиями, осталась. И читатели-патриоты до сих пор ощущают белогвардейский душок в книгах уехавших и изгнанных литераторов.

Моя задача собрать как можно полнее писателей вместе — и тех, кто не покидал родину, и тех, кто оказался вне ее, и показать, как последним приходилось несладко на чужбине, но они достойно продолжали традиции великой русской литературы.

Классиков русского зарубежья я уже представил, настал черед второго ряда. Имена менее звонкие, но каждый из этого

ряда внес ощутимый вклад в русскую литературу. Их следует знать и помнить и ни в коем случае не вычеркивать из исторической памяти. И не будем уподобляться обывателю, о котором сказал Георгий Адамович: «Но, правда, жить и помнить скучно!»

Нет, не скучно! А интересно. Захватывающе. Жгуче интересно. Как писал еще один поэт-эмигрант Юрий Софиев:

Ты помнишь ли? (банальные вопросы!)
Но сердце грустно отвечает: да!..

Главное, чтобы сердца и души отвечали. Не молчали, не пребывали в пустоте, а помнили и сопереживали…

Итак, второй ряд. Имена расположены по хронологии годов рождений, от старших к младшим.

Минский: декадент, революционер, мистик

Николай Максимович Минский (Виленкин, **1856,** село Глубокое Виленской губернии — **1937,** Париж). Поэт, драматург, философ, публицист, переводчик.

Как сон, пройдут дела и помыслы людей.

Забудется герой, истлеет мавзолей,

И вместе в общий прах сольются.

И мудрость, и любовь, и знанья, и права,

Как с аспидной доски ненужные слова,

Рукой невидимой сотрутся…

…Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли

Какой-то новый мир мерещился вдали

Несуществующий и вечный,

Кто цели неземной так жаждал и страдал,

Что силой жажды сам мираж себе со-

здал

Среди пустыни бесконечной.

Это написано Минским в 1887 году. Он — старейший эмигрант. В 1917 году ему было 62 года. А еще — старейший русский символист. Как отмечал Петр Пильский, «от него веяло некоторым высокомерием, колючей самовлюбленностью…». Минский «был маленький и невзрачный, но революционного огня в нем была бездна» *(А. Кугель. Листья с дерева).*

А теперь посмотрим, что я написал о Минском в книге «99 имен Серебряного века».

Один из патриархов декаданса, Минский прожил длинную жизнь — 82 с половиною года — и изведал многое — хвалу и хулу. Произведения Минского хвалили Гончаров, Тургенев и Надсон. По воспоминаниям современников, всякий передовой студент считал своим долгом иметь в своей библиотеке рукописный экземпляр запрещенной поэмы Минского «Гефсиманский сад» (1884). Поэма широко распространялась в списках. Сюжет стихотворения Минского «Последняя исповедь» послужил Илье Репину замыслом для создания картины «Отказ от исповеди».

Как поэт Минский был довольно популярен

до появления Анненского, Бальмонта, Брюсова и Блока, затем сошел практически на нет, хотя на его стихи писали романсы Рубинштейн, Рахманинов и другие композиторы. Широкую популярность приобрел Минский как переводчик: переводил Гомера, Аристофана, Байрона, Шелли, Верлена, Флобера, Метерлинка. Еще Минский выступал как драматург, тут он славы не сыскал. И как философ — здесь он некоторый шум наделал.

Но главное — не его многогранность творчества, а шатания и метания в идейных и художественных установках и принципах. Как отмечал Айхенвальд, Минский «колебался от тем гражданской скорби к искусству модернизма и обратно». Это в поэзии. Но колебался он и в других сферах, за что его нещадно критиковали. Будучи евреем, Минский принял православие и, как вспоминал Г. Слиозберг, он «был писатель-еврей, но не еврейский писатель», то есть «будил чувства, обычные для всей интеллигенции». А уж его «бросок» в революцию вообще вызвал у многих современников шок. Это произошло в 1905 году, когда Минский был издателем-редактором газеты «Новая жизнь» и переживал увлечение революционными иллюзиями, чувствуя себя

«ставленником пролетариата» (по выражению Александра Кугеля). Так, в своей газете в номере от 13 ноября Минский напечатал собственное стихотворение «Гимн рабочих»:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть.

В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь,

Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть…

…Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Солнце в небе, солнце красное – наш флаг!

Из декаданса в революцию?!. Минский напечатал свой перевод «Гимна Интернационала»:

Сегодня мы восстали,

Но завтра кончен бой,

В Интернационале

Сольется род людской.

И еще опубликовал в своей газете статью Ленина «Партийная организация и партийная литература». За все это — за материалы, «возбуждающие

к усилению бунтовщических деяний», — Минский был арестован, а потом выпущен под залог. Уехав в Париж, Минский оправдывался и уже говорил о том, что марксизм-де враждебен культуре, философии, религии и искусству.

Вернемся по хронологии назад. Николай Минский окончил Петербургский университет и получил степень кандидата права, но службой практически не занимался, а целиком отдался литературе. Писал гражданские стихи в духе Некрасова, однако его стих, по мнению некоторых критиков, был «без некрасовской мощи».

Одновременно Минского занимают философские проблемы, и в 1890 году выходит его трактат «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». Минский предлагает собственную философскую теорию «меонизма», своего рода «религию небытия», в ней он призывает идти дорогой индивидуализма, самообожествления, эстетизма; практически провозглашает «культ абсолютной личности».

После скандала с «Гимном рабочих» Минский в Париже пытается создать меонический монастырь, где, «не давая обета», «усталые могли бы отдохнуть, огорченные — просветлеть, озлобленные — примириться», — опять же все это в

рамках «религии будущего».

В 1912 году Минский на краткое время возвращается в Россию, снова уезжает, и по пути в Париж его настигают события Первой мировой войны. Оказавшись отрезанным от России, он больше туда не возвращается. В эмиграции выступает с лекциями и публикует статьи «о союзе между умственным и физическим трудом», выпускает книгу «От Данте к Блоку» (Берлин, 1922), издает стихи. Критик газеты «Руль» считает, что стих Минского «вялый», сочинения его — умные, но холодные, ему чуждо «желание раскрыть мир как художественный смысл». «Это — душа отмеренная, не восторженная, без неожиданностей для самого себя. Это — дух без иллюзий, без наивности, сопричастный к анализу, однако и в него не погруженный, до глубины его не достигнувший и гамлетовской красоты его себе не усвоивший…» — еще раньше написал о Минском в своих «Силуэтах» Юлий Айхенвальд.

В начале 20-х годов Минский — председатель правления берлинского “Дома искусств”. «Седовласый старец», говоривший «долго», «многосторонне» и «весьма отвлеченно», — как вспоминал Андрей Белый. Из Берлина Минский переехал в Лондон, где одно время служил в советском

полпредстве, составляя бюллетень английской печати. С 1927 года Минский жил в Париже.

Вспоминает Андрей Белый:

«…Парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем, или — подлинным Минским. “Парижский” — он не нравился мне: не пристало отцу декадентства, входящему в возрасты “деда”, вникать в непотребства; разврат смаковал, точно книгу о нем он писал; с потиранием ладошек, с хихиком, докладывал он: де в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежной тайной; гнездился в весьма подозрительном месте, чтоб не расставаться с предметом своих наблюдений.

— Не можете себе представить, как прекрасна любовь лесбиянок, — дрожал и с улыбкой дергался сморщенным личиком. — Там, где живу, — есть две девочки: глазки мадонн; волоса — бледно-кремовые; той, которая — “он”, лет 17, “ей” — лет 18; как любятся!

…Как солнцем он лоснился — маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикающий, черномазый, с сединочка-ми…»

Я не хочу осуждать Минского: старый человек, впавший в вуайеризм, в некое подглядывание за молодыми. Не самый большой грех. Большее

прегрешение «навесили» на Минского революционно настроенные демократы, которые считали его главным виновником «насаждения “черных роз” декадентства в русскую литературу». Мол, испортил. Отравил. Обезобразил.

Любить других, как самого себя…
Но сам себя презреньем я караю.
Какой-то сон божественный любя,
В себе и ложь, и правду презираю… —

писал Минский в стихотворении «Любовь к ближнему» (1893), заканчивая его так:

И всех людей, равно за всех скорбя,
Я не люблю, как самого себя.

Вот вам и «черная роза» в заключение. От Минского. От Николая Максимовича.

P.S.

Минский умер 2 июля 1937 года. Странный скорбный день 2 июля:

1778 год — не стало Жан-Жака Руссо,

1904 год — ушел Чехов (по старому стилю),

1941 год — погиб Евгений Петров, соавтор Ильи Ильфа,

1961 год — покончил жизнь самоубийством

Эрнест Хемингуэй,

1977 год — не стало Владимира Набокова…

Их всех соединил один июльский день. Логично привести строки Минского из стихотворения «Два пути»:

Проклятье в том, что не дано
Единого пути.
Блаженство в том, что все равно,
Каким путем идти.

Если говорить о Минском в научных терминах, то он — вылитый релятивист, для которого все в мире является относительным.

Сергей Волконский: фанатичный жрец искусства

Князь **Сергей Михайлович Волконский** (1860, имение Фалль, близ Ревеля Эстляндской губернии — 1937, Ричмонд, штат Виргиния, США). Театральный деятель, критик, беллетрист, теоретик актерской техники и ритмической гимнастики.

Сергей Волконский — внук известного декабриста Волконского и одновременно внучатый племянник знаменитой Зинаиды Волконской. По материнской линии он — правнук небезызвестного графа Александра Бенкендорфа. В Сергее Волконском Бенкендорф и декабристы как бы встретились вновь и великодушно простили обиды друг другу.

Человек глубоких знаний, «фанатичный жрец искусства» (А. Бенуа). Детство провел в аристократической атмосфере имения бабушки по матери графини Бенкендорф («под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души»). Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1893 году командирован на Чикагскую всемирную выставку. Читал лекции

по русской истории и литературе во многих американских университетах. После его лекции в Гарвардском университете была основана кафедра славяноведения. В 1898–1901 годах — директор императорских театров. Подал в отставку из-за конфликта с балериной Кшесинской. Много занимался теорией и практикой современного театра, Станиславский ценил книги Волконского «Выразительное слово» и «Выразительный человек».

Октябрьская революция кардинально изменила жизнь князя Сергея Волконского, он стал для новой власти «буржуем» и «контрой». Пришлось скрываться в Борисоглебске от ареста. За ним пришли, когда он направился в гости к одной старой знакомой, чтобы поиграть у нее на разбитом пианино. А в доме, где он нашел пристанище, уже допрашивали тех, кто дал князю приют:

— Кто он такой? Генерал? Военный? Царский чиновник?

— Нет, бывший князь Волконский, литератор.

— Литератор? Да? Где же он пишет?

— Где — довольно трудно сказать, а книги вот здесь есть; можете посмотреть.

Далее вошедшие с оружием спрашивают:

— А где его револьвер?

— У него нет револьвера и никогда не было; да

и стрелять он не умеет.

— А где спрятаны пулеметы?..

Ну и так далее, в духе красного абсурда первых лет революции.

В 1918 году князь Сергей Волконский приехал в Москву переодетый в солдатскую шинель, с котомкой белья и платья, — все, что у него осталось от былого богатства. Волконский приехал, чтобы найти какое-то применение своим знаниям в условиях новой власти. Его два дня держали в подвале на Лубянке, потом все же выпустили. И он стал работать, как тогда говорили, «на культурном фронте». Читал лекции, вел занятия по театральному мастерству в разнообразных кружках и студиях, расплодившихся на первых порах без счету. Об одной такой студии Волконский пишет в своих воспоминаниях:

«Я был приглашен читать в красноармейском клубе в Кремле, в клуб имени Свердлова. В Николаевском дворце, в бывших покоях великой княгини Елизаветы Федоровны, за чудными зеркальными окнами, из которых вид на Замоскворечье, слонялись по паркетным полам, в шелковых креслах полулежали в папахах и шинелях красноармейские студийцы. Работа была неблагодарная. Слушателей моих гоняли

на работу, на дежурства, в караулы, а то и вовсе угоняли на фронт...»

А в один день приходит к Волконскому некто Басалыго и интересуется, что делают красноармейцы:

— Репетиции? Зачем репетиции? Совсем не нужно, это препятствует свободному развитию личности, это тормозит свободное творчество.

— Да как же пьесы ставить без репетиций? — возражал Волконский.

— Пьесы? Для чего пьесы?

— Да что же ставить?

— Да не ставить. А придут, посидят, расскажут друг другу свои переживания в октябрьские дни, пропоют три раза «Интернационал» и разойдутся. И у всех будет легко и тепло на душе.

От такой работы у князя Волконского отнюдь не было на душе легко и тепло, а напротив, сумрачно и печально. Советской власти князь был не нужен. Он отчетливо понял: вместо культуры, вместо знаний в новой России культивируется самодовольство и воинствующее невежество. И осенью 1921 года он тайно перешел границу и стал эмигрантом. Его бегство было оправдано, так как Ленин в письме к Дзержинскому среди «растлителей учащейся молодежи» наряду с Бер-

дяевым, Шестовым, Ильиным назвал и имя князя Волконского. Письмо вождя означало, что надо принять соответствующие санкции, но Волконский их счастливо избежал.

«Наконец оставил за собой границу, отделяющую мрак советской России от прочего мира Божьего. Стоны, скрежет и плач остались там, во тьме… позади остались насилие, наглость и зверство…»

«Сейчас я уже не на родине — на чужбине, — писал Волконский, находясь на французской земле. — Вокруг меня зеленые горы, пастбища, леса, скалы. Надо мной синее небо, светозарные тучи. Вы скажете, что и там было синее небо, и там светозарные тучи? Может быть, но я их не видел; они были забрызганы, заплеваны, загажены; между небом и землей висел гнет бесправия, ненависти, смерти. И сама “равнодушная природа краскою вечной” уже не сияла. Здесь она сияет…»

В Париже Сергей Волконский стал театральным обозревателем газеты «Последние известия», кстати говоря, такая специальная дисциплина, как театроведение, целиком обязана своим рождением именно князю. Читал он лекции по истории русской культуры для своих соотече-

ственников, оказавшихся в эмиграции, выезжал с лекциями в Италию и США.

Оставаясь верным классическим традициям, не принял авангардизм театральных постановок Арто, отверг новации Мейерхольда и не одобрил новаторство Михаила Чехова. В начале 30-х годов стал во главе Русской консерватории в Париже и объединил вокруг себя музыкантов-эмигрантов.

В эмиграции вышли два тома мемуаров Сергея Волконского «Мои воспоминания», на один из которых — «Родина» — восторженно откликнулась Марина Цветаева, найдя сходство князя Волконского с великим Гёте. Дружбу с князем Цветаева по страстности своей натуры пыталась перевести в любовь. Она предложила Волконскому «быть мальчиком твоим светлоголовым» (Волконский был гомосексуалистом), но князь отверг любовь, предпочтя ей исключительно дружбу. Когда Волконский уехал в Америку, то он и Цветаева переписывались, а когда он приезжал в Париж, встречались. Но не более того.

«Это моя лучшая дружба за жизнь, — писала о нем Марина Цветаева, — умнейший, обаятельнейший и гениальный человек на свете… Познакомилась я с ним в Москве в январе 1920 года и люблю его, как в первый день». Цветаева

посвятила Волконскому цикл стихотворений «Ученик» (1920), по сути песенок для пьесы:

Сказать: верна,
Прибавить: очень,
А завтра: ты мне не танцор, —
Нет, чем таким цвести цветочком, —
Уж лучше шею под топор…

Князь Сергей Волконский умер в американском городе Ричмонде в октябре 1937 года, в возрасте 77 лет. В Париже по русскому обычаю устроили его отпевание, на котором присутствовали Александр Бенуа, Сергей Лифарь, Матильда Кшесинская, Марк Алданов, Марина Цветаева и другие «звезды» Серебряного века.

В некрологе о Волконском Георгий Адамович написал: «Это был один из самых одаренных, самых своеобразных, живых и умственно-отзывчивых людей, которых можно было встретить в нашу эпоху. Своеобразие было все-таки наиболее заметной его чертой. Князь Волконский ни на кого не был похож и в каждом своем суждении, в каждом слове оставался сам собой».

P. S. Созданный им «Музей декабриста» в Павловске в первые же месяцы Октября был разорен, но часть вещей князю удалось вывезти в Па-

риж...

Амфитеатров: литератор на все руки

Наш век – таинственный и
пестрый маскарад, —
Такого не найти ни в песне нам,
ни в сказке! —
Где ум давно надел дурачества
наряд,
А глупость с важностью гуля-
ет в умной маске!

Ал. Амфитеатрову 1912

Амфитеатров Александр Валентинович (1862, Калуга -**1938,** Леванта, Италия). Прозаик, публицист, фельетонист, критик, драматург да в придачу поэт-сатирик.

Амфитеатров — сын московского протоиерея о. Валентина, по прозванию «золотые уста» за свое красноречие, бывшего кумира московских аристократических барынь. От сына-журналиста из-за его пьянства и буйства о. Валентин отрекся. Так начиналась жизнь и карьера Александра Амфитеатрова, одним из псевдонимов которого был «Московский Фауст». Фауст махнул рукой на Москву и перебрался в Петербург.

Амфитеатров — это горы написанного, романы, путешествия и прочее. Обладал большим темпераментом и хлестким пером. «Человек огромный, шумный, — он вечно ругается или кого-то громит… За что — он и сам не знает… Все равно — £Cгром есть”… Способный прожить три жизни и десять состояний, без сомнения, никогда не обедавший в одиночку, вечером, несомненно, едущий в театр, если не занят статьею, «которая завтра поразит весь свет…» (Василий Розанов).

Прежде чем стать литератором, Амфитеатров два сезона пел в оперных труппах Тифлиса и Казани партии второго баритона (учился вокальному искусству в Италии). Но певцом не стал. Перо пересилило голос.

Из всей многогранной деятельности Амфитеатрова следует отметить сотрудничество в 90-х годах с газетой «Новое время», с издателем Сувориным. После разрыва с последним Амфитеатров выступал как журналист в организованной Сытиным газете «Россия», где скандально прославился фельетоном «Господа Обмановы», в котором высмеял русских царей (Романовы-Обмановы) и нелицеприятно изобразил двор. За критику Амфитеатров был сослан.

В 1904 году он эмигрировал из России и жил

во Франции и Италии. Дружил с Горьким — эту пару остряки называли «Герценом и Огаревым русской эмиграции».

За рубежом Амфитеатров работал над циклом романов «Концы и начала: Хроника 1880–1910 годов» о русской общественной жизни на рубеже веков. Будучи весьма плодовитым, Амфитеатров затевает серию романов «Сумерки божков» и цикл исторических произведений о жизни Римской империи во времена правления Нерона. Романы увлекательные, с лихо закрученным сюжетом, хотя и не очень глубокие. Еще Амфитеатров сочинял всякие «демонические» рассказы. Привлекала писателя и женская тема. Романы «Виктория Павловна», «Дочь Виктории Павловны», «Марья Лусьева», «Марья Лусьева за границей» пользовались огромным успехом. Женщины млели… По отчету библиотечной выставки 1911 года, книги Амфитеатрова занимали второе место в России после сочинений Вербицкой.

Однако популярность книг Амфитеатрова не смогла затмить его недостатки. Василий Розанов критиковал писателя за тяготение к словесному общественному и политическому «буму». Ругал за торопливость — «бегом через жизнь, не давая

ей углубленной трактовки». Не утруждал себя Амфитеатров и утонченной стилистикой, новых языковых звучаний, что было характерно для большинства литераторов Серебряного века. Язык Амфитеатрова — «живой, с русской улицы, с ярмарки, из трактира, из гостиных, из “подполья”, из канцелярий, из трущоб» (И. Шмелев).

В 1916 году Амфитеатров вернулся в Россию. Приветствовал Февральскую революцию и враждебно отнесся к Октябрьскому перевороту, ибо пошла не жизнь, а, как он определил, «лавина ужасов и мерзостей». Писателя трижды арестовывали и допрашивали в ЧК.

От «минувшего величия» дома Амфитеатрова, это он сам говорил Горькому о своем петербургском доме на набережной, с такой любовью и с таким вкусом обставленном в старой жизни, оставался один, всех восхищавший, но никому не нужный в новой жизни, с мебелью из лимонного дерева. И рояль сына Даниила. Продали все до последнего рубища. Сидели, спали на чужом, ели, пили из чужого.

А тем временем подоспели декреты Совдепии о выселениях, об уплотнениях и о лишении «бывших» права торговать своей собственностью, хотя бы и в целях пропитания. И встал вопрос:

куда деваться вышвырнутым из дома его старым хозяевам? Работа совсем не кормила. Буржуазная пресса была разгромлена и уничтожена… Жизнь казалась Амфитеатрову «сплошным бредом», а иногда он сомневался, в здравом ли он уме или сбесился…

«Я, кажется, впервые в жизни не знаю, что мне дальше делать, — писал Амфитеатров Луначарскому. — Я не могу идти рука об руку с Советской властью, потому что 1) я не марксист, 2) не сочувствую ее методам, способам, темпу, многим ее представителям, апофеозу ее гражданской войны; ее террору и пр. Очень может быть, что я стар, что многое новое в России мне непонятно и отвычно, но есть поступки, слова и люди, которые для меня несовместимы с идеей свободной личности. Это не “саботаж”, а, просто честное признание своей непригодности для условий переустраиваемого мира…»

Написал это письмо Амфитеатров и не послал наркому просвещения, возможно, понимая, что оно покажется Луначарскому никчемным и плаксивым. И оставалось одно: поскорее выбраться из советской России. Бежал Амфитеатров с членами своей семьи экзотично: на лодке через Финский залив. «Мне удалось, пользуясь утрен-

ним туманом и нерадивостью ваших патрулей, покинуть пределы Вашей Империи, которая когда-то называлась моим отечеством», — писал Амфитеатров самому Ленину (с которым был знаком) в открытом письме осенью 1921 года. Письмо Амфитеатрова кипело гневом, и он ставил вождю недвусмысленные вопросы и сам же на них отвечал:

«Существует ли грань между идейным коммунизмом и коммунизмом криминальным? Если существует, то где она? Сознаете ли Вы, что Ваша идея растворилась в коммунистической уголовщине, как капля уксуса в стакане воды, и если так знаете, то как можете Вы, человек идеи, мириться с этим? Уверяю Вас, никто из Ваших подданных этой грани не чувствует; не чувствует ее потому, что ужас, произвол, голод, нужда трехлетнего ига Вашего притупила и атрофировала у них способность разбираться в обстановке и отличать добро от зла и правду от лжи. И не потому, что Ваш режим окружает их людьми, снабженными, кроме партийных билетов, непогрешимостью пап и душевной чистотой новорожденных младенцев, а потому, что грань эта, если существует, бесконечно от них далека; она вне их кругозора, а все, что видят они, все, с чем соприкасаются, —

ложь, обман, провокация, насилие, тирания и уголовщина снизу, справа и слева… Допустим на минуту, что в затворничестве своем под сводами московских теремов, в величественной тишине кремлевского дворца Вы далеки и чужды от будничной стороны Вашего режима, как и далек и чужд был народной жизни Ваш коронованный предшественник. Но ведь и на каждом шагу своей государственной работы, в каждом Вашем акте внешней и внутренней политики Вы не можете не ощущать и не видеть такого краха, который потерпела Советская власть за три года своего существования. Переверните страницу истории и посмотрите, чем была идея народовластия, когда Вы привезли ее с берегов Женевского озера, и чем она стала теперь…»

Амфитеатров бросает одно обвинение за другим:

«Вы с легким сердцем обещали столько же счастья в будущем, сколько согласятся они в настоящее время пролить слез и крови… Не Вы ли провозгласили все виды свободы, не Ваши ли советские жандармы закрыли все газеты, арестовывают собрания, расстреливают, притесняют рабочего, заковывают в цепи труда, возрождают крепостное право и ужасы аракчеевских казарм.

Не Ваша ли власть до того измельчала, и опаскудилась, и потеряла понятие о нравственности…»

Так думали многие противники новой власти, но не все писали, подобно Амфитеатрову, письма вождю. И, разумеется, пришлось Амфитеатрову покинуть родину, проклясть большевизм, «перепоганивший» его любимую Россию.

После европейских скитаний Амфитеатров осел в Италии. И, как обычно, много трудился не покладая рук. Продолжил свои исторические серии, написал роман «Лиляша» (1928), создал цикл воспоминаний и этюдов о писателях и актерах и еще многое другое. И следует напомнить, что до революции успел выйти 37-й том его собрания сочинений.

Амфитеатрова не раз критиковали, упрекая в «мелкотемье», в «бытописательстве», в «литературе без выдумки». Но сегодня отчетливо видно, что книги Амфитеатрова — бесценный свод сведений и описаний жизни России на рубеже двух столетий. Помимо всего прочего, Амфитеатров не только уловил и запечатлел отблески и всполохи Серебряного века, но и красочно описал «извечную азиатчину» народного сознания.

Что касается последних лет проведенных писателем в Италии, то как-то постепенно ушло

относительное благополучие, и писатель погряз в долгах и был вынужден покинуть виллу Оливьери в Леванте и переселиться в деревушку Лагоре. Друзья приютили его у себя в доме из-за сочувствия к бедности некогда знаменитости. Чтобы сводить концы с концами, Амфитеатрову пришлось разводить кроликов и выращивать овощи.

В мартовском письме 1924 года он с горечью сообщает Савинкову, что живется материально очень трудно и приходится заниматься свиньями. «Словом — хожу и пою из “Цыганского барона”:

О да, я не писатель,
Писать желанья нет:
Свиней я воспитатель
И вовсе не поэт…»

Когда-то Розанов назвал Амфитеатрова «картиной, составленной из великолепия и нелепостей». Жизнь добавила еще одну краску — нищету. Можно сказать, что Амфитеатров потерпел крах. А если бы не произошла революция, он бы оставался одним из преуспевающих литераторов Российской империи.

В 1923–1924 годы Амфитеатров вел переписку

с писателем, революционером и террористом Борисом Савинковым: они обсуждали, что нужно сделать, чтобы освободить Россию от ига большевиков. В одном из писем Амфитеатров критикует Михаила Арцыбашева за то, что он «находится в том наивном периоде эмигрантской молодости, когда человек, покинувший мерзостную Совдепию, полагает, что за границей найдет “все высокое и прекрасное”, и очень бывает разочарован и обижен, когда натыкается на преизрядное свинство. Я, например, не без конфуза вспоминаю свои пражские речи два года тому назад с призывами эмиграции к объединению. Черт ли ее объединит, когда на нее, кажется, и Господь Бог рукой махнул! И именно поэтому не очень я люблю, когда принимаются костить Европу за равнодушие к поеданию нас большевистским зверьем…» *(5 декабря 1923 года).*

«…Уж не знаю, за что вы любите Кускову. Терпеть не могу баб политиканствующих и поучающих. Вавилоны да извилины. Должен сознаться, что не без некоторого нравственного удовлетворения наблюдаю, как высокочтимые фарисеи и книжники недавнего прошлого один за другим прихвостятся соглашательством с большевиками. Пешехонов-то недурен.

Что позолочено, сотрется — свиная кожа останется» *(4 февраля 1924 года).*

Тут следует сказать, кто такой Пешехонов — публицист и общественный деятель, министр продовольствия Временного правительства. После высылки из России выступил с брошюрой «Почему я эмигрировал» с призывом к признанию советской власти. «Я понимаю чувства эмигрантов, — писал он позже, — знаю, как им трудно признать советскую власть. Но это все-таки не резон, чтобы не признавать Россию».

В отличие от Пешехонова и «отщепенцев», Амфитеатров и Савинков категорически исключали возможность признать новую Россию.

Рубакин: энтузиаст и пропагандист чтения

Рубакин Николай Александрович (1862, Оранниенбаум -**1946,** Лозанна). Библиограф и книговед, беллетрист.

Из старообрядческой семьи. В юные годы подвергся «заражению нигилизмом», но вовремя одумался и главным делом своей жизни сделал «борьбу за человека, — против гнуснейшего вида неравенства, — образования». Одна из его первых книг — «Этюды о русской читающей публике» (1895).

Рубакин — не только автор, редактор, издатель, составитель программ по самообразованию, но и первоклассный книгочей. За свою жизнь, как он подсчитал, прочитал 250 тысяч книг, опубликовал свыше 350 статей…

Вопреки воле отца, Александра Иосифовича, Рубакин уехал учиться в Петербург после того, как блестяще провалил возложенное на него родителем руководство оберточной фабрикой, так как все деньги тратил на покупку книг и на организацию библиотек для рабочих. Страсть

к книге убила в Рубакине коммерсанта, но превратила его в знатока книг и библиофила… Он относился к книгам как к живым существам. Подходил к книжным шкафам, гладил корешки любимых книг, всегда ссорился с близкими из-за выпачканной страницы, помятой обложки.

Рубакин окончил Петербургский университет с отличием, учась сразу на двух факультетах — историко-филологическом и юридическом. Участвовал в нелегальных студенческих организациях. Вступил в партию эсеров и написал ряд революционных статей и брошюр, основанных на данных статистики («Хватит ли на всех земли?», «Военная бюрократия в цифрах», «Много ли в России чиновников?» и др.). Однако разочаровался в эсерах, политике, революции и покинул Россию. С декабря 1907 года жил в Швейцарии, сначала в Кларене, потом в Лозанне, где и умер 23 ноября 1946 года, в возрасте 84 лет.

Основной библиографический труд Рубакина «Среди книг» для многих в России оказался неприемлемым. Пуришкевич назвал Рубакина «одним из самых опасных, самых дерзких посягателей на народную душу». Розанов считал Рубакина «социал-библиографом». Ленин, отдавая должное Рубакину («чрезвычайно ценное предприятие»),

видел недостаток его труда в принципиальном отказе от полемики, которую Рубакин считал «одним из лучших способов затемнения истины».

Уже в советское время Рубакина активно критиковали за разработанные им основы библиопсихологии — «науки о социальном и психологическом воздействии книг». На Западе ее признали интересной и полезной, а у нас вредной, способной «к разоружению пролетариата» и к притуплению «классовой бдительности», одним словом, «рубакинщина». А Рубакин тем временем основал в Женеве секцию, а потом преобразовал ее в Международный институт библиопсихологии. Затем наша власть разобралась, что к чему, и назвала рубакинский институт «чуть ли не самым важным центром советской литературы за пределами СССР». В годы Второй мировой войны Рубакин снабжал книгами советских военнопленных, бежавших в Швейцарию из немецких лагерей.

В последние годы Рубакину было трудно владеть правой рукой — ее постоянно сводило от письма (так называемая «писательская судорога»). Согласно завещанию Рубакина его библиотека (свыше 100 тысяч томов) была перевезена в 1948 году в Москву. Был перевезен и прах,

который покоится на Новодевичьем кладбище.

Последователь позитивиста Огюста Конта, Николай Рубакин был убежден в необходимости борьбы против несправедливости в распределении материальных благ, за гражданские и политические права на свободу, образование, то есть стоял за свободное перемещение знаний и идей.

Рубакин писал: «Всякий может уделить чтению один час в день, а в воскресенье — 3 часа. Следовательно, 52 воскресенья по 3 часа дадут 156 часов, а 313 будней по одному часу — это 313 часов чтения. Значит, в год получается более 450 часов чтения. Это самое малое — 5 тысяч страниц. А при навыке в два-три раза больше».

Для Рубакина чтение было таким же естественным и необходимым компонентом жизни, как еда и сон. Он рекомендовал читать как можно больше. Даже не читать — если нет для этого возможности, то хотя бы держать книгу в руках, рассматривать, перелистывать, смотреть иллюстрации, запомнить обложку и название… Сам Рубакин владел техникой быстрого чтения и проглатывал книгу за книгой. Он моментально определял степень своей заинтересованности в ней. Иногда читал лишь главы, иногда было

достаточно познакомиться с содержанием. Если же книга захватывала, то он ее читал целиком. Плохую, ничего не дающую ни уму, ни сердцу книгу он определял беспощадно: «Мебель!»

Вот уже 70 лет нет Рубакина. И что мы читаем с вами сегодня? Книги или «мебель»? Погружаемся в мир знаний и в глубины человеческой души или передвигаем-листаем мягкие пуфики, никчемные карамельные женские романы?

Человек читающий или человек листающий? На этот вопрос важно ответить. Книга — дорога в мир. И хватит блуждать по дремучему лесу невежества. Берите пример с Николая Александровича Рубакина. Хорошо знавший его Василий Васильевич Розанов говорил: «Господа, бросьте браунинги. И займитесь библиографией». В XXI веке стыдно быть темным.

Чириков: писатель-демократ

Евгений Николаевич Чириков (1864, Казань — 1932, Прага). Романист, публицист, драматург. До революции вышло его собрание сочинений в 15 томах. Следовал демократическим традициям русской литературы… Откликнулся на кишиневский погром пьесой «Евреи» (1904), имевшей большой литературно-общественный резонанс.

«В этом на первый взгляд нарочито простоватом человеке, немного лукавом, всегда остроумном и живом, была удивительная, чисто русская уютность.

Он был очень любим окружающими прежде всего за эти его качества, за его простоту и какую-то особенную “народность”. Обрел он ее не в старом Петербурге, в котором жил уже известным писателем, а в Казани и других волжских городах, где Чириков начинал бедным студентом из обедневшей дворянской семьи.

…Чириков любил “зеленого змия” и не упускал случая опрокинуть несколько рюмочек. Но водка была для Чирикова только прологом…Подвыпив, любил вскочить на стол и под шумные аплодисменты молодежи произнести горячую речь о

чем-то очень хорошем, но не совсем точно уловимом» *(Д. Мейснер. Миражи и действительность).*

В книге «Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции» (1997) отмечено, что Февральскую революцию Чириков воспринял сочувственно, а к Октябрьской революции отнесся отрицательно, осуждая подавление демократии и разгул большевистского террора. О Ленине Чириков написал сатирические строки. Вот только отрывочек:

Нас немец победить не мог, —
Ему Ильич в этом помог.
Сей «барин красный», хотя русский…
Приехал к нам за пломбой прусской…
…«Буржуй – единственный наш враг!
Режь! Грабь! – и всех в один овраг!..»

В свою очередь Ленин, ознакомившись в 1919 году с брошюрой Чирикова «Народ и революция», отнес ее к «белогвардейской литературе».

Выступления Чирикова против новой власти не раз ставили его жизнь под угрозу. Так, летом 1918 года только случайность спасла его от расстрела в Коломне.

Чириков неоднократно заявлял, что не покинул родину, а был изгнан. В 1918 году, после того

как Ленин предложил ему уехать из Советской России, угрожая в противном случае арестом, Чириков вместе с женой, актрисой Иолшиной, направился в Ростов-на-Дону, а затем в Крым, где у него была дача. Пятеро его детей были разбросаны по всей России, один из сыновей сражался в Добровольческой армии. 13 ноября 1920 года Чириков выехал из Севастополя в Константинополь. В письме к дочери делился первыми эмигрантскими впечатлениями: «Жизнь здесь невозможна, никакого заработка, русские служат прачками, кухарками, лакеями — ужас!» В начале 1921 года ему удалось перебраться в Софию, а оттуда в Прагу, где благодаря участию и помощи чешских писателей он собрал наконец всю семью.

Среди русских писателей-эмигрантов в Чехословакии Чириков был заметной и уважаемой фигурой. Его произведения переводились на чешский язык, на русском же языке публиковались в пражских эмигрантских изданиях. В Чехословакии была им написана последняя часть начатой в России автобиографической книги «Жизнь Тарханова». В сборник «Красный паяц: Повести страшных лет» (Берлин, 1928) вошли рассказы о Гражданской войне. Ужасы революционного

времени, Гражданской войны, белого и красного террора получили отражение в романе «Зверь из бездны: Поэма страшных лет» (Прага, 1924), который писатель посвятил чешскому народу «в знак глубокой благодарности за то, что братский народ дал мне приют и возможность написать эту книгу». Роман вызвал огромный читательский интерес и бурную полемику в прессе.

В январе 1927 года в Праге отмечалось 40-летие литературной деятельности Чирикова. Сам он не считал возможным продолжать ее: «Все в прошлом. Настоящего точно нет. Конечно, много сюжетов дать может и эмиграция, но не хочется и не можется шевелить и бередить наши язвы и наши страдания». В 1928 году он закончил работу над воспоминаниями.

Резко отзывался о Ленине и Горьком («сперва друг, а потом непримиримый враг»). Спорил с эмигрантами, обвинявшими во всем Керенского, тогда как Временное правительство, впустившее в Россию Ленина — «троянского коня», «имело в своем составе столько излюбленных мужей разума, среди которых был и испытанный политик и историк Милюков».

Чириков возлагал ответственность за большевистскую революцию на правительства Алек-

сандра III и Николая II, «все время державших котел государственной машины под давлением революционных паров и никогда вовремя не открывающих предохранительных клапанов», в частности, не решивших вопрос о земле, не приобщавших народ к гражданской жизни, оставляющих его в «искусственном невежестве».

Чириков ушел из жизни 18 января 1932 года. На Ольшанском кладбище в Праге были торжественные похороны, и в них принял участие премьер-министр Чехословакии. Похоронен Чириков рядом с русским храмом.

Айхенвальд: мастер литературных силуэтов

Юлий Исаевич Айхенвальд (1872, Балта Подольской губернии — 1928, Берлин). Литературный критик. Автор многих книг, но главная из них — «Силуэты русских писателей» (1906–1910).

«Юлий Айхенвальд — эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и узкая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутюженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного» *(А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).*

«Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь “в себе”… Он писал о писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, только так, и в оценках был столь же горяч, столь же “ненаучен”, как сама жизнь… Как все страстные, он был и пристрастен. Возвышал Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне. Не выносил Белинского. Одна его черта

вполне ясна: никогда не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но “кумиры” повергал… В нем была горечь, тот возвышенный экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь…

Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог его заставить облобызать себя. Да, он сильно умел любить и ненавидеть, как следует… Он спокойно голосовал один против всех. Это, кажется, была и в жизни излюбленная его позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем» *(Б. Зайцев).*

Знаменитые айхенвальдовские «Силуэты» написаны методом «принципиального импрессионизма», в основе которого были отказ от претензий на научность литературоведческого анализа, утверждение невозможности науки о литературе, ибо литература «своей основной стихией имеет прихотливое море чувств и фантазии… со своей изменчивостью его тончайших переливов…». Писатель, по Айхенвальду, «Орфей, победитель хаоса, первый двигатель, он осуществляет все мировое развитие. В этом его смысл и величие».

Конечно, такой подход Айхенвальда к творческому процессу сразу опрокидывал навзничь трех китов, на которых держались все критические студии, ведущие начало от «неистового Виссариона» — Белинского, — биографию, среду и влияние. Портреты писателей кисти Айхенвальда были всего лишь смутными силуэтами, всего лишь пятнами, импрессионистическими мазками, но при этом они жили и дышали. Новизна Айхенвальда была не столько в области жанра, сколько в его интуиции, видении и прозрении. А что касается жанра, то он был отнюдь не нов. Достаточно вспомнить ранее вышедшие книги: Константина Бальмонта «Горные вершины», чуть позднее Айхенвальда — «Далекие и близкие»; «Русская камена» Бориса Садовского, «Лики творчества» Максимилиана Волошина… Выходили и другие книги о писателях и их творчестве, но все же в этом ряду айхенвальдовские «Силуэты», пожалуй, самые лучшие.

Можно с изрядной долей уверенности сказать, что Юлий Айхенвальд был первым критиком-импрессионистом в России.

Айхенвальд был человеком западного толка. Он перевел на русский язык всего Шопенгауэра, причем «Мир как воля и представление» читает-

ся в переводе так, словно книга и была написана по-русски. Близки к Айхенвальду были писатели Реми де Гурмон и Оскар Уайльд. И как отмечает Крейд, «у Айхенвальда истоки франко-англо-германские, но видение, пафос, способ прочтения, любовь к литературе — российские».

Теперь непосредственно о самом Юлии Айхенвальде… Он родился в семье раввина. Окончил в Одессе Ришельевскую гимназию и историко-филологический факультет Новороссийского университета, получив диплом I степени и золотую медаль за философскую работу «Эмпиризм Локка и рационализм Лейбница». После переезда в Москву в 1895 году преподавал в гимназии, в университете им. Шанявского, на Высших женских курсах. Айхенвальд сотрудничал и печатался во многих журналах и газетах, выступал как литературный критик и как театральный обозреватель. Писал неизменно изысканно и утонченно, чем тоже вызывал недовольство у многих, «просто повидло какое-то приготовлял Айхенвальд», — негодовал Андрей Белый в книге «Начало века».

По словам Бориса Зайцева, Айхенвальд «жил в Москве, на Новинском бульваре, в семье, тихой и трудовой жизнью». Писал, преподавал,

выступал с лекциями, разъезжая по России, то есть не покладая рук работал во славу русской культуры. Естественно, такой человек, как Айхенвальд, встретил Октябрь с неприязнью. Он был органическим противником всякого насилия и отказался поддерживать новую власть и публиковаться в советских изданиях. В 1922 году один из советских критиков написал, что Айхенвальд — «верный и покорный сын капиталистического общества, твердо блюдущий его символ веры, глубокий индивидуалист».

Критический огонь с удовольствием раздували коллеги-писатели, уверенно вставшие под советские знамена, особенно старался Демьян Бедный. Он считал, что все

уклонившиеся и дезертиры
Подлежат воздействию советской сатиры —
Заушению, поношению,
Бичеванию и линчеванию…

Все эти литературные «контры» только мешают тому, что

Святое царство правды строится
В родимой стороне.

А строят его «пахари и плотники», ставшие писателями. Это было провозглашено Демьяном Бедным в 1919 году.

2 июня 1922 года в «Правде» появилась статья Льва Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?», в которой утверждалось, что Айхенвальд «во имя чистого искусства» «называет советскую республику грабительской шайкой», и предлагалось «хлыстом диктатуры заставить Айхенвальдов убраться за черту в тот лагерь содружества, к которому они принадлежали по праву…».

В сентябре того же 1922 года Юлий Айхенвальд с группой писателей, ученых и философов был выслан из России на так называемом «философском пароходе». Прочь с советских глаз!..

В Берлине Айхенвальд продолжал активную работу, читал курс лекций «Философские мотивы русской литературы», выступал во многих газетах, и в частности в берлинской газете «Руль», написал книгу «Две жены» — исследование о Софье Толстой и Анне Достоевской. Участвовал в создании литературного общества «Клуб писателей». Вокруг Айхенвальда группировалась молодежь, среди которой был Владимир Набоков, будущая мировая знаменитость. В своих воспоминаниях Набоков охарактеризовал Айхенвальда

как «человека мягкой души и твердых правил».

Время повлияло и на позицию Айхенвальда, в эмиграции он утверждал, что нельзя теперь, как прежде, не быть публицистом. «Во все, что не пишешь… неудержимо вторгается горячий ветер времени, самум событий, эхо своих и чужих страданий».

Обращая свой взгляд на советскую Россию, Айхенвальд писал, что там установилось «равенство нищеты и нищенской культуры», но «даже там, где беллетристы хотят присоединиться к казенному хору славословия, они то и дело срываются с голоса, потому что правда громче неправды… Талант органически честен».

Искренними, правдивыми художниками в России Айхенвальд считал Льва Лунца, Всеволода Иванова, Михаила Зощенко… Критиковал за сервилизм, тенденциозность и политическую ангажированность Максима Горького, Владимира Маяковского, Алексея Толстого… В воспоминаниях «Дай оглянусь» рассказал о своих встречах с современниками и воссоздал атмосферу ушедших лет.

Юлий Айхенвальд в 56 лет трагически погиб в результате несчастного случая, попав под трамвай 17 декабря 1928 года.

«Вот и последний… — откликнулся на его смерть Иван Бунин. — Для кого теперь писать? Младое и незнакомое племя… Что нам с ними? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким». Бунин не мог не принять многих рассуждений и толкований Айхенвальда, например, такое:

«Искусство прежде всего — игра, цветение души, великая бесполезность… Талант первее труда. Внутренняя импровизация, божественная забава духа только и придают художнику его бессмертные чары…»

Подобные «капризы импрессионизма» (термин Семена Венгерова) были абсолютно чужды советской литературе. Верные слуги метода соцреализма называли творчество Айхенвальда реакционным и контрреволюционным и на целых семь десятилетий вычеркнули его имя из литературных списков. Лишь в 1994 году «Силуэты русских писателей» снова вернулись к русским читателям и многим из доставили истинное наслаждение.

И последнее. Судьба сына и внука Юлия Айхенвальда. Сын Александр, оставшийся в СССР, был расстрелян в 1941 году. Внук, Юрий Айхенвальд, ставший известным поэтом, дважды арестовывался и дважды ссылался. Надорванное сердце

остановилось, когда Юрию Айхенвальду было 65 лет, произошло это в начале июля 1993 года.

Сам Юлий Исаевич Айхенвальд стихов, кажется, не писал. Поэтому закончим наш краткий рассказ строчками из Александра Блока:

Пусть эта смерть была понятна, —
В душе под песни панихид
Уж проступали злые пятна
Незабываемых обид…

Сергей Маковский: неутомимый труженик культуры

Сергей Константинович Маковский (1877, Петербург -1962, Париж). Сын художника Константина Маковского. Художественный и литературный критик, поэт, мемуарист, издатель. Основатель и редактор журнала «Аполлон», в котором появились первые стихи Ахматовой и Мандельштама.

«В нем и самом было нечто аполлоническое. До старости сохранил благородство черт и осанки, вежливость в обращении и эрудицию, выражавшуюся просто и ясно, без всякого самоупоения. Знать русскую и иностранные, современные и древние культуры казалось ему совершенно нормальным. Человек очень русский и любивший Россию, он был у себя дома и в Западной Европе». *(З. Шаховская. Два Аполлона).*

«Со своим моноклем, который то появляется у него в глазу, то выпадает из него, он похож на кутилу из “Симплициссимуса”, он элегантен особой, небрежной элегантностью, которую трудно подделать, с нею надо родиться, ведь он сын

первой красавицы России — жены Константина Маковского.

Он высок ростом, обладает той капризной взбалмошностью и мягкостью движений, которые свойственны сыновьям, избалованным страстно влюбленными в них матерями… Он весь в движении… Он считал своей обязанностью искать, открывать новые таланты, объяснять в печати их особенности и заставлять полюбить их… Он первый открыл Сарья-на… Он первый сформулировал обязанность художественной критики как борьбу на два фронта: против рутины и пошлости старого и против шарлатанства, надувательства, продиктованного честолюбием некоторых “новаторов”» *(В. Милошевский. Тогда, в Петербурге, в Петрограде).*

«В молодости он часто ездил за границу, знал Европу, “как свой карман”, а затем провел в ней более половины своей долгой жизни (умер он в 85 лет). Был он не только внутренне, но и внешне, с той долей кокетства, которая была ему свойственна, холеным европейцем…» *(А. Бахрах. Отец «Аполлона»).*

Вызывает восхищение, как много сделал Маковский для отечественной культуры. Пожалуй, он и Дягилев выполняли роль локомотива, тянувшего

за собой весь состав из различных вагончиков русского искусства, на Запад. Создавали и пропагандировали. Развивали и рекламировали…

Свою активную культуртрегерскую деятельность Сергей Маковский представлял как служение для «высших нужд народа», как борьбу с национальной косностью, «доморощенностью» и творческим изоляционизмом: «В этом болоте равнодушия, безволья, политической апатии нужны люди, которые бы в области им близкой, любимой, думали не только о себе, о своих личных удобствах и целях, а о судьбе того дела, которому они служат… Все — вразброд. Ни у кого — энергии культурного общественного строительства. Можно ли жить в такой стране, сознавая свои силы, и ничего не создавать, спрятавшись в свою раковину?» — так с пафосом писал Сергей Маковский в письме к матери 29 июля 1909 года.

Сам Маковский никогда не прятался в «раковине», а интенсивно ворошил российское «болото», осуществляя то одно дело, то другое, претворяя проект за проектом. Маковский начал печатать статьи по вопросам искусства с 1896 года, то есть с 19 лет! Живопись, литература и музыка были родной его стихией с детских лет.

В 1905 году выпустил первый сборник своих стихов.

В 1910 году Маковский по поручению Петербургской академии художеств организовал русский отдел на международной выставке в Брюсселе и устроил выставку «Мира искусств» в Париже. Шумный успех имела и организованная Маковским в Петербурге выставка «Сто лет французской живописи (1812–1912)».

После Октября Маковский жил в Крыму, сотрудничал в ялтинских газетах и быстро понял, что культуре пришел конец. В 1921 году эмигрировал, сначала в Прагу, потом перебрался в Берлин. В Европе жил, как у себя дома, — истинный европеец!.. И, наконец, Париж, где жил на улице Франклина около Трокадеро. Маковский много писал… Помимо восьми поэтических сборников (он был еще и поэтом) вышли такие значительные работы, как «Силуэты русских художников» (Прага, 1922), «Портреты современников» (Нью-Йорк, 1955), «На Парнасе Серебряного века» (Мюнхен, 1962). Все эти книги стали одними из самых значительных и интересных источников по истории русской литературно-художественной жизни XX века, века «мятежного, богоимущего, бредившего красотой», как отмечал Маковский.

В своем первом поэтическом сборнике Сергей Маковский писал:

Я встречи ждал, но братьев я не встретил.
Молился я, но Бог мне не ответил.
Моей тоски никто не разделил.

Всю скорбь любви я разумом измерил,
Но никого на свете не любил.
Я жил, как все, но жизни не поверил.

Брюсов так оценил сборник: «Поэзия г. Маковского холодна и бесстрастна, и души поэта в ней не чувствуется».

«Сороковые и пятидесятые годы были временем расцвета Сергея Маковского как поэта, — отмечал Юрий Терапиано. — В своей поэзии Сергей Маковский является проводником не “дионисийского”, музыкально-хаотического, а строгого и ясного “аполлонического” начала, он приближается к акмеистам и неоклассикам дореволюционного типа… Позитивист по натуре, естественник по образованию, Сергей Маковский не был склонен к мистике и не очень верил в возможность “касания мирам иным”… был очень чуток к языковой стороне поэзии, но не улавливал нюансов слож-

ных образов и особенно “двуплановости”, чем так увлекались символисты…»

Приведем характерную для Маковского природно-пейзажную зарисовку «Июнь»:

Слепительно хорош июньский день,
цветут луга и пахнут медом травы.
Прошелестят на берегу дубравы,
чуть зыблется березок тонких тень.

О благодать! О вековая лень!
Овсы да рожь, да нищие канавы.
Вдали-вдали – собор золотоглавый
и белые дымки от деревень.

Не думать, не желать… Лежать бы сонно,
прислушиваясь к шороху дубрав
среди густых, прогретых солнцем трав,
и – тишине и синеве бездонной
всего себя доверчиво отдав —
уйти, не быть… Бессмертно, упоенно!

«Благодать» как мечта, как воспоминание о родине. А в эмиграции все уже иное, конечно,

можно «у себя на Тильзите, в халате, в красных сафьяновых туфлях», как вспоминал Терапиано, почитать очередную рукопись, что-то организовать, написать стихотворение, но… по воспоминаниям другого мемуариста, Кирилла Померанцева, Маковский жил в Париже на маленькой улочке возле знаменитой площади Звезды, нанимая комнату у своей приятельницы… Иногда в гостинице легко собиралось человек десять-двенадцать, говорили о текущих событиях, но больше, конечно, о литературе и о стихах. Собирались Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Терапиано, Смоленский, Раевский, Ладинский… Сергей Константинович, конечно, нигде не работал, ни в какие политические организации не входил, не считая сотрудничества в эмигрантских газетах и журналах, за что получал грошовые гонорары.

Писал Маковский в основном в газете «Возрождение». Не бывал на воскресеньях у Мережковских, редко посещал «Зеленую лампу», почти не участвовал в выступлениях поэтов и не бывал на Монпарнасе.

Когда проходит жизнь, когда прошла,
И цели нет, и нет возврата, —

Как старый сыч, из своего дупла
Жди сумеречного заката.

Старый аристократический «сыч» Сергей Маковский не дожил нескольких месяцев до своего 85-летия и умер скоропостижно. Утром 13 мая 1962 года работал, как всегда, после завтрака, видимо, прилег отдохнуть и не проснулся. Его нашли лежащим на диване со спокойным выражением лица — казалось, спит.

Сергей Маковский отбыл «к последнему успокоенью», а задолго до смерти он написал пророческие строки:

…о том, что вот и завтра будет то ж,
Полувстревоженность, полузабвенье,
Опять проснешься и опять уснешь…
Когда-нибудь – совсем, без пробужденья.

Арцыбашев: резкий белоэмигрант

Михаил Петрович Арцыбашев (1878, хутор Доброславовка, Ахтырский уезд Харьковской губернии — 1927, Варшава). Прозаик, публицист, драматург.

В начале XX века имя Арцыбашева гремело. Скандально известный писатель. Автор «Санина». Восторги и свист. А сегодня Арцыбашева знают только знатоки русской литературы. Отшумевшее и отзвеневшее имя.

Аморальность «Санина» (1907) для своего времени была вопиющей. «Санин», — отмечал критик Александр Измайлов, — это прямой вызов к современному эпикурейству. Человек должен жить для себя, быть сильным, здоровым, эгоистичным, пренебрегать и пустою человеческой условностью, и моральными жупелами, созданными и окрепшими в веках… На всем просторе бытия Арцыбашев разглядывает только два явления — смерть и похоть… Везде Арцыбашев с огнем выискивает разыгравшуюся плоть, возбужденную похоть. Мужчина для него прежде всего самец, как женщина только самка…»

Некоторые критики восприняли роман как

русскую пародию на Заратустру, в которой «напускная жизнерадостность граничит с беспредельным и беспросветным пессимизмом» *(Евг. Трубецкой).* Корней Чуковский написал разгромную статью, из-за которой Арцыбашев вызвал его на дуэль. Правда, она не состоялась.

В 1912–1918 годах вышло полное собрание сочинений Арцыбашева в 10 томах. Итоговым романом писателя следует признать «У последней черты». Вот сущностная выдержка из этого романа:

«Я говорю вам о том, что раз и навсегда надо понять, что ни революция, ни какие бы то ни было формы правления, ни капитализм, ни социализм — ничто не дает счастья человеку, обреченному на вечные страдания. Что в нашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами; если мы уходим во тьму, если люди, дорогие нам, умирают… если мир прежде всего — огромное кладбище, которое мы зачем-то сторожим. Надо рассеять в людях суеверие жизни… надо заставить их понять, что они не имеют права тянуть эту бессмысленную комедию…»

Естественно, такой мрачный пессимизм многим оказался не по нутру. Максим Горький писал Короленко в письме: «Я не люблю Арцыбаше-

ва, он — талантлив, конечно, но мне кажется неумным и болезненно злым… франт, но — весь в чужом! Нахватал у Толстого, у Достоевского… все искажает, мнет и, кажется, делает это только для того, чтобы перелеонидить Андреева в пессимизме».

«Ряд гримас Достоевского, Толстого, Чехова» в романе Арцыбашева отмечали и другие критики. Сам Арцыбашев считал себя одним из наследников библейского царя Соломона, его глубокой печали:

«И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается» *(из «Книги премудрости Соломона», глава 2).*

Как выглядел Арцыбашев? Один из современников вспоминает, что писатель ничуть не походил на своего анархо-индивидуалистического героя Санина. «Арцыбашев только мечтал походить на своего героя Санина, но никогда не был им в жизни… Физически обиженный природой и вместе одаренный духовно, болезненно

самолюбивый и несчастливый в личной жизни, он, вероятно, уже вследствие своих природных данных был всегда склонен к пессимизму…» *(Скиталец. Река забвенья).*

Арцыбашев был мрачен и молчалив, любил сидеть в одиночестве в ресторане «Вена». Несколько глуховатый, он прикладывал ладонь к уху, чтобы слышать. Наблюдая за пировавшими вокруг него собратьями, он сам не увлекался ни вином, ни обильной едой… Словом, Арцыбашев не был «человеком экстремы», как многие пытались его определить, напротив, он был человеком мягким и имел ум рассудительный и логический.

До лета 1923 года Арцыбашев жил в Москве. Определившись с польским гражданством, эмигрировал и поселился в Варшаве. После пятилетнего молчания в советской России, Арцыбашев буквально за три месяца заставил всю читающую эмиграцию забыть о его полускандальной репутации специалиста по проблемам пола. Он стал одним из ведущих публицистов русского Зарубежья, идеологом «непримиримости» и антибольшевистского «активизма».

Регулярно появляющиеся на страницах газеты «За свободу!» его статьи из цикла «Записки писателя» имели громадный успех. Когда Арцыбашев

умер, то его могила на Вольском православном кладбище в Варшаве «стала святым местом русской эмиграции и алтарем, на котором они произносят клятву продолжать борьбу» *(Марк Алданов).*

У Арцыбашева в эмиграции все было, разумеется, несладко, вот что он писал Амфитеатрову 28 июля 1924 года: «…В этом месяце исполняется год, как я стал эмигрантом, и то, что я увидел и узнал за этот год, повергло меня в отчаяние. Эмиграция — никуда не годна. Таков мой окончательный и категорический приговор. Теперь все мои надежды на “там, во глубине России”. Но Россия во мгле, сквозь которую трудно что-либо провидеть. Смута там растет, это несомненно, но когда ударит час взрыва, Бог весть…»

14 января 1925 года: «В Совдепии что-то происходит, но за дальностью никак не разберешь…»

В эмиграции выступал с позиций крайнего антисоветизма. Когда в Варшаве белогвардейцем Конради был убит советский полпред Боровский, Арцыбашев писал: «Боровский был убит не как идейный коммунист, а как палач… Убит как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России». Особенно резко нападал Арцыбашев на Ленина,

который, по его мнению, являлся «гениальнейшим пройдохой, так полно сочетавшим в себе черты деспота — жесткость и лицемерие». И вывод: «Ни нашествие Батыя, ни кровавое безумие Иоанна не причинили России такого вреда и не стоили русскому народу столько крови и слез, как шестилетняя диктатура красного вождя».

Арцыбашев отрицал и культурную политику большевиков, считая, что никакой пролетарской культуры нет, что все это выдумки и что все равно победит «запах черемухи», под которым писатель понимал любовь, чувство красоты, жажду одухотворенности — «цветет в жизни настоящая жизненная “черемуха”…»

Сам Арцыбашев недолго наслаждался цветением «черемухи». Он прожил в Варшаве всего три с половиною года и умер 3 марта 1927 года от менингита, осложненного туберкулезом. Ему шел 49-й год.

На заседании «Зеленой лампы» в Париже Зинаида Гиппиус так отозвалась об Арцыбашеве: «Человек. Любил родину просто: как любят мать. Ненавидел ее истязателей. Боролся с ними лицом к лицу, ни пяди не уступая, не отходя от материнской постели».

В статье «Венок на могилу Арцыбашева» Алек-

сандр Куприн отмечал: «…Его прямота и мужественная любовь к родине сделали из него одного из самых непримиримых, самых страстных, самых смелых врагов большевизма. Живший в Москве до конца 1923 года, он был так резок, откровенен и неосторожен в своих решительных отзывах о красной власти, что все знавшие его писатели беспокойно каждый день думали: жив ли сегодня Арцыбашев?..

(О годах в Варшаве. — *Ю.Б.)* Все мы помним его веские фельетоны в газете “За свободу!” направленные на красную Москву, полные гнева против насильников; сжатой крепкой тоски по родине и всегдашней суровой честности… Он всю жизнь боролся с туберкулезом. Но никто не слышал жалоб».

Исторический парадокс. В советское время Арцыбашева вычеркнули из литературы. И до сих пор ему ставят в вину моральное разложение русского общества. За что?! За почти невинный роман «Санин» (до порнографии ему как до Марса!). В «Санине» больше намеков, чем самого секса. И опять же, «Санин» не «Любовник леди Чаттерлей» Дейвида Герберта Лоренса. А вот Маяковскому литературные критики за его «партийные книжки» простили откровенный сексизм

в поэме «Облако в штанах»: «Мария — дай!..» И отчаянный вопль: «Не хочешь? Не хочешь?» Словом, что можно советскому классику Маяковскому, то нельзя белогвардейскому эмигранту Арцыбашеву. А что мы видим сегодня? Продается все! Особенно — женское тело. И — большой привет Арцыбашеву!..

Осоргин: революционер, ставший оппозиционером

Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия Ильин, 1878, Пермь — 1942, Шабри, Франция). Прозаик, эссеист, публицист.

Род Ильиных — прямые потомки Рюрика. Его бабка, помещица, говорила внуку: «Ты помни, мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записанные в одну Бархатную книгу…»

«Нам с женой он сразу понравился — изяществом своим, приветливостью, доброжелательностью, во всем сквозившими. Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души» *(Б. Зайцев. Мои современники).*

А вот как вспоминал Осоргина Константин Паустовский в «Повести о жизни»:

«Со всеми он был снисходителен и ласков, всем и всему верил. В его облике, даже в утомленном голосе, сквозила сдержанная грусть. Он тосковал

по Италии, где провел много лет. В России он жил как бы спросонок.

Мы иногда уговаривали его вернуться в Италию, говорили, что ему нечего здесь делать, что там он по крайней мере будет писать свои бесхитростные рассказы. Осоргин виновато отвечал:

— Поймите же, что я русский и до спазмы в сердце люблю Россию. Но я ее сейчас не узнаю. Иногда я думаю, — да полно, Россия ли это? Изменилась даже самая тональность русской речи. Сейчас я рвусь в Италию, но там я буду страшно тосковать по России».

Сам о себе Осоргин говорил так: «Я чистой воды скептик и пессимист, и только неисчерпаемая животная радость мешает мне ликвидировать в себе человека».

Осоргин окончил классическую гимназию в Перми. Писатель вспоминал: учителя «все пили, дико и свирепо, и забывали подтяжки в публичных домах»! Всё запрещалось. Считались страшными, запрещенными и развратными даже Достоевский, Толстой, Шекспир, Байрон… В гимназии Осоргин начал не только писать, но и печататься. Далее юридический факультет Московского университета, короткая адвокатская практика — неинтересно, скучно! — и Осоргин

ринулся в политику. Вступил в партию социалистов-революционеров. В декабре 1905 года был арестован, заключен в Таганскую тюрьму. Просидел полгода и был выпущен под залог. Тут же уехал в Финляндию, а оттуда в Италию. Прожил восемь лет то в Риме, то на морском побережье. Прекрасно говорил по-итальянски и даже освоил многие диалекты. Писал статьи в либеральных изданиях («Вестник Европы», «Русские ведомости»). Именно в Италии он взял литературный псевдоним Осоргин.

Вернулся в Россию в 1916 году, приветствовал Февральскую революцию. Временное правительство предложило Осоргину должность посла России в Италии, но он отказался — хотел быть свободным и независимым. А тут Октябрьский переворот! Большевистскую власть Осоргин не принял. Он сразу встал в ряды оппозиции к большевикам. В одной из статей написал:

«Чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость первых минут переворота, — отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать свою жизнь».

И тем не менее Осоргин пытался как-то, хотя бы сбоку, вписаться в новую жизнь. Принял участие в создании Союза журналистов и Союза писателей: в первом был председателем, во втором — товарищем председателя. Организовал первую кооперативную лавку писателей. Лавка не только торговала старыми книгами, но и выпускала новые, в основном брошюры по выживанию: «Полезные советы», «Копчение академической селедки в самоварной трубе», «Как получить паек», «Как прожить на советское жалованье, ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов» и т. д. И это было не смешно, это было необходимо для того лихого времени.

Книжная лавка превратилась в клуб московской интеллигенции — «голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов — все это забывалось среди книг», — вспоминал Осоргин.

Когда разразился голод в Поволжье и Голодомор на Украине, Осоргин был среди тех интеллигентов, которые бросились спасать народ, в отличие от власти, которая допустила и спровоцировала смерть тысяч людей. Осоргин вошел в общественную организацию ПОМГОЛ (Помощь

голодающим) и возглавил ее газету. Большевики не простили усиления авторитета ПОМГОЛа и многих активистов подвергли репрессиям. Если бы не заступничество Фритьофа Нансена, то многие бы подверглись расстрелу, а так Осоргина отправили в ссылку в Казань. Перед освобождением (спасибо Международному Красному Кресту) следователь спросил Осоргина:

— Как вы относитесь к советской власти?

— С удивлением, — ответил Осоргин. — Буря выродилась в привычный полицейский быт.

Следователь заскрипел зубами, но был уже не властен над судьбой Осоргина. Решал не следователь, решал самый главный — Владимир Ильич. Он утверждал списки высылаемых из страны неугодных философов и писателей. 30 сентября 1922 года пароход под названием «Обербургомистр Хаген» отвалил от пирса петроградской гавани и взял курс на немецкий Штеттин. На борту находились Бердяев, Франк, Трубецкой и другие представители элиты русской интеллигенции. Среди них был и Михаил Осоргин. Дьявольский парадокс: высылка спасла всех гонимых от неминуемой гибели на родине.

Осоргин прожил год в Берлине, а затем поселился во Франции. В июне 1940 года писателю

пришлось бежать из Парижа, спасаясь от немцев. Жил он в местечке Шабли. Там и прошла последняя часть жизни писателя. Больное сердце причиняло ему неимоверные физические страдания, ему постоянно не хватало воздуха. 27 ноября 1942 года Михаил Андреевич Осоргин скончался в возрасте 64 лет. Его парижскую квартиру разграбили фашисты. Архив и библиотека были уничтожены. Можно легко себе представить, что было бы с Осоргиным, случись это на его глазах. Он обожал книги, он был неистовым книгоманом, библиофилом. Неровно дышал к «золотисто-тисненым переплетам в марокене с муаровой подшивкой». В статье «О библиомании» Осоргин писал:

«Библиомания — прекраснейшая из человеческих страстей, самая чистая и самая возвышенная. Не следует ее смешивать со страстью к редким маркам и дурацким табакеркам: эти предметы мертвы, книги — предмет одушевленный, живое существо, с которым можно обмениваться мыслями и чувствами…»

Осоргин и сам писал прекрасные книги. Первый же его роман, написанный в Париже, — «Сивцев Вражек» — вызвал огромный читательский интерес на Западе и был переведен на основные

европейские языки, получил престижную американскую премию.

Действие романа разворачивается в «местах Москвы дворянско-литературно-художественной». Это книга о трагедии русской интеллигенции в революционные годы; книга одновременно суровая и лирическая, ироничная и акварельная. Коллеги-эмигранты не все приняли «Сивцев Вражек»: Зинаида Гиппиус язвительно оценила роман Осоргина, Борис Зайцев — снисходительно, мол, «сырой» и с явным тяготением к толстовской традиции. Действительно, своими учителями Осоргин считал Льва Толстого и Диккенса.

Осоргин в эмиграции написал много, в том числе и юмористические рассказы. И, конечно, следует упомянуть три романа: «Свидетель истории» (1932), «Книга о концах» (1935) и «Вольный каменщик» (1937). Кстати говоря, Осоргин был масоном, входил в Париже в русскую ложу «Северная звезда». Последний роман «Времена» — о «просчитавшихся мечтателях», «русских интеллигентных чудаках».

Помимо романов и рассказов Осоргин оставил после себя огромное наследство публицистических статей и заметок.

«Мы слишком привыкли быть против пра-

вительства. И мы слишком привыкли не быть гражданами…» *(декабрь 1917 года).*

«Трагедия власти в том, что она уже не может отделаться обещаниями вечного блаженства праведникам, теперь все хотят наличные, а впереди всех — грешники…» (1918).

Не все знают, что знаменитая буффонная комедия «Принцесса Турандот» Карло Гоцци блистательно переведена с итальянского Михаилом Осоргиным по просьбе Евгения Вахтангова.

И совсем последнее о «Принцессе Турандот». Нина Берберова в своем «Курсиве» вспоминает, как в 1931 году между Ходасевичем и Осоргиным «произошло что-то вроде разрыва на почве отношения к событиям в России. Осоргин возобновлял свой советский паспорт ежегодно, получал гонорары из Москвы за перевод «Принцессы Турандот» и повторял на всех углах свою казуистику о том, что он не эмигрант, хотя и пишет в эмигрантской печати и т. п.».

Да, некоторые персоны не считали себя эмигрантами, но все равно это не спасало их от самого факта эмиграции.

P.S.

С книгой — беда. Ее захлестывает поток информации: и это интересно, и то бы не пропустить. По

существу, о каждой персоне можно написать ЖЗЛ (о ком-то уже написано, о ком-то нет). Но ЖЗЛ — не мой жанр. Я предпочитаю сжатый, упругий текст, без излишних деталей и подробностей. Но когда уже все написано, вдруг возникает желание что-то добавить еще. Так и с Осоргиным. Хочется добавить, особенно после прочтения переписки писателя с его старинным другом, земским врачом Андреем Буткевичем. Осоргин укатил в эмиграцию, а Буткевич остался в России, и оба переписывались «через решетку» (и, очевидно, под присмотром цензуры). Эмиграция тяготила Осоргина: «Здесь только злоба обиженных судьбой неудачников, полнейшее невежество в целях и настроениях России, потеря почвы и скудость мысли, утомленной и утратившей ясность…» (1932). И в то же время когда Осоргина пытались заманить в СССР, то он возмутился и нагрубил в 1937 году в разговоре с советским консулом.

В письме Буткевичу 29 января 1936 года Осоргин сообщает: «Раньше в Европе переводили много советских писателей, сейчас перестали — ничего!..»

В другом письме (27 марта 1936 года) высказывал оценочные суждения о советских писателях: «Знал я начинающего Леонова — из него вы-

шло меньше, чем я ожидал… Бабель — большой талант. Гладков бездарен. Шолохов хорош. Лавренев, конечно, нуль. Пантелеймон Романов и Новиков-Прибой — все это мелкие литераторы. Зощенко прекрасный талант, но вянет от халтуры. Федин хорошо начал, а сейчас вылинял… Все-таки кое-что раньше выходило, а сейчас — пустыня. Почему? Говорят о литературе много, а толку никакого. Европа разочарована…»

12 мая того же года Осоргин о себе: «Мой гуманизм не знает и не любит мифического “человечества”, но готов драться за человека…»

8 августа 1936 года: «В отношении к нашей стране между нами не может быть различия. Я люблю Россию не наивной любовью человека русской культуры, сохраненной поколениями идеалистов и реалистов. Я прожил за границей почти четверть века. Проклинаю и благодарю за это реалистов русской политики, по праву власти калечивших мою судьбу. Я не стал европейцем, просвещенным мещанином, крохоборцем и служителем полицейского культа. Но я знаю Европу, и потому люблю Россию: ты любишь ее, потому что не знаешь Европу, но зато ты, конечно, лучше меня знаешь СССР.

Почти 20 лет вы живете за китайской стеной,

не имея представления о том, что произошло в Европе в пореволюционный период. Я читаю все советские газеты с их процеженными сквозь цензурное сито сведениями, как стыдно, что вы — малолетние!..»

Далее Осоргин перечисляет европейских писателей: Ромен Роллан, Олдос Хаксли, Томас Манн, Андре Жид, Стефан Цвейг, Лион Фейхтвангер… «Кто у нас (т. е. в советской России — *Ю.Б.)?* Перелетная пташечка, фальшивый стяжатель Алеша Толстой, уехавший из Парижа со словами: «Я хоть жрать там буду, а вы тут подохнете»? Леонов… Бесталанный Федин, не пошедший дальше одной хорошей книги. Изболтавшийся Пильняк? Есть множество славных малых, недурно пишущих, — и ни одного настоящего писателя! А могло бы быть! Но нужна для этого свобода мысли — ей нет простора…»

И в конце этого письма снова мысль о возвращении и тут же громадное сомнение: «Вот возьму чемодан и приеду — что дальше?..»

Борис Зайцев: писатель, любивший «Святую Русь»

Борис Константинович Зайцев (1881, Орел — 1972, Париж). Прозаик, переводчик, мемуарист.

«Как писатель он во многих отношениях тоньше Бунина, но ему всю жизнь мешала его инертность, его умственная лень, в которой он много раз мне признавался… Все знали, что красное вино ему не только приятно на вкус и веселит его, но дает ему необходимые силы “действовать” и “шагать”. В военные годы, когда в доме не было вина, а хотелось дописать страницу, он шел на кухню и выпивал рюмочку обыкновенного уксуса» *(Н. Берберова. Курсив мой).*

«Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающейся только избранным» *(И. Одоевцева. На берегах Сены).*

Борис Зайцев пережил почти всех своих современников по Серебряному веку. В 1971 году в Париже торжественно отпраздновали 90-летие Бориса Константиновича — «последнего лебедя Серебряного века». Он скончался через год. И

успел сказать свое слово в защиту современной русской литературы, написав в 1969 году открытое письмо в поддержку Александра Солженицына. Бориса Зайцева ввел в литературный кружок московских неореалистов Леонид Андреев, и вот спустя десятилетия уже стоящий на сходе Зайцев подает руку Солженицыну, — прощальный привет от Серебряного века.

Интересно, что Зайцев был связан с Москвой (он жил в арбатских переулках) и с Петербургом, где он много печатался и вращался в литературной среде, в частности посещал среды в «Башне» Вячеслава Иванова. Нельзя не отметить связь Зайцева с Италией. «С ней впервые я встретился в 1904 году, — отмечал Зайцев в воспоминаниях», — а потом не раз жил там (в 1907–1911) — и на всю жизнь вошла она в меня: природой, искусством, голубым своим обликом. Я ее принял как чистое откровение красоты».

Увлечение Италией сблизило Зайцева с Павлом Муратовым, который свое исследование «Образы Италии» посвятил Борису Константиновичу.

Благодаря Италии Борис Зайцев полюбил Данте, в 1922 году вышла его работа «Данте и его поэма». Георгий Чулков, современник Зайцева, подметил интерес писателя к «высокому» в миро-

вой культуре: «Мне нравилось в Зайцеве то, что он постоянно искал больших встреч — то с Гёте, то с Данте, то с Италией раннего Возрождения. Сердце у него лирное…»

«Лирное сердце» — прекрасный образ, а вот какую характеристику Бориса Зайцева оставил Андрей Белый: «…образец доброты, простоты, честности, скромности, благородства.

Иногда кажется мне, что просто святой человек; иконописный лик его вполне выражает душевную сущность…»

Война и революция застали Зайцева в имении отца в Притыкино, на Оке, в Тульской губернии. Оттуда он пишет открытое письмо к Луначарскому, в котором заявляет протест против удушения свободы слова и заявляет о своем неприятии большевизма. Но тем не менее новую власть пришлось принять. В 1922 году по возвращении в Москву его избирают председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей. Зайцев работает в кооперативной лавке писателей и участвует в работе «Studio Italiano» (есть рассуждения о Боттичелли, но уже нет никакого кьянти). О том тяжелом времени вспоминает Зайцев в своих мемуарах «Москва 20–21 годов»:

«…Одна беда надвигалась на нас внушительно:

голод. Гершензон разузнал, что у Московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, т. е. не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновых ног по зимним улицам Москвы…»

Визит к «хозяину» Москвы Льву Каменеву (Зайцев был с ним знаком еще до революции) — и победа: «мука попала к голодающим писателям».

«И далее картина, — вспоминает Зайцев. — Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие с салазками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И.А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад мы их везем на санках, тоже овеянные питательною сединою, по раскатам и ухабам бульвара — кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь две-три недели смело провер-

тимся».

Вот чем обернулся Серебряный век, и вот в какие условия попали рафинированные эстеты-интеллигенты. Немудрено, что многие не выдержали такого тяжкого испытания и всеми правдами и неправдами покинули Россию. Уехала и семья Бориса Зайцева — 8 июня 1922 года — с визой на выезд за границу для поправки здоровья.

После некоторых скитаний (Германия, Италия) в конце концов Зайцев обосновался во Франции и о своем выборе никогда не жалел: «Живя вне родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней, — о своеобразном складе русской жизни… русских святых, монастырях, о замечательных писателях России».

Покинув Россию, Зайцев еще больше полюбил «Святую Русь», и в его произведениях резко повысилась религиозная доминанта. Ни на какие компромиссы с советской властью он не шел. Более того, «победа СССР в 1945 году, по словам Зинаиды Шаховской, — была для Зайцева не русской победой, так как не могла послужить возрождению России и освобождению ее народа, и всякое заигрывание или кокетничанье с советскими властями было для него неприемлемо».

В эмиграции Борис Зайцев много пишет, он — один из наиболее уважаемых писателей старшего поколения. 30 сентября 1928 года на белградском съезде русских ученых и писателей Борис Зайцев получил, вместе с Зинаидой Гиппиус и Куприным, из рук короля Югославии орден Св. Саввы (покровителя искусств) II степени.

Из творческого наследия зарубежного периода следует выделить воспоминания «Москва» (1939), «Далекое» (1965), роман «Золотой удар» (1926), автобиографические романы («Путешествие Глеба», «Тишина», «Юность», «Древо жизни»). Последний рассказ, «Река времени», был написан Зайцевым в 1964 году — Зайцеву шел 83-й год.

О своем житье-бытье во Франции Зайцев написал роман «Дом в Пасси» (1935). К юбилею крещения Руси Зайцев сотворил «Слово о Родине». В нем прозвучала мысль о целостности духовного облика России, не разрушенного ни «татарщиной», ни веками трудной и трагической истории. «Для русского человека в изгнании, — отмечал Борис Зайцев, — мировая слава России и сознание мировой значительности духа русского несет и еще оттенок защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения».

Слова Бориса Зайцева звучали всегда весомо и убедительно, и не случайно он в 1947 году был избран председателем Союза русских писателей и журналистов во Франции.

28 января 1972 года Борис Константинович скончался. 2 февраля — отпевание и похороны. Присутствовал весь культурный Париж. Гроб утопал в цветах…

Именно во Франции Борис Зайцев нашел свой излюбленный «град Китеж», и русские березки склонились на его могиле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Несколько дополнений.

Борис Зайцев дружил с Буниным, но семья Зайцева отличалась от семьи Бунина. Как вспоминала Шаховская, «все тут было другое и даже обратное, чем у Буниных. Там вечно кипящий Иван Алексеевич, а Вера Николаевна образ безмятежности, — у Зайцевых тишина идет от писателя, а Вера Алексеевна вулкан, поток и знаток крепких русских выражений…»

Но когда Бунин, поддавшись эйфории после победы СССР над фашизмом, посетил советское посольство, — этого Зайцев простить Бунину не смог. «Не забывайте Россию, — заклинал Борис Зайцев. — Величие ее духовное храните… Страда-

ниям, пережитым родиной вашей, поклонитесь. Мучеников ее не забывайте».

И последнее.

В 1964 году Борис Зайцев из Парижа прислал письмо Анне Ахматовой. Вот выдержки из него:

«Я вас встретил, Анна Андреевна, всего раз. Бог знает когда в 1913 году. Веселая ли вы были грешница, царскосельская ли насмешница, не знал — да и встреча была беглая, в Петербурге, в «Бродячей собаке»… Литературно я вас знал, но мало. Да и позже — не скажу, чтоб очень. «Четки» и другие книги. Все изящная дама.

Но вот грянуло. Ураган кровавый, дикий, все перевернувший. Правого и виноватого без разбору косивший. В нем они очищались, росли, достигли всей силы… Буря вас взрастила, углубила — подняла… Кто не знает, что такое — биться головой о стенку, тот не видал революции…

Вы ни в ссылке, ни в «Мертвом доме» не были, но около него стояли. Бились ли дома головой о стенку за близкого — не знаю. Но искры летели из сердца. Вы летели стихами, не за одну вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней… Вот о них, как о себе, вы и сказали похоже:

Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

С даром поэзии вы родились. Вначале безраздумчиво расточали, но Судьбе угодно было по-другому:

Чашу с темным вином
Подала мне Богиня печали.

Вот и выросла «веселая грешница», насмешница царскосельская — из юной, элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно звенящим, стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости.

В эти отмеченные вами дни обращаюсь к вам, Анна Андреевна, с низким поклоном — от собственного человеческого сердца, от сердца старшего литературного собрата и, смею думать, от лица многих почитателей ваших.

Храни вас Бог. Дай сил и здравия.

1964».

Здравия Анне Ахматовой хватило лишь на два года: 5 марта 1966 года она покинула белый свет на 76-м году жизни. Ее старший литературный собрат Борис Зайцев пережил Ахматову на шесть

лет.

Борис Зайцев не ко всем был почтителен и далеко не всеми восхищался, как Ахматовой, проявлял презрение к тем, кто прилепился к новому режиму, как поэт-акмеист Сергей

Городецкий; о нем Зайцев выразился так: «приспособился и проскочил», то есть вполне комфортно устроился при советской власти. Когда-то яркий представитель Серебряного века, обладавший певучей силой, разменял свой талант на акафисты и рвение. В частности, Городецкий переделал текст оперы Глинки «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина». Короче, «проскочил», потеряв при этом достоинство и уважение. Борис Константинович такого допустить не мог. Говоря по-старинному: себя уважал-с…

Муратов: влюбленный в Италию

Павел Павлович Муратов (1881, Бобров Воронежской губернии — **1950,** Устерфорд, Ирландия). Искусствовед, критик, эссеист, прозаик и переводчик. Друзья с молодости и до конца звали его Патей.

«Патя Муратов был европеец. Это означало, что он хотел противопоставить высокую культуру родной дикости. Занявшись историей русской живописи, Патя обнаружил, что была эпоха, когда эта живопись не уступала итальянской. Отсюда мысль о необходимости возобновить традицию. Так был задуман журнал “София”…

…Муратов был человеком европейских вкусов, влюбленным в Италию и во все, что напоминало ее. Он выработал точный и изящный стиль и весьма привлекательную манеру видеть явления и вещи» *(Константин Локс. Повесть об одном десятилетии).*

Литераторов Серебряного века можно условно разбить на два лагеря: извечных западников и славянофилов. Одни воспевали патриархальную Русь (Клюев, Клычков, Есенин), для других кумиром был Запад, и среди западопоклонников

выделялся Муратов. Павел Муратов впервые увидел Италию в **1908** году (в ней он бывал еще **16** раз), и она стала для него «духовной родиной». Книга Муратова «Образы Италии» — это гимн русского человека итальянскому искусству. Как отмечал Георгий Иванов, «Образы Италии» способствовали воспитанию «хорошего вкуса» в русском обществе.

Удивительно, однако, что сам автор «Образов Италии» родился в далеком от Рима и Флоренции захолустном русском городишке Боброве Воронежской губернии. Родился в потомственной дворянской семье. Закончил 1-й Московский кадетский корпус и Институт путей сообщения. Служил канониром в артиллерийской бригаде. Во время Первой мировой войны как офицер участвовал в боях и был награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава с мечами и бантом. Последнее воинское звание Муратова — поручик. Так что он не какой-то там «космополит», а настоящий русский патриот. Но вернемся к началу.

В 1903 году Муратов приехал в Москву из Петербурга и здесь сблизился с Борисом Зайцевым, Брюсовым, Ходасевичем. После армейской службы выбрал профессию сугубо мирную: служил

сначала помощником библиотекаря библиотеки Московского университета, затем хранителем отдела изящных искусств и классических древностей в Румянцевском музее.

Свое первое заграничное путешествие Павел Муратов осуществил в конце 1905 года (Лондон, Париж) и с этого момента стал выступать в печати как художественный критик, печатался от «Аполлона» до «Перевала». Дружил с художниками Серовым, Борисовым-Мусатовым, Крымовым. Потом пришла настоящая любовь — Италия. Впервые туда Муратов попал в 1908 годуй прожил там около года. В 1911–1912 годах вышли первые два тома «Образов Италии» с посвящением Борису Зайцеву, третий том вышел позднее — в 1924 году — уже в Берлине.

Спустя годы, в эмиграции, архимандрит Кирилл писал о книге Муратова, что она «явилась… прощальным приветом той неповторимой нашей просвещенности и утонченности, по которой мы были настоящими европейцами».

Революционные события 1917 года Муратов не принял: «О России нынешней и газетах думаю холодно. Слава Богу, что хоть успела спастись Европа-то. Создание на протяжении 50 лет новых великих империй (как Римская), считаю делом

возможным». Коммунистическая империя и возникла…

Относясь к Октябрьской революции как к «варварству», Муратов, однако, долго колебался, прежде чем решился на эмиграцию. В период 1918–1922 годов он занимал ряд «экспертных» постов, был членом президиума Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, одним из руководителей Института искусствознания и археологии, одним из устроителей Книжной лавки писателей. При активном содействии Муратова возникло общество «Studio Italiano». Кстати, весной 1921 года в «Студии Италии» состоялось последнее публичное выступление Блока.

Вот как описывал одно из заседаний студии, этой, по существу, гуманитарной академии, Борис Зайцев: «Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует… Аплодисменты, бедное электричество, друзья… и над убогой жизнью дантовский Орел…»

А в новой России парил другой «орел» — Дзержинский со своим всемогущим ЧК; не избежал его парения и Муратов: ему пришлось посидеть некоторое время в подвалах Лубянки за свое

участие во Всероссийском комитете помощи голодающим. Власть эту помощь расценивала как контрреволюционную деятельность.

По липовому документу Муратов с семьей отправился в заграничную командировку, откуда в Россию уже не вернулся. Вначале жил в Германии и в Берлине основал клуб писателей, издал роман «Эгерия» (1922), в котором с печалью говорил о «недоступности человеку счастья — жить, произрастать и уничтожаться в безболезненной и безвестной метаморфозе вселенной».

Довольно интересен ряд культурно-исторических эссе, опубликованных Муратовым в 30-х годах: «Анти-искусство», «Искусство и народ», «Кинематограф» и другие. Муратов рассматривает «антиискусство», оттеснившее высокое искусство на периферию, прежде всего кино, «роман на прилавке», не как «плохое», испорченное искусство, а как не-искусство, вид рекреации, досуга, не имеющий с искусством никаких «соответствий». Наслаждение красотой уступает место вульгарному развлечению, наполнению досуга.

В дальнейшие годы Муратов жил в Италии и в Париже, перед смертью переселился в Ирландию. Постепенно оставил журналистику и занимался историческими исследованиями, в частности

русско-английских отношений в эпоху Ивана Грозного. И еще одно увлечение: садоводство. Умер Павел Муратов внезапно, от сердечного приступа, в 69 лет.

В одном из некрологов отмечалось, что Муратов был «настоящим европейцем», «представителем… блестящеобразованной плеяды русских людей».

По воспоминаниям Нины Берберовой, Муратов «любил в себе самом и в других только свободу». И, конечно, Италию, Рим и «ирис нежный — Флоренцию». Как писал Блок:

Там – в окне, под фреской Перуджино,
Черный глаз смеется, дышит грудь:
Кто-то смуглою рукой корзину
Хочет и не смеет дотянуть…

Замятин: индивид «Я» против всеобщего «Мы»

Евгений Иванович Замятин(1884, Лебедянь Тамбовской губ. — **1937,** Париж). Прозаик, драматург. Блестящий ученик Гоголя, языковый творец, один из создателей русской сатиро-утопической литературы, вечный бунтарь и отрицатель.

А еще корабел. Окончил институт в звании морского инженера. Командированный в Англию, участвовал в создании там пяти ледоколов для России. Но оставил корабельное дело, предпочел литературу.

«…Одна сторона его сущности — европеизм. Выверенность, точность построения рассказов Замятина сближали его с европейской манерой, и это был третий кит, на который опиралась культура его письма.

Первые два кита Замятина — язык и образ — плыли из морей Лескова и Ремизова… Он убедил себя и убеждал других, что вынужден молчать, потому что ему не позволено быть Свифтом, или Анатолем Франсом, или Аристофаном. А он был превосходным бытовиком, его пристрастие

к сатире было запущенной болезнью, и, если бы он дал волю тому, чем его щедро наделила родная тамбовская Лебедянь, и сдержал бы то, что благоприобрел от далекого Лондона, он поборол бы и другую свою болезнь — формальную изысканность, таящую в себе угрозу бесплодия. Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском снимке… Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты» *(К. Федин. Горький среди нас).*

Было у Замятина и еще одно увлечение — революция. «Революция была юной, свободной, огнеглазой любовницей, — и я, — признавался Замятин, — был влюблен в Революцию». Революция — как протест против затхлой власти, как надежда на лучший, лучезарный мир, как вечная иллюзия молодости!..

Увлечение идеей переустройства общества привело Замятина в ряды РСДРП, в революцию 1905 года и в одиночную камеру на Шпалерной (потом туда же он угодил в 1922 году, после победы революции). В «орден революционеров» Замятин пришел из среды «русских студентов, для

которых бунт в ту пору был такой же священной традицией и непременной принадлежностью, как голубая студенческая фуражка». С одной стороны, традиция, а с другой — желание быть там, где труднее и опаснее. Характерное признание Замятина: «В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления: и я был тогда большевиком…»

К октябрю 1917 года Замятин — уже крупный писатель. Его повесть «Уездное» стала произведением на уровне Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В нем писатель правдиво, емко и колоритно изобразил темный и провинциальный быт России. Создал повесть-антижитие — процесс расчеловечивания Анфима Барыбы (слова, обращенные к нему: «Души-то, совести у тебя — ровно у курицы…»). Гротескное сравнение антигероя с воскресшей нелепой русской курганной бабой имеет у Замятина символический смысл.

После Октября 17-го Замятин много работает, преподает, пишет, превращает петроградский Дом искусства в «своего рода литературную академию», участвует во всех «затеях: издать классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать в театре всю историю всего мира» — такие были тогда

гиперболические идеи, такой был всемирный замах. Но было и другое. Приглядевшись к «огнеглазой революции», а точнее, к тому, что она принесла, Замятин напрочь от нее отвернулся. Строящаяся страна Утопия с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым часом показывала свои отвратительные черты: насилие, уравниловку, обезличивание человека. Увидев это, Замятин содрогнулся и написал роман «Мы», предвосхитив утопии Оруэлла и Хаксли.

Роман «Мы» написан в форме дневника одного человека под нумером Д-503 в едином государстве «Мы», где этот конкретный нумер обречен на выбор между свободой и принудительным счастьем, между творческой фантазией и догмами единого правильного учения.

Роман «Мы» написан в 1920 году, но Замятин сумел заглянуть в 30-40-е и последующие тоталитарные годы, когда обезличенные люди, покорные «нумера» славят «Благодетеля»; когда быть счастливым означало лишь долг каждого по отношению к государству, когда все личное исчезало в сиянии «Единого Государства». В романе Замятина жизнь всего народа спланирована, централизована, и даже любовь подвергнута жесткой регламентации: лишь в определенно

указанные дни гражданам выдавались «розовые талончики» на получение «сексуального продукта».

А самое главное — каждому творческому человеку предписана обязанность «составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого государства».

Естественно, роман «Мы» напечатать в СССР не удалось. Он вышел в английском переводе в 1924 году, затем на чешском и французском языках. В рукописи роман ходил и по России. Власти не могли принять книгу Замятина. Возмутились и дали команду «фас!». После чего началась открытая и оголтелая травля писателя.

В травле Замятина даже Маяковский поучаствовал (цитирую, игнорируя лесенку):

Что пожелать вам, сэр Замятин?
Ваш труд заранее занятен.
Критиковать вас не берусь,
не нам судить занятье светское,
но просим помнить, славя Русь,
что Русь – уж десять лет! – советская.

В знаменитой статье «Я боюсь» (1921) Замятин

писал:

«Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее — ее прошлое».

Настоящую литературу, утверждал Замятин, делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. Но заметим, у всех у них была незавидная судьба в годы советской власти: кому вышел расстрел, кому ссылка, кому немота.

После 1929 года Замятина перестали печатать. «По существу вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась в том, что он не бил в казенный барабан, не “равнялся” очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать», — отмечал близко знавший его художник Юрий Анненков.

Замятин защищался, но опять же никоим образом не теряя своего достоинства. Из письма к

Сталину: «…*Я* знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой».

В письме председателю Совета Народных Комиссаров А.Н. Рыкову он писал: «В Англии я видел такое развлечение: негр из окна будочки высунул голову, все время вертит ею, а публика издали швыряет в эту голову мячами — по одному пенсу за мяч.

Последние восемь лет я состою в должности такого негра для советской прессы…

Поэтому я прошу разрешить мне (вместе с женой) выехать за границу, хотя бы на год. Это — для меня единственное средство восстановить свою трудоспособность и привести в порядок нервную систему, жестко расшатанную всем пережитым мною за последние годы…»

8 ноября 1931 года благодаря посредничеству Горького Замятин выехал из страны грез и слез. С февраля 1932 года он жил в Париже. Газете «Ле нувель литере» он дал интервью о романе «Мы»:

«Этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечности от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого».

До конца жизни Замятин сохранял советское

гражданство и не считал себя эмигрантом. В Париже продолжал работать над своим последним романом «Бич Божий», в котором размышлял на тему смены цивилизаций: «Запад — и Восток. Западная культура, поднявшаяся до таких вершин, где она уже попадает в безвоздушное пространство цивилизации, — новая буйная сила, идущая с Востока, через наши, скифские степи». Все те же блоковские скифы…

В 1933 году в Париже Замятин пишет очерк под заголовком «О моих женах, о ледоколах и о России», пишет, как корабел: «Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра — “шпангоуты”, особенно стальная кожа, двойные борта, двойное дно — нужны ледоколу, чтобы быть не раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной массивной прочности для этого все же было бы мало: нужна особая увертливость, похожая на русскую “смекалку”…»

Замятин умер в черном от крови 1937 году, но умер у себя в постели, от тяжелого приступа стенокардии, в возрасте 53 лет. Вот так «ледокол»

Замятин ушел под воду вечности.

На портрете Замятина кисти Кустодиева писатель сидит небрежно-элегантно, полуразвалясь, с папиросой в тонкой руке — ни дать ни взять английский денди с пробором, с едва язвительной улыбочкой.

Взгляни на этот пробор,
На этот ехидный взор, —

с шутовским лукавством писал сам Замятин в «Балладе о блохе».

Всматриваешься в портрет: и русофил, и западник. Хотя Алексей Ремизов высказался весьма определенно: «Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская… лебедянский молодец с пробором!..»

Улыбка. Доброта и полная непрактичность (нет, не западник!). «Как писатель я, может быть, что-то из себя представляю, — говорил Замятин, — но в жизненных трудностях я совершенный ребенок, нуждающийся в нянькиных заботах. Людмила Николаевна в таких случаях — моя добрая няня».

Вы догадались: Людмила Николаевна — это жена. Детей у них не было. «Мои дети — мои книги, других у меня нет», — говорил Замятин.

Но какие книги!..

Оцуп: «Пусть мучится душа живая…»

Есть свобода – умирать
С голоду, свобода
В неизвестности сгорать
И дряхлеть из года в год.
Мало ли еще свобод…

Н. Оцуп. Из сборника «Океан времени»

Оцуп Николай Авдеевич (1894, Царское Село -1958, Париж). Поэт, критик, мемуарист.

В семье придворного фотографа было пять мальчиков и одна девочка, про которую можно сказать: в семье не без урода. После революции девочка Надя стала сотрудницей ЧК, носила кожаную куртку и на боку револьвер. Судьба ее впоследствии была плачевной. А у братьев сложилась другая, человеческая жизнь, особенно у Николая. Он окончил Царскосельскую гимназию (как и Гумилев) с золотой медалью, которую заложил за 32 рубля и на вырученные деньги в 1913 году отправился в Париж набираться ума-разума. Слушал лекции у знаменитого Анри Бергсона. Вернулся в Россию поэтом, познакомился с Бло-

ком и Гумилевым. В 1921-м выпустил первый сборник стихотворений «Град». Стихи Оцупа легкие, летучие, пропитанные акмеистической печалью. Вот, к примеру, «Элегия»:

О жизнь! С дыханьем лондонских туманов
Смешался аромат хайямовских диванов.
Джульетта! Ромео! Веронская гробница
В цветах и зелени навеки сохранится.

О жизнь моя. А что же ты оставишь?
Студенческий трактат о Цизальпинском праве,
Да пару томиков стихов не очень скучных,
Да острую тоску часов благополучных,

Да равнодушие у ветреной и милой,
Да слезы жаркие у верной и постылой,
Да тело тихое под говорливым кленом,
И солнцем проливным, и легким небосклоном.

7 августа 1921 года умер Александр Блок. «Бло-

ка гроб я подпирал плечом…» — напишет Оцуп. 4 августа был расстрелян Гумилев. Оцуп пережил гибель Гумилева как семейное горе и личное предупреждение. Большинство членов «Цеха поэтов» приняли решение эмигрировать из России. Уехал и Оцуп в Берлин «по состоянию здоровья», хотя со здоровьем у Оцупа было тогда все в порядке. Он был молод и энергичен. В петроградских литературных кругах к нему относились с добродушной насмешкой за его предприимчивость: Оцуп имел обыкновение уезжать временами из голодного Петрограда в провинцию и привозить оттуда всякую снедь. Его фамилию Корней Чуковский шутя расшифровывал как аббревиатуру: Общество Целесообразного Употребления Пищи. Георгий Иванов писал об Оцупе:

Так уж мной заведено:
То поэма, то пшено…

В 1922 году Николай Оцуп покинул советскую Россию. В 1926-м в Берлине он выпускает второй сборник «В дыму».

Любовь одна, и все в любви похоже:
И Дельвиг томно над Невой бродил,
И это имя называл, и тоже

Смотрел в глаза и слов не находил.

И хотя в сборнике «В дыму» у Оцупа часто встречаются такие мрачности, как туман, мгла, мрак и ад, сам внутри своей души он был светлым человеком. Как написал французский исследователь Луи Аллен: «Тема страха, которая так давит у Тютчева и отравляет прелесть некоторых стихотворений Блока, почти отсутствует у Оцупа…»

«Оцуп, — как отмечает уже Борис Поплавский, — был задуман миротворцем, жалостливцем, голубем неким…» Хотя и «голубю» порой было несладко.

Любовь исчезла. Отчего?
Мираж. Что может быть невинней —
Блеснул, обжег, и нет его.
Я обманулся. Я – в пустыне.

Из Берлина Оцуп переехал в Париж, где в 1928 году вышла отдельным изданием его поэма «Встреча». С 1930 по 1934 год Оцуп издает журнал «Числа», в который он сумел привлечь и старшее поколение (З. Гиппиус, Мережковского, Б. Зайцева, Ремизова и др.) и молодое (Газданова, Поплавского, Терапиано, Раису Блох и др.). А какие художники оформляли «Числа»! Ларио-

нов и Гончарова, Сутин и Шагал; использовал также Оцуп репродукции Дерена, Модильяни, Пикассо…

Занимаясь редакционно-издательской деятельностью, Оцуп продолжал писать стихи.

Как часто я прикидывал в уме,
Какая доля хуже:
Жить у себя, но как в тюрьме,
Иль на свободе, но в какой-то луже.

Должно быть, эмиграция права,
Но знаете, конечно, сами:
Казалось бы, «Вот счастье, вот права» —
Европа с дивными искусства образцами.

Но изнурителен чужой язык,
И не привыкли мы к его чрезмерным дозам,
И эта наша песнь – под тряпкой вскрик,
Больного бормотанье под наркозом…

И, конечно, тоска по родине!

Конкорд и Елисейские поля,
А в памяти Садовая и Невский,
Над Блоком петербургская земля,
Над всеми странами Толстой и Достоевский…

Но тоска без идеализации, без сентиментальных слез, ибо, как написал Оцуп в прекрасном стихотворении «Буря мглою»:

Сонечка на улице в накидке…
Мармеладов… Страшная страна.

Где снегом занесенная Нева,
И голод, и мечты о Ницце,
И узкими шпалерами дрова,
Последние в столице…

Оцупа, как и многих других эмигрантов, долго преследовали видения прошлого, покинутая им Россия.

Счет давно уже потерян.
Всюду кровь и дальний путь.
Уцелевший не уверен —
Надо руку ущипнуть.

Все тревожно. Шорох сада.

Дома спят неверным сном.
«Отворите!» Стук приклада,
Ветер, люди с фонарем.

Я не проклинаю эти
Сумасшедшие года.
Все явилось в новом свете
Для меня и навсегда.

Мирных лет и не бывало,
Это благодушный бред.
Но бывает слишком мало
Тех – обыкновенных бед.

И они, скопившись, лавой
Ринутся из всех щелей,
Озаряя грозной славой
Тех же маленьких людей.

Особая страница в жизни Оцупа: Вторая мировая война. Он записался добровольцем во французскую армию. Воевал. Полтора года провел в тюрьме в Италии, бежал, был схвачен и отправлен в концлагерь, оттуда в 1942-м вновь бежал, уведя с собой 28 военнопленных. В 1943 году Оцуп стал участником итальянского Сопро-

тивления. Был храбр, за что удостоен английских и американских наград, со стороны СССР своеобразная награда: полное замалчивание.

С 1935 года по 1950-й Оцуп писал «Дневник в стихах» длиной в 12 тысяч строк, который, по мнению поэта и литературоведа Юрия Иваска, является «памятником последнего полувека». Помимо дневника Оцупу принадлежит книга воспоминаний «Современники» и двухтомное издание «Жизнь и смерть» (Париж, 1961).

В последние годы своей жизни Оцуп утверждал, что на смену акмеизму, сыгравшему свою роль, пришел «персонализм» как реакция на атеизм, стадность. «Это не эгоизм писателя, это защита его личного достоинства».

Не говорите о поэзии,
Как говорят о пустяках, —
Она приходит как возмездие,
Она – отчаянье и страх.

Сойдя с ума от одиночества,
Застонешь – муза тут как тут;
Поэзия – сестра пророчества,
Она при жизни вечный суд.

Николай Оцуп прожил 64 года и умер от разры-

ва сердца. Его прах покоится на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. «За нами, — писал в своем «Дневнике Оцуп, — столько же бесчисленных смертей…»

Это — дальше, следующий век,

Тот, в котором нас уже не будет…

Одоевцева: от берегов Невы к берегам Сены

…Да, я, конечно, я когда-то,
В те баснословные года…

Ирина Одоевцева

Ирина Владимировна Одоевцева — это в литературе, а на самом деле Ираида Густавовна Гейнеке (1895, Рига — 1990, Петербург).

Поэтесса, прозаик, мемуаристка. Игорь Северянин посвятил ей поэтический медальон, начинающийся словами: «Все у нее прелестно — даже “ну”…»

Ирине Одоевцевой выпала удивительная судьба: стать поэтессой на излете Серебряного века, прожить основную часть жизни на Западе и вернуться в Россию в канун коммунистического заката. Редкий случай, когда давняя мечта осуществилась:

Мгновение, остановись!
Остановись и прокатись
Назад:
В Россию, в юность,

В Петроград.

Родилась Одоевцева в Риге, ее отец был богатым адвокатом и имел доходный дом. В Петроград будущая поэтесса приехала в 1914 году и сразу окунулась в поэтическую атмосферу города. Входила во второй «Цех поэтов», в группу «Звучащая раковина». Одоевцевой показалось, что ее учитель Гумилев недостаточно высоко ее ценит, отправляя некоторые стихи в папку с надписью «Братская могила неудачников», и она написала с обидой и вызовом:

Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,
Я – как на сан архимандрита —
На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Но у «маленькой поэтессы» был не только огромный бант, но и огромное честолюбие, а еще — воля и упрямство. В конце концов она стала знаменитой. У нее была еще одна замечательная

черта характера: умение жить, не предаваться унынию, всегда находить выход из трудного положения.

И во сне и наяву

С наслаждением живу.

Согласитесь, это редкое умение…

Первый сборник стихов Одоевцевой «Двор чудес» увидел свет в 1922 году. В том же году она вышла замуж за Георгия Иванова и вместе с ним уехала в Берлин, а затем в Париж.

В эмиграции, не найдя благодарной читательской публики, мало обращалась к поэзии, хотя выпустила несколько сборников: в Париже — «Контрапункт», «Стихи, написанные во время болезни», «Златая цепь», в Вашингтоне — «Одиночество». Писала четко, уверенно, почти классически, не приемля авангардизм многих поэтов-эмигрантов.

В середине 20-х годов Одоевцева перешла на прозу. Один из ее первых рассказов — «Падучая звезда» — отметил Бунин. Писала она рассказы и романы. Как отмечали знатоки, на смену «птичьему щебетанью» стихов пришли «страшные сны» и «темные фантазии» эмиграции. Роман «Оставь надежду навсегда» (1949) был ею же

переведен на французский язык. Она написала по-французски три пьесы. Много переводила. Работала над киносценариями. И тащила на себе семейный воз. «Все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него, — вспоминала Одоевцева свое супружество с Георгием Ивановым. — И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал только когда хотел. Впрочем, хотелось ему довольно редко…»

В первые годы эмиграции Одоевцева и Георгий Иванов жили довольно сносно, получая ежемесячную пенсию от отца Ирины Владимировны. А после, когда он умер и оставил наследство, некоторое время супруги жили даже шикарно — «в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. Но потом, естественно, все благополучие рухнуло, а пришедшие во Францию немцы реквизировали дом в (Эгрете, под Биаррицем. В 1946 году Одоевцева и Георгий Иванов вернулись в Париж и поселились в Латинском квартале, в гостинице «Англетер». В последние годы они жили на грани черной нужды. В связи с этим нельзя не вспомнить письмо Георгия Иванова:

«Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил меня как поэта, и прошу об одном. Позаботьтесь о моей жене Ирине Одоевцевой. Тревога о ее

будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня, умоляю их исполнить мою предсмертную просьбу и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой. Верю, что мое завещание будет исполнено».

И следует сказать, что многие поддержали Ирину Владимировну, но прежде всего, она сама сумела не падать духом, постоять за себя — вечная оптимистка с большим белым бантом (этот большой белый бант приклеился к ее образу с юных лет).

В 1958 году Георгий Иванов умер. Одоевцева живет почти 20 лет в доме престарелых под Парижем. Казалось бы, все кончено: одиночество и старость. Уже в России Одоевцеву спросили: «Вы прожили с Георгием Ивановым самые счастливые свои годы?» На что она ответила: «Нет, почему же? Я была много раз счастлива и после смерти Георгия Иванова». В 1948 году Ирина Одоевцева лукаво писала:

Разве что блеснет звезда
Светлячком, осколком льда,
Острым лезвием секиры

Над безмолвием пруда.

Мне ж до Страшного суда
(Если будет Страшный суд)
Погрешить еще дадут.

На старости лет, уже после смерти Георгия Иванова, Ирина Одоевцева попала в русский старческий дом в Ганьи. В воспоминаниях она писала: «Мне казалось, когда я въезжала в сад, что я вижу над воротами черную надпись: “Оставь надежду всяк сюда входящий”… что жизнь моя безнадежно кончилась. Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия. Я не могла предвидеть, что мне предстоит вписать новую главу в книгу жизни и стихов, что снова смогу улыбаться и превращать будни в праздник… в Ганьи жилось хорошо и даже празднично…»

Именно в этом старческом доме 24 марта 1978 года (в 83 года!) Ирина Одоевцева сочеталась новым браком с писателем Яковом Горбовым, эмигрантом и обитателем дома. И появилась табличка на двери — «мадам Горбофф». Горбов — сын петербургского миллионера, ставший в эмиграции таксистом и писавший на стоянке романы. Но в доме в Ганьи Горбов уже не писал, и Одоев-

цева не смогла вернуть его к творческой жизни: физически он был дряхл. «Характеры наши были совершенно противоположны. Яков Николаевич любил тишину, уединение, семейный уют — все то, что наводило на меня нестерпимую скуку, — писала Одоевцева. — Я, наоборот, любила всегда быть окруженной людьми… Я тащила Горбова с собой… в сентябре 1982 года он скончался…» Они прожили вместе четыре года. Когда он скончался, Одоевцева горько пошутила: «Была вдовой поэта, стала вдовой прозаика».

Как обычно, незаметно подкралась старость, время подведения итогов и воспоминаний.

– В этом мире любила ли что-нибудь ты?

– Ты, должно быть, смеешься! Конечно, любила.

– Что? – Постой. Дай подумать! Духи и цветы.

– И еще зеркала… Остальное забыла.

Нет, Ирина Одоевцева ничего не забыла, о чем свидетельствуют два тома мемуаров, напечатанных впервые в Вашингтоне — «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983). «На берегах Невы» — это воспоминания о поэтах Се-

ребряного века («Я одна из последних видевших и слышавших их»). По словам Зинаиды Шаховской, петербургские воспоминания Одоевцевой отличаются «своей молодостью, легкостью, беззлобностью». Одоевцеву интересовало главное в своих современниках — их поэтический дар; она сознательно опускала все мелочное и, по ее признанию, видела их окруженными сиянием, «как лики святых на иконе».

Вторая книга, «На берегах Сены», имеет другую тональность. «О горьком жребии эмигрантских писателей вспоминать тяжело и больно, — признавалась Одоевцева. — Это сплошной перечень преждевременно умерших, погибших в газовых камеров нацистов или кончивших свои дни в унизительной бедности, бедности, которой не удалось избежать даже нашему нобелевскому лауреату Бунину». Но есть в воспоминаниях и другие страницы. С восхищением описывает Одоевцева собрания «Зеленой лампы» у четы Мережковских. Самого Мережковского она отмечает «мыслителем, златоустом и поэтом». С горечью отмечает, что Марина Цветаева не могла терпеть ни ее, ни Георгия Иванова, называя обоих эстетами. В свою очередь, Одоевцева терпеть не могла Владимира Набокова за однажды услышанную

фразу: «Эта Одоевцева, оказывается, такая хорошенькая! Зачем только она пишет?»

Не писать Ирина Одоевцева не могла. Не могла она отказаться и от навязчивой идеи вернуться на родину. Ее многие отговаривали: как можно решиться на такой переезд в таком возрасте? Но она в который раз проявила решительность: «Я еду, если даже умру в дороге…»

11 апреля 1987 года на кресле-каталке, в сопровождении советского врача, она прилетела из Парижа в Ленинград. Из своих 92 лет она не была на родине 65! Ирина Владимировна была счастлива и не сдержала слез около Летнего сада, о котором она когда-то писала в стихах:

По аллее мы с вами идем.
По аллее Летнего сада,
Ничего мне другого не надо…

Все в городе на Неве было полно воспоминаний. Проезжая по Бассейной, она сказала своим спутникам: «По той вот улице я шла к Гумилеву. На его доме была еще вывеска “Портной” и мы говорили тогда, что Гумилев здесь шьет стихи».

Одоевцева дожила до выхода на родине своих мемуаров и ощутила на себе весь драматизм перестроечных лет. «Неужели нельзя купить

хорошей ветчины?» — спрашивала она, а ей отвечали: «Нельзя. У нас же революция». Одоевцева была в ужасе: «Как, опять?!»

Ирина Владимировна скончалась в возрасте 95 лет, так и не узнав, что будет с Россией в дальнейшем.

Роман Гуль: летописец русской эмиграции

Роман Борисович Гуль (1896, Киев — 1986, Нью-Йорк). Писатель, критик. По отцу — потомок обрусевших шведов, мать — из старинного дворянского рода. Детство и юность прошли в Пензе, в поместье отца. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского университета. Через два года был мобилизован (Первая мировая война), весной 1917-го окончил офицерскую школу и был отправлен на фронт. В октябре вернулся в Пензу, к матери и застал там бунт «бессмысленный и беспощадный». С братом Сергеем вступил в Добровольческую армию и участвовал в Ледяном походе Корнилова, был ранен. В Киеве братья были мобилизованы в армию Скоропадского, а после захвата власти Петлюрой оказались военнопленными и были вывезены в Германию.

На этом одиссея Романа Гуля не закончилась. С 1920 года жил в Берлине. Правителей СССР называл «полулюдьми», считал, что движущая идея в партии большевиков — «власть, власть, власть, власть над людьми». О своем эмигрант-

ском выборе Гуль говорил: «Родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины хотя и очень тяжела, но все-таки остается свободой».

В 1933 году был заключен фашистами в концлагерь. После освобождения эмигрировал в Париж. Некоторое время работал сценаристом в Лондоне. Во время оккупации Франции бежал на юг, в 1945-м вернулся в Париж, создал Русское народное движение и издавал газету «Народная правда». Помогал соотечественникам, оказавшимся после Второй мировой войны на Западе. В 1952-м переехал в Нью-Йорк. Редактировал там «Новый журнал».

Литературное имя Роману Гулю принес роман «Ледовый поход» (1921). Затем прогремела книга «Жизнь на фукса» (1923). А потом пошли косяком исторические романы — об Азефе, Бакунине, о «красных маршалах» (Тухачевский, Ворошилов, Буденный, Блюхер), о кровавом палаче Дзержинском и его преемниках. Роман Гуль считал, что цель террора в СССР — уничтожить свободомыслие: «В СССР у населения навеки разрушена память о прошлом России, отняты мысль, слово, и духовно советское население омертвело: мертвые молчат, и живые молчат, как мертвые…»

Эмиграция, по мнению Гуля, стала хранитель-

ницей русских культурных традиций, значительно обогатив и европейскую культуру.

В 1978 году начал выходить частями труд Романа Гуля «Я унес Россию. Апология эмиграции» (Россия в Германии, Россия во Франции, Россия в Америке), «некий справочник по истории зарубежной России», как считал автор. Замечу в скобках, что и я делаю некий литературно-художественный справочник по русской эмиграции.

В советской литературе Гуль выделял Пастернака, Ахматову (особенно «Реквием»), Солженицына. О последнем отмечал, что «Россия Солженицына — это больше, чем государство, чем страна, нет, это некая русскость, разлитая в мире, в ее лучшем и духовном чувствовании».

Прожил Роман Гуль 92 года, родился в январе и умер в январе. Ушел из жизни 30 января 1986 года, когда в СССР началась перестройка по Горбачеву. Посмертно в «Новом журнале» были опубликованы мемуары Гуля «Моя биография».

Примечательно, что Роман Гуль, прожив долгую эмигрантскую жизнь, тем не менее так и остался в ней persona не вполне grata. Постоянные ссоры и размолвки с товарищами по изгнанью, явная и не всегда мотивированная нелюбовь к некоторым из них вызывала ответную реакцию

— редактор «Нового журнала» не был в эмигрантской среде любим, и хотя авторитет его был огромен, многие его побаивались…

Но это — частности, а за его труды и упорное желание всех поименно назвать — эмигрантов, беженцев, изгнанников, — низкий поклон Роману Борисовичу Гулю.

4. Третий ряд литераторов-эмигрантов

Тройная формула человеческого бытия: невозратимость, несбыточность, неизбежность, – была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить!..

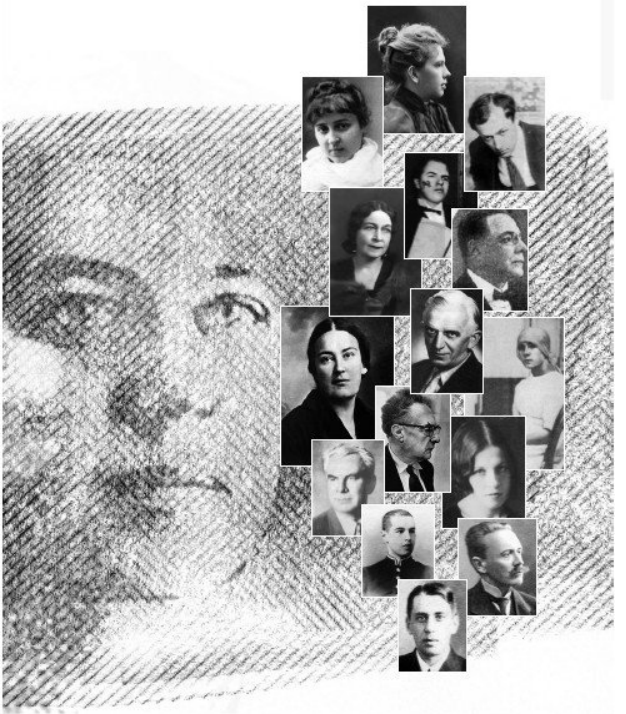
Владимир Набоков. «Дар»

Отплывающие корабли,
Уносящиеся поезда,
Остающиеся вдали,
Покидаемые навсегда!
Знак прощанья – белый платок,
Замирающий взмах руки,
Шум колес, последний свисток —
Берега уже далеки.
Не видать совсем берегов;
Отрываясь от них, посмей
Полюбить – если можешь – врагов,

Позабыть – если можешь – друзей.

Юрий Терапиано

4 третий ряд ЛИТЕРАТОРОВ-ЭМИГРАНТОВ



Итак, третий ряд поэтов и писателей, после классиков и крупняков. Подобрал имена я весьма субъективно, на *свое* понимание и вкус (мнение литературоведов в данном случае меня не интересует). Но тут возникла проблема, ибо в третьем ряду столпилось много пишущих, а книга ограничена определенным объемом. И я решил: третий ряд дать в сокращенном виде, мозаично и фрагментарно, опуская многое и исключая даже отчество (родители остались за бортом). С деталями и подробностями — погибну. А так, скупо и сжато, — возможно, выживу. Да и читателей нельзя перегружать и утомлять, особенно тех, кто любит побыстрее, покруче и покреативнее. Что делать: дань времени…

Третий ряд располагаю по хронологии рождений. Итак, начинаем!.. И с кого? С дочерей Льва Николаевича!..

Две дочери из гнезда Толстого: Татьяна и Александра

Старшая дочь Льва Толстого — **Татьяна Львовна Толстая,** по мужу Сухотина (16 октября 1864 года, Ясная Поляна — 21 сентября 1950 года, Рим).

Была близка ко Льву Николаевичу: его друг и помощник. Мемуаристка, художница. После Октября 1917 года хранитель музея-усадьбы Толстого. В 1925-м выехала за границу. Жила в Риме, где создала музей Л.Н. Толстого.

Татьяна Толстая вела дневник с 14 лет: первая запись сделана 28 октября 1878 года, последняя 13 декабря 1932-го в Риме: «Труд мой кончился. Началась болезнь. Ну что же? Я не жалуюсь. Я прожила невероятную, незаслуженно счастливую и интересную жизнь. И удачливую…»

А вот ранняя запись в 18 лет (29 мая 1882 года): «…Не осуждайте меня, что я пишу такой вздор и так несвязно».

8 июня 1917 года, Ясная Поляна: «Ах как нужно писать! Сколько происходит всякого и интересного!..»

Именно всякого. В 1917-м поселился в Ясной

Поляне Петр Сергеенко, в кабинете Толстого. Он был избран председателем общества «Ясная Поляна». И руководил всем. Кто такой Сергеенко? Прозаик, журналист, одно время секретарь Льва Николаевича, впоследствии — один из его биографов. В одном из писем Чехов написал о Сергеенко: «Вообразил себя великим писателем, стал серьезен. И засох...» Современники оценивали Сергеенко противоречиво: от «тихого» и «милого» до «хитрого и фальшивого человека».

Запись из дневника Татьяны Львовны от 23 августа 1918 года: «Ведь если Сергеенко может иметь значение и влиять на общественное мнение — то каково же оскудение умов!.. Тульские большевики ему кланяются и подчиняются.

— Во имя Льва Толстого надо дать жителям Ясной Поляны рису, сахара, макарон и т. д. — И всё дают.

Я этим всем хоть немного пользуюсь, но мне это тяжело. И я всеми силами стремлюсь вон из Ясной Поляны, где на каждом шагу я чувствую фальшь и притворство.

Сергеенко нас ненавидит классовой, завистливой ненавистью, и его отношение ко мне либо преувеличенно льстивое, либо грубо, дерзко ругательное. И то и другое мне невыносимо про-

тивно…»

В 1925 году Татьяна Сухотина-Толстая вместе с дочерью Таней покинула советскую Россию и обосновалась в Италии. Дневник Татьяны Львовны впервые был издан в 1950 году, на английском языке в Лондоне.

А теперь короткий рассказ о младшей дочери Льва Николаевича.

Александра Львовна Толстая (18 июня 1884 года, Ясная Поляна — 26 сентября 1979 года, Спринг-Вэлли, штат Нью-Йорк, США).

Внешне Александра Львовна была похожа на Льва Николаевича. В ее лице, говоря словами великого писателя, есть воспетое им доброе, русское, круглое. Но это не мешало классику порою высказываться критически. Как вспоминает младшая дочь:

«Бывало войдешь к нему. Он долго, пристально смотрит на меня, потом с грустью скажет:

— Боже мой! Как ты дурна! Как ты дурна!.. Ну ничего, ты не огорчайся, это не важно…

— Я не огорчаюсь, — говорю я не совсем искренне, — замуж никто не возьмет, так я и сама не собираюсь».

Александра Львовна прожила 95 лет, так и не выйдя замуж. По слухам, она предпочитала

женщин мужчинам. Даже если это и так, то это никоим образом не затеняет героическую, подвижническую жизнь младшей дочери писателя. Такой жизнью можно только восхищаться. Она много сделала для сохранения и пропаганды творчества Льва Толстого. Участвовала в Первой мировой войне, получила чин полковника медицинской службы, ордена и медали. Не прогнулась в одном из первых советских концлагерей. Нашла в себе силы ярко проявить себя на Западе, создала Толстовский фонд и помогала тысячам перемещенных лиц из Германии и других стран спастись от СМЕРШа, перебраться и обустроиться в США, найти работу — грамотным и неграмотным, академикам, грузчикам, изобретателям, судомоям, как перечисляла в своем «Курсиве» Нина Берберова. Советская власть не любила Александру Толстую, и ее имя было вычеркнуто из справочников и энциклопедий. И лишь в период гласности о ней вспомнили.

Александра была близка к своему великому отцу, в 1901–1910 годах фактически пребывала в качестве личного секретаря Льва Николаевича, он даже посвятил ее в планы своего бегства из Ясной Поляны. Когда началась Первая мировая война, то Александра Львовна приняла твер-

дое решение: «Я должна участвовать в общей беде». Она сдала экзамены на звание сестры милосердия и отправилась на фронт, несмотря на сопротивление матери. На фронте спасала людей и, когда возникала необходимость, лихо скакала на своем кабардинском коне Арагезе. Однажды ее госпиталь попал под немецкую газовую атаку, и Толстая смогла эвакуировать в безопасный Минск всех отравленных солдат и офицеров, за что была награждена Георгиевской медалью III степени. В Ясную Поляну она вернулась с тремя Георгиевскими крестами.

Война кончилась — началась революция. В 1919 году умирает Софья Андреевна Толстая, и вся забота по сохранению Ясной Поляны фактически легла на плечи Александры Львовны. Она добилась приема у наркома просвещения Луначарского и была назначена «комиссаром Ясной Поляны», при этом ясно осознавая, что это вовсе не охранная грамота. «Сегодня я комиссар, а завтра могут и в тюрьму посадить», — пошутила она. И как в воду глядела.

За какие-то прегрешения с точки зрения новой власти ее посадили в тюрьму на Лубянке. Выпустили, а потом вновь арестовали по делу Тактического центра. Это было в марте 1920 года.

В августе состоялся суд. Главный обвинитель Крыленко задал подсудимой Толстой вопрос:

— Гражданка Толстая, что вы делали на совещаниях и каково было ваше участие в деле Тактического центра?

— Ставила для них самовар, — ответила она.

Крыленко сарказма не понял и в обвинительной речи с пафосом вопрошал: «Где вы, интеллигенты, по ту или эту сторону баррикады?.. Или вы там, среди тех, кто ведет борьбу против нас?»

В итоге графиню Толстую, дочь великого Льва Толстого поместили в Новоспасский концлагерь, где ей пришлось испытать все ужасы лагерного быта. Но и в этих условиях она сумела подбадривать заключенных и набрасывать строки мемуаров. А еще она обратилась к Ленину (сохранился черновик письма):

«Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным, и постольку, поскольку кто-либо интересуется моими взглядами — не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказываю свои взгляды открыто и прямо на суде…

Владимир Ильич! Если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то,

признавая право одного человека лишать жизни другого человека, расстреляйте меня как вредного члена Советской республики…

Я пишу, повторяю, потому, что верю Вам и чувствую, что Вы поверите мне и поймете, что тяжесть моего положения не в том, что я живу в клетушке, питаюсь помоями, и даже не то, что лишена внешней свободы. Тяжесть моего положения главным образом в том, что лишена доверия, то есть возможности работать…»

После трех лет заключения Александру Толстую в 1921 году освободили по амнистии. Она вернулась к яснополянским делам. Однако работать в качестве хранителя усадьбы-музея было чрезвычайно трудно: чиновники постоянно вмешивались, диктовали, что надо делать, запрещали обучение в школе по толстовской программе, навязывали чуждые духу Толстого пропагандистские идеи. Все это напоминало тюрьму на свободе. В это трудное время Александра Львовна пишет в письме своей племяннице Анне Ильиничне: «Больше всего хочу свободы. Пусть нищенство, котомки, но только свобода».

В конце концов она обрела эту вожделенную свободу. Пришло приглашение из Японии читать лекции о Льве Толстом. Власть милостиво раз-

решила поехать, и Александра Львовна осенью 1929 года отплыла из Владивостока в Японию. Прощание с Россией навсегда… В 1931-м она демонстративно отказалась от советского гражданства, а через 10 лет приняла американское.

Из Японии Толстая перебралась в США, там завела ферму, занялась сельским хозяйством, отшлифовала свой английский язык. К ней часто приезжали русские гости, эмигранты. Вместе с Ниной Берберовой Толстая в часы отдыха удила рыбу. В одном из писем сестре Татьяне Александра Львовна рассказывала о своей американской жизни:

«Живу я так: встаю в 6 утра, пишу, в 8.30 еду на машине в Нью-Йорк, иногда до 12 ночи. И так пять дней. Два дня работаю на ферме. Личной жизни кроме писания — нет. Ну и не надо… Ведь мне будет скоро 63 года — старушка…»

Но эта старушка была крайне активна и энергична. В 1939 году она совместно с Сергеем Рахманиновым, с последним русским послом в США Бахметьевым, графиней Паниной организовала Толстовский фонд. Постепенно фонд помощи русским, лишенным своей родины, превратился в масштабную организацию с интернатом для престарелых, больницей, детским садом, филиа-

лами в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке…

Еще Александра Львовна страстно выступала на радиостанции «Свобода». Вот фрагмент одного из выступлений (17 марта 1957 года):

«…Еще в 1905 году Толстой предсказывал полный провал революции. Революционеры, говорил Толстой, будут много хуже царского правительства. Царское правительство держит власть силой, революционеры захватят ее силою, но будут грабить и насиловать гораздо больше, чем старое правительство.

Предсказание Толстого оправдалось. Насилие и жестокость людей, называющих себя марксистами, превзошли все злодеяния, совершаемые до сих пор человечеством во все времена, во всем мире. Чтобы удержать власть, им пришлось безгранично далеко отступить от теории Маркса, блестяще показав всю утопичность материалистического мировоззрения. Социализм превратился в диктатуру небольшой группы людей, силой захвативших власть и почему-то считающих, что они имеют право властвовать над миллионами.

Человечество будет глубоко несчастно, если оно будет руководствоваться законами людей, ко-

торые, забыв Бога, хотят властвовать не для блага народа, а для своей выгоды, своей корысти…»

Разве власть могла простить такие высказывания? Нет, конечно. Это понимала и Александра Львовна, когда писала в письме Татьяне: «Если я вернусь, я могу только в Соловки или под расстрел».

В 1978 году в канун празднования 150-летия со дня рождения Льва Толстого Александра Толстая писала в Москву в Толстовский музей: «Мне тяжело, что в эти драгоценные для меня дни я не могу быть с вами, с моим народом, на русской земле. Мысленно я никогда с вами не расставалась».

С народом — да, а с властью…

Александра Львовна дожила до глубокой старости в светлом уме, в мягкости и доброте, как отметил один из членов клана Толстых. Она упокоилась на кладбище Новодивенского монастыря в Спринг-Вэлли.

Ну, и последнее. Ветвистое дерево Толстых дало много плодов: дети, внуки, правнуки, праправнуки… И их разнесло по всему миру. Лично я был удивлен, когда узнал, что праправнучка Льва Николаевича Виктория Толстая, русская шведка, поет джаз. Графиня Виктория Эриковна. Это один из сыновей Толстого, Лев Львович, эмигрировал

в Швецию и там женился на шведке Доре Вестерлунд…

А я горжусь, что русская праправнучка Фекла Толстая однажды брала у меня интервью, не помню, на какой радиостанции, кажется, России. Я как бы ощутил руку великого Толстого через несколько поколений.

* * *

Ну а теперь вернемся к третьему ряду непосредственно писателей и поэтов, дочери Толстого все-таки в основном мемуаристки. И кто же в третьем ряду замаячил первым?

Леонид Мунштейн (Леон Гершкович, псевдоним Лоло, 1867, Екатеринослав — 1947, Ницца). Поэт-фельетонист, драматург, издатель. Его отец — купец, умер в Лозанне в 1915 году. Мунштейн окончил юридический факультет в Киевском университете, а потом учился в Московском университете. Был женат на актрисе Вере Ильнарской. Печататься начал еще студентом в Киеве. С 1894 по 1905 год писал под псевдонимом Лоло сатирические и юмористические стихи пол общим заглавием «Страничка из письма» (свыше тысячи миниатюр). К примеру, стихи об

Александре Блоке:

Брось былые смешные гримаски —
И найдешь ты правдивые краски,
И порвешь с декадентами блок,
О мой нежный, задумчивый Блок!

Стилистика Мунштейна: сочетание смешного и лирического. Он еще пародист и эпиграммист. Написал роман в стихах «Онегин наших дней» (1896). Первая пьеса — «Фея-каприз» (1903). Постоянный автор театра «Летучая мышь». Андрей Белый критиковал Мунштейна, что он «лишь играет в литературу». Немного поиграл Мунштейн и в революцию:

И я, как все, считал священной
Одну лишь книгу: «Капитал»,
И я на лире вдохновенно
О Революции бряцал.

В октябре 1917 года с пафосом восклицал: «Мы свободны! Жизнь прекрасна!» Но когда он опубликовал несколько статей о демократии в редактируемом им журнале «Рампа и жизнь», то власть тут же закрыла журнал, показав свое отношение к свободе печати. Как умный человек

Леонид Григорьевич все понял и через Одессу отплыл в Константинополь, в эмиграцию… На острове Принкипо написал печальные строки «Пыль Москвы»:

Погасли вешние огни…
Мы потускнели, опустились…
Мы в зарубежье очутились…
Мы глядим на беженскую елку,
вспоминая старую Москву,
Рождество… Я плачу втихомолку,
опустив усталую главу…

В 1923 году Мунштейн организовал в Риме русский театр «Маски», с которым гастролировал по Европе. В 1926-м поселился в Ницце и продолжал писать свои излюбленные фельетоны в стихах в разных эмигрантских газетах. Выпустил книгу «Братья-писатели. Карманный словарь» с воображаемой анкетой «Когда мы вернемся в Россию». В конце жизни больное сердце не позволяло ему ни есть, ни пить.

В 1931 году Мунштейн напутствовал советских студентов:

Дети! Кончивши вузы с дипломами…
Не старайтесь встречаться с нарко-

мами…

Знайте: тот, кто сегодня нарком,
Может завтра расстаться с пайком,
Может быть уничтожен тайком…

Близко знавшая Мунштейна Тэффи отмечала, что Лоло, вечера которого она не раз вела в Париже, был довольно мрачным — остроумие не есть веселье; был феноменально близорук: на улице всегда боялся стукнуться лбом о фонарный столб. Писал на уголке стола, заваленного всякой дрянью. Как отмечала его жена, Ильнарская, когда Лоло писал, то ничего не слышал, будто в яме сидел. Другими словами, целиком погружался в свой творческий мир.

«Братья-писатели, беженцы — странники…» — писал он в газетной рубрике «Клочки из эмигрантского дневника».

Тем не менее Мунштейн-Лоло прожил 60 лет. Петр Пильский отмечал его «лиричность, окутанную нежной дымкой грусти… Самая большая его смелость заключается в том, что он не боялся изящества». В некрологах о Мунштейне коллеги отмечали его как «рифмующего фельетониста», как «ярого рифмодея». Кстати, при жизни Мунштейн часто прибегал к некрологам. На панихиде

по Вере Комиссаржевской, чайке русской сцены, он обратился ко всем собравшимся: «Не надо пошлых фраз, не надо жалких слов!..»

Сам Леонид Мунштейн выбирал слова точные и образные.

* * *

Даниил Ратгауз (1868, Харьков — 1937, Прага). Поэт. Окончил юридический факультет Киевского университета. Увлекался спортом, участвовал в конькобежных соревнованиях. При этом страдал расстройством нервной системы (лечил нервы за границей). Будучи студентом, в августе 1892 года послал Чайковскому свои стихи, в том числе «Мы сидели с тобой у заснувшей реки…», оказавшиеся созвучными предсмертным настроениям композитора. Завязалась переписка, и Чайковский отметил «истинный талант» молодого поэта и сочинил шесть романсов — «Снова, как прежде, один…» был любимый Чехова. Стихи Ратгауза оказались музыкальными, и многие композиторы (Гречанинов, Кюи, Рахманинов, Глиэр, Аренский и другие) писали на них музыку.

Ратгауз печатался во многих изданиях, казалось, был успешным, но… О своем настроении делился в одном из писем к Чехову (15 марта

1902 года): «Полная апатия, постоянная тоска, постоянный леденящий ужас перед неизбежными путями к небытию, к нирване, перед каждым часом, перед каждым мгновением, приближающим мою душу к мраку уничтожения, — вот мои страдания, от которых я не в силах отделаться за последние годы…»

В 1906 году вышел трехтомник Ратгауза на дорогой бумаге, с меланхолическим портретом автора («невыносимо обыкновенный и щеголеватый молодой человек»). Это полное собрание произведений вызвало волну критики в адрес автора: «типичный представитель банальщины и буржуазной бескровности чувств». А вот Льву Толстому Ратгауз нравился, и он не раз говорил, что из всех современных поэтов больше всего ценит Ратгауза, противопоставляя его знаменитым декадентам.

Февральскую революцию 1917 года Ратгауз принял наивно-восторженно:

«Сбылись заветные мечты: / Россия, светлая Россия, / Теперь навек свободна ты!» *(«Гимн»).*

В 1918 году из Москвы перебрался в Киев и работал в отделе иностранной информации УКРОСТА. Но в новую жизнь вписаться не смог — упадочник, пессимист. Ив 1921 году Ратгауз эмигрировал

в Берлин, а с 1923-го — жил в Праге. В 1928 году пражская русская общественность отметила его 60-летие. Но это уже был другой Ратгауз:

Это не песни, а мысли туманные,
Гаснувший в мгле огонек.
Это какие-то отзвуки странные
Сердца сжимавших тревог.

Все так темно в эти ночи глубокие,
Ясно одно – умереть!..
Песен, что пел я в те годы далекие,
Мне уже больше не петь.

И не пел, а тяжело болел. Последние шесть лет был парализован. Умер Ратгауз 6 июня 1937 года, в возрасте 69 лет.

Дочь Ратгауза Татьяна (1906) пошла по пути отца и с 16 лет начала печататься. Эмигрировала вместе с родителями. И писала: «Я — случайная гостья в веселой студеной стране…»

Возвращаясь к отцу, Даниилу Ратгаузу, скажем — он был первым, кто познакомил российских читателей с творчеством Поля Верлена. В советские времена в справочниках всегда отмечалось, что Ратгауз враждебно встретил Октябрьскую революцию и примкнул к враждебным СССР эми-

грантским группировкам. Короче, не у родной реки куковал, а сидел на вражеском берегу…

* * *

Ариадна Тыркова-Вильямс (1869, Петербург — 1962, Вашингтон). Писатель, журналист, политический деятель. Из древнего новгородского рода… С семи лет свободно читала по-французски. В петербургской частной гимназии была дружна с Надеждой Крупской. Ее брат Александр участвовал в убийстве императора Александра II.

Сама Тыркова была красивой женщиной с огненными глазами и горячей речью. Несколько раз арестовывалась за оппозиционную деятельность.

Бежала Тыркова через финляндскую границу. В 1906 году вышла замуж за английского журналиста Гарольда Вильямса. Вернулась в Россию и была избрана членом ЦК партии кадетов. Писала блестящие статьи и проявила себя активной участницей феминистского движения. Не приняла Октябрь и участвовала в борьбе с большевистским движением. В марте 1918 года с мужем через Мурманск уехала в Англию.

Свою первую книгу издала на английском языке в 1918 году — «От свободы к Брест-Литовску».

Просила президента США о спасении России путем интервенции. И тем не менее в июле 1919-го вернулась в Россию, чтобы поддержать правительство генерала Деникина. После его поражения уехала в Англию и на протяжении 20 лет возглавляла Общество помощи русским беженцам. Активно занималась литературным творчеством, одна из книг — «Жизнь Пушкина», и, конечно, писала о революции и России. Обладала особым даром общения с людьми. В 1951 году Тыркова переехала в США. Автор трехтомника воспоминаний.

* * *

Семен Юшкевич (1868, Одесса — 1927, Париж). Прозаик, драматург. Из семьи еврея-торговца. Работал аптекарем, учился на медицинском факультете в университете в Париже.

Литературный дебют — рассказ «Портной». Известность Юшкевичу принесла автобиографическая повесть «Распад» (1902) — о крушении патриархального уклада жизни местечкового еврейства. В 1918 году вышел последний, 15-й том полного собрания сочинений. «Певец горя человеческого» (К. Чуковский).

В 1920-м Юшкевич эмигрировал в Румынию,

затем во Францию. В Берлине вышел его роман «Леон Дрей», который вызвал протест среди эмигрантов из-за одиозности главного героя: ничтожество, дрянь, пустышка, выскочка, пошляк, наглый враль, хам, переступающий через все (оценка Ходасевича). Издал Юшкевич немало и ввел в русскую литературу образ простого еврея — живого человека…

Корней Чуковский вспоминал свои ранние годы, и в частности в его дневнике есть упоминание о Юшкевиче: «…Все томятся страстным ожиданием. Наготове тысячи ладоней, чтобы грянуть аплодисментами, чуть только на сцене появился он. Он — Семен Юшкевич, любимый писатель, автор сердцещипательного “Леона Дрея” и других столь же бурных творений, которые не то чтобы очень талантливы, но насыщены горячей тематикой…» Дело было в Киеве. Юшкевич в зале не появился, вместо него объявили Бунина, «публика угрюмо молчит», и тогда ведущий объявляет: «Желающие могут получить свои деньги обратно».

Прелестная история. И кто такой Юшкевич, и кто такой Бунин?.. Советская энциклопедия отомстила Семену Соломоновичу за его былую популярность и за бегство из советской России,

не включив его в свой многотомный перечень деятелей литературы. Перефразируя спортивного комментатора Николая Озерова: «Нам такой Юшкевич не нужен!..»

* * *

Юргис Балтрушайтис (1873, деревня Паантвардис, Литва — **1944,** Париж). Поэт, писал на русском и литовском языках. Последняя книга «Лилия и серп» на русском вышла посмертно.

С 1893 года жил в Москве, учился в университете, участвовал в зарождении символизма. С 1920-го по 1939-й был руководителем литовской миссии в Москве. В 1939 году эмигрировал в Париж. Строки из его стихотворения «Часы с кукушкой»:

От удела скудости – к избытку.
От расцвета – в прах и снова к цвету —
Ты влечешь на пиршество и пытку
По укладу жизни и обету…

Айхенвальд в «Силуэтах» писал о Балтрушайтисе: «Земной пилигрим хочет единства, слияния с миром, блаженного “числа планет”, но… ему суждено жить в дробных условиях времени и

пространства, быть игрой частичности…»

Софья Гиацинтова отмечала в Балтрушайтисе ум, образованность, талант, вкус и юмор. «Личность удивительная и поэт прекрасный, но почему-то не держит жизнь в своих руках» *(М. Горький).* Был действительно человеком своеобразным, неровным. И куда-то пропадал, ни с кем не виделся — говорили, в такие дни он много пьет. Появлялся задумчивый или бравурно-мажорный, но всегда бесконечно интересный… Мнение Бальмонта: угрюм, как скала Севера.

«В составе символистов, и в частности в группе пяти великих “Б” (Бальмонт, Блок, Белый, Брюсов, Балтрушайтис), было 5 премированных алкоголиков, способных напиваться до бесчувствия, и один наркоман (Брюсов).

Они все жаждали безумия, даже будучи совершенно нормальными. Балтрушайтис все время был мудр и разумен. Мережковский, Брюсов и Сологуб только разыгрывали безумцев. Вячеслав Иванов предпочитал сохранять позу “посвященного”, “адепта” таинственного знания…» (Л. Сабанеев. *Воспоминания о России).*

* * *

Иван Наживин (1874, деревня Пантюки Владимирской губернии — **1940,** Брюссель). Писатель, публицист.

«Я сын мужика, выросший среди народа…» — подчеркивал он. Был знаком со Львом Толстым и переписывался с ним. О событиях 1905 года писал: «Началось великое нравственное падение русского народа… вся страна кипела кровью и все гуще наливалась злобой». Роман «Менэ… Тэкел… Фарес…» (1907) о герое-интеллигенте, испугавшемся революции.

Сам Наживин о себе говорил так: «Я — левый, ставший после первого опыта, после революции 1905 года умеренным».

Об Октябре 17-го: «Нам предстоит не светлое торжество победителей, а уныние и позор… и тяжелая работа по исправлению наших страшных ошибок». В 1918 году Наживин бежал на территорию, занятую Белой армией, спасаясь «от голода и крови», чтобы бороться с пришедшим Хамом (предсказание Мережковского сбылось!) «за Россию, за монархию».

Октябрьскую революцию Наживин считал насквозь безграмотной и дьявольски жестокой,

рассматривал ее как банкротство левых деятелей, крушение иллюзий. Но это мнение Ивана Федоровича, и, возможно, читатель возмущен его резкостью. Тогда для успокоения вспомним иное, например, поэта Николая Клюева, который испытывал восторг от революционной бури:

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть небо в алмазах.

И тот же Клюев:

Как буря, без оглядки
Мы старый мир сметем!
Знамен палящих складки
До солнца доплеснем!

Какой оптимизм! Какая уверенность! А что в итоге? Итоги мы знаем, а вот Клюев их не предполагал и погиб, критикуемый, оплеванный как крестьянский поэт, в заключении 25 октября 1937 года.

В отличие от Клюева, Наживин не ждал, когда засияет «небо в алмазах», а спешно в 1920 году эвакуировался из Новороссийска в Болгарию,

сформулировав для себя, что большевизм — «это только заключительный аккорд тысячелетнего безумия». Он отказался участвовать в этом безумном русском эксперименте. Но попал в другой переплет — в эмиграцию…

Жил в Югославии, Австрии, Германии. Написал несколько романов из жизни русского беженства, в том числе «Фатум».

В эмиграции было несладко и материально, и духовно. В 1926 году Наживин ходатайствовал о предоставлении возможности вернуться на родину. Написал даже письмо Сталину, но ходатайство не было удовлетворено, ибо Наживин слишком ретиво в свое время критиковал революцию и новую власть.

Наживин в изгнании оказался весьма плодовитым писателем: он издал более 40 книг, которые, однако, встретили пренебрежительное отношение со стороны эмиграционной «элиты» и критиков, что глубоко обидело его. И Наживин всем своим недоброжелателям (Алданову, Бунину, Бальмонту и другим) ответил романом «Неглубокоуважаемые» (1935). Как говорится, потешил душу…

* * *

Федор Николаевич Косаткин-Ростовский (иначе нельзя: ведь князь. 1875, Петербург — 1940, деревня Сен-При под Парижем).

Из древнего рода, ведущего происхождение от Всеволода Большое Гнездо. Окончил пажеский корпус, служил в лейб-гвардии. Участник Первой мировой войны. Во время революции из офицеров — в грузчики. Сражался против большевиков. Эвакуировался из Крыма. Со своей женой, актрисой, организовал в Париже «Интимный театр». Писал стихи и рассказы. Одна из книг — «Голгофа России». Несколько строк князя-поэта-эмигранта о «холодной мгле скитанья»:

Связь сердца с тем былым почувствуешь остро

И грезишь, радостный, забытой милой сказкой

В чужой толпе… один в углу бистро.

* * *

Сергей Рафалович (1875, Одесса — 1944, Бро, департамент Орн, Франция). Поэт, прозаик.

Еще один одессит, ставший парижанином. Одесса как колыбель талантов: Бабель, Багрицкий, Ильф и Петров, Утесов, Жванецкий… Десятки и десятки блистательных имен. И вот плюс Рафалович, не такой яркий, но все же.

Потертый кожаный диван
Просторней и свежей постели,
И пыльный томик – Мопассан —
Лежит нетронут две недели…

Рафалович родился в буржуазной еврейской семье: отец — финансист, мать — дочь крупного банкира Полякова. Детство в Одессе, а затем переезд в Петербург. Учился в Петербургском университете и в Париже в Сорбонне. Работал в агентстве министерства финансов во французской столице. Стихи писал с детства. В Париже в 1923 году, уже будучи эмигрантом, горевал:

А в непогоду, если ломит кости,
По вечерам и в тихий час ночной
Из шкапа книжного выходят гости
И о своем беседуют со мной…

А вот строки, написанные еще в России:

Семи светильникам вселенной

Семь ангелов сурово предстоят,
И над землей, пустынной и смятенной,
Отверсты язвы и сочится яд…

Одно время Рафалович жил в Грузии и при ее советизации возглавлял Союз русских писателей. В 1922-м покинул и Грузию, и Россию и уехал в Париж, где познал до конца горечь скитальческой жизни:

Так повелось, что стали нам жилищем
Кабак и постоялый двор,
Не люди мы, а пыль, и на кладбище
Нас вынесут как сор.

В эмиграции опубликовал более 20 книг. А помнят Рафаловича по пьесе «Отвергнутый Дон Жуан», написанной в 1907 году в Петербурге.

* * *

Следующая фигура преоригинальная — **Петр Моисеевич Пильский (1876,** Орел — **1941,** Рига). Журналист, литературный и театральный критик. Неординарный и экстравагантный. В молодые годы изящный человек. В пенсне. Чистенький костюмчик. Модный галстук.

До того как стать литератором, в поисках ответа о смысле жизни ходил ко Льву Толстому в Ясную Поляну. Как офицер-артиллерист участвовал в Первой мировой войне, был ранен. Истинное призвание нашел в журналистике, сотрудничал со многими изданиями, включая «Сатирикон». Печатался как в столице, так и в провинции. Одно время жил в

Одессе. Прославился буйным, боевым темпераментом и едким, жалящим пером. А. Бухов называл Пильского «одним из самых ярких разбивателей литературных лиц и морд».

«Великий босяк русской журналистики». Он гордо несет свое прозвище. Он вдохновенно рассказывает, как он обедал в лучших ресторанах Петербурга и не платил, выдавая себя за македонского революционера, у которого в кармане бомба, или секретаря Распутина…» *(Г. Шенгели. Черный погон).*

«Пильский мог бы остаться в истории русской журналистики, потому что он писал умно и увлекательно, блестяще владел стилем, им всегда руководила четкая мысль. Но легкомыслие, любовь к прожиганию жизни и вину свели на нет его большие литературные возможности…

В 1916-м, во время мировой войны, когда Пиль-

ский щеголял в Петрограде в форме поручика, он как-то вышел из Мариинского театра, где на спектакле присутствовал царь. Ясно, у подъезда толпились городовые, жандармы и сыщики. Он зычным голосом скомандовал:

— Всем городовым выстроиться в две шеренги!

Городовые послушно выполнили команду. Пильский степенно прошел вдоль рядов, сел в сани, громко крикнув:

— Спасибо, братцы, за верную службу.

И уехал, прежде чем кто-либо опомнился…» *(А. Дейч. День нынешний и день минувший).*

В 1917-м Пильский описал, как гоголевский франт-Петер-бург превратился в пошлого мещанина. Октябрьскую революцию не принял и писал антисоветские статьи. Успел издать несколько номеров журнала «Эшафот», а потом его закрыли. В 1918-м выступил со статьей «Смирительную рубаху!» об ужасах нового режима, представителей которого называл «алкоголиками» и «дегенератами». В 1921 году был вынужден бежать из Петрограда в Киев, а затем в Бессарабию и Эстонию. Жил то в Таллине, то в Риге. Печатался и выступал с лекциями о Ленине и Троцком, в частности, отмечал, что «Ленин-публицист скучен до тоски, однообразен, как

замерзшая пустыня». Выпустил книгу «Затуманившийся мир» — воспоминания о писателях, от Блока до Маяковского. Приход советских войск в Латвию застал Пильского уже тяжелобольным. Он умер 21 декабря 1941 года. Его литературный архив был изъят и пропал. И остались от Пильского только обрывки воспоминаний как о «трактирном ницшеанце» (так назвал его добрый Корней Чуковский) и «рыцаре художественной критики».

* * *

Сергей Кречетов (1878, Москва — **1936,** Париж). Поэт, критик, издатель, владелец издательства «Гриф», а еще при-дожил руку к издательствам «Искусство», «Золотое руно», «Перевал». Тут хочется сказать, что и над издателями шутят. Однажды группа недовольных поэтов послала в «Золотое руно» Кречетову стихи Баратынского, выдав их автора за начинающего поэта. Кречетов их отверг, объяснив, что «стихи не оригинальны. В них очень чувствуется влияние Брюсова». Следует добавить, что Кречетов был мужем Нины Петровской, которая одно время была влюблена в Валерия Брюсова.

Судьба Кречетова примечательна: он окончил

гимназию с золотой медалью, юридический факультет Московского университета с дипломом I-й степени. Десять лет возглавлял издательство «Гриф», пропагандируя «новое искусство». Его первый сборник стихов «Алая книга» (1907) был изъят из продажи московским генерал-губернатором. В Первую мировую войну ушел добровольцем на фронт. Был ранен. Побывал в немецком плену. В стихотворении «Железный перстень» Кречетов изобразил такой военный эпизод:

Ты сорван был с меня неверного рукой
И сохранен как память боевая,
И мерила, смеясь, тебя на пальчик свой
В гареме пленница младая…

Война и пальчик — несколько игриво. Но в жизни все было суровее и страшнее. Кречетов служил в Добровольческой армии, выступал как идеолог Белого движения. Весной 1920 года эмигрировал в Париж. Потом переехал в Берлин, где организовал издательство «Медный всадник». В своих политических стихах воспевал «русскую державу». Из Германии вернулся в Париж, где и закончилась жизнь Кречетова.

В конце жизни вместо утерянного «железного

перстня» сухие биржевые сводки: Гаити… Нобель… рента… рудники Эль-Гаф и, как отражение нового мира, — стихотворение «Банкир»:

Весь в черном, ты с лицом, застывшим,
словно маска,
Сидел, облокотясь на старый темный стол,
И ни одна в лице не трепетала краска,
И ни на миг огонь во взгляде не прошел…

* * *

Ровесник Кречетова — **Владимир Крымов** (1878, Двинск -1968, Шату, пригород Парижа). Журналист, путешественник, писатель. Окончив Московский университет, совершил путешествия по Южной и Центральной Америке. Издавал роскошный журнал «Столица и усадьба».

В 1916 году его рукопись «То, что нельзя печатать» об ужасах войны и бедах России была изъята полицией. В апреле 1917-го Крымов из Петербурга отправился через Сибирь в кругосветное путешествие. Дважды обогнул земной шар, в

Россию больше не вернулся и обосновался в Берлине. Жил в США и Англии. Стал миллионером, активно участвуя в германо-советской торговле. Короче, не типичный эмигрант, а преуспевающий коммерсант. Написал роман-трилогию «За миллионами» (1933). С приходом к власти фашистов перебрался во Францию. Продолжал писать романы, которые пользовались у читателей немалым успехом. Адамович считал книги Крымова «ниже среднего уровня». Некоторые критики, говоря о литературном таланте Крымова, отмечали его «привязанность к деньгам», которая была «сильнее всего».

* * *

Сергей Мельгунов (1879, Москва — 1956, Шампаньи-Сюр-Марн, близ Парижа). Историк, публицист, редактор и издатель, политический деятель. А почему попал в писатели? Да потому, что написал и издал множество исторических книг о прошлом и настоящем России.

Дворянин. Среди предков Мельгунова — вельможа времен Екатерины II. Отец — преподаватель истории, и поэтому неудивительно, что первое сочинение в гимназии Сергей Мельгунов посвятил церковному расколу: прогресс или регресс?..

Окончил два факультета Московского университета: историко-филологический и юридический. А еще Лазаревский институт восточных языков. Участвовал в похоронах Баумана, но при этом считал себя «недостаточно активным революционером».

Мельгунов сотрудничал со многими журналами: «Русское богатство», «Вестник Европы», «Русская мысль» и др. До революции выпустил немало книг с историческими исследованиями. В феврале 1917 года был одним из руководителей партии народных социалистов. Призывал к объединению всех демократических сил. Занимался разборкой архивов министерства внутренних дел, нашел компромат на большевиков. Победу Октября встретил неодобрительно, но и новая власть невзлюбила Мельгунова: 23 раза подвергалась обыску его квартира, 5 раз он был арестован сам. В феврале 1920 года был приговорен к расстрелу, который заменили 10 годами заключения. А в итоге осенью 1922-го Мельгунова выслали из страны и лишили советского гражданства.

В Берлине Мельгунов издавал сборники «На чужой стороне», а с 1926-го обосновался в Париже. Выступал за создание единого антикоммунистического фронта русской эмиграции. В своей

работе «Чекистский Олимп» разоблачал деятельность Дзержинского и других руководителей ЧК. В 30-х годах отошел от политической деятельности и сосредоточился целиком на истории, пытаясь отделить правду от легенд. Среди прочих книг — «Красный террор в России 1918–1923», которая была переведена на несколько европейских языков. В СССР книга вышла в 1990 году.

В послевоенные годы Мельгунов выступал против просоветских настроений в эмиграции, утверждал, что «Сталину нельзя верить», «надежда на мирную эволюцию власти, на мирное сожительство с красным самодержавием — утопия».

Сергей Петрович Мельгунов, можно утверждать, предтеча Солженицына с его «Архипелагом ГУЛАГ». Мельгунов прожил 76 лет. После его смерти жена подготовила к публикации «Воспоминания и дневники».

Нина Петровская: максималистка любви, экстремалка чувств

Известно, что основные потребители книг — женщины, читательницы, а они в основном любят что-то душещипательное, чувственное, романтическое, короче, «про любовь». А тут книга в основном грустно-печальная, об эмиграции, о беженцах, о чужбине. Но некоторые персоны могут явно заинтересовать слабый пол. И это не реклама. Это жизнь Нины Петровской.

Нина Петровская (март 1879, место рождения неизвестно — 1928, Париж). Прозаик, переводчица, мемуаристка, женщина драматической судьбы. Первая жена писателя Сергея Кречетова. Возлюбленная Валерия Брюсова. Крутившая роман с Андреем Белым, но об этом чуть позже. Первая половина жизни — литературные увлечения и стихия чувств. Вторая — эмиграция, нищета и роковой конец.

А теперь в ответ на крики из зала: «Давай подробности!» (кто не знает: это из песни Александра Галича). Начнем с внешнего вида:

«Вся в черном, в черных шведских перчатках,

с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. “Русская Кармен” назвал ее кто-то…» *(К. Локс. Повесть об одном десятилетии).*

«Нину Петровскую я знал 26 лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было известно: и в добре, и в злобе, и в правде, и во лжи — всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. “Все или ничего” могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само зародилось, а было привито эпохой.

…Петровская не была хороша собой Но в 1903 году она была молода — это много. Была “довольно умна”, как сказал Блок, была “чувствительна”, как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же — очень умела “попадать в тон”. Она тотчас стала объектом любвей…» *(В. Ходасевич. Некрополь).*

При жизни Нины Петровской вышел лишь один небольшой сборник ее рассказов. Готовился второй — «Разбитое зеркало», но помешала мировая война, потом революция. Как отмечал Андрей Белый: «Из Нины Петровской могло бы

выработаться действительно дарование, если бы она не относилась так пассивно к собственным художественным переживаниям».

Но она была такая. Для нее главным были интимные чувства и переживания. А уже потом литература. И свою жизнь Нина Петровская превратила, по существу, в «театр жгучих импровизаций». Она хотела получить от жизни максимум удовольствий и наслаждений. И неплохо бы найти своего Данте, чтобы стать Беатриче (это удалось лишь Лиле Брик), короче, взять от жизни все. Женщины такого типа нередко встречаются в России. И, как правило, все они терпят крах. Максимализм желаний не приносит ничего, кроме страданий (опять же, можно вспомнить «Мадам Бовари»).

Петровская, щупленькая брюнетка с маленьким носиком, повстречала чертовски красивого, златокудрого и голубоглазого Андрея Белого. Петровская запылала любовным огнем, а Белый искал только «вечную женственность», и его больше привлекала к себе мистика, чем плотская страсть. Заманить поэта в сети греха Петровской не удалось, и Андрей Белый, по его выражению, «бежал от соблазна». Сбежал от Нины Петровской. Рассерженная Петровская пыталась даже

убить Белого, но браунинг дал осечку…

После Андрея Белого место в сердце Петровской занял Валерий Брюсов. Пик их отношений пришелся на лето 1905 года, когда они вместе жили в Финляндии. Но и тут произошел облом. Нина писала Брюсову: «Я полюбила тебя с последней верой в последнее счастье». А для Брюсова их отношения были всего «мигом», прекрасным материалом для творчества. Брюсов отразил Петровскую в романе «Огненный ангел» в образе Ренаты, очень похожей на женщину-ведьму. Они расстались, но Петровская успела отомстить любовнику, приобщив его к наркотику. Сама Нина Петровская тоже страдала от алкоголизма и от наркозависимости.

В ноябре 1911 года она окончательно уехала из Москвы за границу в тяжелом нервном состоянии, поле чего в Россию уже не возвращалась. По существу это была не эмиграция, а поиски лучшей жизни на Западе, что также оказалось иллюзией. Жила в Риме, Мюнхене, Варшаве, Париже и с горечью писала Максиму Горькому: «За девять лет жизни без гроша в кармане я узнала там быт и людей и такие положения, которые никому не снились в золотые годы символизма». Один из написанных ею за границей рассказов

Петровская назвала «В стране любви и смерти».

Осенью 1922 года Петровская переехала в Берлин, кишащий русскими, сбежавшими из революционной России. В Берлине написала «Воспоминания», но была вынуждена закрыть берлинскую страницу свой жизни и весной 1927 года вместе с младшей сестрой Надеждой, умственно отсталой, перебралась в Париж. Случайные заработки и нужда.

Петровская, как отмечал ее давний друг Ходасевич, «дошла до последнего опускания и до последнего ужаса». 23 февраля 1928 года Нина Петровская (ей не было и 50) покончила с собой, отравившись газом…

В некрологе было отмечено, что «эта жизнь — одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции… одинокая и забытая — она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особенно несчастно».

«Бедная Лиза» у Карамзина. А тут бедная Нина. Истинно бедная. И это не «лав стори», а лав беда…

* * *

Еще одна фигура — **Илья Исидорович Фондаминский** (1879–1943). Не совсем писатель, но все

же писавший в своем журнале «Современные записки» под фамилией «Бунаков» довольно реакционные очерки «Пути России». Но главное другое: он помогал многим поэтам и писателям в эмиграции издавать книги. Богатый меценат, его жена Амалия Осиповна происходила из семьи чаеторговцев Высоцких. Сам Фондаминский числился эсером и даже одно время состоял в боевой организации. А в итоге в 1919 году в Париж.

В своем доме Фондаминский приютил Бориса Савинкова, который жил у него до отъезда в СССР. Постоянно квартировал и Владимир Зензинов, эсер, боевик, некогда влюбленный в жену хозяина дома, но Амалия Осиповна предпочла выйти замуж за Фондаминского. К удивлению всех знакомых, жили они вместе, втроем, причем, как ехидно заметила Берберова в своем «Курсиве», Зензинов ходил по ночам вокруг их спальни… Богатенькая Амалия Осиповна имела прислугу, лечилась на курортах и позволяла себе покупать танцоров — жигало за деньги. Соответственно, никаких эмигрантских тягот не испытывала.

Берберова рисует портрет Фондаминского: толстый, черный, не очень чистоплотный, с постоянной сладкой улыбкой на мясистом, плохо выбритом лице. По натуре весьма расчетлив…

Словом, Берберовой он был несимпатичен.

Итог жизни Фондаминского трагичен: во время оккупации он не захотел уехать из Парижа, считая, что «это не такая уж беда!». И оптимизм его подвел: арест в июне 1941 года и гибель в одном из нацистских лагерей.

Осталась только память об его энергии, деньгах и помощи многим писателям-эмигрантам.

* * *

Звучный псевдоним всегда лучше неблагозвучной фамилии. Поэтому Эллис, а не Лев Львович Кобылинский (1879, Москва — 1947, Локарно, Швейцария). Поэт, критик, переводчик. Окончил юридический факультет Московского университета. Теоретик символизма. Один из основателей издательства «Мусагет». В своих стихах умудрился совмещать бодлерианство с марксизмом. Написал ряд работ по истории русской литературы, трактуя ее преимуществен в религиозном аспекте. Пришел к католицизму и был пострижен в монахи иезуитского ордена, но это уже вне родины.

Ну, а в России Эллиса помнили совсем другим.

«Эллис незабывем и, как Андрей Белый, неповторим. Этот странный человек с остро-зелеными

глазами, белым мраморным лицом, неестественно черной, как будто лакированной бородкой, ярко-красными, «вампирными» губами, превращающий ночь в день, а день в ночь, живший в комнате всегда темной, с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешенного агитатора…» *(Н. Валентинов. Два года с символистами).*

«…маг из средневекового романа. Жил Эллис в бедности, без определенного заработка, от стихов к статье, делал переводы, не имел быта… Часто голодный, непрактичный, он обладал умом и блестящей речью. И был у него еще один талант… талант перевоплощения…» *(А. Цветаева. Воспоминания).*

«…суть его: заражать показом жеста: он был великим артистом, а стал — плохим переводчиком, бездарным поэтом, экс-марксист и т. д.» *(А. Белый. Начало века).*

Сам Эллис в стихотворении «Братьям-рыцарям» (1911) писал:

В сердце суровый обет пилигрима,
Крест на щите, на мече, на груди,
Сзади пустыня, там, впереди

Стены Иерусалима!..

О стихах Эллиса Гумилев говорил: «Темы его стихов интересны, переживания глубоки, но, чтобы справиться с ними, нужен большой талант, а у г. Эллиса его нет».

И все же Эллис — счастливый человек: он покинул Россию вовремя, задолго до революционных потрясений. С 1913 года жил в мирной Швейцарии, не испытывая никаких потрясений…

* * *

А вот совсем другая судьба. **Константин Оленин (1881,** Тамбовская губерния — где окончил жизнь и когда, неизвестно). Поэт. Учился в Петербурге на правоведа, но грянула революция — и какие правоведы, какое римское право?!. Только эмиграция, и Оленин начал скитаться по русскому зарубежью: Сербия, Париж, Польша. А потом в местечко Сарны пришла советская власть, и бедный Оленин сгинул в глухую сталинскую ночь. И как насмешка: Сталин любил стихотворение Оленина «Спите, орлы боевые!».

Сам Оленин — сплошные жалобы и мольбы:

Я готов целовать те ступени,
По которым я прежде ходил…

О, верните мне что-нибудь… тени…
Ну хоть призрак того, чем я жил…

* * *

Илья Сургучев (1881, Ставрополь — 1956, Париж). Писатель-реалист. Работал в различных жанрах: романы, рассказы, пьесы, очерки, воспоминания, статьи. Его пьеса «Осенние скрипки» была поставлена в Художественном театре и принесла автору всероссийскую известность. Сургучева считали продолжателем психологической драмы Чехова и Ибсена.

Октябрьский переворот застал Сургучева в Ставрополе; с войсками Врангеля он переехал в Крым, где издавал собственную газету. В 1920-м вместе с остатками Белой армии добрался до Константинополя. В 1921-м поселился в Праге, а в 1924-м переехал в Париж. Там много писал и печатал — эмигрантские рассказы, роман «Ротонда» и т. д. В Париже был избран председателем Союза русских писателей.

И особо хочется отметить незавершенную пьесу «Вождь» о Сталине, который в молодости, скрываясь от полиции, служил в доме отца Сургучева, разбогатевшего крестьянина, лакеем-

поваром. Отрывок из этой пьесы под названием «За чахохбили» публиковался в журнале «Грани» в 1954 году.

Под старость Сургучев занимался библиофильством, покупал иконы и антиквариат. Некоторые критики ставили Сургучева в один ряд с духовными наследниками Достоевского, Толстого и Чехова… А вот в этой книге он попал в третий ряд — несправедливо…

Может, Сургучев воздаяние получил в раю? Один из персонажей набоковского романа «Дар» перед смертью рассуждал: «Какие глупости. Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: «Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь».

Бурлюк – отец русского футуризма

Давид Бурлюк (1882, хутор Семиротовщина Харьковской губернии — **1967,** Лонг-Айленд, США). Поэт, художник, прозаик, критик, мемуарист, издатель.

Несколько воспоминаний:

«Этот толстяк, вечно погруженный в какие-то искания, в какую-то работу, вечно суетящийся, полный грандиозных проектов, — заметно ребячлив. Он игрив, жизнерадостен, а порою и простоват» *(А. Крученых. Наш выход)*

«…Себя считая, конечно, талантом, Бурлюк умел держаться во втором ряду. Он был подлинным “поваром искусства”. Плодовит он был необычайно и мог за день написать десяток картин и столько же стихотворений» *(В. Шершеневич. Великолепный очевидец).*

Ремарочка. Бурлюк-то держал себя во втором ряду, но волюнтарист Безелянский поместил его в третий ряд. И что? Будем спорить?

Вначале шуточное прозвище «отец русского футуризма» впоследствии оказалось нешуточным и вполне обоснованным. Давид Бурлюк — один из вождей русского художественного и

литературного авангарда, организатор выставок и диспутов, автор полемических статей, брошюр, листовок и манифестов. И еще — собиратель молодых талантов.

Как часто, деловит и плотен,
Персидский выпучив жилет,
Взметнув лорнет к больному глазу,
Оглаживая свой сюртук,
Цинизмом сдобренную фразу
Здесь расплетал Давид Бурлюк…

Так представлял Бурлюка Сергей Спасский. Цинизм во фразах, в стихах, в картинах — да, конечно, он был, но вот, что отмечал искусствовед Эрих Голлербах, автор первой монографии о Бурлюке: «В некоторых произведениях Бурлюка есть, если угодно, цинизм, — но он у Бурлюка — далек от пошлости. Цинизм — как бы наивность мудрости… Даже в нарочито примитивных своих вещах Бурлюк вовсе не так наивен, как это может показаться неопытному взгляду. Продолжая дешифровку привычных, но так часто ложно трактуемых терминов, назовем наивность цинизмом невинности».

Бурлюк считал, что «надо ненавидеть формы,

существовавшие до нас» и что главная цель искусства — новизна формы. И призывал «разгромить старое буржуазное “жречество”, мистиков, символистов, бульваристов, порнографистов и академиков».

Вот декларация Бурлюка:

«Футуризм не школа, это новое мироощущение. Футуристы — новые люди. Если были чеховские безвременцы, нытики-интеллигенты, — то пришли — бодрые, неунывающие… И новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением “учителей”, символистов».

А насмехаться футуристы умели.

Это серое небо
Кому оно нужно
Осеннее небо
Старо и ненужно, —

писал Бурлюк. В вышедшем в 1912 году альманахе «Пощечина общественному вкусу» Бурлюк солировал, а ему подпевали Хлебников, Крученых и Маяковский. В «Пощечине» провозглашались революционные принципы: «Гармонии — проти-вуполагается дисгармония… Симметрии — диссимметрия… Конструкции противуполага-

ется — дисконструкция…»

В одной из поездок по Сибири Бурлюку кто-то из публики задал вопрос: что будет потом? Бурлюк, нарочито гнусавя, ответил: «А потом котлеты с макаронами».

Потом пришла революция, и «первый истинный большевик в литературе», «отец российского пролетарского футуризма» оказался чуждым своей стране. И очутился в

Америке, где в 1930 году принял американское гражданство. Журнал «За пролетарское искусство» так «тепло» писал о Бурлюке в 1931 году: «Д. Бурлюк, который когда-то заявлял во всеуслышание: “поэзия — истрепанная девка, а красота — кощунственная дрянь”, дает серию картин безработных в Америке, тематически приближается к революционному искусству, а по существу продолжает все те же старые буржуазные традиции “ослиного хвоста” и “мишени”, традиции того течения, которому даже такой буржуазный идеолог, как Андрей Белый, дал весьма подходящее название “обозная сволочь”

Парадокс: советская Россия не любила Давида Бурлюка (эмигрант! — этим все сказано), а он любил свою покинутую родину и пропагандировал советское искусство, считая себя его представите-

лем «в стране хищного капитала».

«Если другие футуристы, особенно второй призыв, после революции и получили признание, — писал Бурлюк в 1929 году, — то я лично, волею судеб попавший на другие материки нашей планеты, продолжая всежильно работать на пользу страны Рабочих и Крестьян, моей великой революционной родины, никакого признания у себя на родине так и не видал, а унес в ушах своих начальный смех генералов и толстосумов и прихвостней так называемого «казенного искусства», щедро оплачиваемого правящими классами до самого октябрьского переворота. При таких обстоятельствах нельзя человека обвинять в некоторой нервности…»

От родины дальней,
От Руси родимой
Унес меня тягостный рок.

Но ностальгия не мешала Бурлюку плодотворно работать. Он активно участвовал в работе литературных групп «Серп и молот» и «Джон Рид клуб», издавал журнал «Цвет и рифма», писал книги, воспоминания, рисовал, на его счету около 30 персональных выставок на Западе, причем — и это следует отметить — в последние годы

Бурлюк рисовал в сугубо реалистической манере. Дважды (в 1956 и 1965 годах) приезжал в СССР.

Имена Маяковского и Бурлюка часто ставят вместе в пору их совместного футуристического прошлого. Но какие разные судьбы! Маяковский сделался ангажированным поэтом и изо всех сил пытался понравиться власти, запутался в своих любимых женщинах и в 36 лет окончил жизнь самоубийством. А великий и страшный футурист Бурлюк всю свою жизнь подчинялся только «безумным прихотям искусства» и прожил почти 86 лет, да притом с одной женщиной — Марией Еленевской (56 лет вместе!).

В старости Бурлюк оказался Афанасием Ивановичем, бережно охраняемым своей Пульхерией Ивановной, своей «мамочкой», как он ее называл, — Марией Никифоровной. И никакого трагизма. Давид Давидович оказался мудрым человеком. Буйная молодость и спокойная старость.

* * *

Михаил Цетлин, литературный псевдоним Амори **(1882,** Москва — **1945,** Нью-Йорк). Поэт, прозаик, критик, издатель. По молодости был эсером. Чтобы избежать ареста, в **1907** году эми-

грировал вместе с Марией Тумаркиной, с которой обвенчался во Франции в **1910** году. Мария Самойловна поддерживала все начинания Михаила Осиповича. Супруги жили во Франции и Швейцарии, много путешествовали. По одной из версий, у них были плантации чая на Цейлоне, — далеко не бедные эмигранты!..

Узнав о февральской революции, Цетлин вернулся в Россию, а после октябрьских событий предпочел снова уехать. В Париже Цетлины жили на широкую ногу, держали салон, в котором собиралось до 100 человек. Об этих сборах вспоминала Берберова в своем «Курсиве».

Как поэт Цетлин далеко не выдающийся, он обладал скромным поэтическим даром, но всегда громко заявлял о своей гражданской позиции. Его первый сборник (1906) был уничтожен цензурой. Много строк Цетлин посвятил России:

Я так стремился к тебе
И еле тебя узнаю:
Вдохновенную, мерзкую, злую, святую
И, быть может, только не ту, не мою,
А другую, другую!..

Цетлин — автор нескольких исторических романов, в том числе о декабристах и эпохе Николая

I, при котором Россия

…внутри развращена, больна,
Но миру робкому – пока
Ее недуг точил незримо —
Она казалась велика,
Безрадостна величьем Рима.

После вторжения Гитлера во Францию Цетлины эмигрировали в США, и там продолжалась литературная деятельность. Личные качества Цетлина: мягкость, доброжелательность, терпимость. Умер Цетлин, редактируя очередной номер «Нового журнала». Смерть литератора…

* * *

Александр Биск (1883, Одесса — 1973, погиб при пожаре в Нью-Йорке). Поэт и переводчик. В 1912 году в Петербурге издана его первая книга стихов «Рассыпанное ожерелье» (между прочим, Биск из семьи ювелиров). В 1919 году в Одессе изданы его переводы Рильке, и в том же году Биск эмигрировал в Европу, затем перебрался в США. Занимался переводами. Вот характерное для него стихотворение «Русь» (Варна, 1921):

Вот Русь моя в углу, киотом

Две полки в книгах – вот и Русь.
Склонясь к знакомым переплетам,
Я каждый день на них молюсь.

Рублевый Пушкин; томик Блока;
Все спутники минувших дней —
Средь них не так мне одиноко
В стране чужих моих друзей.

Над ними – скромно, как лампада,
Гравюра старого Кремля,
Да ветвь из киевского сада —
Вот Русь моя.

Отрывок из позднего стихотворения «Шварц» (1950) о том, как был выдуман порох:

…И вслед за мной, другие воскресят
Тысячекрат мой опыт Прометеев,
Пока, бесовским пламенем объят,
Не рухнет мир ханжей и Добродеев.
И там, на небесах, поймут тогда,
Что в людях меньше проку, чем вреда.

Сын Александра Виска — Ален Воске — стал известным французским писателем.

* * *

На год моложе Виска другой Александр — **Александр Браиловский** (1884, Ростов-на-Дону — 1958, Лос-Анжелес). Поэт, журналист, переводчик.

За участие в революции 1905 года был приговорен к высшей мере. Однако повешение заменили каторгой, откуда Браиловский бежал, был пойман и во второй раз приговорен к повешению. Совершил побег из камеры смертников — сюжет для Александра Дюма-отца. Жил в Швейцарии, Италии, Франции. Разочаровался в марксизме и революции и в 1917-м эмигрировал в Америку. Прижился в Нью-Йорке. Много печатался, в частности, издал книгу «Из классиков» — переводы из Данте, Шекспира, Марло, Леопарди и др. Писал лирические стихи, политические басни и пародии.

Жизнь пробежала, как в романе…
Проснулся: холод… тишина…
Деревья в снеговом тумане,
Над ними мертвая луна…
Часы нечаянно нащупал…
Блеснул холодный циферблат…

Не видно стрелок… Ближе к уху:
– Стоят…
Так, может быть, остановилось
Земное странствие души…
Но сердце билось, билось, билось,
Я слышал стук его в тиши…

А вот начало другого стихотворения Браиловского «Миражи»:

Когда сплывет ночная тьма
И дымный день в окошко глянет,
Меня неудержимо тянет —
Сойти с ума…
В ущелье зданий на веревке
По ветру треплется белье…
Гляжу на тесное жилье,
Неприспособленный, неловкий…
Уйти, укрыться… Но куда?..
Подальше от чужбин и родин!..
И вдруг, как яркая звезда,
Сверкнет благая весть: свободен!..

И в какой стране завершилась Свобода? Свобода от земных тягот…

* * *

От поэта — к поэтессе. **Любовь Столица** (урожденная Ершова, 1884, Москва — 1934, София). Ровесница Александры Толстой, только родилась не в писательской, а в купеческой семье, что в известной степени определило мироощущение поэтессы, тематику и стиль ее творчества.

Гимназию Любовь Столица окончила с золотой медалью, а далее Высшие женские курсы. Кто-то из современников заявил, что любит «ее легкий, глубоко русский стих». А Гумилев отмечал в ее творчестве «сюсюкающее сладострастие». В своей квартире на Мясницкой Любовь Никитична любила собирать гостей на собрание «Золотой грозди». «После ужина, в лоск пьяные, шли водить русский хоровод с поцелуями, с пеньем хором. Любовь Никитична, неистово кружась в сонме развевающихся пышных юбок и распустившихся волос, казалось, была готова отдаться, в буйном припадке страсти, всем присутствующим мужчинам» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).

Примечательны строки Столицы:

Да, тьму людской вражды, неправд, обид

Не побороть, как сил в себе ни черпай!..
...И вновь пойду я, мудро-весела,
В тот самый мир, что так мне ненавистен,

Навстречу жал и стрел, не помня зла.
И другие строки:

Светлые выси московские
Да Лик тот с чертами медвяными,
Ангела образ Рублевского —
Нет ничего их желанней мне.

Революцию Любовь Столица не приняла и в 1918 году уехала из Москвы, сначала на юг, а в 1920-м — за рубеж. Салоники, София. В эмиграции много писала, в том числе комедию из купеческого быта «Рогожская чаровница» (1928). Умерла Любовь Столица в расцвете творческих сил, не дожив нескольких месяцев до юбилейных 50 лет — 12 февраля 1934 года.

* * *

Что ни поэт, то судьба удивительная — повороты, перепады, провалы, взлеты, метания и страдания. Все это присуще **Илье Британу** (1885,

Кишинев — 1942, Париж).

Поэт сам описал свой жизненный путь в стихотворении «В семь лет уже не дитя…»:

Но скоро злая жизнь зажгла его грехами:

Восславил он разгул, пленил его порок;

Им проклят был Господь, и ночью в темном храме

Рука, сорвавши крест, нажала на курок.

Потом опять и книг, и жутких дум провалы.

В семнадцать он борец за вольность, он – Спартак;

Но скоро дух остыл: земной свободы мало…

«Мир минус Я есть нуль; мой ближний – он мне враг!»

В итоге метаний Британ покинул Россию: сначала Берлин, потом Париж. В 1942 году был расстрелян немцами как заложник. И вполне можно подверстать строки:

И покой, и отрада. И грусть, и забота,

—

Это было в России… Быть может, – в Раю…

* * *

Мелькают все нерусские фамилии: Биск, Британ, Бем… А кто такой Бем?

Альфред Бем (1886–1945). Литературовед. После революции эмигрировал в Чехословакию. Осел в Праге, преподавал в Пражском университете. Организовал Пражский Скит Поэтов — группу молодых русских поэтов-эмигрантов. Писал о Достоевском. Достойный человек этот Бем…

* * *

А кто знает Верещагина? Нет, не знаменитого художника, а его племянника — Владимира Верещагина, сына писателя Александра Верещагина, который, кстати, помогал брату-художнику Василию устраивать выставки в европейских столицах? Александр Верещагин сочетал военную карьеру с писательской. Его последняя книга — «Русские в Маньчжурии. Рассказы о последнем китайском походе в **1900** году». В **59** лет по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством. Сыну было 11 лет.

Итак, **Владимир Верещагин (1888** — после **1981).** Учился в Пажеском корпусе, но избрал литературную стезю. В годы Гражданской войны в Петрограде в Доме литераторов встречался с Блоком и Гумилевым. Не захотел повторения их судьбы и осенью **1922** года эмигрировал в Париж, где стал… профессиональным певцом. Но стихи писать не забросил. Выпустил книгу мемуаров «Из далекого прошлого». Она была опубликована, когда автору исполнилось **80** лет. Ну, и стихи, где явственно слышится голос Мнемозины. Вот стихотворение «У одинокого вокзала»:

…Я вдруг почувствовал так ясно,
Что никогда ты не придешь,
Что сердце ждет тебя напрасно,
Что жизнь обман, а счастье ложь.

Что наша песня отзвучала,
Как незаконченный мотив…
И уходил в лучах опала
В далекий путь локомотив.

А вот строки о кинематографе:

…Сеанс окончен. В зале тьма,
Все замолчало, опустело,

Как на экране синема,
Жизнь промелькнула… и сгорела.

Вездесущий Анненков – художник и литератор

Юрий Анненков (псевдоним — Борис Темирязев, 1889, Петропавловск-Камчатский — 1974, Париж). Художник, график, режиссер, литератор, мемуарист. Вездесущий Жорж. Современник вспоминает Анненкова как лысеющего франта с моноклем, подвижного и бойкого человека. «Жизнь ему вкусна», — отмечал К. Чуковский. «Жизненность, движение и ток современности — вот стихия Анненкова» *(М. Кузмин).* «Работоспособность его была изумительна, как и его продуктивность» *(И. Одоевцева).* «Его всегда влекло усесться одновременно на несколько стульев…» *(А. Бахрах).* Его предком был знаменитый декабрист И. Анненков, и только в 1892 году его семья вернулась из ссылки в Петербург.

Поступил Юрий Анненков на юридический факультет университета, а одновременно занимался живописью. В 1911 году поехал в Париж продолжать образование. Увлекся футуризмом и кубизмом. В 1913-м вернулся в Петербург и сотрудничал со многими изданиями, в том числе и

с «Сатириконом», занимался книжной графикой, ставил спектакли в кабаре «Приют комедиантов».

После революции оформлял революционные праздники, рисовал портреты вождей: Троцкого, Зиновьева и других, за что впоследствии был назван троцкистом. Уже после того как Анненков остался на Западе, в 1926 году был издан альбом «Семнадцать портретов» деятелей советской власти. Портреты Ленина, Тухачевского и Сталина, отвергнувшего свое изображение, в альбом не включены.

Весной 1924 года Анненков выехал в Венецию на интернациональную художественную выставку и в советскую Россию уже не вернулся. Заехал в Сорренто к Горькому и обосновался в Париже. На Западе Анненков развернулся вовсю: выставки, спектакли, премии, слава. В 1934-м вышла автобиографическая книга «Повесть о пустяках». В 1951-м — «Дневник моих встреч», которая в России была издана лишь в 1991-м. Юрий Павлович прожил 85 лет, похоронен в Париже. В целом счастливая жизнь, насыщенная творчеством.

А теперь несколько отрывков из «Дневника встреч» с подзаголовком «Цикл трагедий». В главе об Александре Блоке:

«…Но если в первые бешеные годы революции, годы поощряемой животной жестокости, поощряемого массового убийства, всяческого безнаказанного кровопролития и бесчеловечности во имя “блага человечества”, в годы поощряемого грабежа и вандализма — Блоку чудилась музыка, то для многих из нас революция тогда была еще только спектаклем, зрелищем. Все страшное, что обрушилось вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, казалось нам эпизодом; захватывающим, трудным, может быть — необходимым, даже погибельным, но несмотря на это — не более чем эпизодом. Сегодня нам в этом уже можно сознаться. Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро в ее первые годы мы ждали новых впечатлений. Мы были, по слову Осоргина, “свидетелями истории” — впрочем, довольно поверхностными: мы смотрели и слушали, не всматриваясь и не вслушиваясь, как к этому призывал Блок. И мы стали против революции лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сделалась для нас очевидностью. Или — в иных случаях — когда революция просто надоела нам, как может надоесть любое слишком затянувшееся зрелище.

Революция превращалась для нас в “окружающую обстановку”. Наша внутренняя жизнь по-прежнему была заполнена искусством. Искусство было для нас главным. Но революция социальная, материалистическая, хронологическая совпала с революцией в искусстве, и это совпадение способствовало ряду недоразумений и даже оказалось для некоторых из нас — художников и поэтов — роковым.

Если революция кончилась для многих из нас, когда ее эксцентричность и наше опасное хождение по проволоке над бездной сделались будничной ежедневностью, — для Блока революция умерла, когда ее стихийность, ее музыка стали уступать место “административным мероприятиям” власти…»

Сделаем перебивку и отметим, что в 1920 году Юрий Анненков принимал активное участие в организации массовых зрелищ под открытым небом — на стрелке Васильевского острова и на площади Зимнего дворца — «Гимн освобожденному труду» и «Взятие Зимнего дворца». Ну, и знаменательное и потрясающее графическое оформление поэмы Блока «Двенадцать».

Анненков в «Дневнике» вспоминает, как в октябре 1919 года Муля Алянский устроил ве-

черинку, посвященную Блоку. Стол украшал громадный форшмак из мерзлой картошки лилового цвета и вяленой воблы и три бутылки аптечного спирта. Пир горой, а затем все гости завалились спать, не раздеваясь, кто где мог (печурка-буржуйка давно погасла, и было холодно). Под утро нагрянул комиссар с милиционерами с проверкой документов.

— Не шумите, товарищи, — произнес Алянский, — там спит Александр Блок.

— Который Блок, настоящий?

— Стопроцентный!

Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:

— Этот?

Алянский кивнул головой. Комиссар улыбнулся и, сказав: «Хрен с вами!» — на цыпочках удалился со своими товарищами.

Был еще один любопытный пассаж времен военного коммунизма. Автор пишет:

«В области “пайковства” Блок оказался большим неудачником. В еще худшем положении находился Андрей Белый и, в особенности, Аким Волынский, исхудавший и изнемогший до чрезвычайности и, нищий, приютившийся в богадельне “Дома искусства”, в своем последнем

земном убежище. А был Волынский в то время почетным гражданином Флоренции (за свои труды о Леонардо да Винчи)… И мог бы получать в годы своих советских голодовок удивительный флорентийский бифштекс, болонский эскалоп, прослоенный пармской ветчиной с сыром, и прочие чудеса итальянской кухни за сущие гроши… Где, где?! Конечно, в Италии, если бы там жил Волынский!..»

«Многие из нас, впрочем, не жаловались, — продолжает свой рассказ Анненков. — Я получал общий гражданский, так называемый голодный паек. Затем “ученый” паек, в качестве профессора Академии художеств. Кроме того, я получал “милицейский” паек за то, что организовал культурно-просветительскую студию для милиционеров, где престарелый сенатор Кони объяснял основы уголовного права, а балерина обучала милиционеров пластическим танцам… Я получал еще “усиленный паек Балтфлота”, просто так, за дружбу с моряками, и, наконец, самый щедрый паек “матери, кормящей грудью” за то, что в родительном центре “Капли молока имени Розы Люксембург” читал акушеркам лекции по истории литературы…»

Так и хочется сказать: революция, но пайки,

привилегии… а как же всеобщее равенство и братство? Или по Шекспиру: все слова, слова, слова?!.

Ну а читателю пора расставаться с Юрием Анненковым и, если не надоело, продолжать читать Юрия Безелянского. Кого он там еще представил в своем третьем ряду?

* * *

Арсений Несмелов (настоящая фамилия — Митропольский. 1889, Москва — осень 1945, Гродековская пересылка около Владивостока). Поэт.

Участник Первой мировой и Гражданской войн. С армией Колчака отступал через Сибирь. В 1921 году Несмелов перешел советско-китайскую границу.

Иду. Над порослью вечернею
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
«Прощайте, знаю: навсегда!»

Жил в Харбине, печатался под псевдонимами, в том числе и под таким: тётя Розга. Был одним из очень немногих русских дальневосточных

поэтов, чье творчество вызывало интерес в Европе и в Америке. Писал прозу. Роман «Продавцы строк», к сожалению, полностью не опубликован. Многие книги были напечатаны в Китае, в том числе «Без России» (1931). В августе 1945 года Несмелов был схвачен группой СМЕРШ, где его ждала смерть. Прожил 56 лет.

Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
…Мы – умрем, а молодняк поделят —
Франция, Америка, Китай.

А вот строки из стихов о Харбине:

Как чума, тревога бродит, —
Гул лихих годин…
Рок черту свою проводит
Близ тебя, Харбин.

Взрывы дальние, глухие,
Алый взлет огня, —
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!

Мало воздуха и света,
Думаем, молчим,

На осколке мы планеты

В будущее мчим…

Добавим еще четыре строки — начало стихотворения «Флейта и барабан»:

У губ твоих, у рук твоих… У глаз,

В их погребах, в решетчатом их вырезе,

—

Сияние, молчание и мгла.

И эту мглу – о светочи! – не выразить…

* * *

Еще один удивительный эмигрант — **Владимир Дитерихс фон Дитрихштейн** (1889, Петербургская губерния — 1967, Милур, Франция).

Происходил из старинного дворянского рода, в генеалогическом древе — крестоносцы. А так русский поэт. Увлекался Сологубом и Блоком, был близок к Бунину.

Пошел по стопам отца, окончил кавалерийское училище и служил в лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. Воевал в Первую мировую войну. Монархист по убеждениям, однако свою книгу стихов в 1917 году назвал неожиданно: «Тихая

свирель». Последняя книга в России — «Кавалерийское кочевье». Воевал за белых. А дальше эмиграция, жил на севере Франции, последние годы провел в Бельгии в деревенской глуши. Жена Бунина Муромцева назвала Дитерихса «милым и блаженным человеком из ушедшего мира». Ему все время снилось прошлое:

Со стен глядят фамильные портреты,
Я узнаю знакомые черты.
Вы в жизни были милые эстеты,
Поклонники бессмертной красоты.

В глухом поместье жили старым строем,
Свидетели российских славных дел.
Объятый вашим благостным покоем,
Приемлю просто горький наш удел.

Действительно, горький удел — без боевого коня лейб-гвардии, да еще на чужбине, без поместий, слуг и фамильных портретов. Остается только вспоминать и вспоминать:

В безмолвии вечера снова Былое встает в полумгле…

Еще одна судьба с причудливыми поворотами и неожиданными изгибами.

Владимир Львович Корвин-Пиотровский (1891, Белая Церковь — **1966,** Лос-Анджелес, США). Разумеется, дворянин. Но главное — поэт, драматург (сб. пьес «Беатриче»).

В период Первой мировой войны — артиллерийский офицер, в Гражданскую — сражался на стороне белых. С 1920-го в эмиграции. В Берлине работал таксистом, встречался с Романом Булем и «любил поговорить о древнем роде Корвиных, напомнить о венгерском короле Матвее Корвине (1478) и о “правах” его, Владимира Корвина, на венгерский престол». Крутил тем временем руль авто, писал стихи и входил в литературный кружок «Веретено» вместе с Г. Струве, Сириным (Набоковым) и др.

В 1939 году Корвин-Пиотровский переехал в Париж. В годы Второй мировой войны — участник Сопротивления, просидел 10 месяцев в гестаповской тюрьме и чудом остался жив, несмотря на вынесенный ему смертный приговор. Позднее об этом времени написал стихи:

Но, рабством длительным наскуча,
Я углем на стене тайком
Рисую море, лес и тучу,
Ладью на берегу морском…

Морской лазурью воздух тронут,
Кипит веселая корма,
И в белой пене тонут, тонут
Окно, решетка и тюрьма.

После войны Корвин издал сборник «Воздушный змей» (1950) и стал, как Ладинский, Вадим Андреев и некоторые другие, «советским патриотом». Печатался в просоветских изданиях, поговаривал о возвращении на родину. А в итоге — переехал в США, много печатался в «Новом журнале». Умер от болезни сердца в Калифорнии, в 75 лет. Вот начало одного из стихотворений (1937):

Когда с работы он идет,
Устало разминая ноги,
Когда у стойки пиво пьет,
Бранит погоду и налоги, —

Кто в резких бороздах чела
Отыщет след страстей мятежных?
Кто в черноте одежд небрежных
Узнает тусклый след крыла?

Увы, над гулкой бездной мира

Тысячелетия прошли,
Изгнанник вольного эфира
Стал пленным пасынком земли…

И вот еще удивительные строки, — исторические и любовные одновременно: польский город Самбор… «Мазурка до хрипа, до смерти и эти / Признанья летающих рук…»

Не надо, не надо, – я знаю заране, —
Измена в аллее пустой, —
Струя иль змея в говорливом фонтане
Блестит чешуей золотой.

Ночь музыкой душит – и флейты, и трубы,
В две скрипки поют соловьи,
Дай сердце, Марина, дай жаркие губы,
Дай легкие руки твои.

Сад гибелью дышит, – недаром мне снится
Под бархатной маской змея, —
Марина, Марина, Марина, царица,
Марина, царица моя.

Мать Мария – истинная христианка XX века

Мать Мария (Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко. 1891, Рига — 1945, Равенсбрюк, фашистский концлагерь). Поэт, публицист, общественно-религиозный деятель.

Героическая женщина с драматической судьбой. Входила в «Цех поэтов», дружила с Ахматовой, посещала «Башню» Вячеслава Иванова, написала статью «Встречи с Блоком» — это первая часть жизни. А вторая связана с политикой: член партии эсеров, городская голова Анапы, в 1919 году вместе со вторым мужем, Скобцовым-Кондратьевым, казачьим деятелем, эмигрировала из России. С 1923 года жила в Париже. Помимо литературной деятельности вела миссионерскую и просветительскую работу среди русских эмигрантов.

В 1932 году после церковного развода со Скобцовым стала монахиней, приняв при постриге имя Мария, после чего, печатаясь, подписывалась: мать Мария. В 1937 году вышел сборник религиозной поэзии «Стихи». Основала в Париже центр

социальной помощи — братство «Православное дело». На улице Дурмель оборудовала церковь. Многое делала сама, своими руками…

Третья часть жизни: оккупация Парижа. Во время массового еврейского погрома 1942 года, когда тысячи евреев, включая детей, были загнаны на стадион, мать Мария пробралась туда и спасла нескольких детей.

В статье «Размышления о судьбах Европы и Азии» (1941) мать Мария писала, что во главе избранной «расы господ стоит безумец, параноик, место которому в сумасшедшем доме, который нуждается в смирительной рубашке, в пробковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной».

Мать Мария была арестована 9 февраля 1943 года и отправлена в лагерь. 31 марта 1945 года погибла в газовой камере. Ее последние годы и дни описаны во многих книгах. Приведу лишь ее прощальные слова:

«Мое состояние — это то, что у меня полная покорность к страданию, и это то, что должно со мною быть, и что, если я умру, в этом я вижу благословение свыше».

В 1947 году вышел посмертный сборник «Стихотворения, поэмы, мистерии». Стихи матери

Марии, как и все ее деяния, «вулканического» происхождения, при чтении их чувствуется порою как бы некий жар «неостывшей лавы».

Из громадного блока воспоминаний о ней приведем только одно:

«…Пострижение Елизаветы Юрьевны в монашество не вызвало в эмигрантском Париже сенсации — только некоторое удивление, недоумение… Е.Ю. легко стала именоваться матерью Марией, а Елизавету Юрьевну легко и естественно забыли… Широкая, длинная ряса (восклицание м. Марии: “девять аршин пошло!”), апостольник с завязками на затылке, четки в руках вместо папиросы, добродушные, “бабушкины” стальные очки вместо беспокойно взлетающего на переносицу пенсне… Но то же веселое лицо, та же умная улыбка, и по-прежнему разговорчива, бодра и оживлена. Однако есть что-то иное, новое… Гармония спокойной силы в манере себя держать вместо былой несколько суетливой бурности. Явно она нашла для души своей соразмерную ей форму и потому казалась соразмерной и устроенной» *(Т Манухина. Монахиня Мария).*

И в заключение немного стихотворных строк:

Ты по-разному откинул всех, —

И душа в безлюдье одинока.
Только Ты и я. Твой свет, – мой грех,
Прах мой, – Твое солнце от Востока.

Это всё. Зачем еще блуждать?
Никуда не уведут блужданья.
Всё должна была я покупать
Полновесным золотом страданья.

Уплатила я по всем счетам
И осталась лишь в свободе нищей.
Вот последнее, – я дух отдам
За твое холодное жилище…

Мать Мария шла к своей доле спокойно и уверенно, без каких-либо колебаний:

И мне блаженный жребий дан, —
В изодранном бреду наряде.
О Русь, о нищий Ханаан,
Земли не уступлю не пяди.

Я лягу в прах, и обземь лбом.
Врасту в твою сухую глину.
И щебня горсть, и пыли ком
Слились со мною в плоть едину.

Мать Мария мечтала: «Я поеду после войны в Россию — нужно работать там, как в первые века христианства…»

С этой мечтой и покинула белый свет…

* * *

Константин Мочульский (1892, Одесса — 1948, Камбо, Франция). Литературовед и критик. Предки — священнослужители. Мать — гречанка. Мочульский окончил Петербургский университет. В Саратовском университете преподавал курс французской литературы. В 1919 году российский приват-доцент эмигрировал в Болгарию и уже учил студентов в Софийском университете. С 1922 года читал лекции в Париже на русском отделении Сорбонны. Много печатался. Жил в одиночестве. В период оккупации Парижа преследовался нацистами. Скончался от туберкулеза во Французских Пиренеях в возрасте 56 лет.

Отвлекаясь от Мочульского, скажу, что я, как и Константин Васильевич, одержим созданием портретов-биографий русских писателей. Что касается Мочульского, то он написал о многих: Ахматова, Гумилев, Кузмин, Сологуб, мать Мария, Мандельштам и т. д. Популярной стала его книга «Великие русские писатели XIX века: Пушкин

— Лермонтов — Гоголь — Достоевский — Толстой» (1939). И отдельная книга «Духовный путь Гоголя».

В книге о Достоевском (1947) Мочульский писал, что для современников Достоевский был только проповедником гуманности, певцом униженных и оскорбленных. Между тем если Тургенев, Гончаров, Толстой эпически изображали незыблемый строй русского «космоса», то Достоевский кричал, что этот «космос» непрочен, под ним шевелится хаос, он один говорил о надвигающихся на мир катастрофах. Его пророчества были восприняты лишь в XX веке, когда в Достоевском увидели «не только талантливого психопатолога, но и великого религиозного мыслителя», воспринимавшего историю в свете Апокалипсиса. Самое важное у Достоевского — погружение в глубины подсознания, его прозрения…

Книга Мочульского о Достоевском вызвала наибольший интерес, ее перевели на многие языки.

* * *

Анна Присманова (настоящая фамилия Присман. **1892,** Любава — **1960,** Париж). Поэтесса, прозаик.

С 1918 года жила в Петрограде, в 1922-м эми-

грировала — Берлин, Париж. Вышла замуж за поэта Александра Гингера. В эмиграции пришла к осознанию, что «настоящее время… не кажется жизнью», это «толща воды», сквозь нее «не услышат: кричи не кричи». Лирическая героина Присмановой страдала от одиночества «заклеванных сердец»: «О, пожалейте нас: мы так одни, / что настоящее нам незнакомо…» Написала лирическую повесть «Вера», посвященную столетию Веры Фигнер. Тема: слияние слова и дела.

Сияют лампы письменных столов
(так нам струя сияла бы в пустыне).
Как мало стало путеводных слов,
как мало звездочетов стало в мире!..

Был ли звездочетом ее муж **Александр Гингер (1897–1965)?** Какой звездочет?! Жил «в мире наших ужасных волнений, / в мире яда в чугунном бреду…». Гингер сознательно отошел в сторону, чтобы уступить дорогу Присмановой. Не звездочет, а рыцарь. Завещал похоронить себя по буддийскому обряду…

* * *

Юрий Терапиано (1892, Керчь — 1980, Ганьи,

Франция). Поэт, прозаик, критик, переводчик, журналист, мемуарист. Автор 12 книг, из них 6 — лирика.

Терапиано (не итальянские ли корни?) учился в классической гимназии, окончил Киевский университет. Сражался в Белой армии. «Почему не убит», — писал Терапиано в стихах:

Я бы слышал грохот пред концом,
Я лежал бы в запыленном платье.
С бледным и восторженным лицом…
Преданный и верный до конца.

Вместо смерти в бою — эмиграция в Константинополь. А затем Париж — до конца дней. Как поэт был близок к акмеистам. Возглавлял организованный им Союз молодых поэтов и писателей. Составил антологию зарубежной поэзии «Муза диаспоры».

В творчестве Терапиано преобладают религиозно-философские мотивы. Свое «Я» поэт рассматривает через триаду Любовь — Время — Вечность.

Сияет огнями Париж,
Кончается нежное лето,
Луна над квадратами крыш

Ослепла от яркого света.

Все то же: шуршание шин,
Автобусов грузных стремленье,
Прямых быстроходных машин
Холодное щучье скольженье.

В Полях Елисейских, в раю,
Во сне золотом и хрустальном,
Свое я с трудом узнаю
Лицо в отраженье зеркальном…

И эмигрантская тоска:

Снова ночь, бессонница пустая —
Час воспоминаний и суда.
Мысли, как разрозненная стая,
В вечность улетают навсегда…

В стихотворении «Россия! С тоской невозможной…» Терапиано восклицал:

Люблю тебя, проклинаю,
Ищу, теряю в тоске.
И снова тебя заклинаю
На дивном твоем языке.

Один и тот же эмигрантский набор: Россия,

снега, метели… А что имелось вместо этого?

Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, и я
Осчастливлен, как подарком,
Продолженьем бытия.

С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.

И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к нам,
Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

Время всего лишь «занавесочка»? Пишешь стихи и отодвигаешь рукой?

Писать стихи совсем не весело.
И отчего так сердцу больно?

Что, муза, голову повесила
И чем сегодня недовольна?

А соловьи поют по-прежнему,
И те же розы и закаты,
И тот же след по полю снежному,
Которым все мы шли когда-то…

Юрий Константинович Терапиано — долгожитель, прожил 87 лет. Умер 3 июня 1980 года в приюте, в Русском доме в Ганьи, где жила и Ирина Одоевцева.

Из-за своего белогвардейского прошлого в советскую Литературную энциклопедию не попал — ни в основной том, ни в дополнительный (1978). Там, где он должен был быть указан, — советский критик Леонид Теракопян со своими социалистическими публикациями «Дыхание жизни» и «Пафос преображения». Ничего подобного нет у Терапиано. Он не социалистический, а жизненно реалистический. И в одном из своих стихотворений громогласно заявил, что ему не по пути с модными советскими поэтами:

Мне что ж, с Евтушенко кричать о кубинском притоне,
О Мигуэлях и Кастро, поверивших в

СССР,

Иль на футуристическом саксофоне

Чертить с Вознесенским параболы огненных сфер?..

Нет, у Терапиано были свои темы. Своя история. И свой мелодический голос, идущий из глубин Серебряного века.

* * *

Нина Бродская (1892, Киев — **1979,** Франция?). Художница и поэтесса. Училась в Берлине, в Строгановке в Москве. Эмигрировала из Киева. Жила с сестрой Ольгой в Берлине, оформляла «Гамлета» в постановке Макса Рейнгардта. Входила в группу русских поэтов. Единственный поэтический сборник — «Напролет» **(1968).**

Нам, пощаженным, нам, полуспасенным,

нам, полусытым – позор.

Грозы – другим, но удушие – всё нам:

жуть междугрозий и нор.

Мы убегали от красных и бурых

и прибежали – в тупик.

Не уберечь ни души нам, ни шкуры.
Ужас настигнет. Настиг.

Мы отреклись от былого, смирились,
хлебом чужбины живя.
В памяти мы схоронили России
ветры, напевы, поля…

Всё за обманчивый призрак покоя,
непринужденья, труда…
Больше теперь не прошу ничего
я и не бегу никуда.

Что мне осталось, проси, не проси я,
пусть разорится дотла…
Только б Россия, Россия, Россия,
только б Россия жила.

(Тулуза, 1941)

Россия — как заноза в сердце. Саднит. Или круче — бомба замедленного действия.

* * *

Что ни эмигрант, то — зигзаг судьбы! **Василий Сумбатов** (1893, Петербург — 1977, Ливорно).

Князь, потомок древнего грузинского рода,

«давно обрусевшего», как сам Сумбатов отметил в автобиографии.

Учился в кадетском корпусе, служил в действующей армии. В 1920 году эмигрировал и обосновался в Риме, где прожил 40 лет. Работал рисовальщиком для Ватикана, дизайнером по тканям и костюмам на киностудии, преподавателем русского языка и в русском книжном магазине, где в одном лице совмещал обязанности директора, продавца и уборщика. Не княжеское это дело? Но кушать-то хочется…

Стихи князь Сумбатов писал с 12 лет. Первая книжка вышла в Мюнхене в 1922 году, последний сборник «Прозрачная тьма» в Ливорно в 1969-м. Поэт-визионер. «Читая его стихи, невольно вспоминаешь таких поэтов, как Фет, даже Случевский», — отмечал кто-то из критиков.

Ахматова, Иванов, Мандельштам —
Забытая тетрадь «Гиперборея» —
Приют прохожим молодым стихам —
Счастливых лет счастливая затея.

Сегодня я извлек ее со дна
Запущенного старого архива,
Иль сорок лет – еще не старина?

И уцелеть средь них совсем не диво?..

«Октябрь. Тетрадь восьмая.

Девятьсот Тринадцатого года...» год заката,

Последний светлый, беззаботный год.

Потом – не жизнь, расправа и расплата.

Тетрадь – свидетель золотой поры,

Страницы, ускользающей от Леты,

Раскрыл, читаю, а глаза мокры:

Как молоды стихи! как молоды поэты!

И как я стар! Как зря прошли года!

Как впереди темно и как пустынно сзади!

Как жутко знать, что от меня следа

Никто не встретит ни в какой тетради.

Если позволено обратиться к ушедшим, то обращусь. Уважаемый Василий Александрович, след от ваших стихов остался, и не сомневайтесь по этому поводу. Знатоки знают и читают, хотя их, конечно, осталась горстка. Особенно ценно то,

что в период конца империи и переименования Петербурга вы верили, что

Ты имени лишен, но Всадник Медный
Руки не опустил, – придет пора, —
Разгонит он рукой туман зловредный
И впишет вновь на картах: град Петра.

Так оно и произошло: никакой не Ленинград, а именно Петербург. И как восклицал другой поэт, тоже слегка хлебнувший горького эмигрантского напитка Николай Агнивцев (о нем расскажем позже):

Ужель в скитаниях по миру
Вас не пронзит ни разу вдруг
Молниеносною рапирой —
Стальное слово «Петербург»?

Ужели Пушкин, Достоевский,
Дворцов застывших плац-парад,
Нева, Мильонная и Невский
Вам ничего не говорят?..

В изгнании, на чужбине, «на острове моих воспоминаний» (Тэффи) петербуржцам снился Петербург, москвичам — Москва. Ну а мне, не

эмигранту, жителю Москвы, живущему там, где я родился, часто снится… Париж. Где мы были с женой несколько раз и даже две недели подряд жили на чудесном острове на Сене…

О Пари!.. «Возникали, словно чудо, Тюильри, Шанз-Элизе» (Вл. Корнилов).

Мы все грезим об утраченном, о том, куда нельзя уже возвратиться…

* * *

Илья Зданевич (1894, Тифлис — 1975, Париж). Искусствовед, график, поэт, прозаик. Правнук сосланного на Кавказ польского аристократа. Из семьи преподавателя французского языка. Учился в Петербургском университете. Увлекался футуризмом, переписывался с мэтром футуризма Маринетти. Открыл миру картины Нико Пиросманишвили.

После Февральской революции протестовал против идеи А. Бенуа о создании министерства изящных искусств как попытки «захватить заведование искусством». В октябре 1920 года выехал во Францию с разрешения грузинских властей для ознакомления с новыми течениями в искусстве. Пытался осуществить связь с поэтами и писателями, жившими в СССР и в эмиграции.

Организовал в Париже балы в честь Маяковского и Крученых. Его роман «Восхищение» (1927) был отвергнут в Москве из-за мистики и издан в Париже. Зданевич обиделся: «Восхищение не есть мистика, это чувство революционное…»

После непродолжительной работы переводчиком в советском полпредстве, стал художником по тканям и впоследствии директором фирмы. Женился на натурщице Аксель (Симона Брокар), затем на нигерийской принцессе Ибиронке, арестованной правительством Виши и отправленной в концлагерь. Сам Зданевич не пострадал.

Привлекался к оформлению книг таких знаменитостей, как Пикассо, Шагал, Матисс, Дерен, Леже… В 1968 году женился на художнице-керамистке Элен Дуар и сам занялся керамикой. Разносторонний, увлеченный творчеством человек, по существу не знавший тягот эмиграции.

И оценка современника:

«…Надо сказать, Зданевич был последовательным отрицателем. Именно в этом он себя находил. Когда впервые военные месяцы германские пушки грозили Реймскому собору, Зданевич ходил именинником. Хорошо, что уничтожают старье. Он действительно лично был доволен.

Даже готовил какой-то манифест, приветствовавший подобный акт.

Единственно, что признавал он кроме себя, — несколько друзей своих, левых художников. Возможно, вообще он поэзию не любил, отдавая предпочтение живописи…» *(С. Спасский. Маяковский и его окружение).*

Суровая оценка современника. Но — «лицом к лицу лица не увидать…», как справедливо заметил Сергей Есенин. И сегодня многие негативные оценки поменяли минус на плюс. И вот совпадение: во время завершения этой книги, в январе 2016 года в Москве, в Музее изобразительных искусств им. Пушкина открылась первая в нашей стране ретроспективная выставка Зданевича — «Ильязд. XX век Ильи Зданевича». И ее посетители узнали, что далекий футурист Ильязд дружил с такими корифеями, как Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Хоан Миро, и они иллюстрировали его книжки, выходившие, правда, крошечными тиражами. Книжки с разными текстами: сонеты, драмы, статьи о футуризме. Нетрадиционные и замысловатые, как танец жизни их автора Ильи Зданевича.

* * *

Владимир Вейдле (1895, Петербург — 1979, Париж). Историк искусства, публицист, культуролог. И поэт. Единственный сборник стихов «На память о себе» (1979) вышел посмертно.

Вейдле окончил историко-филологический факультет университета. С 1918 года профессор Пермского университета, с 1920-го — преподаватель истории искусства в Петрограде. Побывал в Берлине, а в июле 1924 года эмигрировал окончательно. В 20–30 годах жил с семьей в бедности. В 1932–1952 годах — профессор христианского искусства в парижском Богословском институте. В церковь пришел под влиянием о. Сергия Булгакова. Был близок с Ходасевичем: «Лучшего друга у меня не было». Ходасевич называл его Вейдличкой.

Вейдле — эрудит. Владел многими европейскими языками. Писал свои статьи на русском и французском. Оставил большое наследство, в том числе книгу «Умирание искусства» (1937). Считался крупнейшим критиком в русской эмиграции.

Вейдле был непримирим к коммунистической власти:

«И точно так же, пять букв или четыре наклеить на живую плоть — это значит не имя ей дать, это значит украсть у нее имя. Нет, Россия не то самое, что зовется СССР. Так зовется лишь мундир, или тюрьма России».

Большевики, прервав греко-христианскую преемственность, заставили Россию обратиться к Европе, как писал Вейдле, «своей азиатской рожей». Исторически задача российского будущего, в которое Вейдле не переставал верить, определялась тем, что Россия должна заново осознать себя Россией и Европой, «это будет для всех русских, где бы они ни жили, где бы ни умерли они, возвращением на родину».

СССР исчез, сгинул с исторической арены. Вернулась Россия, но, увы, не такой, о какой мечталось Владимиру Васильевичу Вейдле. Европа по-прежнему для нас не пример, а пропагандистское пугало и исчадие ада…

Но Вейдле не только историк искусств, публицист, он еще и поэт. Только поэт может написать такие строки:

Зачем, рассудок беспокоя,
Гадать, что ближе, свет иль тьма
Когда от запаха левкоя

Мне так легко сойти с ума.

А вот «Стихи о стихах»:

Неназываемое нечто,
Слиянье правды и мечты,
Того, что – тлен, того, что вечно,
Того, что – ты и что – не ты.

Почудилось, – и вот уж начат
Двуличных слов набор, отбор,
Так, что гляди, да и заплачут
Твоим слезам наперекор.

Извилисто, молниеносно,
В разбивку, исподволь, навзрыд,
И неспроста, и «ах, как просто»,
Шажок – стежок – открыт – прикрыт.

Подшито, выверено, спето.
Ну что ж, зови. Подай им весть.
Пусть верят на слово, что это
Как раз то самое и есть.

А как вам утверждение Вейдле о том, что -

Умирать надо в бедности. Иль ты мнишь, что семь тысяч

Книг побегут за гробом твоим при выносе тела?

А тетради свои, все писанья сожги: так вернее и проще.

Доживай свои дни в состраданье, в смиренье,

и Бедность,

Смерти подруга, без зова придет за тобой

и с тобой пребудет навеки.

Владимир Вейдле, человек ренессансного склада, кавалер Ордена литературных заслуг (за свои французские книги), ушел из жизни 5 августа 1979 года, в возрасте 84 лет, при высокой культуре и нарочитой бедности.

Майя Кудашева: шпионский роман

В русской литературе присутствуют две Кудашевы. Одна — Раиса Кудашева, автор детских стихов, в том числе и хрестоматийных «В лесу родилась ёлочка…». А еще Мария Кудашева, как ее представили во втором томе «Серебряного века», в портретной галерее культурных героев XIX–XX веков: «Поэтесса (сочиняла по-русски и

по-французски), переводчица, жена Р. Роллана. Адресат лирики Вяч. Иванова».

На этом можно было бы поставить точку: была такая **Мария Кудашева** (в быту ее называли Майей), урожденная Кювилье (1895–1965).

Казалось бы, скромная эмигрантка: увлеклась иностранным писателем и вышла за него замуж, жила за рубежом. Но при каких обстоятельствах уехала? И кем на самом деле была Мария Кудашева? Это почти детективная история и одновременно любовно-шпионский роман. Поэтому я решил разбавить им наш немного монотонный перечень (список, свиток) эмигрантских имен.

С чего начать? Начнем с воспоминаний Евгении Герцык о том, что рассказывал Максимилиан Волошин ее сестре, Аделаиде Герцык. К нему пришла «совсем девочка с нерусским личиком и прочла ему свои искусные по форме французские стихи. Он пленен ею. “Нет, вы непременно должны послушать ее!” И вот Майя Кювилье у нас и стала частой гостьей. Хрупкая, детская фигурка, прямые, падающие на глаза волосы, в глазах — нерусская зрелость женщины. Не от того ли эта двойственность в существе Майи, в уме ее, то поражавшем сухой трезвостью, то фантастически дерзком, что к французской крови

примешивалась в ней русская? У нее были какие-то основания думать, что ее отец мичманом погиб при Цусиме, но мать — с юности гувернантка в разных русских семьях — почему-то не соглашалась назвать ей его имя… В спущенных уголках губ горькая черточка разочарования, неверия. А вела себя чисто по-детски: плененная поэзией Вяч. Иванова и внезапно влюбившаяся в него самого… Потом начался у нее другой роман…» *(Е. Герцык. Воспоминания).*

А вот что рассказывал другой свидетель, С. Шервинский:

«Когда мне было лет двадцать, у меня был юношеский роман, то, что называется amitie amoureuse, с Майей Cuviler.

…Она была очень талантлива, очень умна, очаровательна с ее приятным французским и русским говором, с зелеными глазами, сухими, четко очерченными губами, замечательно правильным, точеным носом и невероятно кудлатой головой. Стриженые волосы у нее росли во все стороны, так что она всегда, и зимой, и летом, обвязывала голову каким-нибудь легким шарфом, скрывающим ее волосы. Она пропала у меня из виду очень давно, но ее внешний образ и голос я помню как сейчас».

Один из публикантов жизни Марии Кудашевой Вольф Седых нашел кое-какие биографические подробности из жизни нашей героини. Ее мать, француженка Мека Кювилье, служила гувернанткой в Москве в семье одного русского полковника и, как это частенько бывало в подобных ситуациях, родила от него дочь Марию. Полковник был, естественно, женат и имел кучу собственных детей, поэтому девочку крестил конюх полковника и в свидетельстве о рождении была сделана запись: «Мария, урожденная Михайлова». Первое время нежданная девочка воспитывалась в московском доме, а потом отправлена (точнее: сплавили) во Францию, к сестре ее матери. Через энное количество лет она вернулась в Россию вполне сформировавшейся: свободно владела французским языком, была начитана и увлечена литературой. В Москве быстро вошла в литературную среду и перезнакомилась со всеми «серебристами», от Андрея Белого до Марины Цветаевой.

А дальше поворот колеса фортуны, и Майя вытянула удачный билет: вышла замуж за князя Сергея Кудашева.

Мезальянс, конечно, но юный князь не смог устоять перед чарами русской француженки. А

Майя? «Вызывало сомнение, — пишет Евгения Герцык, — сам ли Сережа Кудашев, титул ли влек Майю? Мы не видели их вместе, и нас не было в Москве летом, когда они обвенчались с ним, уже призванным в армию».

В 1917 году, в разгар Февральской революции, у них родился сын Сергей, а потом грянул грозовой Октябрь и разразилась Гражданская война. Князь, естественно, был в рядах белых, но погиб не от пули со стороны красных, а от сыпняка. Эпидемия сыпного тифа тогда косила всех без разбора — и красных, и белых.

Ситуация: идет война, 23-летняя вдова с малышом на руках мечется в поисках крова и хлеба. И вновь удача: два лета она проводит в Крыму, в Коктебеле, у Макса Волошина, который посвящает ей стихи «Я наваждением твоим и зноем солнца ослеплен…». Коктебель — прекрасно, но Кудашева рвется в Москву и при первой же возможности туда возвращается, к родственникам погибшего князя, в дом на Сивцев Вражек. Устраивается на работу в Академию художественных наук, занимается переводами с французского. Один из ее переводимых поэтов, Жорж Дюмель, сообщает Ромену Роллану о том, что вот-де, в Москве существует прекрасная переводчица. То

есть Ромен Роллан впервые о Майе узнал из письма своего друга. Майя же излагает свою версию:

«Я первая написала Роллану. Я вовсе не была в него влюблена сначала, я полюбила Жана-Кристофа… Через несколько лет перечитала “Жана-Кристофа”, и я вдруг увлеклась автором».

Вот так вот «вдруг», в старого писателя, лауреата Нобелевской премии. В 1928 году Ромену Роллану было 63 года, «он был уравновешенным французом, а я была сумасшедшей русской (французы считают русских сумасшедшими)… Когда-то он мне сказал: “Я люблю опасные характеры”.

Майя посылала письма маститому писателю, а он, по ее словам, «сначала защищался, писал, что у него семья. Но потом написал: «Я хотел бы, чтобы ты приехала». Но у меня не было денег, паспорта и визы. Роллан сказал, что деньги он пришлет, а паспорт поможет оформить Максим Горький…».

И Кудашева приехала в Швейцарию, потом еще раз, а «в 1931 году он меня у себя оставил», сломив сопротивление родной сестры Мадалены.

В 1934 году Мария (Майя) Кудашева стала мадам Роллан и поселилась в доме мужа в швейцарском городке Вильневе. Многие тогда в Европе пожимали плечами, когда речь заходила об экс-

травагантном браке сорокалетней взбалмошной русской и семидесятилетнего французского писателя, которого называли «совестью века». И еще деталь: сын Марии Сергей Кудашев стал названным сыном Роллана. Писатель его искренне любил. Но лейтенант Красной Армии Сергей Кудашев героически погиб в первый же год Отечественной войны…

К совместной жизни Роллана с Кудашевой мы еще вернемся, а пока отметим, что поначалу в советской печати история их взаимоотношений подавалась исключительно в романтическом ключе: «Однажды влюбленная в литературу молодая женщина из далекой России написала письмо Ромену Рол-лану, и это изменило жизнь обоих». Как все прекрасно и чистенько, и никаких пятен!..

Однако жизнь иная, более сложная и грубая, а зачастую имеет и свои тайные кулисы, которые остаются неизвестными до поры до времени. Так произошло и с Кудашевой.

В воспоминаниях Волошина есть такая фраза: «Майя тоже была штучка… В высшей степени женщина. Она крутила и с Оренбургом, и с белогвардейцами…» Уже в 1926 году Майя, и не просто кто-то, а вдовствующая княгиня — без профессии

и послужного списка — оказывается сотрудницей консульского отдела французского посольства в Москве. Да, знала французский язык, но в одном ли языке дело? Она была гражданкой СССР и без согласия соответствующих служб поступить на работу в иностранное посольство не могла, — это, как говорится, и ежу ясно. Интересная деталь: на десятилетие Октября в Москву приехало немало гостей из Франции, и Кудашева чересчур активно предлагала им себя в качестве гида. Легко догадаться: собирала информацию для спецслужб.

Вполне вероятно, что спецслужбы поставили перед Кудашевой задачу завлечь в ее сети всемирно известного Ромена Роллана, который накануне своего решения связать судьбу с русской гидом-переводчицей спрашивал о ней у Горького, да и сам подчеркивал, что она «просто влюблена в большевизм».

Собкор «ЛГ» в Париже Аркадий Ваксберг ошеломил читателей своей публикацией от 31 октября 2006 года «Мадам Роллан», в которой писал о том, как развивались отношения французского писателя с Майей Кудашевой.

Роллан вскоре признался, что благодаря Майе Россия стала ближе его сердцу. Запутался в понятиях: ближе его сердцу стала вовсе не Россия, а

большевизм русской жены. В Париже при семье писателя находился некий обаятельный господин по имени Луи Жибарти, засекреченный агент Коминтерна, и об его истинной миссии Ромен Роллан с ужасом стал догадываться. Подлинное имя Луи Жибарти — Ласло Добош, и он был постоянным куратором «княгини Кудашевой».

Майя с подачи своего руководителя добилась, что в Париже на Международном писательском конгрессе не состоялась встреча Роллана с Максимом Горьким, встреча была перенесена в Москву, где спецслужбы могли контролировать каждое слово.

Из бумаг Ромена Роллана известно, что, возвратившись домой, он поделился с Майей, насколько был потрясен, увидев Горького в окружении «шпионов, наблюдателей и осведомителей», что было для нее вполне предполагаемой вещью. И она, подчиняясь воле Москвы, все сделала, чтобы Ромен Роллан свой «Московский дневник» упрятал в стол, наложив полувековое вето на его публикацию. Дневник удалось напечатать лишь в 1985 году, когда ушла из жизни сама его охранительница и запретительница.

Майя Кудашева многое сумела выжать из Ромена Роллана и правильно настроить его, когда он

28 июня 1935 года встретился в Кремле с Иосифом Сталиным. Но и, конечно, как отмечал Эренбург, сам Сталин, будучи человеком большого ума и еще большего коварства, «умел обворожить собеседника». Это, видимо, и произошло с Ролланом, судя по высказанным им фразам типа: «Тысячи людей видят в СССР воплощение своих надежд». Но очень скоро эйфория от встречи со Сталиным у французского гостя прошла. И когда Кудашева просила Роллана дать положительный отзыв о судебном процессе Пятакова — Радека, он категорически отказался.

Вот такая история, как пасла и обрабатывала Ромена Роллана Майя Кудашева, пытаясь превратить упрямого старца в горячего поклонника Кремля. По словам немецкой коммунистки Бабетты Гросс, Майя Кудашева была безусловно агентом органов, засланной к Роллану, и полностью им руководила, а ею, в свою очередь, руководили сотрудники Коминтерна.

Такой вот любовно-шпионский роман. И тут следует отметить, что русские женщины, почти с мужской силой, волевые и настойчивые, умели влиять на своих иностранных мужей. Достаточно вспомнить хотя бы Елену Дьяконову-Галу и Сальвадора Дали, железную женщину Муру Будберг и

ее отношения с Гербертом Уэллсом и Максимом Горьким, Лидию Делекторскую, Надю Леже… Слабые мужчины не выдерживали напора этих ретиво устремленных женщин.

Но вернемся к паре Кудашева — Роллан. Они прожили в браке чуть более 10 лет, с апреля 1934-го по 30 декабря 1944 года, когда умер Ромен Роллан в оккупированном немцами французском городе Безеле. Ему было 78 лет. Кудашева пережила его на 41 год и ушла из жизни 29 апреля 1985 года, на 90-м году жизни.

Как они жили? В общем-то благополучно. Мария Павловна часто вспоминала Россию, любила ее вождей — Ленина и Сталина. А Ромен Роллан до последних дней опасался установления авторитарной власти, которая неизменно приводит к подавлению личности, насилию и террору. При жизни Роллана Кудашева много помогала ему в работе, а после его смерти успела выпустить 28 объемистых томов «Тетрадей Ромена Роллана», и это, безусловно, ее заслуга.

В двух заключительных книгах романа «Очарованная душа» (1933) Ромен Роллан вывел русскую эмигрантку Асю Волкову, прототипом которой явилась Майя Кудашева. «От нее веяло силой, которая захватывает, тревожит и связывает. Осо-

бенно доверять этой силе не следовало…» — так писал о своем персонаже Ромен Роллан.

А вот Марии Кудашевой писатель доверял. Правильно, неправильно — сказать уже трудно. Это дело давно минувших лет…

В заключение предлагаю читателям свой давний комментарий «Московское ошеломление Ромена Роллана» в еженедельнике «Эхо планеты».

Ромен Роллан прибыл в Москву поездом 23 июля 1935 года в 11 часов утра.

Время было сложное. Европа раскололась на три части: европейские страны с традиционной демократией, фашистские диктаторские режимы Германии и Италии и Советский Союз — гигантский остров социализма. Сталин и другие руководители страны рабочих и крестьян были заинтересованы в том, чтобы «форпост социализма» привлекательно выглядел в глазах западного мира. Или, как говорят сегодня, нужна была раскрутка идей социализма, и прежде всего в глазах западных интеллектуалов и мастеров культуры.

В 1931 году приезжал в Советский Союз Бернард Шоу. Старого лиса обвели вокруг пальца, и он по возвращению в Англию призывал английских рабочих так же эффективно работать, как это

делают их советские коллеги. В 1934 году в Москву пожаловал Герберт Уэллс. Он был настроен более скептически, и состоявшаяся его беседа со Сталиным никак не убедила Уэллса в преимуществе социалистического строя, хотя Россия для английского писателя уже не выглядела «во мгле». Лишь один Анри Барбюс стал горячим поклонником сталинских идей и свершений. Очередь дошла и до Ромена Роллана, которого называли «совестью века».

Приезд 69-летнего Ромена Роллана ожидался с большим интересом, так как в романе «Очарованная душа» (1932–1933) французский писатель существенно коснулся «русского вопроса»: вывел на свои страницы русскую эмигрантку Асю Волкову и ярого революционера Дито Джанелидзе. Последнему были приданы черты внешности Сталина.

Тот Джанелидзе-Джугашвили исповедовал девиз «Кто не с нами, тот против нас». Знаменательно, что один из персонажей романа Марк Ривьер рассуждает следующим образом: «Ныне революция милитаризирована. Казарма. Дисциплина распространяется на всё — на то, что делаешь, пишешь, думаешь. Новые жрецы серпа и молота мнят, что они вправе властвовать да-

же над философией и наукой. Разве не предали они анафеме свободные гипотезы современной физики и энергетики, не укладывающиеся в рамки марксистского материалистического евангелия?»

Визит Ромена Роллана в Советский Союз должен был дать ответ: обладает ли создатель «Очарованной души» политическим ясновидением, или он глубоко заблуждается относительно «жрецов серпа и молота»? Советские вожди ставили вопрос иначе: Ромен Роллан с нами или против нас?!

Принимали Роллана с размахом и помпой (убеждать так убеждать!). Весьма интересно прочитать московский дневник писателя, который увидел свет лишь спустя 54 года, в 1989 году (сам Ромен Роллан наложил 50-летний запрет на публикацию этого уникального документа).

Вот описание первых дней пребывания Ромена Роллана в Москве.

23 июня 1935 года. Торжественная встреча на вокзале. Среди встречающих писатель Сергей Третьяков (погиб в 1937-м), редактор журнала «Интернациональная литература» Сергей Динамов (также позднее репрессированный), Леонид Леонов… Сначала Ромен Роллан и его

супруга Мария Кудашева остановились в квартире председателя ВОКСа (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей) Аросева в Доме правительства, но ночью переехали в гостиницу «Савой». «Полный комфорт… Продукты из Кремля… Юная секретарь-армянка охраняет вход…» — записывал Ромен Роллан в дневнике.

24 июня. Почетного гостя «катают» на самолете-гиганте «Правда». Писатель хочет познакомиться с достопримечательностями Москвы самостоятельно, но его не отпускают ни на минуту, его день регламентирован и расписан.

25 июня. Ромену Роллану показывают фильм «Чапаев». Ему он не понравился из-за шума и громких сцен, и он делает в дневнике такую ремарку: «Это их “Илиада”. Вечером — Большой театр. Новый балет Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Роллан покорен искусством Улановой, но сам балет его не восхитил: «Музыка псевдоклассическая. Балет совсем не оригинален».

26 июня. Закулисная возня вокруг иностранного гостя: каждая из важных советских персон хочет овладеть им и показывать исключительно «свое». Ромен Роллан понимает все это и записывает в дневнике: «Мелкие закулисные баталии вокруг меня». И в этот же день небольшая про-

гулка по Красной площади, а вечером — Малый театр. На этот раз «спектакль живой и интересный» — так записал Роллан о пьесе Островского «В чужом пиру похмелье».

27 июня. Встреча с «крупным специалистом по сердцу» доктором Плетневым, который приглашен для консультации о состоянии здоровья Ромена Роллана. «Наедине, без свидетелей, — записывает писатель, — Плетнев открывается мне, но очень осторожно. Он прощупывает почву, я чувствую в нем скрытую оппозицию. Доктор Плетнев проводит многозначительную параллель современности с итальянским Возрождением и говорит, что он хотел бы жить лет через сорок. Жестокие времена (я молчу), и тогда он торопливо добавляет, что “несмотря ни на что, выбор сделан”. “Десять лет назад еще можно было в чем-то усомниться. Но не сейчас. Перед лицом фашизма!”»

Маленькая справочка: спустя два года, 8 июня 1937 года, в «Правде» появится статья «Профессор — насильник, садист». Это о Плетневе. Сначала его уничтожают морально, потом физически.

И в тот же день, 27 июня 1935 года, в ВОКСе устроен прием в честь Ромена Роллана. Присутствовали Бухарин, академик Отто Шмидт, нарком

Бубнов, писатель Третьяков, скульптор Меркуров и другие важные советские лица. «Много вина, шампанского, мороженого и фруктов». За фортепиано сидел Сергей Прокофьев, на скрипке играл вундеркинд Буся Гольдштейн.

28 июня. Встреча в Кремле с Иосифом Сталиным. Дито Джанелидзе или совсем другой человек? «Сталин не похож на свои изображения на портретах», — отмечает Ромен Роллан. И выделяет две черты вождя: «непонятную улыбку» и «совершенное самообладание». В ходе беседы, которая длилась один час сорок минут, Ромен Роллан пытался весьма осторожно склонить своего всемогущего собеседника к проведению более демократической, гуманной и открытой политики (с правами человека, разумеется). Роллан говорил, что Запад встревожен и не всё одобряет в радикальных действиях советского правительства… Напомним: еще не начались московские процессы и не грянул гром 1937 года.

Сталин отвечал: «Нам очень неприятно осуждать, казнить. Это грязное дело. Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права оставаться вне политики, если хотим освободить порабощенных людей. А когда соглашаешься заниматься поли-

тикой, то уже всё делаешь не для себя, а только для государства; государство требует, чтобы мы были безжалостны».

Вот так: во имя свободы «порабощенных людей» безжалостное уничтожение этих самых людей. Государственная целесообразность. А люди — это просто строительный материал для красной империи, не более того. С этим гуманист Ромен Роллан никак не мог согласиться. В душе. А на словах он был весьма политкорректен.

29 **июня** Ромен Роллан был в гостях у Максима Горького в его особняке на Малой Никитской, а **30 июня** (в воскресенье) — событие-апофеоз.

Такого Ромен Роллан никогда не видел: парад физкультурников, в котором принимало участие 127 тысяч мужчин, женщин и детей. Французский гость ошеломлен: «Полуобнаженные мужчины, женщины и дети стройными сомкнутыми рядами идут неудержимо-радостные в едином ритме и едином порыве… В иные моменты возникает впечатление, что маршируют легионеры, несущие изображения Цезаря… Одна за другой следуют хореографические композиции с прологом в честь Сталина…» «Они мало меня интересуют, — добавляет в дневнике Ромен Роллан, — и я ухожу украдкой».

Ромен Роллан покидает гостевую трибуну на Мавзолее, раздавленный видением двух Сталиных: скромного во время их беседы в Кремле и другого, подобного римскому императору, на спортивном празднике. «Какое удовольствие получил бы Шекспир, изображая двух этих Цезарей, двух Сталиных, слитых в одном человеке!»

И еще одна деталь, добившая Ромена Роллана: буфет в подвальном помещении советского святилища — в Мавзолее. Так сказать, кулисы культа Ленина.

Почти целый месяц Ромен Роллан находился в СССР (он уехал 21 июля), но так и не разобрался в том, что он увидел. Он утратил веру в Сталина как в вождя, но остался в восхищении перед советским народом. Это подтвердила после смерти писателя его вдова, Мария Кудашева.

В 1936 году в Москву приезжает другой французский писатель, Андре Жид, в 1937-м — Лион Фейхтвангер. Они тоже делятся своими противоречивыми впечатлениями о «стране победившего социализма», но к тому времени кремлевские вожди уже мало интересовались мнениями западных интеллектуалов. Их интересовало другое: большой террор и большая игра. Геополитическая игра. Два диктатора — Сталин и Гитлер

— пытались обыграть и обхитрить друг друга.

Ладинский: вернувшийся в Советскую Россию

Антонин Ладинский (1896, село Общее Поле Псковской губернии — 1961, Москва). Поэт, прозаик. Учился в Петроградском университете, но прервал обучение и участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В 1920 году эмигрировал в Египет, оттуда переселился в Париж.

Ладинский печатался во всех периодических изданиях, альманахах, антологиях. Издал 5 поэтических сборников; первый — «Черное и голубое» (1930) и последний — «Роза и чума» (1950). Написал два романа.

По воспоминаниям Нины Берберовой, Ладинский ненавидел Париж и однажды признался ей: «Как я ненавижу все это: их магазины, их памятники, их женщин, их язык, их историю, их литературу».

Ладинский был высоким и страшно худым, с длинными руками и маленькой головой, рано поседевший. И в другой раз Берберовой:

«Затерли нас, задавили. На лакейской должности состою. А вы тут — машинисткой. Была бы

Россия, были бы у нас виллы в Крыму, да не от дедушки или папаши, а собственные, благоприобретенные, были бы знаменитые… А теперь мне один хам однажды на чай дал…»

Ладинский остро переживал советско-японский инцидент на озере Хасан, о котором советская пропаганда в восторге сочиняла песни о том, как советские бойцы японским генералам — «На Хасане наломали вам бока. Били, били / Говорили: ну, пока!..» На Хасане якобы наломали бока, а вот в советско-финской войне советскую армию постигла неудача, о чем сокрушался эмигрант Ладинский. А потом великое потрясение: Вторая мировая война. Ее итоги вызвали у Ладинского ликование. Мельгунов делился с Берберовой своими наблюдениями о Ладинском: «У него закружилась голова в день, когда доблестная красная армия взяла Берлин. У кого закружилась — тот для меня вычеркнут из числа знакомых. Головы не должны кружиться, пока жив Сталин…»

Так считал Сергей Петрович Мельгунов (дворянин, историк), но Ладинский считал иначе. Когда-то белый офицер, он охотно взял предложенный ему советский паспорт и вступил в «Союз советских патриотов», запрещенный во Франции, и 3 сентября 1950 года был выслан из

страны. Некоторое время жил в Дрездене, а в марте 1955 года вернулся на родину, в СССР.

В Советском Союзе в Ладинского без памяти влюбилась молодая жена его брата — полковника КГБ, в доме которого он остановился. Бросив семью, налаженный быт и достаток, она ушла к нищему седому поэту. Неисповедимы пути любви и судьбы!..

Эмигрантские стихи Ладинского в России не были изданы. О них когда-то Адамович говорил, что «все волшебно, наивно, нежно, размеренно, меланхолично…». Жил он, как говорил по-старому, «во Владимирской губернии» в доме брата, его, конечно, не печатали, промелькнуло лишь сообщение, что он переводит какую-то французскую книгу. Лишь о смерти 65-летнего поэта 4 июня 1961 года в печати появилась короткая заметка. Вот и все, к чему он вернулся…

О своей судьбе Ладинский горестно писал в 1941 году, за 20 лет до своего ухода:

Жизнь – ветер, листок и орешек.
Живи, мой дружок, на горе,
И много букашек и пешек
Участвуют в этой игре.

А страшный финал – это слезы

Над спящей в гробу красотой,
Но лишь катастрофа средь прозы
Вдруг делает жизнь высотой.

О, ты отлетаешь навеки!
Вокзал полон дыма и роз!
Рыданий хрустальные реки
Текут! И трубит паровоз!

И в этих безмерных утратах
Я маленькой пешкой стоял
На черных и белых квадратах
Вокзальных и шахматных зал.

И еще приведу отрывочек из стихотворения Ладинского (1949 год, во времена нелюбимой им Франции):

Когда приходят мысли
О гибели и страх,
Не трепещи! Помысли,
Что ты не только прах,
А некое сиянье
В бессмертном веществе,
Что ветерком дыханья

Прошелестит в листве…

Следует добавить, что Ладинского всю жизнь «преследовала тема гибели Европы, гибели культуры» (Глеб Струве).

Вернувшись на родину, Антонин Петрович услышал бодрые марши и песни:

Шагаем с песней на просторе,
Отваги радостной полны.
Мы – дети солнца, ветра, моря,
Весна и молодость страны.

Мы любим бег волны могучей,
Полеты дисков и мячей.
Нет в мире жизни нашей лучше
И песен наших горячей…

Это начальные строки «Весеннего марша» (слова Т. Сикорской, музыка. В. Кручинина. Сборник «Песни Страны Советов», 1940).

И как говорят в народе: у матросов нет вопросов. А у возвратившегося из эмиграции поэта Ладинского были?..

Но оставим политические игры и вернемся непосредственно к русским эмигрантам, к бе-

женцам и изгнанникам. Из нашего условного третьего ряда остались три фигуры из тех, кто родился в конце XIX века. О них и поведем наш краткий рассказ.

Роман Якобсон – титан филологии

Роман Якобсон (1896, Москва — 1982, Кембридж, США). Языковед, литературовед. С юных лет собирал московский городской фольклор. Учился на славяно-русском отделении историко-филологического факультета Московского университета. В 1915 году возглавил лингвистический кружок, в котором принимали участие Маяковский, Пастернак и Мандельштам. Предмет занятий: поэтика, метрика, фольклор. Поучаствовал Якобсон и в группе ОПОЯЗа (Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум).

В 1921 году Якобсон выехал в Прагу в составе постпредства РСФСР и не вернулся: стал приглашенным профессором в различных университетах Европы. С 1941 года — в США. Преподавал в Гарвардском и других престижных американских университетах. Написал много литературоведческих работ (Данте, Шекспир, Пушкин, Блок и др.). Общее число работ более 500. Их новизна в исследовании звуков с точки зрения их функций и в методе структурного анализа получила массу международных наград.

Безусловно, Якобсон — человек с мировым

именем. Его можно назвать русским, советским, чешским, польским, американским филологом, культурологом. Начиная с 1956 года он ежегодно приезжал в СССР, участвовал в различных международных форумах вплоть до 1968 года, до вторжения советских войск в Чехословакию. Выступал всегда легко и не столько переходил, сколько перепархивал с языка на язык. Был женат на Кристине Поморской. В целом его судьба сложилась более чем удачно, но если бы он остался в СССР, то все могло быть иначе, и в эпоху, когда Сталин заинтересовался языкознанием, ему пришлось бы несладко. Еще одной напасти он избежал, спасаясь от фашистов, когда по горам перебирался из Норвегии в Швецию.

Первое стихотворение — перевод Малларме — сделал еще школьником. А потом заделался футуристом, и весьма радикальным. Писал под псевдонимом Алягров. Был «будетлянином». Увлекался заумью Хлебникова, о нем написал первую литературоведческую работу. Еще дружба с Маяковским. Советские читатели узнали о Якобсоне именно из строк Маяковского: «Захрапывали сони. Глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне…» Для Маяковского он был всего лишь Ромка. Кстати, Якобсон

порицал друга Володю за политический нахрап ангажированности… На гибель Маяковского откликнулся статьей «О поколении, растратившем своих поэтов». Себя же Якобсон не только сохранил, но и реализовал свой талант до конца как один из лидеров русского авангарда в молодые годы, а затем как ученый-филолог с мировым именем.

У Якобсона вышла необычная судьба, ибо даже потеря родины не оказалась окончательной, как для большинства русских эмигрантов, — на склоне лет, в ореоле мировой славы он имел возможность вернуться в уже советскую Россию и встретить тут то же, что и везде, — учеников, последователей, поклонников. Кстати, один из продолжателей дела Якобсона — Юрий Лотман.

По желанию Якобсона на его могиле написано: «Русский филолог» — и ничего более. В заключение нашего короткого представления Романа Осиповича приведем фрагмент его воспоминаний о Хлебникове. Вот как он описывал поэтический вечер, состоявшийся 30 декабря 1913 года в петербургском артистическом подвале «Бродячая собака»:

«Подошла к нам молодая элегантная дама и спросила: “Виктор Владимирович, говорят про

вас разное — одни, что вы гений, а другие, что безумец. Что же правда?” Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил: “Думаю, ни то, ни другое”. Принесла его книжку, кажется, “Ряв!” и попросила написать. Он сразу посерьезнел, задумался и старательно начертал: “Не знаю, кому, не знаю, для чего”.

* * *

Георгий Раевский (младший брат Николая Оцупа. **1897,** Царское Село — **1963,** Париж).

В Париже входил в кружок «Перекресток» вместе с Ю Мандельштамом, Смоленским, Терапиано. Автор многих поэтических сборников.

Зеленая волна, зеленая трава,
И волосы твои оттенка изумруда,
И льющихся небес густая синева, —
Какое празднество для глаз, какое чудо!..

…Через много, много лет,
Земные исходив дороги,
Увидишь ты простой ответ

На всю тоску, на все тревоги...»

Ты думаешь: в твое жилище
Судьба клюкой не постучит?..
И что тебе до этой нищей,
Что там, на улице, стоит?!

Но грозной круговой порукой
Мы связаны, и не дано
Одним томиться смертной мукой,
Другим пить радости вино.

Мы – те, кто падает и стонет,
И те, чье нынче торжество;
Мы – тот корабль, который тонет,
И тот, что потопил его.

Две судьбы: Раиса Блох и Владимир Луговской

Раиса Блох (1899, Петербург — 1943, Германия). Поэтесса петербургского разлива: простота и строгость формы, психологическая насыщенность. В годы учебы в Петроградском университете специализировалась на медиевистике. От революционных событий в начале 20-х уехала (сбежала) в Берлин.

В 1928 году вышел ее первый сборник «Мой город». В берлинском кружке поэтов участвовала вместе с мужем Михаилом Горлиным. В 1933-м Раиса Блох перебралась в Париж, работала в Парижской национальной библиотеке. Печаталась в «Современных записках» и «Числах». В 1941 году был арестован Горлин. Блох, как еврейка, скрывалась под чужим именем. В ноябре 1943 года была схвачена при попытке перейти швейцарскую границу и 20 ноября депортирована в Германию. Сохранилось ее письмо, наудачу выброшенное из вагона и случайно подобранное. Раиса Ноевна Блох погибла в концлагере в возрасте 44 лет.

Приведу одно из лучших стихотворений Раисы

Блох, которое виртуозно-печально исполнял со сцены Александр Вертинский:

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Вас не взять, не спрятать, не прогнать.
Надо жить – не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять…

Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

Еще строки Раисы Блох:

Странно, что здесь в Париже,
Что мне в названье новом?
Грозная крепнет тишь
В сердце моем свинцовом…

Трогают строки? Тогда продолжим чтение:

И струится небо голубое,
Острова седые унося,
Чтоб нам жить в безоблачном покое,
Ни о чем у Бога не прося.

В Советском Союзе, в бывшей России поэты сочиняли бодрые, маршевые стихи, излучали невиданный оптимизм и были уверены в своем светлом будущем. Можно привести тысячи стихотворных строк. Приведу лишь то, что открыл случайно на страницах сборника «Лирика 20-х годов» (Москва, **1976).** Из стихотворения **Владимира Луговского** «Утро республик»:

…Честное слово, кругом весна,
Мозг работает, тело годно, —
Шестнадцать часов для труда!
Восемь для сна!
Ноль – свободных!
Хочу позабыть свое имя и званье,
На номер, на литера, на кличку сменять.
Огромная жадность к существованью
На теплых руках поднимает меня…

Ну как? Иная тональность? Совершенно другое

восприятие жизни. Какой контраст со строчками Раисы Блох:

Тихо кругом и сонно,
Что же в который раз
Сердце неугомонно
Страшный твердит рассказ.

Страшный, неумолимый,
Неодолимый бред,
Что все прошло уже мимо,
Что ничего уже нет.

Раиса Блох и ее коллеги-эмигранты никак не могли вылезти из прошлого, все были связаны по рукам и ногам воспоминаниями о покинутой родине. А Луговской и его советские коллеги-поэты были устремлены в будущее, под руководством коммунистической партии рвались к высотам коммунизма. И дорвались, конечно, но это не тема нашей книги.

Еще раз скажем: Раиса Блох погибла в фашистском концлагере в 44 года. А Владимир Луговской не очень намного пережил Блох, не дотянув буквально нескольких дней до 56 лет. Я никогда не занимался Луговским (не мой поэт!), а тут, как говорится, попал под руку. И я по своей природной

любознательности тут же полез в справочники и досье. Знаменитая «Песня о ветре»:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны…

Влез в стихи, и оказалось, что Луговской — не такой уж фанфарист и барабанщик режима. Он многослойный. В 1937 году его стихотворение «Жесткое пробуждение» в газете «Правда» было оценено как политически вредное». После разоблачения культа личности Сталина Луговской честно признавался:

…Ночью снятся мне звонки ночные,
О год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
Кого? Друзей, товарищей моих,
Которых честно я клеймил позором.

Кого? Друзей! А для чего? Для света,
Который мне казался ясным.
И только свет трагедии открыл
Мне подлинную явь такого света…

И еще признание:

Мы о многом
в пустые литавры
стучали,
мы о многом
так трудно и долго молчали.

На этом обрываю, ибо не эмигрант, но боли и тоски в душе у Владимира Луговского немало: не все было лучезарно на родине, скажем так мягко…

Кленовый лист вдогонку

Казалось бы, поставил точку. В последний момент вдруг наткнулся еще на одно прекрасное стихотворение о падающем кленовом листе (они такие красивые!) Дмитрия Кленовского и без этих строк уже не смог представить эту книгу. Вот это стихотворение:

Как много есть прекрасного на свете:
Крыло орла, девическая грудь,
Кленовый лист, Риальто на рассвете,
Раздолье Волги, ландыш, Млечный

Путь…

И вот еще: прыжок бегущей лани,
Глаза ребенка, парус на волне…
Ты видишь сам: не сосчитать названий,
Не перечислить ни тебе, ни мне.

И все-таки не легче ль жить на свете,
Когда ты знаешь, что везде кругом
Есть волны, клены, девушки и дети
И даже просто чей-то сад и дом?

Ты говоришь: всё это преходяще!
И ты не прав! Ведь будущей весной
Опять прыжок в зазеленевшей чаще,
Опять подснежник свежий под ногой!

Наш мир в бреду. Он шепчет заклинанья,
Он душит всё, чем жизнь еще права,
Но в мире нет разрушенного зданья,
В котором бы не проросла трава.

Коротко об авторе. **Дмитрий Кленовский** (настоящая фамилия Крачковский. 1893, Петербург — 1976, Траунштейн, Германия). Сын известного

художника-пейзажиста Иосифа Крач-ковского. Учился в петербургской гимназии, где директором был Иннокентий Анненский. С отцом часто бывал за границей.

Стихи писал с детства, а потом неожиданно прекратил: 1920-й год — не до стихов. Жил в Харькове. После войны попал в число перемещенных лиц и под угрозой высылки в СССР, в ГУЛАГ, на смерть, в 1945 году остался на Западе. В конце жизни тяжело болел, ослеп. После его смерти близкие издали его книгу «Последние» (1977).

Когда весной – чужой весной! —
Опять цветет сирень,
Тогда встает передо мной
Мой царскосельский день…

На этой щемяще воспоминательной ноте и закончим третий ряд.

[Тревожный сон автора]

Писать книгу, сочинять, делать — дело нелегкое, тем более — на тему эмиграции, людской трагедии. И поэтому сон автора тревожный, беспокойный, нервный. И какие-то фигуры и лица постоянно снятся. Вступают в разговор, кричат,

требуют: «А подать сюда судью Ляпкина-Тяпкина! Пусть разберется, кого нужно представить, а кого нельзя…» Тут же возражения, крики: «Я считаю так!» — «А по-моему, надо эдак!» Короче, «шумим, братцы, шумим!» — как восклицал один грибоедовский персонаж.

А тут во сне возник Шаляпин и своим прекрасным басом с укоризной спросил: «А меня-то забыли? А я ведь эмигрант!» И тут же то ли спел, то ли продекламировал некогда написанные им стихи в Италии:

Я здесь в Милане – страус в клетке
(В Милане страусы так редки),
Милан сбирается смотреть,
Как русский страус будет петь,
И я пою, и звуки тают,
Но в воздух чепчики отнюдь
Здесь, как в России, не бросают…

В ночной сумятице чего только не увидишь и не услышишь! В сонной кутерьме жалуются все, даже Лурье. Тот, который Артур Лурье, он же Наум Израильевич, композитор, что вел в эмиграции рубрику «Концерты в Париже», а в Америке сочинил множество музыкальных произведений.

Кто-то во сне появляется новый, потом другой, третий, — все шумят, жалуются на жизнь, на маленькие гонорары, на то, что кто-то кого-то не любит, а кто-то кого-то ненавидит. Шум, гам, неразбериха.

— А меня в книгу вставить забыли? — грозно вопрошает историк Кизеветтер. — Меня тоже выдворили из России на «философском пароходе» в сентябре 1922 года. В эмиграции я выступал с лекциями по русской истории и культуре в городах Чехословакии, Германии, Югославии, да с таким успехом, что, как писали газеты, мне могли позавидовать звезда балета Анна Павлова и певец Шаляпин…

— Полноте, Александр Александрович, — парировал я во сне. — К сожалению, всех не упомнишь и всех в книгу не вставишь. Книга — это как Ноев ковчег, не всех в него уместишь.

— Не всех! А надо! — завизжал кто-то.

И тут автор проснулся в холодном поту. Встал, выпил кофейку, достал пишущую машинку «Олимпия» и приступил к последующей главе. Спокойно. Рассудительно. Выборочно. Невзирая на крики и подсказки.

5. Эмигранты с младых лет

Кричи не кричи – нет ответа,
Не увидишь – гляди не гляди.
Но все же ты близко, ты где-то
У самого сердца в груди.

Россия, мы в вечном свиданье,
Одним мы усильем живем,
Твое ледяное дыханье
В тяжелом дыханье моем.

Меж нами подвалы и стены,
И годы, и слезы, и дым,
Но вечно, не зная измены,
В глаза мы друг друга глядим.

Россия, как страшно, как нежно,
В каком неземном забытьи
Глядят в этот мрак безнадежный

Небесные очи твои.

Владимир Смоленский

5 ЭМИГРАНТЫ С МЛАДЫХ ЛЕТ



В книге специально выделяю молодых эмигрантов, которые в свои юные годы узнали и ощутили, что такое эмиграция и с чем ее едят. Одно дело приехать в чужие края и познать чужбину во взрослом состоянии, в 30–60 лет, совсем другое в младые 17–20 лет, а то и совсем ребенком.

«Нет спора, жизнь гораздо снисходительнее к людям старшего поколения. Они почти все успели отхватить кусок сладкого российского пирога. Сорвали дольку успеха, признания, даже комфорта. Потом, в эмиграции, им давали пособия, субсидии разных фондов…

— Ах, Тэффи, ах, Зайцев, как же!..» *(Василий Яновский. Елисейские поля. Нью-Йорк, 1967).*

Выделим и начнем с Владимира Смоленского. Именно его судьба натолкнула меня на идею составить-написать книгу об эмиграции. Случайно в своем домашнем архиве напал на небольшое досье Смоленского. Прочитал, загорелся — и написал. А дальше уже замаячила целая книга.

Итак, глава о Владимире Смоленском, который покинул Россию и оказался в чужом Париже в 19 лет.

Владимир Смоленский – самый «лермонтовский» из всех эмигрантских поэтов

Есть речи: значенье
Темно и ничтожно,
Но им без волненья,
Внимать невозможно…

Михаил Лермонтов

Случайная находка

В конце дождливого и прохладного, явно не летнего июля 2015 года, сидя темным вечером под зеленой лампой, я, не зная, чем заняться, достал случайно, а не целенаправленно, папку публикаций и вырезок о поэтах и писателях Серебряного века и натолкнулся на стихи Владимира Смоленского. Прочитал и почувствовал печальное созвучие с поэтом, умершим в Париже более 50 лет назад. Как говорится, неожиданно столкнулся с родственной душой. И поразил тот факт, что Смоленский родился в Луганске,

который сегодня на слуху: ЛНР и ДНР. Луганск и Донецк, две самопровозглашенные республики, огненный очаг противоборства между Украиной и Россией. Сгусток ненависти и агрессии. Грохот артиллерийских залпов вместо тихих лирических трелей. Кровь и трупы…

Вне России. Боль и страдание

Владимир Смоленский (1901–1961), поэт-эмигрант, или, как ныне принято говорить, поэт дальнего зарубежья. Он принадлежит к плеяде творческих людей, изгнанных и уехавших из советской России, кто безумно тосковал по родине и почти буквально бился головой об стену. Как писал Георгий Адамович:

И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,
Без сил, без денег, без любви,
В Париже…

Подобные строки писали Георгий Иванов, Владимир Набоков и многие другие.

Здесь шумят чужие города,

И чужая плещется вода, —

отмечала Раиса Блох, а Александр Вертинский в своей ариетке добавлял: «Мы для них чужие навсегда».

И вот судьба Владимира Смоленского, оказавшегося вне России. Кого винить, что оторвали от родины? Революцию, большевиков, Ленина?!. Нет, скорее Бога, демиурга, творца всех земных событий, выступающего в роли Рока древнегреческих трагедий:

Ты отнял у меня страну,
Мою семью, мой дом, мой легкий жребий,
Ты опалил огнем мою весну —
Мой детский сон о правде и о небе.

Ты гнал меня сквозь стужу, жар и дым.
Грозил убить меня рукою брата,
Ты гнал меня по всем путям земным
Без отдыха, надежды и возврата.

Меня Ты ранил жалом нищеты,
Болезнями, и голодом, и жаждой.
Я прозревал жестокие черты
За каждой болью, за обидой каждой.

И нет конца – Ты мучишь вновь и вновь,
И нет конца, и нет тоске названья —
Ты отнимаешь у меня любовь,
Последнее мое очарованье…

* * *

В период гласности открылись многие архивы, и многие поэты-эмигранты стали широко известны: Георгий Адамович, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Борис Поплавский и другие. Многие были слегка полуоткрыты благодаря антологии «200 поэтов эмиграции» (1995) — «Вернуться в Россию стихами…». Среди малоизвестных — Владимир Смоленский. О нем вышла книга «Жизнь ушла, а лира всё звучит», но у меня нет ее под рукой. И я решил составить небольшое эссе о нем из тех материалов, что находятся в домашней библиотеке, путем поиска и лазания по книгам и отдельным публикациям. Не взять готовенькое, собрать собственную мозаику жизни и творчества своего нового незнакомого знакомца. Вот такое появилось желание…

Краткая канва биографии

Для греха, страдания и смерти
Я родился на земле унылой,
И торчат года мои, как жерди,
Между колыбелью и могилой.

В. Смоленский

Итак, Владимир Алексеевич Смоленский. Родился 6 августа 1901 года, ровесник трех русских литераторов, оставшихся в советской России: Анны Барковой, Льва Лунца и Александра Фадеева. Есть искушение сравнить судьбу эмигранта Смоленского с ними, но не буду этого делать, пускай на эту тему подумают и что-то вспомнят сами читатели.

Владимир Смоленский — сын белогвардейского полковника, расстрелянного большевиками, и сам он воевал на стороне белых с 16 лет. Из гимназии — на войну. Юноша, опаленный боями Гражданской войны, и в памяти всплывают строки Марины Цветаевой: «Барабанщик! Бедный мальчик! / Вправо-влево не гляди!..»

Мать и плачет, и стонет, и тужит,

Но отцовское слово – закон:
– Пусть идет императору служит.
Барабанщиком, видно, рожден!

Нет, не барабанщиком был рожден Володя Смоленский, а поэтом, хотя стихи начал писать поздно, уже на чужбине. Осенью 1920 года армия Врангеля была разбита красными частями, и Смоленский с остатками врангелевцев был эвакуирован. В 19 лет оказался в Париже. Учился в высшей коммерческой школе, а в итоге работал бухгалтером на маленькой фабрике. И, возможно, от безысходности и начал писать стихи.

Я никогда не пережил победы,
Всё только пораженье, пораженье…
Всё только горечь, горечь, беды, беды,
Сны, ритмы, рифмы, головокруженье…

И, конечно, с горечью вспоминал смертельную схватку в Крыму:

Над Черным морем, над белым Крымом
Летела Россия дымом.

Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом.

И ангел плакал над мертвым ангелом…
– Мы уходили за море с Врангелем.

Поэзия выручила. Не дала пропасть. Удержала на плаву.

Смоленский принадлежит к поэтам «незамеченного поколения». Был близок к Ходасевичу. Начал печататься в 1929 году. Первый поэтический сборник — «Закат» (1931). Книга «Наедине» (1938) выдвинула Смоленского на видное место в русской зарубежной поэзии. Был даже избран председателем молодых поэтов и писателей в Париже. Входил в группу «Перекресток». Третья книга «Собрание стихотворений» вышла в 1957 году, и последняя — «Стихи» — издана посмертно в 1963 году.

Приведу характерное для Смоленского стихотворение:

Какое там искусство может быть,
Когда так холодно и страшно жить.

Какие там стихи – к чему они,
Когда, как свечи, потухают дни.

Когда за окнами и в сердце тьма,
Когда ночами я схожу с ума

От этой непроглядной темноты,
От этой недоступной высоты.

Какое там бессмертие – пуста
Над миром ледяная высота.

Нина Берберова о своем поколении

Нина Берберова в своей автобиографии «Курсив мой» вспоминает о тех, кто пришел в литературу после 1920 года, вне России, во Франции: Владимир Набоков (а он жил и в Германии), Антонин Ладинский, Анна Присманова, Довид Кнут, Владимир Смоленский, Владимир Злобин, Борис Поплавский и сама Берберова. «И они не прошли незамеченными. Их тоже прикончил Сталин, только не в концлагерях Колымы — иначе», — так считает Берберова. И далее:

«Поплавский, Кнут, Ладинский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных,

бездомных, нищих и бесправных и потому — полуобразованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, не успевших прочесть нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей, вышедших из катастрофы голыми, наверстывавших кто как мог все то, что было ими упущено, но не наверставших потерянных лет».

Жестко? Берберова относится к своим товарищам по эмиграции как хирург, не ведающий жалости:

«Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве, возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были… Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию. Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него…»

Да, перечисленные Берберовой поэты-эмигранты слабо знали классическую русскую литературу, да и Россию, которую они рано покинули, помнили не очень, но память о родине

жила в них упорно, и все они ностальгически вспоминали о ней, жалея и плача. Вот, к примеру, Смоленский:

Я знаю, Россия погибла,
И я вместе с нею погиб —
Из мрака, из злобы, из гибла
В последнюю гибель загиб.

Но верю, Россия осталась
В страданье, в мечтах и в крови…

…Недаром сквозь страхи земные,
В уже безысходной тоске,
Я сильную руку России
Держу в своей слабой руке.

Россия часто всплывала в памяти Смоленского, то с ностальгической нежностью, то с гневом о том, что она потеряна.

Не надо о России говорить, —
Не время, слишком поздно или рано…
У каждого из нас есть в сердце рана,
И кровь из раны не остановить.

Быт и бытие

У Смоленского есть стихотворение, которое имеет такое начало:

Душа во мгле проснулась,
И заскулил щенок,
И в облаках метнулась
Луна куда-то вбок…

И далее следует картинка:

…Какая в мире слабость,
Безвыходность, тоска…
Бредет по лужам баба,
Глядит на облака;
Мужик стругает палку
Зазубренным ножом,
Дымок струится жалкий
Над скудным очагом.
И то сильней, то тише
Дождь льется без конца
На серенькие крыши,
На нищие сердца.

Таков мир. Такова участь простых людей. Бедняков и изгоев. А каково было полунищим русским эмигрантам в прекрасном городе Париже?

— Сильвупле, подайте бывшему интеллигенту. В пятнадцатом кровь проливал на полях Галиции…

— Подайте инвалиду Ледяного похода…

— Подайте безработному, жертве законов прекрасной Франции…

— Подайте русскому дворянину кусок горького хлеба изгнания…

У Довида Кнута есть стихотворение «Диалоги»:

– Порою меньше малой малости
(Дешевле всех врачей и всех аптек):
Две капли нежности, щепотку жалости —
И вот расцвел засохший человек.
Расцвел – засохший, полумертвый – ожил,
И в мир вошло веселое добро.

– Вы правы, друг. Любовь всего дороже,
Но у меня нет денег на метро.

Были, конечно, русские, живущие безбедно, как Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

Но в основном приходилось тяжко. Работы не было. Как писал Георгий Иванов: «Всё это сны! Руки твои никому не нужны!» Владимиру Смоленскому повезло: бухгалтерия приносила хоть маленький, но доход. Издавать книги помогал фонд бывшего эсера Ильи Фондамин-ского. Но все равно это было отнюдь не благополучие, и жизнь Смоленскому представлялась исключительно адом:

Луч зари позолотил окно,
Утреннюю не затмив звезду…
Это все обман – давным-давно
Я живу в аду…

Нина Берберова — ровесница Смоленского. Она родилась 26 июля (8 августа) 1901 года. Они сблизились как друзья и делились друг с другом своими эмигрантскими переживаниями. Смоленской не раз признавался Берберовой, что в своих бедах виноват только он сам и его «пьяный фатализм». Берберова советовала резко изменить всю жизнь и «послать всё к черту», что сделала она сама, уйдя от беспомощного в жизненных делах Ходасевича. Смоленский поменять свою жизнь радикально был не в состоянии.

В «Курсиве» Берберова вспоминает, что «Хо-

дасевич любил его (Смоленского) не только как человека, но и за его внешность — в нем (как и в Ходасевиче самом) была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе, чем на самом деле был. Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье и небольшой талант свой не развил, вероятно, оттого, что был неумен, был эклектик и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на тысячу лет затвердела и стала в своей просодии и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятию — жили Александр Блок и Леонид Андреев, а вернее всего — Аполлон Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след…

Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы (младшие) в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда у цыган, в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции и где красавица Маруся

Дмитриевич (рано умершая) всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать, конечно, никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд (булка, проложенная лепестком колбасы) в одно из кафе на бульваре, открытое до утра…»

А потом все поэты-полуночники брели домой, а в ушах еще звучало: «Две гитары, зазвенев, жалобно заныли…» Ах, бедный Аполлон Григорьев!

Звуки шепотом журчат
Сладострастной речи…
Обнаженные дрожат
Груди, руки, плечи…

Так или иначе, а возвращаться надо, и Смоленский возвращался после ресторана или кафе в свою маленькую квартиру, где они жили вдвоем с женой в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать жены Смоленского, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора, ванная была грязная, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе, по свидетельству Берберовой, «стояло тяжелое,

неподвижное уныние».

И слегка перефразируя Блока: «Так жили поэты». А далее чисто по классику:

Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и прямо.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Пил, разумеется, и Владимир Смоленский.

Русская страда

Что за горе? Плюнь да пей!..

Аполлон Григорьев «Цыганская венгерка»

У Смоленского, как отмечает Берберова, была, видимо, врожденная тяга к алкоголизму. Его старший товарищ и учитель Владислав Ходасевич тоже попивал, но алкоголиком не был. Так, слегка. Приведу стихотворение Ходасевича «Веселье» (1928):

Полузабытая отрада,
Ночной попойки благодать:

Хлебнешь – и ничего не надо,
Хлебнешь – и хочется опять.

И жизнь перед нетрезвым взглядом
Глубоко так обнажена,
Как эта гибкая спина
У женщины, сидящей рядом.

Я вижу тонкого хребта
Перебегающие звенья,
К ним припадаю на мгновенье —
И пудра мне пылит уста…

Смеется легкое созданье,
А мне отрадно сочетать
Неутешительное знанье
С блаженством ничего не знать.

И еще Ходасевич:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу – и лба не хмурю,
Ведь знаю: сердце все равно
Летит в излюбленную бурю…

У Смоленского восприятие жизни подчас не лишено романтической подкладки, или, скажем

по-другому, романтических надежд:

Мы вышли ранним утром
С тобой из кабака,
Мерцала перламутром
И золотом река,

Звезда еще сияла,
С огнем зари борясь,
И алым отливала
У подворотни грязь.

И облако, укором
Или надеждой мне,
Божественным узором
Летело в вышине.

И было в синей дали,
Прохладе и весне
Все то, о чем мечтали,
Что видели во сне.

Мечты, сны, фантазии… А явь? Реальность или, как ныне говорят, реал? Тут без разночтения, без разнопонимания. О мире Смоленский говорит категорично:

Он мне невыносим. Люблю
Божественное опьяненье,
Оно подобно вдохновенью,
Я звуки тайные ловлю…

Ходасевич и Смоленский

Владислав Ходасевич на 15 лет старше Владимира Смоленского. У них были отношения учителя и ученика. Но Смоленский не был единственным учеником и почитал Владислава Фелициановича настоящим мэтром. Смоленский понял истинную душу поэзии Ходасевича:

…Чуть слышно, сквозь мечту и бред,
Им говоришь, как эта жизнь земная.

Смоленский успел написать несколько литературоведческих статей, в том числе посвященных Блоку и Ходасевичу. Ну, об отношении Ходасевича к Смоленскому можно судить по его письму к Берберовой (июнь 1937): «Я сижу дома — либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому (читал мне чудесные стихи)».

Какие? Может быть, эти?

Огромный мир, объятый мглой и сном,
Где, ни начала, ни конца не зная,
Мы, задыхаясь в тесноте, живем,
О счастье и бессмертии мечтая.

Он скуден, тленен и неразрушим.
Закрой глаза – есть мир иной над нами.

В котором ты – полночная звезда,
Застывшая в сиянье и молчанье,
В котором я – прозрачная вода,
В которой отражается сиянье.

Над миром этим – мир совсем иной,
Совсем прозрачный и совсем простой.

А может быть, Ходасевичу понравились строки Смоленского об их общей родине — России, о советских порядках, о концлагерях в Соловках и других гибельных местах?

Они живут – нет, умирают – там,
Где льды, и льды, и мгла плывет над льдами,
И смерть из мглы слетает к их серд-

цам
И кружит, кружит, кружит над сердцами.

Они молчат. Снег заметает след —
Но в мире нет ни боли, ни печали,
Отчаянья такого в мире нет,
Которого б они не знали.

Дрожа во мгле и стуже, день и ночь
Их сторожит безумие тупое,
И нет конца, и некому помочь,
И равнодушно небо ледяное.

Но для того тебя избрал Господь
И научил тебя смотреть и слушать,
Чтоб ты жалел терзаемую плоть,
Любил изнемогающие души.

Он для того тебя оставил жить
И наградил свободою и лирой,
Чтоб мог ты за молчащих говорить
О жалости безжалостному миру.

Концлагеря — это крайность. А быт — повседневность, которая тоже калечит и убивает

людей. Не о крайностях, о реальной мирной жизни кричал подчас Ходасевич:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема…

Жизнь идет вперебивку, меняя минуты отчаяния и печали на минуты тихой радости и даже бурного счастья.

Событием стало появление в Париже самого удачного прозаика русской эмиграции Владимира Набокова, который говорил про себя:

меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою возвесил
на пушкинских весах…

И вот в воскресенье 23 октября 1932 года (Бог ты мой, а я в Москве, и мне всего идет восьмой месяц, и, наверное, мама еще кормит меня грудью…) в квартире Ходасевича собрались Берберова, Терапиано, Смоленский и Владимир Вейдле с женой — приветствовать Владимира Набокова.

А спустя шесть лет, в 1938 году, в Париже в Русском театре шел спектакль по пьесе Набокова (тогда Сирина) — «Событие». В нем играли исключительно русские, но не только актеры, и одну из ролей сыграл Владимир Смоленский.

Уже после ухода Ходасевича в октябре 1944 года собрались поэты (из числа живых) в кафе «Грийон», и Берберова в своем дневнике вспоминала, как лет пятнадцать назад они гуляли в Тюильри веселой поэтической компанией: Ходасевич, она, Смоленский, Кнут и Юрий Мандельштам: «Все были немножко влюблены в меня, и я была немножко влюблена во всех».

Еще один русский парижанин — Юрий Терапиано, поэт, прозаик, критик, в переписке со своим коллегой Владимиром Марковым отмечал, что «перебирая бумаги, от нечего делать, наткнулся на пачку старых фотографий 1926 года. Ходасевич — еще с длинными волосами, Берберова, Кнут, Смоленский, Мандельштам (Юра)… “те годы!” — стало очень грустно». Оно и понятно: молодость, судьба, смерть.

Из той компании первым уйдет Ходасевич — 14 июля 1939 года в возрасте 53 лет. Гроб с колесницы до могилы несли Смоленский, Мандельштам, Вейдле и другие близкие к покойному

поэту люди.

Спустя пять лет Смоленский напишет строки, посвященные Ходасевичу:

Страшно мне и горько в этом мире,
Холодно среди могильных плит —
Ты всю жизнь душой склонялся к лире,
Жизнь ушла, а лира всё звучит…

Классическая лира Владислава Ходасевича.

Болезнь и смерть

Что значит для поэта — потерять голос? Катастрофа. Так потерял голос один из звонких поэтов, наш современник Андрей Вознесенский. Такая беда случилась и с Владимиром Смоленским.

15 апреля 1960 года Юрий Терапиано сообщает Маркову: «Смоленский, как я слышал, еще не говорит, но ему вставили серебряную трубку (как в свое время о. Сергию Булгакову, который мог кое-как после этого говорить)…»

Из письма от 3 ноября 1960 года: «…летом покончил с собой Ю. Одарченко. В. Смоленский сейчас находится в таком ужасном состоянии, что просто в отчаянье можно прийти — отказался

от второй операции (понимаю его!) и пьет, но к тому же еще — пьет с надрывом, с ненавистью ко всем, всё и всех ругает. Это, конечно, от отчаянья. Но жаль, что так озлобился. А осудить его — язык не поворачивается: “а если б тебя самого?..”»

Параллельно в этом письме Терапиано сообщает о нездоровье Ирины Одоевцевой, но она пережила всех русских сочинителей в Париже. Ушла из жизни в возрасте 95 лет в Ленинграде — перебравшись с берегов Сены на берега Невы…

Еще одно письмо Терапиано, 3 октября 1961-го: «Смоленского питают искусственно, поддерживая какими-то впрыскиваниями, всё еще борется с болезнью. К нему давно уже никого не пускают, время от времени жена извещает друзей о нем. Какой мучительный конец — а поэт он талантливый, его стихи звучат…»

Осталось немного – миражи

в прозрачной пустыне,

Далекие звезды и несколько тоненьких книг,

Осталась мечта, что тоской называется ныне,

Остался до смерти короткий и призрачный миг.

Но все-таки что-то осталось от жизни безумной,

От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов.

Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный,

И агнец заколот для трапезы блудных сынов.

Из нищей мансарды, из лютого холода ночи,

Из боли и голода, страха, позора и зла

Я выйду на пир, и увижу отцовские очи,

И где-нибудь сяду, у самого края стола.

22 октября: «Смоленский еще жив».

8 ноября 1961 года — последний жизненный день Владимира Смоленского. Он умер на 61-м году. 24 ноября Терапиано сообщает своему адресату: «Очень расстроились мы с И.В. (Одоевцевой) по поводу смерти Смоленского. И в моей литературной жизни до войны, и в ее — после войны Смоленский занимал свое место».

В книге «Наедине», вышедшей задолго до кончины, Смоленский в предчувствии ее писал:

В томлении смертном на смятой по-

стели,
Хрипя, задыхаясь, томясь
От боли и страха… Но ангелы пели,
Над комнатой душной кружась.

Никто их не видел и пенья не слышал —
Все знают, что ангелов нет —
Томилась душа и стонала всё тише,
И гаснул за окнами свет.

Но ангелы пели, кружась над душою,
Целуя запекшийся рот,
О вечном блаженстве, о вечном покое,
О славе надзвездных высот.

Поэты магическим образом предвидят свой конец. Помните «Сон» Лермонтова?

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я…

Владимир Смоленский точно знал, что не среди гор и не со свинцом в груди, а на смятой постели дома закончит дни от мучительной болезни…

Смертельно больного Смоленского навестила приехавшая из Америки Берберова. Смоленский не мог говорить и общался с помощью таблички,

на которой писал короткие фразы: «Умираю… Теперь уже, наверное, скоро».

После смерти Смоленского остались жена, Таисия, и сын. Жена ходила за ним и день и ночь и понимала по его лицу его мысли и желания. После смерти Смоленского она издала его последнюю книгу стихов.

Как лебедь, медленно скользящий
По зеркалу озерных вод,
Как сокол, в облаках парящий,
Мой призрачный, ненастоящий,
Мой выдуманный мир плывет…

Мнения, оценки

Русские поэты в Париже часто подпадают под определение «Парижская нота». Но нота у всех была разная: нео-акмеизм Ладинского, «под Пушкина» писал Пиотровский, у Смоленского находили «смесь Блока с Вертинским», и т. д. Но следует сказать, что трудные условия эмигрантской жизни не дали практически никому раскрыться и развиться в нечто цельное и самостоятельное.

В статье «Поэзия и поэты» (1950) Георгий Ива-

нов отмечал: «В среде старой эмиграции новые таланты появляются все реже и реже. Да и откуда им взяться? Уже задолго до войны эмигрантская поэзия «стабилизировалась»: на приток новых махнули рукой, стараясь сберечь то, что есть, и довольствуясь этим…».

И тот же Георгий Иванов заметил стихи Смоленского и даже посчитал его «новой восходящей звездой».

«Главным в жизни Смоленского, — вспоминал позднее Терапиано, — были стихи, точнее, та стихия, которая вдруг в нем начинала звучать и возносить его… Здесь и метафизика, и смерть, и любовь, и напряженная воля к жизни».

При жизни Смоленского Терапиано отмечал, что «широкая публика не понимает» Георгия Иванова, а любит Смоленского за его мелодекламацию с надрывом, именно так Смоленский читал свои стихи, выступая перед аудиторией.

Критика разделилась на два лагеря: одна часть хвалила Смоленского, находя в нем и чистую лирику, и много оригинального. А другая часть отмечала: «Нет, это не настоящие слова, не настоящее волнение, не настоящие стихи — это только поэтическая фальсификация» (так, в частности, написано в «Русских записках» 1938 года). Неко-

торые критики видели в творчестве Смоленского влияние Блока («Простишь ли мне мои метели, / мой бред, поэзию и мрак?»), находя в стихах Смоленского много бреда и мрака.

Проницательный поэт и русский парижанин Кирилл Померанцев в статье «Оправдание поражения», посвященной творчеству Георгия Иванова, Владимира Смоленского и Юрия Одарченко, отмечает, что Смоленский — самый «лермонтовский» из всех эмигрантских поэтов. Что у Смоленского, как правило, два содержания — одно смысловое, другое музыкальное, как у Михаила Юрьевича. Нет в стихах неизменного Демона, но обязательно присутствует Бог, ангелы, небеса, звезды, иной мир и прочий космизм. И непременно — «и скушно, и грустно». Неуютно и одиноко. И поэтому -

Я давно измучился вконец
В мутных днях, которым нет конца…
Медленно летит во мгле свинец
В сердце из свинца.

Разве не лермонтовский мотив?..

Не плачь. Молчи. Последний свет погас.
Сейчас конец – пойми – сейчас над нами

Бессильно вздрогнет и угаснет пламя,
И тьма падет, и тьма поглотит нас.

Господи, — воскликнет читатель, — как всё беспросветно и мрачно. А можно ли повеселее, про любовь, например? Пожалуйста. Вот коротенькое стихотворение Смоленского, «веселенькое», но полное какого-то скрытого смысла:

Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.
И, может быть, она уже стареет…
За годом год, за ветром ветер веет,
Раскосые кругом проходят люди —
Но нет меня и никогда не будет
У маленькой, у желтоватой груди.

Да. Повеселились. И снова предлагаемый Смоленским бег от действительности:

Закрой плотнее дверь, глаза закрой,
Забудь, что ты живешь, забудь, не думай,
Отгородись от неба слепотой
И глухотою от земного шума.

Или выйди на дорогу, где «сквозь туман крем-

нистый путь блестит» и где «пустыня внемлет Богу». Или по Тютчеву: «Молчи, скрывайся и таи / И чувства, мечты свои…». Эту перекличку поэтов можно продолжать до бесконечности, от Лермонтова до Бродского. Иронично-саркастический Иосиф Бродский настоятельно советовал в начале 70-х годов прошлого века:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно всё, особенно – возглас счастья.

Только в уборную – и сразу же возвращайся…

……

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Одни и те же проблемы веками стоят перед человеком, и особенно перед философами и рефлексирующими поэтами: как примириться с несправедливым и жестоким миром, приправленным изрядной долей абсурда в XXI веке? Никто не знает ответа на этот вопрос, и поэтому вернемся к началу…Так что сказать в финале о творчестве Владимира Смоленского?

Конечно, среди гигантов Серебряного века он остался в тени Бальмонта, Блока, Белого, Ходасевича, Цветаевой, Гумилева, Ахматовой и других мэтров. И в этой связи уместно процитировать концовку одной публикации моего любимого Георгия Иванова: «…Излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь скорее как Грушенька Достоевского: “А я вам, барышня, ручку не поцелую”.

Не надо целовать руку и Смоленского. Достаточно склонить голову в знак памяти и уважения.

22–27 июля 2015 года

* * *

Если по хронике рождений, то Кнут был старше Смоленского на один год.

Довид Кнут (настоящая фамилия Фихман. **1900,**

Кишинев — **1956,** Тель-Авив). Приехал в Париж как эмигрант, в **1920** году, двадцати лет от роду. Зарабатывал на жизнь в какой-то таверне в Латинском квартале. Писал стихи и прозу, состоял в Союзе молодых поэтов и писателей. Входил в литературное объединение «Перекресток». Его лучшая книга — «Парижские ночи» **(1932).**

Меж каменных домов, меж каменных дорог,
Средь очерствелых лиц и глаз опустошенных,
Среди нещедрых рук и торопливых ног,
Среди людей душевно-прокаженных…

В лесу столбов и труб, киосков городских,
Меж лавкой и кафе, танцулькой и аптекой,
Восходят сотни солнц, но холодно от них,
Проходят люди, но не видно человека.

Им не туда идти – они ж почти бегут…
Спеша, целуются… Спеша, глотают

слезы.

О, спешная любовь, о, ненавистный труд

Под безнадежный свист косматых паровозов…

…Меж каменных домов, средь каменных сердец,

По каменной земле, под небом равнодушным.

Критики отмечали искренний, чистый и ясный лиризм Довида Кнута. В годы оккупации он и его жена Ариадна Скрябина, дочь композитора, действовали в еврейской группе Сопротивления. Ариадна погибла, а Довид остался в живых и написал впоследствии книгу о борьбе с фашистами. В начале 50-х Кнут покинул Францию и уехал в Израиль.

Шаховская вспоминает:

«Маленький, худенький, смугленький Довид Кнут жил нелегко. Сперва был рассыльным в каком-то предприятии, затем открыл свое дело, которое твердой рукой вела первая его жена Сара. Он первый воспел “особенный еврейско-русский воздух — блажен, кто им когда-то дышал”. Но, провозглашая себя иудеем (“Я, Довид Ари бен Ме-

ир!”), тоже испытывал ностальгию по Петрограду и после библейских тем обращался к типичному для русского Монпарнаса тону:

> *Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь.*
>
> *Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь…*

Сам же Довид был живой, приятный собеседник, не лишенный чувства юмора…»

Необходимо добавить и воспоминания Нины Берберовой из ее «Курсива»:

«С Кнутом семь лет меня связывала тесная дружба, многое в его стихах говорит об этих отношениях («Два глаза — два окна», «По твоим виновато-веселым глазам» и т. д.). Мы много бывали вместе, иногда втроем с Ходасевичем. Кнут был небольшого роста, с большим носом, грустными, но живыми глазами… В 20-х он держал дешевый ресторан в Латинском квартале… занимался ручной раскраской материи, что было в то время модным… Его проблема — русский язык. Ходасевич говорил ему:

— Так по-русски не говорят.

— Где не говорят?

— В Москве.

— А в Кишиневе говорят».

…После рождения сына личная жизнь Кнута осложнилась: он ушел от Сарочки и жил с «новой подругой». Берберова сказала ему, что он будет иметь около себя ее недолго, «а меня — всю жизнь». Кнут усмехнулся. И на остановке под фонарем прочел свое последнее стихотворение… Какое? Может быть, это? -

Я не умру. И разве может быть,
Чтоб – без меня – в ликующем пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.

Не может быть, чтоб – без меня – земля,
Катясь в мирах, цвела и отцветала,
Чтоб без меня шумели тополя,
Чтоб снег кружился, а меня – не стало!

Не может быть. Я утверждаю: нет…

Так и хочется сказать: — Довид Миронович, еще как может!.. И без Кнута, и без кого угодно. Человек всего лишь пылинка: смахнули тряпоч-

кой — и нет человека…

А тем временем мы с вами вернемся к следующей персоне, родившейся в первом году XX века.

* * *

В 1995 году в Москве в издательстве «Республика» вышла книга «Вернуться в Россию стихами…» — 200 поэтов эмиграции. Это антология лучших стихотворений с кратким биографическим предисловием, составленным Вадимом Крейдом. Замечательная книга, к которой я лично обращался не раз. Среди представленных поэтов с разной судьбою выделяется один.

Владимир Диксон (16 марта 1900, Сормово — 17 декабря 1929, Париж).

Жизнь Диксона необычайна даже на фоне сплошь необыкновенных биографий поэтов-эмигрантов. Его дед со стороны отца — канадец, бабушка — англичанка. Отец поэта американец Уолтер Франк Диксон приехал в Россию в 1895 году и работал инженером-строителем в паровозном отделе Сормовских заводов. Женился на Людмиле Биджевской, дед которой происходил из Польши.

Владимир Диксон родился в Сормове Нижегородской губернии, с детства говорил на трех

языках. Рано начал писать стихи, рано пробудилась в нем страсть к религиозному поиску. Окончил Подольское реальное училище, а в июле 1917 года уехал в США. Учился в Массачусетском институте, потом еще в Гарварде. Служил в американской армии простым солдатом, а затем переводчиком в штабе генерала Першинга. В 1923 году работал в компании Зингера в Париже, где и умер от эмболии после операции аппендицита в 29 лет.

В гроб Диксону положили сохранившиеся у кого-то из эмигрантов лепестки роз с надгробного венка Блоку и горсть русской земли. Удивительно, что Диксон прикипел к России и не очень жаловал Запад.

Здесь намечено и размерено,
Все по правилу, по струне.
Только сердце мое потеряно
В этой вылощенной стране.

У нас не такие сажени,
Совсем другая верста,
Наши лошади не запряжены,
И конюшня давно пуста…

…У нас не такие дороги,

Совсем иные пути: —
Вся надежда наша – в Боге.
Больше некуда нам идти.

Нет, каков американец, ставший русским религиозным поэтом и отвергнувший Францию?!.

Галина Кузнецова: закатный роман Бунина

В серьезно-печальной книге об эмиграции должна непременно засветиться и Любовь. Читатели, и особенно читательницы, обожают и льнут к этой пряной теме. «Дубов!» — как вздыхал клоун Вячеслав Полунин. Итак, поговорим о любви. Положим немного «клубнички» на тарелку острой эмиграции.

Галина Кузнецова (1900, Киев — 1976, Мюнхен). Прозаик, поэтесса, ученица Бунина. Эмигрировала в 1920 году. Константинополь, Прага, Париж. Училась в Пражском французском университете. С 1927 по 1942 год жила в семье Бунина в Париже и Грассе. В 1949-м переехала в США, в Вашингтоне издала «Грасский дневник» (1967). Приняла американское гражданство. Работала корректором в издательском отделе ООН.

Среди написанных книг только один стихотворный сборник «Оливковый сад» (1937). Вот характерные строки:

Благодарю тебя, природа,
За все, чему названья нет.

За все, что дышит, светит, манит,
Томит тревожною тщетой,
Все, что сиять не перестанет,
Когда я стану пустотой.

И еще:

Я возвращаюсь в сумерки.
Над садом Стояла светлолицая луна…
Белела невысокая стена…
Стучало сердце… Я была одна.

В «Курсиве» Берберова вспоминала фиалковые глаза Галины, женственную фигуру, детские руки и речь с небольшим заиканием, передававшую ее беззащитность и прелесть.

Галина Кузнецова — последняя любовь Бунина. Ивану Алексеевичу 55 лет, ей — 26, почти 30 лет разницы. Бунин давно женат на Вере Муромцевой, замужем и Галина. Их познакомил на пляже пушкинист Модест Гофман.

Ирина Одоевцева вспоминала: «Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала считаться с ним, каждый вечер исчезала из дома и возвращалась всё позже и позже. Однажды она вернулась в

три часа ночи, и тут между ними произошло решительное объяснение. Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула:

— Конечно, Иван Алексеевич!

На следующее утро Петров, пока Галина еще спала, сложил свои чемоданы и уехал из отеля, не оставив адреса… Петров носился с мыслью об убийстве Бунина, но пришел в себя и на время покинул Париж».

Встречи Галины с Буниным продолжались. Муромцева была в отчаянии: «Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать?» В это трудно поверить, но Бунин убедил жену в том, что между ним и Галиной ничего нет, кроме отношений учителя и ученика, что их связывают только литературные интересы. Вера Николаевна поверила (или заставила себя в это поверить). В результате Галина Кузнецова была приглашена поселиться у Бунина и стать «членом их семьи». Заметим, что у Буниных на их обеспечении жил молодой литератор Н. Рощин, а позднее и Л. Зуров. «Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих. Зуров платит в сутки 10 франков», — записывал в дневнике Бунин.

«Общественность» не могла не заметить новую

жилицу, и русская колония в Париже перемывала косточки Ивану Алексеевичу.

Так что же было на самом деле — любовный роман или литературная учеба? Отношения между учителем и учеником, несомненно, были. Кузнецова в итоге нашла свою писательскую стезю. Первая ее книга «Утро» вышла в 1930 году, а затем последовали другие. Все это так, но учитель был мужчиной, а ученица — женщиной. О своем первом разговоре с Буниным Галина Кузнецова записала: «Я ушла охлажденная, разочарованная. Бунин показался мне надменным, холодным. Даже внешность его — он, впрочем, был очень моложав, с едва седеющими висками, — показалась мне неприятной, высокомерной». Однако в дальнейшем творческие интересы сблизили их друг с другом.

1 августа 1929 года («Грасский дневник» Галины Кузнецовой): «Вчера кончена 4-я книга «Арсеньева». Кончив ее, И.А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тонар!»

Но, конечно, одной литературой не обошлось. Бунин полюбил Кузнецову, как только мог полю-

бить стареющий мужчина молодую женщину. И что немаловажно, женщину, которая была душевно близка и разделяла с ним его творческие принципы. Как протекал этот роман, мы в точности не знаем. Дневниковые записи Бунина в годы отношений между ним и Галиной очень скупы. Но вот маленькая запись 10 марта 1932 года: «Темный вечер, ходили с Галиной по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг — подвал пекарни, там топится печь, пекут хлебы — и такая сладость жизни».

«Сладость жизни» — вот ключевые слова.

Приведем еще одно стихотворение Кузнецовой:

В большой тяжелой книге бытия
Что для тебя, всезнающего, я?
Простой и слабый белый мотылек,
Наивно развернувшийся цветок.
Дитя, которому твоя рука
Отодвигает локоны с виска…

Но этот «мотылек» был не так прост. Галина долго умоляла Бунина пригласить на виллу «Бельведер» свою подругу Маргариту Степун (Марту, Магду), которая в то время приютилась

в Дрездене. После долгих уговоров Бунин согласился, и Марга приехала, и тут доселе ходившая хмурая Галина буквально расцвела. Новая гостья Буниных оказалась мужеподобной дамой с низким красивым голосом (она была профессиональной певицей). Бунин сразу отметил сразу бросавшуюся в глаза ее черту: похотливость. Она была лесбиянкой, эта Маргарита Степун.

Подруги все время были вместе, гуляли, обнимались, уединялись, а Иван Алексеевич выходил из себя и страдал. Его ревность доходила до бешенства. Муромцева записывала в дневнике: «В доме нехорошо… Обожание Маргой у Галины какое-то странное…»

В итоге Галина Кузнецова уехала из бунинского дома вместе со своей подругой-любовницей, заставив Бунина остро переживать разрыв. Кузнецова покинула Бунина в зените его славы, после присуждения ему Нобелевской премии. «Бунин, — писала Одоевцева, — обожавший Галину, чуть не сошел с ума от горя и возмущения. В продолжение двух лет он ежедневно посылал ей письмо…»

Галина все же вернулась в Грасс и продолжала жить у Буниных. Мучительный треугольник все более накалялся. Но постепенно давление в нем

начало падать. Менялось отношение Галины к Бунину — по мере роста восхищения Буниным как писателем затухало чувство к нему как к мужчине.

18 апреля 1942 года, как бы подытоживая пережитое, Бунин записал в дневнике:

«Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор отравляет! 15 лет! Все еще ничего не делаю — слабость, безволие — очень подорвалось здоровье!»

Бунину шел 72-й год.

16 сентября 1942 года: «Все прекрасные дни. И все мука — тянет ехать в Cannes, Ниццу, видеть море, женщин, кого-то встретить, — одиночество страшное!., и мука воспоминаний моих прежних лет тут».

Бунин ушел из жизни 8 ноября 1953 года, Галина Кузнецова — спустя 23 года, 8 февраля 1976 года. И осталась в литературе не сама по себе, со своими стихами и прозой, а исключительно как любимая женщина Бунина, его закатный роман, его спутница в «Темных аллеях» страсти и любви.

Берберова: женщина из Серебряного века

Нина Берберова (1901, Петербург — 1993, Филадельфия).

Прекрасная романистка, эссеистка, мемуаристка, хранительница духа настоящей русской литературы. Третья жена Ходасевича. Уехала из России в июне 1922 года. Жила в Берлине, Италии, Париже, в 1950 году переехала в США.

Я, конечно, очень субъективен, но меня всегда удивляют читатели и особенно читательницы, которые любят псевдолитературу, какую-то модную книжную галиматью и игнорируют (боятся? чураются? не понимают?..) настоящие книги, к примеру книги Нины Берберовой, книги, которые способны не только увлечь и завлечь, но и воспитывают, формируют, развивают вкус. Рассказывают подлинные истории, а не выдуманные про каких-то ментов и следователей, жен и любовниц олигархов, девиц-стерв и прочих людишек с копеечными мыслями и долларовыми амбициями. Нет, лично я двумя руками за Берберову!

Нина Николаевна Берберова родилась 26 июля (8 августа) 1901 года в Петербурге и прожила 92 года. И это были не просто долгие, тягучие годы, а десятилетия, насыщенные борьбой, трудом, встречами, размышлениями о жизни и о судьбе, что само по себе достойно внимания и уважения. Вот что она писала в предисловии ко второму изданию книги «Курсив мой»: «Я смотрю из настоящего в прошлое и вижу, что я всю жизнь была одна. Несмотря на мои замужества, на дружбы, на встречи, на прочные и продолжительные отношения с людьми, на любовные радости и горести, на работу, я была одна. Несмотря на три “подготовки” (но не попытки!) самоубийства (внимательное рассматривание возможностей, какое несомненно бывает у всех), несмотря на разлуку с близкими, на отсутствие русской речи вокруг, я была счастливым человеком. Величайшим счастьем я считаю именно тот факт, что я была одна и ценила это. Я смогла узнать себя рано и продолжать это узнавание долго. И еще одно обстоятельство помогло мне: не нашлось никого, на кого я бы смогла опереться, мне нужно было самой найти свою жизнь и ее значение. На меня иногда опирались люди. И как-то так вышло, что мне в жизни ничего не перепало. Так

что я никому ничего не должна и ни перед кем не виновата. Мне кажется, я никого не беспокоила собой и ни на ком не висла. И благодаря здоровью не слишком заботилась о самой себе. Мне давно стало ясно, что жить и особенно умирать легче, когда видишь жизнь как целое, с ее началом, серединой и концом. У меня были мифы, но никогда не было мифологии».

Цитата длинная, но какая емкая и глубинная, поучительная для тех, кто несамостоятелен, виснет, мечется и надеется на других.

Всю свою жизнь Нина Берберова изложила в автобиографической книге «Курсив мой» (первое издание на английском в 1969 году), для тех, кто не читал эти удивительные воспоминания-признания, расскажем кратко о ее жизненном пути. Отец — Берберов, армянин из Нахичевани, — чиновник министерства финансов, мать — Караулова — дочь тверского помещика. Стало быть, русско-армянских кровей. Юность совпала с революцией. Встреча со знаменитым поэтом Владиславом Ходасевичем и совсем неподходящее время для любви. В апреле 1922 года на скамейке в Михайловском парке Ходасевич сказал Нине Берберовой, что пред ним две задачи: быть вместе и уцелеть. Уцелеть физически, ду-

ховно и творчески.

Как супруги они добились заграничных паспортов и уехали на Запад. «Мы уезжали, думая, что все попритихнет, жизнь немножко образуется, восстановится — и мы вернемся…» — писала в своих воспоминаниях Берберова. 22 июня 1922 года они покинули Россию: Ходасевич умер в эмиграции, а Берберова посетит родину лишь спустя 67 лет — в 1989 году.

После множества переездов — Прага, Берлин, Сорренто (где жил Максим Горький) — Берберова с Ходасевичем оказываются в Париже. Труднейшая, скудная эмигрантская жизнь. Ходасевич был талантлив, но плохо приспособлен к жизни, тем более на чужбине, и совсем не умел зарабатывать. Десять лет они прожили в душевной гармонии и материальном дискомфорте. «Я начала писать в 1927 году, чтобы было чем платить за квартиру», — вспоминает о тех временах Берберова. И в какой-то период она «тащила» дом, а потом решила покинуть Ходасевича. Как написал сосед по Биянкуру (парижскому пригороду): «Она сварила ему борщ на три дня, заштопала все носки и после этого ушла». Сыграла роль в расставании и возрастная разница в 16 лет, как отмечала Берберова, она представляла «почти

другое поколение».

У Ходасевича появилась другая женщина — Ольга Марголина (с которой Берберова, кстати, была дружна, и они вместе проводили одного из лучших поэтов Серебряного века в последний путь). А Берберова вышла замуж за другого русского эмигранта Николая Мокеева. По ее оценке: «Он был талантлив в разных областях, но нигде не гений». После войны Берберова и Мокеев расстались. Но оставим детали семейной жизни Нины Берберовой, не это главное, главное — творчество.

В городе на Неве, живя в атмосфере Серебряного века, умной и красивой девушке нельзя было не быть поэтессой. Берберова занималась в студии Гумилева при петроградском Доме искусств, и первые ее стихи вышли в сборнике «Ушкуйники» (1922).

В гимназии Берберова считалась лучшей ученицей. Читала запоем все подряд, до головокружения. Помимо художественной литературы изучала историю, психологию и религию. Рыдала, узнав о смерти Блока. Тяжело перенесла расстрел Гумилева. Ее спас союз с Ходасевичем.

Первые эмигрантские стихи Берберовой появились в берлинской газете «Голос России».

Переселившись в Париж, Нина Николаевна длительно сотрудничала с газетой «Последние новости», где она печатала буквально все — рассказы, кинокритику, хронику светской жизни, а летом заменяла даже машинистку редакции.

В парижский период Берберова написала серию рассказов «Биянкурские праздники» и три романа, посвященные жизни русской эмиграции. На Берберову обратил внимание Владимир Набоков (он, кстати, был ее литературным кумиром): «Из всего эмигрантского, житейско-рыхлого, корявого, какофонического, — она выкроила, возвела в эпический сан, округлила и замкнула по-своему одно лишь явление нашего быта: тоску по земле, тоску по оседлости», — отмечал Набоков, подразумевая, конечно, покинутую Россию.

Во время войны Берберова жила в оккупированном Париже, после освобождения Франции работала редактором еженедельника «Русская мысль». Напечатала роман «Мыс бурь», а в 1950 году переехала в Америку. Позднее свой переезд она объясняла так: «Мне не скучно в Америке. Конечно, мне во много раз интереснее во Франции, но в разбитой после войны Франции я не могла свести концы с концами — пришлось ехать в Америку». В Штаты она приехала без денег и с

еще более скудным запасом слов, но независимой и деятельной, за что сразу заслужила симпатии и уважение. Восемь лет прожила в Нью-Йорке, работала в архиве, училась на курсах английского языка.

Берберова кропотливо собирала материалы для своих будущих работ: «Архивы были такие, что прямо умереть… Столько интересных подробностей и деталей…» И эта связь с прошлым через архивные документы очень помогла сохранить силы и жить на чужбине. Как написала в одном из своих стихотворений:

Я говорю: я не в изгнанье,
я не ищу земных путей.
я не в изгнанье,
я – в посланье,
легко мне жить среди людей.

После восьми лет необеспеченной, шаткой жизни в Нью-Йорке ее пригласили преподавать русский язык в Йельский университет. Когда декан факультета поразился ее обширным знаниям и понял, кто перед ним, он без промедления назначил Берберову профессором литературы. Слух о необычном русском профессоре распространился быстро и Принстон похитил ее у Йеля,

и она стала преподавать в супер престижном Принстонском университете. А в нью-йоркском книжном издательстве «Руссика» начали выходить ее книги на русском языке. В Принстоне она вышла на пенсию, а в последние годы жизни переехала в Филадельфию, где и скончалась 26 сентября 1993 года, в возрасте 92 лет.

Берберова оказалась плодовитой писательницей. В Берлине вышли ее биографические книги «Чайковский. История одинокой жизни» (1936), «Бородин» (1938), в Париже — книга «Облегчение участи» (1949). В Нью-Йорке — «Железная женщина: рассказ о жизни М.И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях» (1981), «Люди и ложи» о масонах (1986) и много литературно-критических статей о Ходасевиче, Набокове и т. д.

Книга о Чайковском стала сенсацией: впервые было сказано о «голубизне» Петра Ильича и о том, что никакой холеры не было, а было чистое самоубийство. Писала Берберова, опираясь на живых свидетелей, и в частности на вдову брата композитора Прасковью Владимировну. «Я, начинающий литератор, — вспоминала Берберова, — сидела и с замиранием сердца ждала, когда же наконец начнется разговор о любовных

связях композитора. А Прасковья Владимировна, не дожидаясь, когда я робко подведу ее к этому, говорит: “Дорогая моя! Что здесь удивляться! Сколько великих князей этим занимались!”»

Не менее сенсационной получилась книга «Железная женщина». Она вышла в 1991 году, и в предисловии Андрей Вознесенский писал: «Жанр ее необычен. Я бы назвал ее инфо-романом, романом-информацией, шедевром нового стиля нашего информационного времени, ставшего искусством. Это увлекательно-страшное жизнеописание баронессы М. Будберг — пленительной авантюристки, сквозь сердце которой прошли литературные и политические чемпионы столетия — как то: М. Горький, Уэллс, Локкарт, Петерс и другие».

Под пером Берберовой «железная женщина» Мария Игнатьевна, она же обольстительная Мура, предстает запредельно живым и интересным человеком, а не идеологическим продуктом советских серий ЖЗЛ.

Удивительна книга Берберовой «Люди и ложи», в которой даны 666 биографий русских масонов-эмигрантов. Если говорить о литераторах, то — от Алданова и Адамовича до Бориса Савинкова и Сергея Маковского.

Ну и, наконец, главная книга — итог всей жизни — «Курсив мой». На мой взгляд, потрясающе интересная книга, ибо в ней отражена ушедшая эпоха и почти все знаменитости, жившие в ней. А еще стиль! Переводчик Евгений Витковский считает, что книга написана «почерком Петрарки». У Ходасевича есть строки, которые можно считать напутствием к любой мемуарной книге, о двух правилах:

Раз: победителей не славить.

Два: побежденных не жалеть.

Берберова в своем «Курсиве» следовала этим правилам, хотя и допускала отклонения. И нашлось много ее критиков, к примеру, «товарищ» по эмиграции Роман Гуль отмечал, что книга — это «неорганизованный, многословный, тяжеловесный и… скучный опус».

Другие считают, что это «блестящий портрет русской эмиграции 20-40-х годов». Споры не стихают по сей день: кому-то не нравится несколько шаржированный образ Бунина, кто-то спорит с оценками Мережковского в связи с его коллаборационизмом. Но разве в этом дело? Точность не дана никому! Важно другое: драгоценная память, которой переполнена книга Берберовой. Приме-

чателен отрывок из дневника Нины Николаевны от декабря 1939 года, вставленный в «Курсив»:

«Итак, прошло не так много времени по смерти Блока, и люди уже не знают, кто такая Л.Д. Блок, а мы-то думали, что это будут знать все и всегда! Уплывает жизнь — малая и великая — и от драгоценных имен и эпох остается прах».

Эта запись Берберовой вызвана письмом одного студента, который не знал, кто такая была Люба Менделеева, жена Блока, и из-за чего произошла ссора между Блоком и Андреем Белым. Из-за Любы!..

Ну и последний аккорд. До 80-х годов советские люди о Берберовой не знали ничего, кроме того, что она была третьей женой Ходасевича, но когда она осенью 1989 года приехала в СССР, то ее знали уже многие, и это был триумфальный приезд. Встречи, интервью, выступления: все хотели узнать как можно больше об авторе «Чайковского», «Железной женщины» и, конечно, «Курсив». Она поразила, пожалуй, всех сразу: своей подтянутостью, несмотря на возраст, огромной эрудицией, элегантностью и оригинальностью суждений. Одна только просьба — «не возите меня по кладбищам, не показывайте мне памятники и березку над прудом. Меня не интересуют

могилы», — вызвала у некоторых оторопь: как так? Гробы и березки — это и есть родина…

В свою очередь, Берберова была поражена умонастроением своих бывших соотечественников: «Я удивляюсь несколько тому, что русские люди, живущие в Советском Союзе, сохранили тягу к некоторым мифам. Появились сомнения в причинах смерти Есенина и Маяковского. Или на одном вечере, когда я рассказывала о своей книге “Люди и ложи”, молодые люди кричали мне: что Троцкий был масон… Я стараюсь с этим бороться, называю документы, источники».

И, конечно, Берберову донимали: не хочет ли она вернуться на родину? Она ответила так: «Никогда об этом не думала. Наверное, нет — стара. Я живу в Принстоне. Там мне очень удобно…» И объяснила, почему удобно: комфорт, сервис, уважение. А что мы имели в СССР в 1989 году, не говорю о сегодняшних днях, но до них Берберова, к счастью, не дожила.

В 1996 году вышло второе издание «Курсив мой». В конце послесловия даны выдержки из писем и откликов. Вот одно из писем: «Жива ли Берберова? На этот раз я прочел ее книгу очень внимательно. Замечательная книга, тонкая, точная, трагическая, результат жизни, где человек

все время углублялся, шел дальше, не засыхал. Это редко бывает… Иметь “Курсив” было моей мечтой».

Нина Берберова. Женщина из Серебряного века. Человек, обладавший смелостью быть собой.

* * *

Анатолий Величковский (1901, Варшава — **1981,** Париж). Поэт. В **16** лет ушел в Добровольческую армию. Потом изгнание: Польша, Франция. Работал на металлургическом заводе в Каннах и ночным таксистом в Лионе. Первый поэтический сборник — «Лицом к лицу» **(1952).** Его творчество близко к поэтам «Парижской ноты». О своих книгах Величковский говорил:

«Ключ к моим стихам — отчаяние. Оно и сделало меня поэтом. Отчаяние — потеря родины, гибель старой России, гибель природы в наш технический век…» «Он чувствовал себя побежденным, — говорил о Величковском Юрий Иваск и добавлял: — Он находил в себе лирическую силу петь не только о горестях, но и о радостях».

Солнце греет, пахнут липы медом.
Мы идем в толпе других прохожих.
Перед нами Сена, блещут воды,

Длинный мост мы переходим тоже.

Смотрим вниз на быстрое теченье:
Пароход плывет в Медон с народом,
Ходят волны, выступает пена
Золотым углом за пароходом…

Плыть на этом пароходе белом,
Пить вино и прохлаждаться —
Много раз нам этого хотелось,
Только как-то не пришлось дождаться.

В жизни мы – как в голубом сиянье:
Все прекрасно, все цветет и блещет,
Но труднее даже подаянья
Достаются нам простые вещи.

Писал Величковский и рассказы, не без чеховского влияния…

* * *

Виктор Мамченко (1901, Николаев — **1982,** Шелль). В **20**-летнем возрасте отправился в Африку, работал, батрачил в Тунисе. С **1923** года в Париже. Немного учился в Сорбонне. Подвизался корректором. Постоянным гостем был у Мереж-

ковских. Один из основателей объединения русских поэтов в Париже. Выпустил несколько сборников, в том числе «Звезды в аду». Терапиано считал его «одним из интереснейших людей своего поколения».

Какой проспект? Иль это Невский
По всей земле,
И правды ищет Достоевский
В морозной мгле?..

В последнем сборнике Мамченко много интересных, но трагических по мироощущению стихотворений — «Над землею черный холод…», «Стихает день в мерцанье паутин…», «Цветы отцветают. Не надо иллюзий…», «Идешь сквозь бред, идешь в дурную вечность…» и т. д.

Возникает вопрос: как вообще оценивать стихи? И как сравнивать поэтов, одного с другим? В статье об Осипе Мандельштаме Георгий Адамович писал:

«Поэтов не надо сравнивать… Каждый сам по себе, как в природе: тополь, дуб, ландыш, репейник, папоротник, — и все живет по-своему, и нет никаких “лучше” и “хуже”. Но это в теории, а на практике, пока стоит мир, люди сравнивать будут и сознавая, что сравнения никуда не идут.

Пушкин или Лермонтов?..»

Продолжим: Терапиано и Мамченко, Смоленский и Кнут и т. д. Разная поэзия и разные изломы судьбы. Вот Мамченко: в 1967 году в возрасте 66 лет пережил удар, лишился дара речи, не мог ходить, и в таком состоянии, оставаясь с ясной головой, прожил еще 15 лет. Умер в доме Красного Креста, в одиночестве. Такова была судьба Виктора Андреевича Мамченко.

И не знаю, как подняться,
Как идти, куда идти,
И в дыхании двоятся
Жизне-смертные пути…

* * *

Мария Волкова (1902, Усть-Каменогорск — **1983,** Германия). Поэтесса. Дочь сибирского казака и уральской казачки.

Страшный, неистово лютый, подлинно ледяной поход через Сибирь до Байкала. В нем — ужасная смерть горячо любимого отца, героя колчаковского похода, потеря дочери-первенца. А потом — изгнание, чужбина, бедность, сознание своей неприкаянности… Жила в Париже. Но это не принесло ни счастья, ни радости.

Розовеет веселый шиповник…
Задыхаясь стою у плетня.
Это – он, моей грусти виновник!
Он прошел, не взглянул на меня!

Промелькнул. Второпях не заметил.
Тише, сердце… молчи… все равно…
День как будто и ясен и светел,
А в глазах почему-то темно…

…Розовеет веселый шиповник.
Неподвижно стою у плетня.
Он – не муж мне, не брат, не любовник.
Отчего ж я – сама не своя?

* * *

Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак. 1902, Феодосия — 1994). Журналист, писатель, критик.

Когда грянула революция, Андрею Седых было 15 лет. И куда податься юноше, окончившему гимназию? В 1919-м Седых нанялся матросом на пароход и сошел с него в Константинополе, где в течение полугода продавал на улице русские газеты. В ноябре 1920-го приехал во Францию. Бывший министр торговли царского прави-

тельства М. Федоров, занимавшийся делами русских студентов, устроил Седых в Парижский университет. С 1926 года Седых — журналист, парламентский корреспондент. Из журналистов в писатели. В 1930 году вышла книга «Там, где была Россия», затем другая — «Звездочеты с Босфора». Бунин отозвался о книгах Седых так: «Это хорошая книга, вы должны писать, из вас выработается хороший писатель, если вас не убьет журналистика». Не убила.

Седых стал литературным секретарем Бунина и сопровождал его в Стокгольм на получение Нобелевской премии. В дальнейшем в письмах Бунин обращался к нему так: «Милый Яшенька, на том свете Вам кое-что простится за то, что очень успокоили Вы меня в моей позорной старости на некоторое время…» (20 января 1949 года).

Из-за оккупации Франции бежал (он ведь был евреем) и оказался в США, сотрудничал в «Новом русском слове». Выпустил книгу «Далекие, близкие» (Нью-Йорк, 1962). Дружил с Шаляпиным.

Седых написал несколько книг о Париже: «Старый Париж», «Монмартр и Париж ночью», — которые оценил Куприн: «У Я. Цвибака есть добрые данные. У него есть острый, зоркий глаз. Он поворотлив и разнообразен по фразе. Он пишет о том,

что видел и знает…» Жгуче интересовался Седых вопросом о роли российской еврейской интеллигенции в эмиграции. В статье «Русские евреи в эмигрантской литературе» (Нью-Йорк, 1968) он писал, что «на либеральном фланге русской эмиграции была широко представлена еврейская интеллигенция: адвокаты, книгоиздатели, общественные и политические деятели, ученые, писатели, журналисты…»

Якову Моисеевичу (Андрею Седых) суждено было прожить 92 года, пережить потерю близких и друзей. В 90-х годах он остался одним из последних российских эмигрантов, бережно хранивших память о России.

* * *

Еще один эмигрант — **Георгий Эристов** (1902, Батум -1977, Милан). Детские годы прошли в Грузии и в Петербурге. В 20-е годы эмигрировал, жил в разных странах Европы. В 1937-м обосновался в Италии. Преподавал в Милане русский язык и литературу. Издал свой первый поэтический сборник «Синий вечер» поздно: в 1956 году в Милане. Писал и на итальянские темы — сборник «В гостях у святого Франциска (Ассизи)».

Кто мне сказал, что грусть печальна,
Что сердце «стынет от тоски»,
Что наша жизнь пуста, банальна
И от души – одни куски?

Все это вздор! Как раз под вечер
Грусть навестить пришла меня
И, в шаль упрятав зябко плечи,
Со мной присела у огня.

Наш разговор был тих, приятен,
Мы пили прошлого вино,
А на полу, средь лунных пятен,
Легло квадратное окно.

А там – за ним – был сад, цикады,
И пел так нежно соловей,
Что прахом рухнули преграды
В душе оттаявшей моей.

* * *

А теперь — внимание! Далее следуют шестеро ровесников, родившихся в 1903 году. Это — Газданов, Гомолицкий, Кудашев, Одарченко, Поплавский и Шимановская. Когда грянула ре-

волюция, каждому из них было всего лишь по 14 лет. Можно сказать, мальчишки и… одна девушка. И перед каждым из них стоял взрослый вопрос выбора, как поступить: принять революцию и стать «комиссаром в пыльных шлемах» или не принять ее и уехать подальше от грохота, крови и смерти. В эмиграцию, хотя они и не понимали, что это такое.

Газданов: печальный эстет, работавший ночным таксистом

Гайто Газданов (1903, Петербург — 1971, Мюнхен). Осетин по рождению. Некогда малоизвестный прозаик, ныне ставший кандидатом в классики русской литературы.

Без биографических шагов не обойтись. Отец Газданова был лесничим и мотался по стране, и поэтому детские воспоминания мальчика — вечные переезды, вечное движение. И как признавался позднее писатель: «Это путешествие все еще продолжается во мне». У него были сложные отношения с матерью, в ней «таилась способность внутренних взрывов и постоянной раздвоенности, которая во мне была совершенно несомненной», — отмечал Газданов. Выросший в строгой обстановке, «точно заколдованный холодным волшебством матери», он был тихим и послушным ребенком.

Учился в кадетском корпусе в Полтаве, затем в харьковской гимназии. Был очень начитанным мальчиком и в возрасте 13–14 лет познакомился с сочинениями Ницше, Фейербаха, Спинозы,

Шопенгауэра, Канта. Но интересы подростка не ограничивались философией.

В 16 лет Гайто Газданов был брошен в мясорубку Гражданской войны. Он оказался в Добровольческой армии барона Врангеля. Герой его будущего романа «Вечер у Клэр» Николай рассуждает: «Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступил в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и, если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию».

Ну что ж: честно и без каких-либо прикрас.

Пройдя ад Гражданской войны, молодой Газданов вместе с другими белогвардейцами был эвакуирован и попал в Константинополь, а оттуда — в болгарский город Шумен, там он окончил наконец-то русскую гимназию. А уж потом Париж, сладкий город, где Газданову пришлось совсем несладко. Он работал грузчиком, мойщиком паровозов, сверлильщиком на автомобильном заводе.

«…я работал на разгрузке барж в Сен-Дени и

жил в бараке с поляками, — вспоминал Газданов. — Это был преступный сброд, прошедший через несколько тюрем и попавший наконец туда, в Сен-Дени, куда человека мог загнать только голод и полная невозможность найти какую-либо другую работу…»

А потом работа нашлась: ночной таксист в течение 24 лет, с 1928-го по 1952 год. Газданов возил разных людей по ночному Парижу, разговаривал с ними (с детства безупречный французский язык) и изучал жизнь во всем ее разнообразии, в разных коллизиях и обстоятельствах. Роман «Ночные дороги» именно о ночной жизни парижской столицы. После прочтения его даже французы удивлялись тому, каким предстал Париж на страницах газдановского романа: сколько нового увидел писатель, сколько подметил интересного…

Работу ночного таксиста Газданов совмещал с учебой (урывками в Сорбонне) и с упорным литературным трудом. Казалось бы, в таких тяжелых условиях трудно чего-то добиться, но Гайто Газданов добился и предъявил миру свой писательский талант.

В 1929 году вышли из печати два романа, которые затмили все остальные литературные

«выходы»: «Защита Лужина» Владимира Набокова и «Вечер у Клэр» Гайто Газданова. Два успеха, у Набокова, правда, пошумнее, у Газданова чуть потише, но все равно, некоторые критики нашли в Газданове «превосходного соперника Набокова». Кое-кто посчитал Газданова последователем Марселя Пруста. Прочитал «Вечер у Клэр» Максим Горький и ответил большим письмом.

«Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек, — писал Алексей Максимович Газданову. — К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы… Вы кажетесь художником гармоническим, у Вас разум не вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от себя. Но он чувствуется везде…»

Тут, очевидно, следует сказать, что это за роман и кто такая Клэр. Под француженкой Клэр скрыта прелестная русская девушка Татьяна Пашкова, которую любил юный Газданов. Мнемозина помогает писателю находить удивительные краски переживаний молодого человека. Для него Клэр — даже не реальная молодая женщина, а ее призрак, вечно ускользающая Клэр…

Необходимо добавить, что Газданов постоянно искал Клэр исключительно в своих мечтах,

а в жизни встретил другую женщину, Фаину Ламзаки, дочь одесских греков, которая была старше его на 11 лет, от которой веяло теплом и надежностью, именно тем, чего так недоставало Газданову. Их брак продолжался 35 лет.

Но вернемся к литературе. За «Клэр» последовали другие романы: «Пилигримы», «Пробуждение», «Эвелина и ее друзья», много прекрасных рассказов, один из лучших — «Судьба Саломеи». Роман «Переворот» закончен не был. Итог всего творчества Газданова: 9 романов, 37 рассказов, несколько десятков литературно-критических эссе и рецензий. Если говорить о его стиле, то во всех «ледяное дыхание и постоянное присутствие смерти», что придает особую чувственную выразительность его прозе.

В дискуссиях и спорах о литературе Газданов отличался от многих своих коллег самостоятельностью в суждениях, иногда доходившей до заносчивости. Однажды на заседании «Зеленой лампы» речь шла о Брюсове. По воспоминанию одного из присутствующих участников, «Газданов поморщился и заметил, что, кажется, действительно был такой стихотворец, но ведь совершенно бездарный, и кому же теперь охота его перечитывать. С места вскочила, вернее, со-

рвалась Марина Цветаева и принялась кричать: «Газданов, замолчите! Газданов, замолчите!» — и, подбежав к нему вплотную, продолжала кричать и махать руками. Газданов стоял невозмутимо и повторял: «Да, да, помню… помню это имя… что-то помню!»

Примечательно, что Газданов отверг не только Брюсова, но и Тургенева с Некрасовым. Он не жаловал авторитетов и предпочитал идти собственной дорогой. В статье о Гоголе Газданов подчеркивал: «Каждый писатель создает свой собственный мир, а не воспроизводит действительность, и вне этого подлинного творчества литература, настоящая литература не существует».

Любопытна оценка Газдановым литературы в СССР: «Советская литература является событием еще небывалым в мировой истории культуры, она биологически непохожа на литературу-искусство в том смысле, в каком мы привыкли это понимать».

Ночной таксист был суровым критиком.

Война сделала Газданова безработным. Чтобы не погибнуть от голода и нищеты, он и его жена Фаина давали уроки русского языка французам и французского языка — русским. Супруги

участвовали в движении Сопротивления. В своей квартире укрывали лиц еврейской национальности и многим помогли эмигрировать в США.

Многие годы Газданова не оставляли мысли о родине, он мечтал о встрече с матерью, о встрече с детством. В 1935 году написал письмо-просьбу к Горькому о своем желании вернуться в СССР. Горький пытался помочь, но у него не получилось: советской власти был неинтересен Газданов, другое дело — Бунин и Куприн. Но с другой стороны, Бог хранил Газданова: очень вероятно, что по приезду на родину его, как белогвардейца, упекли бы в лагерь и, возможно, расстреляли.

А от чего не мог уберечься Газданов, так это от ностальгии, от тоски по утраченной родине. В романе «Ночные дороги» есть такой пассаж:

«…я ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, — именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины».

А так Газданов сочинял свои полулирические, полуиронические романы и рассказы. Но не толь-

ко. С 1953 года до самой кончины он сотрудничал с американской радиостанцией «Свобода» в Мюнхене. В Мюнхене Георгия Ивановича Газданова (так он именовался по-русски) и настигла смерть. Он умер 5 декабря 1971 года, в день Сталинской конституции.

Еще одна причина, по которой Газданова долго отказывались признавать в СССР, — он олицетворяет «вражеский голос». Лишь в 1988 году, в период гласности, журнал «Литературная Осетия» упомянул Гайто Газданова и его литературное наследие.

В заключение не могу не отметить, что я сам узнал о Газданове не так давно, а моя жена, Анна Безелянская, прочитав «Вечер у Клэр», увлеклась писателем, написала о нем эссе «Призрак любви Гайто Газданова» и часто говорит о нем как о живом человеке.

* * *

Еще один бедолага — **Лев Гомолицкий** (1903, Петербург -1988, Варшава).

Ровесник Газданова, но в отличие от него Гомолицкий мало кому известен. Он большую часть своей жизни прожил в Польше, его имя не вышло за пределы польских границ. То, что он писал,

осталось в рукописях, на газетных полосах и в сборниках изданных крошечными тиражами, в 20–30 экземпляров. А между тем Гомолицкий писал стихи с юности и «тоннами», как отметил один его современник.

В юности Гомолицкий жил на Волыни, затем Петербург, в эмиграции — Лодзь и Варшава. Работал вместе с Дмитрием Философовым. Его ценил Юлиан Тувим. Как литературовед Гомолицкий уделял внимание Пушкину и Мицкевичу. О себе писал так:

«Я был мальчиком, когда началась революция, и мой отец внезапно лишился имущества, почестей и привилегий. Но я бессознательно почувствовал не огорчение утраты, а освобождение от тяготевших уже и надо мною суда и ненависти тех, кто в прежнем мире не был господами положения. С этих пор никакие лишения нищеты и страдания грубого труда и унижения уже не пугали меня, а представлялись очищающим искуплением за всю среду, в которой прошло мое детство. Став свободным, я ощутил себя господином своей жизни, и тогда впервые проснулось сознание, что есть настоящая, разумная и вечная жизнь, не вмещающаяся в рамки моего существова-ни я. И пришла первая огром-

ная и потрясающая любовь бог. Она дала мне твердость и определила направление всей моей последующей жизни. Это та часть меня, которая может быть интересна каждому и потому является единственною настоящею биографией. Все же остальное есть только бесконечная вариация человеческой трагикомедии».

…Отгородясь казармой и
тюрьмой, крестом антенны
встав над курной хатой,
на нас взглянул жестокий
век двадцатый.

И что добавить? Гомолицкий выучил язык и писал по-польски, и поляки называли его на свой манер: Леон Гомолицки. Русский поэт, ставший польским литератором. Ассимилировался. Почти растворился в чужом отечестве.

* * *

Николай Кудашев, еще один князь. Родился в 1903 году, умер в 1979 в Нью-Йорке. Детство провел на Украине, на Днепре, очевидно, в родовом поместье. Почти мальчишкой вступил в Добровольческую армию и вместе с ней покинул

Россию в ноябре 1920 года. Почти 20 лет прожил в Югославии и умудрился послужить в армии Власова. Попал в плен. Чудом избежал смерти и в конце 40-х оказался в Америке. Несколько раз терял свои стихи, восстанавливал их по памяти. В 1978 году в Сан-Франциско вышел единственный сборник Кудашева «Тени». Строки из стихотворения «Внук декабриста»:

…Его и меня за служенье народу
Ждал тот же суровый конец…
Он жаждал свободы – я жертва свободы!
Он сеятель смуты – я жнец!

Он в дебрях Сибири, а я вне России
Платили предъявленный счет, —
За то, что кидали сердца огневые
Тебе, горемычный народ.

Старая история: интеллектуалы и народ. Одни хотели спасать, другие сопротивлялись спасению.

Юрий Одарченко сказал миру «Нет!»

Юрий Павлович Одарченко (1903, Москва — 1960, Париж). Поэт. Человек разносторонний, талантливый. Отличный пианист. Вырос на Украине и как беженец очутился в Париже. Зарабатывал на жизнь как художник по тканям и был владельцем ателье дамского платья. Вместе со Смоленским в 1947 году выпустил альманах «Орион». Его единственный поэтический сборник «Денек» вышел в 1949 году.

Жизнь исчисляют не годами,
Она течет как волны рек,
В них, с лучезарными глазами,
Плывет бесстрашный человек.

Плыл, плыл и неожиданно решил по каким-то своим причинам, что хватит плыть по волнам жизни, и 25 августа 1960 года в Париже покончил счет с жизнью. Совершил самоубийство в 57 лет.

Есть совершенные картинки:
Шнурок порвался на ботинке,
Когда жена в театр спешит

И мужа злобно тормошит.

Когда усердно мать хлопочет:
Одеть теплей сыночка хочет,
Чтоб мальчик грудь не застудил,
А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий
На механические ноги,
И снова бодро зашагал.
И под трамвай опять попал.

Когда в стремительной ракете,
Решив края покинуть эти,
Я расшибу о стенку лоб,
Поняв, что мир – закрытый гроб.

Какая мрачность от цепи случайностей, и где эти «лучезарные глаза»?.. У Кирилла Померанцева есть статья-исследование «Оправдание поражения», одна часть посвящена Владимиру Смоленскому, а другая — Юрию Одарченко. Вот что писал Померанцев (привожу с сокращениями):

«Для Юрия Одарченко этот мир вообще не существовал. Поэтому его поэзия — ни его утвер-

ждение, ни его отрицание. Она попросту не имеет к миру никакого отношения. А там, где имеет, только для того, чтобы показать его онтологическую невозможность, и последним актом этого доказательства явилось доказательство невозможности его собственной жизни — самоубийство Юрия Одарченко.

Жизнь, такая жизнь, какую мы знаем, какой она дана каждому из нас, не только невозможна, но она и не-должна. Она есть недолжная жизнь, абсурд. Самоубийство же есть выход из абсурда, додумана до конца мысль, венок на собственную могилу, комментарий на свой собственный сборник стихов:

Куст каких-то ядовитых роз
Я вырастил поэзии на смену.

Многие так и воспринимают стихи Одарченко. Разве это стихи? Это клубок колючей проволоки, того и гляди поцарапает!..

Как прекрасны слова:
Листопад, листопад, листопады.
Сколько рифм на слова:
Водопад, водопад, водопады.
И расставлю слова

В наилучшем и строгом порядке —
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки!

Внутренний мир Юрия Одарченко — это мир глубочайшего, предельного одиночества… мир, в котором он жил, был герметически закрыт для всех других и открыт только ему одному… Все последние годы жизни Юрия Одарченко были борьбой с соблазном “предсмертного ужаса”, устоять перед которым сильнее соблазна жизни, именуемого жизненным инстинктом. Отрицая жизнь, Одарченко отрицал и ее наивысшее выражение — человека. Человек был для него жалок, как жалким было и все творение.

Мышь без оглядки от кошки бежит.
Волка убьют на охоте.
Птица по синему небу летит —
Платят за птицу по счету.
Ясно. Все ясно. Но вот человек.
Если повеситься сам не сумеет,
Значит, на старости лет заболеет,
Станет любимцем соседних аптек.
Так ли уж гордо звучит – Человек!

Одарченко не только страдал от окружающего его ужаса, но еще от того, что другие этого ужаса не замечают…

«Не смотри долго в бездну, чтобы бездна не заглянула в тебя», — предупреждал Ницше после того как сам понасмотрелся вдоволь. Но ведь Пушкин утверждал, что -

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Бездна уже давно заглянула в Одарченко. Быть может, поэтому бессмертие — другая жизнь — была тем единственным, во что по-настоящему верил Юрий Одарченко, что он принимал без оговорок и до конца. Не то, что есть, но что будет…»

Добавим к выдержкам Померанцева, что многие стихи Одарченко писал в жанре черного юмора, к примеру:

Поздравляю всех молящихся
С тем, что молятся.
Поздравляю розы чайные
С тем, что колются.
Поздравляю всех трудящихся

С тем, что трудятся.
Получившему пощечину
С тем, что судится.
Поздравляю неудачников,
Коль не клеится.
Продавца гуммиарабика,
Если клеится!
Поздравляя, низко кланяюсь
Встречным всем наперечет.
Поздравляю, низко кланяюсь
Всем, кто дышит и живет.

Подборку стихов Юрия Одарченко я достал из своих архивов, прочитал его «низко кланяюсь» и тут же, а это было 29 ноября 2015 года, написал строки:

Ну а тех, кто не живет, не дышит,
Вспомним благодарственно.
Пусть им будет хорошо без крыши
И блаженно барственно.

Борис Поплавский – русский Эдгар По

И последний из ровесников — **Борис Поплавский (1903,** Москва — **1935,** Париж).

В 1918 году Поплавский уехал с отцом на юг России, затем в Константинополь, а в мае 1920 года — в Париж. Поплавскому было 17 лет. При жизни у него вышел единственный сборник стихов — «Флаги», который, по словам Георгия Иванова, вызвал «очень сильное очарование». Успел напечатать главы романа «Аполлон Безобразов». А уже посмертно вышло несколько сборников стихов: «Снежный час», «В венке из воска», «Дирижабль неизвестного направления», дневниковые записи Поплавского, роман «Домой с небес» и трехтомник собрания сочинений в США.

Его смерть 9 октября 1935 года поразила всех. Он прожил всего 32 года…

Поплавский писал, если можно так выразиться, странные стихи с метафизическим отзвуком. К примеру:

> *Розовый час проплывал над светающим миром.*

Души из рая назад возвращались в тела…

… А по дороге, на солнце блистая косою,

Смерть уходила и черт убегал налегке…

Как вам картинка? Или:

Восхитительный вечер полон улыбок и звуков,

Голубая луна проплывала, высоко звуча,

В полутьме Ты ко мне протянула бессмертную руку,

Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча…

Поплавский был самым своеобразным поэтом русского Парижа 1930-х годов. Он вел полунищенский образ жизни и в то же время разыгрывал из себя литературного дэнди. Спортсмен, боксер, Поплавский поражал собеседников своей эрудицией и неожиданностью, парадоксальностью суждений. Трагическая его смерть (от сверхдозы таинственной наркотической смеси) буквально ошеломила русских литераторов-эмигрантов. А непосвященные неожиданно для себя узнали,

что среди них жил «гениальный поэт».

В парижских кабаках распевали «Очи черные» с четырьмя вкрапленными в них строчками Поплавского:

Ресторан закрыт, путь зимой блестит,
И над далью крыш занялся рассвет.
Ты пришла, как сон, как гитары звон,
Ты пришла, моя ненаглядная!

Андрей Седых, вспоминая Поплавского, писал:

«Жил он больше по ночам, а днем лежал в своей комнате на кровати, лицом к стене. Когда я приходил и спрашивал, почему он валяется без дела, Борис в стенку отвечал:

— Не мешай. Я молюсь!

Временами казалось, что он — лентяй, не хочет и не признает никакого труда. Писанье стихов и дневника мы не считали “работой”, а он к тому же говорил:

— Наслаждаюсь равнодушием к литературе.

Жил он в абсолютной духовной изолированности, в атмосфере постоянного душевного смятения и “непросветленного хаоса” Много позже Ходасевич сказал:

— Доморощенный демонизм».

Адамович называл Поплавского «гениально вдохновленным русским мальчиком, нашим Рембо».

Нина Берберова в «Курсиве» отмечала, что Поплавский никогда не снимал черных очков. «В нем была “божественная невнятица”… Он учился у французов, и, я думаю, он кончил бы тем, что осел бы во французской литературе (как это сделал Артюр Адамов), уйдя из русского языка совсем, если бы не замолчал через несколько лет, как замолчали столь многие…»

«Дневной бюджет Поплавского, — писал Ходасевич, — равнялся 7 франкам, из которых 3 он отдавал приятелю. Достоевский рядом с Поплавским был Рокфеллером рядом со мной».

В 1935 году в «Современных записках» с воспоминаниями о Борисе Поплавском выступил Гайто Газданов:

«Внешне все ясно и понятно: Монпарнас, наркотики и — “иначе это кончиться не могло”…

Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем — в любой стране, в которую попадал. Он всегда был — точно возвращающимся из фантастического путешествия, точно входящим в комнату или в кафе из ненаписанного романа Эдгара По… Поплавский неотделим от Эдгара По, Рембо,

Бодлера… Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег… С деньгами он не умел обращаться…

О нем трудно писать еще и потому, что мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе, — нас, его товарищей и собратьев. Всех тех несовременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть, — и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет… В этом никто не виноват, это, кажется, не может быть иначе. Но это чрезвычайно печально…»

Повторим вслед за Газдановым: «Но это чрезвычайно печально».

Несколько слов о старшей сестре Бориса Поплавского — **Наталье Поплавской.** Именно она еще в России в 1917 году издала в Москве «Стихи зеленой дамы» и заинтересовала Бориса поэзией. Она прошла большую «школу» полетов в области дурмана, пристрастилась к кокаину. Эмигрировала с родителями и за границей вскоре умерла

от туберкулеза.

Мы только женщины, и, корчась в страстной муке,
Пред жаждою мужской не можем устоять…

Одно из стихотворений Натальи превратилось в модную песню 20-х годов:

Ты едешь пьяная и очень бледная
По темным улицам, домой, одна.
И странно помнишь ты ту скобку медную
И штору синюю его окна…

Я этот жгучий романс услышал в 15–17 лет, и он меня почему-то волновал. Но тогда, в 40-е годы (и, о, ужас, прошлого века!), я ничего не знал о сестре и брате Поплавских. Да и слова «эмиграция» не было в моем словаре…

* * *

Аглаида Шиманская (1903, Москва — 1995, Франция). Поэтесса, прозаик. В эмиграцию попала ребенком. Детство и юность провела в Швейцарии. В 1939-м переехала в Париж. Главная тема:

родина и гибель.

Окно мое на крышу,
Внизу – веселья бал.
Знакомый вальс я слышу —
Он в старину звучал.

У Лариных, быть может, —
Татьяна, ты не спишь?
Для слез одно и то же —
Москва или Париж.

* * *

Ирина Кнорринг (по мужу Софиева, **1906,** Самарская губерния — **1943,** Париж). Поэтическое наследие — три книги.

Лирика Кнорринг — одна из наиболее искренних страниц в истории эмигрантской литературы.

Детство и отрочество Кнорринг прошли в Харькове. В 1920 году 14-летняя девочка Ирина с отцом эвакуировалась в набитом беженцами трюме военного корабля, шедшего в Константинополь (ох уж этот Стамбул!..). Поселилась семья в Бизерте (Тунис), где девочка окончила школу. В 1925

году переехала в Париж и поступила во франко-русский институт. Вышла замуж за поэта Юрия Софиева. Семья жила в бедности, а тут еще роковая болезнь. Ирина Кнорринг умерла в 36 лет от диабета. Николай Станюкович (тоже эмигрант) посвятил Кнорринг стихотворение:

И ты в ответ небытию
Нашла слова, нашла движенья, —
Ты Музу грустную свою
Спасла от жадной пасти тленья…

А вот стихотворение самой Ирины Кнорринг:

Не те слова. Не те, что прежде,
Когда в азарте молодом
Мы глупо верили надежде
И думали: «Переживем!»

Что ж? Пережили? Своевольем
Сломили трудные года?
И – что ж? В тупой, обидной боли —
Тупое слово «никогда».

И с лихорадочным ознобом
Приподнятая сгоряча
Рука, дрожащая от злобы,

Бессильно падает с плеча.

И в безалаберном шатанье
Судьба (уже который раз?)
За безрассудные желанья
Так зло высмеивает нас.

И все, что нам еще осталось,
Всё, чем душа еще жива, —
Слова, обидные, как старость,
Как жизнь, жестокие слова.

О том, что не нашли мы рая;
О том, что преданы в борьбе,
О том, как стыдно погибаем
От горькой жалости к себе.

И еще четыре строки Кнорринг:

Страшней Жуковского поэм
Очаг, где смерть сидит и вяжет
И улыбнется и совсем
Спокойно что-нибудь расскажет…

Кирилл Померанцев: «Давай мы с тобой помечтаем…»

Ровесник Кнорринг — **Кирилл Померанцев** (1906, Москва -1991, Париж). Поэт, мемуарист. Стихи писал с детства. В 1920 году с семьей эвакуировался в Константинополь, школу окончил в Турции. В 1927 году переехал в Париж. Работал на заводе. Участвовал во французском Сопротивлении. Печатался во многих изданиях. В 1965 году вышли очерки «Итальянские негативы». Его книга «Сквозь смерть» (1986) — одна из лучших в эмигрантской мемуаристике. Умер 5 марта 1991 года, в очередную годовщину Сталина.

Приведу мое любимое стихотворение Кирилла Померанцева:

Опять на дорогах Италии, —
Порывисто дышит мотор.
Венеция, Рим и так далее,
Помпеи, Миланский собор.

Блаженствует вечер каштановый,
Над Лидо в полнеба закат,
Совсем как в стихах у Иванова,

Сгорает и рвется назад.

Но мне ли теперь до Венеции,
До кружев ее базилик,
Когда, оборвавшись с трапеции
В бессмыслицу, в старость, в тупик,

Я вижу: в конце траектории,
Над стыком дорог и орбит,
Огромное небо Истории
Последним закатом горит.

Такую мелодичность, элегантность и тоску, отчеканенные в строчках, трудно найти у советских поэтов. Только у некоторых…

А вот еще из Померанцева:

Близится вечер. Ну что ж, господа,
Жизнь прожита, изжита навсегда.
Много, конечно, случиться б могло,
Да не случилось, не произошло.

Много надежд улетело в трубу.
Глупо теперь все валить на судьбу.
Но, может быть, среди радужной тьмы

Плохо историю поняли мы?

Не разглядели?.. Ну что ж, господа,
Бог даст, и так скоротаем года.
Наши, теперь уж не многие лета,
В апофеозе вечернего света.

Внутренний голос мой требует: хочу еще Кирилла Дмитриевича! Какой он замечательный собеседник, единомышленник, попутчик по дорогам жизни:

…Давай мы с тобой помечтаем,
Давай мы с тобой улетим В Италию.
Хочешь в Италию —
В Неаполь, в Милан или в Рим?
Оттуда… Ну, впрочем, не надо,
Отставим пустые мечты!
Смотри, как ложится прохлада
На лес, на поля, на кусты.
Люблю, приближаясь к итогам,
Под жизни слабеющий шум
В вечернюю мглу по дорогам
Бездумно лететь наобум.

И в другом стихотворении «Войди, как, бывало,

входила…» есть предложение: «Уедем, сбежим за границу…» Померанцеву удалось. А мне уже никак — преклонный возраст. Да к тому же вот-вот вновь опустится железный занавес. И амба. Гоп-стоп. И листай, сидя на диване, собственную книгу об эмиграции.

«Давай мы с тобой помечтаем…»

Княгиня Зинаида Алексеевна Шаховская

Все нужное ненужным стало,
А память все поет, поет,
Но не печально, а устало.

З. Шаховская

Зинаида Шаховская (в замужестве Малевская-Малевич. 30 августа 1906, Москва, дом в Сивцевом Вражке — 2005, Париж). Поэт, прозаик, критик, журналист. Из старинного рода. Прабабушка — дочь знаменитого архитектора Карла Росси. Отец — камергер высочайшего двора князь Алексей Шаховской.

Зинаида Шаховская была ребенком, когда грянула революция. Разоренный дом в имении Матово, арестованные и по дороге убитые брат и сестра отца; мать, отправленная в следственную тюрьму ЧК, любимые собаки, отравленные крестьянами, — все это отражено в рассказе-воспоминании «Собачья смерть».

Шаховская вспоминала: «…В 12 лет я просила свою мать, не желавшую эвакуироваться из Новороссийска в январе 1920, увезти нас с сестрами

и братом из России. От чего увезти? Да от того, что уже повидали — и заключение матери в тюрьму, и переход на нелегальное существование отца, и расстрел близких родных, увезти от голода и эпидемий, от вшивых городов, переходящих из рук в руки, от “зеленых” и других разбойничьих банд…»

Отец уезжать отказался. Он был уверен, что скоро все встанет на свои места, и, спасая родных, сам остался в России. Конец его последовал скоро — по свидетельству матовских старожилов, «князь Шаховской в 1921 году замерз под сараем, сторожа зимой какой-то склад».

Естественно, бегство из советской России.

Эта беженская грусть,

Это беженское «пусть».

Нет, не «пусть», Шаховская не бросила свою судьбу на волю случая, она билась за себя, свою жизнь. Училась в колледжах Константинополя, Брюсселя, Парижа. По словам Адамовича, отлично освоила «общепарижский поэтический стиль. Немного иронии, немного грусти, остановки именно там, где ждешь развитие темы: рецепт знаком. Но пользуется им Шаховская с чутьем, находчивостью и вкусом». Сама Шаховская от-

мечала потом свою «черноземную, деревенскую жилку», «жизнерадостность и твердое намерение противостоять превратностям судьбы», что выделяло ее из этой литературной среды. Писала по-русски и по-французски. Много печаталась.

Участвовала в движении Сопротивления. Была военным корреспондентом. Освещала Нюрнбергский процесс. Награждена орденом Почетного легиона. За свои романы дважды получила премию от французской Академии. Написала несколько томов воспоминаний «Таков мой век». В 1968–1983 годах возглавляла газету «Русская мысль». В 1970-м выпустила сборник стихов «Перед сном».

Основным мироощущением Шаховской является христианская идея любви и жертвенного служения людям, несмотря на тягость собственного положения, как сказано в одном стихотворении: «Без денег, даже без друзей». За границей Шаховская считала себя русской:

«Ответ один — я принадлежу к русской культуре, то есть к чему-то, что единственное составляет народность и к себе притягивает».

Но вместе с тем она считала, что принадлежит и к французской культуре. Об эмиграции говорила, что для ее семьи Европа была родным домом:

«С XVIII века мы говорили по-французски, а по-немецки — еще с Петра. Я никогда не учила ни французского, ни русского. Эти языки были мне не законными мужьями, а любовниками. Как хочу, так и пишу…»

Бунин вздыхал о княгине Шаховской: «Как не вижу Шаховскую, сам не свой хожу. Тоскую!».

В 1956–1957 годах Шаховская жила с мужем, в то время бельгийским дипломатом, в Москве. Советскую столицу вспоминала так: «Ничего меня не поразило — я все это знала. Безысходность положения, большая скука…» В другом интервью об этом же: «Спустя полвека я приехала в свой родной город, но совершенно чужой. Глядя на грустные лица, я почувствовала себя чужой именно здесь, в Москве. Я много ездила по свету. Но нигде не испытывала такого отчуждения…»

«Конечно, много воспоминаний от приемов в Кремле. Меня почему-то сажали около генерала Серова, тогдашнего председателя КГБ. Тот все старался подлить мне больше водки, выспрашивал о чем-то, все куда-то нервно выбегал, возвращался. Однажды я решилась спросить его: “Вы записываете мои разговоры?” — “Нет, не волнуйтесь…” — отвечал генерал. “А что же вы постоянно встаете из-за стола?” Нисколько не

смутившись, генерал парировал: “Вы гость, и мне нужно, чтобы все вокруг было спокойно”. — “Ну, если в самом Кремле неспокойно, тогда извините…” — развела я в недоумении руками.

Когда я рассказала о своем соседе мужу (советнику посла), он побледнел и попросил меня не открывать рта, не отвечать ни на какие вопросы…»

В 90 лет Зинаида Шаховская вновь приехала в Москву и дала пространное интервью газете «Известия» — «Рандеву с культурной империалисткой. Зинаида Шаховская знала почти всех гениев XX века». В интервью она призналась, что с 1932 года писала только по-французски под псевдонимом Жака Круазе. На вопрос о миссии русской эмиграции сказала:

«Слава Богу, мы никак не думали, что мы — “миссия”. Мы чувствовали себя отверженными. У нас была надежда вернуться в Россию — через пять, десять, пятнадцать лет. Но миссии как таковой мы не ощущали. Это получилось само собой. Рождались дети, им надо было ходить в школу. И мы создали такой целый “эмиград”. Мы были не эмигрантами, а беженцами, людьми, лишенными Отечества. И меньше всего думали о том, что будем какими-то миссионерами православия.

Там, где оказалось 25 русских, возникала церковь, которая была и моральной опорой, и центром русского сплочения…»

В интервью «Книжному обозрению» (9 марта 1990 года) Шаховская веско заявила о себе: «Я французский писатель русского происхождения бельгийского гражданства. У меня — король. Но мы все не подданные. Мы граждане».

На вопрос о литературе княгиня Шаховская отвечала охотно. О Набокове:

«Он весь придуманный. Я писала ему так: “Володя! Я удивляюсь, что ты часто делаешь большие цветные гирлянды вокруг пустоты…” «У Набокова — роман с его собственной Россией, она у нас с ним общая только по русской культуре, которая его воспитала. Общая родина наша — Пушкин».

«Иосифа Бродского считаю очень большим поэтом, но не люблю надменных поэтов. Я даже Ахматову за это не очень люблю…»

О возвращении Ирины Одоевцевой на родину:

«Ей трудно жить во Франции. У нее не было славы. И она сама шутила: “Поеду в Россию за славкой”. Одоевцева в своих воспоминаниях более благожелательна, чем Берберова в “Курсиве”. Берберова вся такая озлобленная, ощеренная…»

Княгиня Шаховская не выбирает слов… Это о

ней как о критике. Но она еще и поэт.

Слушай, слушай тишину,
Лучше песни не услышишь…

И маленькое стихотворение, написанное в Риме, в 1973 году:

Как легок ласточек полет
Над древностью земной,
А время все идет, идет,
И ты всегда со мной
В дрожанье неба, в шуме дня
И в шорохе ночей.
Как легок ласточек полет
Над тяжестью моей.

Зинаида Шаховская скончалась 8 июня 2005 года в 5 утра в приюте, в Русском доме в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, на 99 году жизни.

Небольшое отступление, или еще раз о молодых эмигрантах

Стоп! Я слышу, как кто-то из читателей недовольно бурчит: «Сколько можно! Все о тоске, о печали, о старости, о смерти. Какое-то эмигрантское нытье. Сплошной пессимизм, отчаянье, — надоело!..»

Конечно, хочется иного: бодрости, света, радости, уверенности, звона, ликования, аплодисментов. «Жизнь прекрасна и удивительна!..» Короче, хочется исключительно советского, особенно нам, старшему поколению, пожившему в славные годы Советского Союза. Нас к этому приучили, и поэтому мы с трудом воспринимаем эти упаднические эмигрантские стихи и воспоминания.

Ну что ж, отдадим дань ворчливой и требовательной публике, насквозь пропитанной советским оптимизмом. И — «Разворачивайтесь в марше!» — как приказывал главный поэт революции Владимир Маяковский. «Кто там шагает правой? / Левой! / Левой! /Левой!»

Я ж с небес поэзии

бросаюсь в коммунизм,
потому что нет мне
без него любви…

Это все тот же Маяковский:

Коммунизм – это место,
где исчезают чиновники
и где будет много
стихов и песен.

И в это искренне верил Владимир Владимирович? Прошли долгие годы, и что? Коммунизма нет и в помине. А чиновников еще больше, чем тогда, их целая тьма. И очень мало лирики, стихов и песен. Все больше чрезвычайных происшествий и насилия, злобы и агрессии. Ну, и навязанная любовь к новому лидеру…

У эмигрантов вождей не было. Поклонов никому не били, а вот Маяковский в стране Советов поклоны бил, обращаясь к Ленину:

Вашим, товарищ, сердцем и именем
Думаем, дышим, боремся и живем!..

Ох уж этот «горлан-главарь», мечтавший явиться через какое-то число лет в ЦКК, и там

Над бандой поэтических рвачей и вы-

жиг

Я подниму, как большевистский партбилет,

все сто томов моих партийных книжек!

Уважаемый читатель! Ты читаешь партийные книжки звонкопоэтического В.В.? И вообще, где замечательное будущее, которое предрекал другой поэт, Александр Жаров:

Близится эра

Светлых годов,

Песнь пионера:

Всегда будь готов!

Это из стихотворения «Взвейтесь кострами…», которое входило во все учебники и хрестоматии. Его учили, декламировали, пели… А главное: верили в светлое будущее, в ту лапшу, которую вешали всем на уши рулевые страны, ее вожди и кормчие. А вот эмигранты ни в какое чудесное будущее не верили.

В 20-30-е годы почти все эмигрантское сообщество пребывало в унынии, а мы, граждане СССР и жители огромной страны, захлебывались от бодрячества и патриотического угара.

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.

А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая страна не нужна.

Кто из нас не пел эту песню, ну и, конечно, песенную оду Лебедева-Кумача:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Верили и дышали. Правда, потом веры поубавилось, дышать стало тяжелее. Утешало, что на Западе еще хуже: никакой свободы, справедливости, да еще в Америке «негров линчуют». Но не будем отдаляться от времени, которое нас интересует больше всего: революция 1917 года, ставшая величайшим катаклизмом XX века и поломавшая жизнь миллионам людей.

В прежней бездне безверия
Мы – не понимая,
Что именно в эти дни и часы —
Совершается
Мировая Мистерия, —

так писал Андрей Белый в поэме «Христос воскрес».

Ближе к истине был Анатолий Мариенгоф, который отразил действительность в стихотворении «Октябрь» (1918):

Кто на земле нас теперь звонче?..
Говорите – Бедлам,
ни столбов верстовых, ни вех, —
к дьяволу! На паперти великолепен наш
красный канкан…

Красный канкан. Гражданская война. Голод, холод и смерть. И неудивительно, что хлынул поток беженцев из России, истекающей кровью. Первая эмиграция грозовых революционных лет…

И логично вернуться к списку, к главке о молодых эмигрантах. Но сначала с помощью Гайто Газданова нарисуем общую картину мест, куда попали беженцы и изгнанники из России, как

они там устраивались, как им там жилось:

«Европа, в которой они жили, их совершенно не интересовала, они не знали, что в ней происходит; и лучшие из них становились мечтателями, избегавшими думать о действительности, так как она им мешала; худшие, то есть те, у кого воображение было меньше развито, говорили о своей жизни со слезами в голосе и постепенно спивались. И были, наконец, немногие, преуспевавшие в том, что они делали, так называемые здравомыслящие люди в европейском смысле слова, но они были наименее интересными и наименее русскими, и о них мечтатели говорили обычно с презрением и завистью…

Даже любовь мечтателей к прошлому, к прежней прекрасной жизни в прежней прекрасной России тоже была обязана своим возникновением вольному движению фантазии, так как то, что они описывали с бескорыстным и искренним умилением, существовало чаще всего только в их воображении…» («Ночные дороги»).

* * *

Юрий Иваск, рожденный за 10 лет до Октябрьской революции (1907, Москва — 1986, Эмхерст, США). Поэт. В эмиграции с 1920 года. Окончил Тар-

туский университет. После Эстонии Иваск жил в Польше, а потом перебрался в США, где в Гарварде защитил докторскую диссертацию о Петре Вяземском. Более 30 лет преподавал. Занимался К. Леонтьевым и В. Розановым. Первая книга стихов — «Серебряный берег» (1938, Варшава).

Что мне величие давнее —
Колокол, гул вечевой?
Самое, самое главное —
День этот нынешний, мой.

Тянет обратно: унылые
Пригороды не забыть.
Самое, самое милое —
У подворотни завыть.

«Уйти, позабыть, замереть…» — типичная эмигрантская тоска.

* * *

Борис Новосадов (Тагго. 1907, Петербург — 1945). Участник таллинского русского поэтического кружка. Первый сборник «Шершавые вирши» вышел в 1936 году, а в 1940-м Эстония была оккупирована и вошла в СССР, что стало

трагедией для многих. Во время войны Новосадов был арестован и умер в тюремной больнице в 38 лет.

Мы, может быть, последние на свете
Скорбящие от лишнего ума,
И после нас на несколько столетий
Закроют сумасшедшие дома.

И толпища с тоскою незнакомых
Начнут вкушать земную благодать,
Когда колонии червей и насекомых
Останки наши будут доедать.

Но кто-нибудь, прельстившись ветхим кладом,
Найдет полуистлевшую тетрадь,
И мы отравим вопрошанья ядом
Дотоле жизнерадостную рать.

Вот и я такой, «скорбящий от лишнего ума», составляющий какие-то тетради, книги, чтобы отравить последующие поколения «вопрошанья ядом». Если, конечно, в будущем не изобретут иммунитет от лишнего ума и неудобных, ненужных вопросов.

* * *

Анатолий Штейгер, барон (1907, имение Николаевка Киевской губернии — 1944, Швейцария). Поэт. Предки Штейгера — выходцы из Швейцарии переселились в Россию в начале XIX века. Штейгер с 16 лет посвятил себя поэзии. Его поэтические привязанности — Блок, Мандельштам, Г. Иванов. После революции эмигрировал с родителями. Вел переписку с Цветаевой. Объездил всю Европу. Одна из его книг «Это жизнь» (Париж, 1932). «Мы же воздушные замки / Строим — и платим за это».

Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову… (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся…)

Русский человек — словопоклонник. Хоть он и барон Штейгер, но русский поэт в нем превалирует.

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?

Не поднимая головы,
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… как еще любили!..

В последние годы жизни Штейгер отошел от поэзии, зато писал (находясь в Швейцарии на лечении) антифашистские листовки, причем с таким успехом, что гитлеровцы объявили награду за его голову. Но головы Штейгера не дождались: он умер естественной смертью.

* * *

Юрий Мандельштам (1908, Москва — осень 1943, нацистский лагерь). Юрий Владимирович Мандельштам — не родственник Осипу Эмильевичу, а всего лишь однофамилец.

Когда свершилась революция, ему было 9 лет. С родителями эмигрировал, жил в Париже. Окончил русскую гимназию и Сорбонну. Первый же поэтический сборник «Остров» вывел Юрия Мандельштама в известные поэты русского Парижа. Печатал на французском языке статьи о русских писателях.

10 сентября 1942 года бы арестован немецкой оккупационной властью как еврей и отправлен в Германию, там и нашел свою гибель. Точная дата

и обстоятельства смерти неизвестны.

Ну что мне в том, что ветряная мельница
Там, на пригорке, нас манит во сне?
Ведь все равно ничто не переменится
Здесь, на чужбине, и в моей стране.

И оттого, что у чужого домика,
Который, может быть, похож на мой,
Рыдая, надрывается гармоника, —
Я все равно не возвращусь домой.

О, я не меньше чувствую изгнание,
Бездействием не меньше тягощусь,
Храню надежды и воспоминания,
Коплю в душе раскаянье и грусть…

Юрий Мандельштам входил в круг Ходасевича, наряду со Смоленским и Кнутом.

* * *

Еще одно имя — **Борис Вильде.** В книгу Берберовой «Курсив мой» он не попал, а между тем в Париже есть улица в районе Фонтана-о-Роз, названная в его честь. О Вильде переводчица Рита

Райт-Ковалева написала книгу. Будучи русским эмигрантом, в одном из писем в Россию Вильде писал: «Моя

Франция для меня — не страна, не нация. Это те идеалы, которые касаются всякого человека в целом. До них еще очень далеко, а сейчас, может быть, дальше, чем всегда…»

«Странный русский мальчик» Борис Владимирович Вильде родился в 1909 (?) году на станции Славянка под Петербургом, где его отец (то ли выходец из Литвы, то ли из Польши) работал на железной дороге. Отец умер рано, а мать с двумя детьми, спасаясь от войн и революций, перебралась в Тарту, где Борис Вильде окончил гимназию, начал писать стихи и мечтал о писательской карьере. Немного поучился в университете и подался на Запад, сначала в Германию, и в письмах успокаивал мать: «Дорогая мамочка — не беспокойся обо мне. Ты знаешь, что я молод и здоров и все, что со мной случится, мне нипочем. Я верю в судьбу, и мне все равно, как и что случается с моей жизнью…»

Из Германии — в Париж. Жил в мансарде писателя Андре Жида, которому он чем-то понравился. Встретил красавицу Ирэн Бородину, тоже эмигрантку, женился на ней и обрел семейный кров.

Вильде постоянно учился, изучил даже финский и японский языки. Работал в этнографическом музее человека. Стихи писал, но они его не удовлетворяли:

Так много слов. И все слова – не те.
Ты, как слепой, в безмерной темноте
Напрасно шаришь мертвыми руками.
Ты знаешь: свет. Ты чувствуешь его.
Протягиваешь пальцы – ничего.
Или холодный и бездушный камень.

Когда началась Вторая мировая война, то он стал ее участником, служил во французских частях. Попал в плен. Бежал. Вступил в ряды Сопротивления, выпускал газету «Сопротивление». Семь месяцев длилась его подпольная борьба с фашистами, с июля 1940 по март 1941 года. Арест. И долгих 11 месяцев в тюрьме до расстрела. «Мужественный человек, мученик…» — сказал о нем Андре Жид.

В тюрьме Борис Вильде написал лучшие свои письма и «Диалог в тюрьме» — диалог между двумя «Я». В камере, отмечал Вильде, вся жизнь проявляется, как на фотопленке. В тюремной камере он читал книги по философии, учил языки,

писал письма:

«Ни одиночество, ни тишина меня никогда не страшили, а уж безделье мне никак не угрожает: никогда моя внутренняя жизнь не была столь напряженной и интенсивной… тюрьма не отняла у меня ничего… я чувствую, что я безмерно богат. Есть глубокая правда в евангельских словах: “Царство Божие внутри нас”… Я ни в чем не отрекаюсь от прошлого… Нет ничего случайного, все предначертано…»

По странному стечению истории, много лет спустя на улице Бориса Вильде в 1977 году жил другой русский эмигрант Андрей Синявский, а после его смерти продолжала жить его вдова, Мария Розанова.

Мужественный дух Бориса Вильде витал над ними…

* * *

Анна Головина, баронесса Штейгер, сестра Анатолия Штейгера (1909, Николаевка Киевской губернии — 1987, Брюссель). В 1920 году семья перебралась в Константинополь, оттуда в Чехословакию. Училась в русской гимназии, где и начала писать стихи. Затем Пражский университет. Вела переписку с Мариной Цветаевой. Вышла

замуж за скульптора Ал. Головина. В 30-е годы перебралась в Париж. Затем Швейцария. В 1955 году вторым браком вышла замуж за бельгийца и жила в Бельгии.

Сборник «Городской ангел» увидел свет уже в Бельгии.

Зияющая пустота,
Не торричельева, а – хуже…
Замкнула зрение, слух, уста,
Все стало ближе, стало уже…

У Головиной все сложилось не так уж и плохо, далеко не бедствовала, не мыкалась, не страдала, а тем не менее покоя на душе не было. Все время она возвращалась к смутному по младости лет своему прошлому.

…На Балтийском море ходят волны
Острые, как серые ножи.
Знаешь, Петербург, всегда безмолвный,
Где-то здесь, поблизости, лежит.

Рыбий хвост у девушки на камне.
Каменная девушка – проста.
И как в сказке Андерсена давней,
У нее безмолвные уста.

* * *

Николай Гронский (1909, Териоки — **1934,** Париж). Поэт. Родился в семье члена Государственной Думы. Семья в **1920** году эмигрировала во Францию. Гронский окончил Парижский и Брюссельский университеты. Каждое лето уезжал в Альпы. Трагически погиб не в горах, а в Париже, где был сбит поездом метро, в 25 лет. Посмертно вышла большая книга «Стихи и поэмы».

Помню Россию так мало,
Помню Россию всегда.
Вокзалы, вокзалы, вокзалы,
Куда-то идут поезда…

Цветаева и Гронский: в 1928–1930 годы они переписывались, сохранились 102 письма Цветаевой 41 — Гронского.

«…Будет из Вас или нет поэт? — писала Цветаева в августе 1928 года. — О стихах скажу: в Вас нет рабочей жилы. Вы неряшливы, довольствуетесь первым попавшимся, Вам просто — лень… Для того, чтобы Вам стать поэтом, Вам нужны две вещи: ВОЛЯ и ОПЫТ. Вам еще не из чего писать…».

Возможно, воля и опыт у Гронского были, но не

было… ВРЕМЕНИ.

* * *

Игорь Чиннов (1909, Рига — 1996, Флорида). Поэт и эмигрант. Жил в Германии, Париже и США. Стал профессо-ром-славистом. Печатался во многих изданиях. Адамович считал Чиннова «наредкость искусным поэтом». А Иваск слышал в его стихах «издевательские шуточки, но и райские звуки, элегический минор, но и фантастический мажор».

Хрустальным кристаллом
Казался июль,
И в зареве алом
Проехал патруль.

Играл на свирели
Убитый солдат,
И лилии пели
Для малых ребят.

И в струях напалма
Горело село,
И черная пальма

Поймала крыло

Того самолета,
Который – ну, да.
И летчик горел,
Как большая звезда.

* * *

Валерий Перелешин (настоящая фамилия Салатко-Петрише. 1913, Иркутск — 1992, Бразилия). Семилетнего будущего поэта мать увезла в Харбин. Первый сборник стихов Перелешин выпустил в 1937 году. Окончив семинарию, служил монахом в монастыре. В 1939 году переехал в Китай, попытка остаться в США окончилась неудачей, пришлось обустраиваться в Бразилии. Кем он только не работал: в ювелирном магазине, на мебельной фабрике, библиотекарем, преподавал русский язык в морском училище и т. д. Выпустил много поэтических сборников, в том числе «Три родины» (1987).

И, конечно, в стихах Перелешина много ностальгии «о родной и забытой стране, забытой, как сон», -

И вдруг опадают, как сложенные веера,

Улыбки, и сосны, и арки… Россия, Россия!

В прохладные эти, задумчивые вечера

Печальной звездой восходит моя ностальгия.

Ах, эта ностальгия! Она заедала, терзала, мучила всех без разбора. Коварная дама… Не о ней ли в далеком 1848 году писал Чарльз Диккенс в предисловии к своему роману «Торговый дом “Домби и сын”»: «…Написанная история у некоторых читателей вызовет скорбь, а подобная скорбь сближает друг с другом тех, кто ее разделяет… Я претендую на то, что и я ее испытывал, по крайней мере так же, как и всякий другой… и мне хотелось бы, чтобы обо мне благосклонно вспоминали за мое участие в этом переживании».

Умели джентльмены выражать свои чувства столь изысканно и деликатно. «Не то что нынешнее племя».

* * *

Вячеслав Завалишин (1915, Петроград — 1995, Нью-Йорк).

Завалишин — Перелешин — некое рифмозвучание на «шин». Шуршание ШИН большого

числа маШИН. Перелешин — перелез, Завалишин — завалился. Два поэта и связующая нить — эмиграция.

Ей предшествовал расстрел отца Завалишина в ежовщину, а мать была отправлена в концлагерь в Казахстан. Юноше Завалишину удалось выжить и даже окончить Ленинградский университет. В начале войны попал в плен. Бежал, скрывался под чужим именем, снова плен, пытки. После войны остался в Германии — возвращаться на родину было опасно. Но не просто остался, а сделал великое дело: выпустил четырехтомник запрещенного в СССР Николая Гумилева. Издал книгу и об Андрее Рублеве. С 1949 года Завалишин жил в США. Писал разные книги: о Нострадамусе, Казимире Малевиче и др. В 1980 году вышел сборник стихов «Плеск волны». Волны воспоминаний:

Пронеслися тучи грозовые
Над моей безвредной головой…

На Рождество в Берлине в 1944 году вспоминал:

Что бросил я в обугленной России?
Церквушку с размозженной головой?
Разбитый танк, как черный лжемес-

сия,
Братается с нескошенной травой.

Вот бережок, притравленный морозцем,
Баркас, полузатопленный в реке,
Осколки стекол из больных оконцев
В моей душе останутся навек.

Горючий ветер бьет в луну, как в бубен,
Ломая покосившийся плетень.
Давным-давно безмолвны стали трубы
Печей сожженных русских деревень.

Такую Русь любить не перестану.
Пожар в душе горит, горит, горит...
Развалины несу в себе, как рану,
Которая всю жизнь кровоточит.

Иван Елагин – «бесконечно перемещенное лицо»

Иван Елагин (настоящая фамилия Матвеев. 1 декабря 1918, Владивосток — 8 февраля 1987, Питтсбург, США). Поэт.

О личности Елагина советские читатели долгое время ничего не знали, хотя некоторые его стихи в 60-е годы распространялись в самиздате машинописными копиями и елагинские строчки летели по стране: «… А называют землю Колыма. Того убили, тот сошел с ума!..» И лишь в конце 80-х, в период гласности, Елагина стали печатать «толстые» журналы. И еще одно имя поэта русского зарубежья вошло в историю русской литературы.

Но прежде чем говорить о нем, несколько слов об отце Елагина, поэте-футуристе с Дальнего Востока, писавшем под псевдонимом Венедикт Март. Его несколько раз арестовывали. Наконец, последний арест в 1937-м и оборванная жизнь. Иван Елагин писал:

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего

Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил…

В итоге безотцовщина с клеймом «сын врага народа» (знакомое состояние, я сам побывал в этой шкуре). Для Ивана началась самостоятельная жизнь: его, правда, не арестовали, но из отцовской квартиры выкинули:

Комнатенка с полуслепым окном,
Куда меня, как котенка,
Вышвырнул управдом…

Будущий поэт рано женился на Анне Анстей, поэтессе, и у обоих одна отрада: стихи. Иван учился в Киевском медицинском институте, а Анна работала машинисткой в банке.

Мы говорили друг с другом стихами.
Недалеко над днепровской водой
Кто-то запел о любви молодой.
А от тайги до британских морей
Темные вышки росли лагерей…

«Заяц» — так звали Ивана из-за его футури-

стического имени Зангвильд, от которого он впоследствии отказался, да и фамилию поменял, став просто — Иван Елагин, возможно, из-за Блока:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленной.
И хруст песка и храп коня…

Очень хотелось выйти в большие поэты, и вроде бы, большой украинский поэт Максим Рыльский благословил Елагина. Как писала Анна Анстей: «Рыльский Зайца в умилении прижал к груди и лобызал, как Державин». Но грянул июнь 1941-го и зачеркнул все планы, надежды и перспективы.

События развертывались стремительно, Елагин не успел эвакуироваться из Киева, как город оккупировали фашисты. А у Ивана текла в жилах «неарийская» кровь и была реальная возможность быть сброшенным в Бабий Яр, но, как написал о Елагине поэт Витковский: «Как-то, впрочем, удалось спастись», — запутанная, витиеватая, конечно, фраза. Факты таковы: в 1943 году супруги Елагины сперва попали в Прагу, потом в Берлин, потом — в Мюнхен.

Победный 1945-й год застал Елагиных в лагере для перемещенных лиц. Возврата в СССР не было: сотни тысяч бывших советских граждан, оказавшихся пленными, заведомо считались изменниками и шпионами. Попал в плен — враг, кого отдали обратно — Колыма или другой концлагерь. Этой горькой участи Иван Елагин избежал, хотя и не смыл до конца пятно плена. Среди пленных ходила фраза: «Утеряна Родина, просьба не возвращать».

Весной 1950 года супруги эмигрировали в США и вскоре там разошлись, хотя и остались в хороших отношениях друг с другом. В Америке Елагин перебрал десятки профессий: работал в какой-то мастерской, служил клерком в конторе, наконец пристроился печататься в «Новом журнале» и в газете «Новое русское слово». Окончил Йоркский университет, получил докторскую степень и преподавал русскую литературу в Питтсбургском университете (Пенсильвания). При жизни выпустил 12 стихотворных сборников, от «По дороге оттуда» до «Под созвездием Топора».

Выходили его книги, он был известен в эмиграции, но отношение к нему было более чем прохладное.

И написано строго

Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.

В стихотворении «Невозвращенец» (1967) Елагин обратился к судьбе Данте:

Эмигранты, хныкать перестаньте!
Есть где, наконец, душе согреться:
Вспомнили о бедном эмигранте
В итальянском городе Аррецо.

Из-за городской междоусобицы
Он когда-то стал невозвращенцем.
Трудно было, говоря по совести,
Уцелеть в те годы во Флоренции.

Опозоренный и оклеветанный
Вражескими ложными наветами,
Дважды по одним доносам грязным
Он заглазно присуждался к казни.

В городе Равенне, на чужбине,
Прах его покоится доныне…

А потом Данте реабилитировали:

Но в двадцатом веке, как ни странно,

Судьи поступили с ним гуманно.

И концовка стихотворения:

Я смотрю теперь на вещи бодро:
Время наши беды утрясет.
Доживем и мы до пересмотра
Через лет шестьсот или семьсот.

Как поэт Елагин сформировался под влиянием Маяковского, Пастернака, Заболоцкого, но потом обрел свой собственный поэтический голос, свою ритмику, музыкальность и, главное, свое выстраданное видение и ощущение окружающего мира. Вот картины войны:

…Что это – Рим,
Подожженный Нероном,
Иль это мы горим
В Киеве обреченном?

Человек на пожаре.
Медный блеск облаков.
Написан сценарий
Для всех веков…

Ночью кошмарной
Землю трясет пальбой.

Битва на Марне
Или Полтавский бой?

Или персидский Дарий
От скифских бежит полков?
Написан сценарий
Для всех веков…

Солдаты проходят мимо
И снова уходят в дым…

Некуда деться.
А надо куда-нибудь деться…
А позади – разлука,
А позади прощанье.

А позади – застава,
А позади граница.
И все, что ты там оставил,
Будет до смерти сниться!

Люди уходят в дым,
Тонут в дыму, седея,
Снится одним – Крым.
Снится другим – Вандея.

Мне же маячат во мраке
Беженские буераки.

Поэзия Ивана Елагина, прямо скажем, не советская, без оптимизма, радости, завышенных ожиданий и слепой веры в вождей и руководителей. Много боли, горьких воспоминаний, обид.

Знаю, не убьет меня злодей,
Где-нибудь впотьмах подкарауля,
А во имя чьих-нибудь идей
Мне затылок проломает пуля.

И расправу учинят, и суд
Надо мной какие-нибудь дяди,
И не просто схватят и убьют,
А прикончат идеалов ради.

Еще буду в луже я лежать,
Камни придорожные обнюхав,
А уже наступит благодать —
Благорастворение воздухов.

Изобилье всех плодов земных,
Благоденствие и справедливость,
То, чему я, будучи в живых,

Помешал, отчаянно противясь.

И тогда по музам мой собрат,
Что о правде сокрушаться любит,
Вспомнит и про щепки, что летят,
Вспомнит и про лес, который рубят.

Елагин — один из тех, кто хлебнул лиха в короткий период жизни в лучезарной стране Советов:

Мой век! От стука
Ночного в дверь
Пошла наука
Больших потерь.

Мой век ущербный,
Мой век-недуг
Листал учебник
Колымских вьюг.

Мой век! Ты – школьник,
И твой диплом
Добыл ты в штольнях
Тупым кайлом.

Мой век! Экзамен
В полярный вуз

Ты сдал слезами
Российских муз…

Примечательно, что стихи Елагина отметил Бунин. В письме от 12 января 1949 года он писал: «Дорогой поэт, Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости…»

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа культом личности —
Скромно. Благопристойно.

Блекнут газетные вырезки.
Мертвые спят непробудно.
Только на сцене шекспировской
Кровь отмывается трудно.

Но не только сталинские времена обличал Елагин, он остро переживал судьбы всех русских поэтов, начиная с Пушкина:

Сколько тончайших оттенков!
Выбор отменный вполне:
Право на яму, на стенку,
Право на крюк на стене,

На приговор трибунала,
На эшафот, на тюрьму,
Право глядеть из подвала
Через решетки во тьму…
Право, как Блок, – задохнуться,
Как Пастернак, умереть,
Эти права нам даются
И сохраняются впредь…

В другом стихотворении «Стоит у дома букинист, — прохожий, в книги окунись!..» есть едкие строки о том, что следует почитать:

– Недавно издана опять
Для тех, кто незнаком с предметом,
Статья «Наука погибать»,
Или «Как сделаться поэтом».

– Берите! Невелик расход!
А приложенья не хотите ль?
«Самоубийство как исход».
Прекраснейший самоучитель…

Горьковатый юмор и тонкая ирония присущи творчеству Елагина. Кстати, себя он именовал как «вечно перемещенное лицо». Америка не

стала для него своей, он ощущал ее чужой, хотя и не враждебной, как он добавлял. К западной массовой культуре относился с подозрением:

…Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской,
Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит,
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.
Я пальцами в такт барабаню
И в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.

Да, поп-культура задавила нас всех, в Америке, в Европе, в России, а у нас особенно оголтело и вульгарно. Елагин предпочитал милое прошлое:

Гумилев и Волошин,
Вийон и Рабле,
Еще много хороших
Вещей на земле…

Единственные опоры человека (не хочу писать «скрепы») — память и искусство.

Я – звездный зазывала.
Скользя по облакам,
Я шлю свои сигналы
Таким же чудакам.
Мечтателям, поэтам,
Захватчикам высот,

Кто сам себе планета
И свет в себе несет.
Кто не в ладах с причалом,
Кто кружит одинок
По кривизнам печальным
Возвышенных дорог.

Умирал Елагин тяжело (рак поджелудочной железы). Но держался мужественно и даже шутил: «Пора присоединяться к большинству, ведь мертвых больше, чем живых».

Здесь чудо всё: и люди, и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.

Иван Венедиктович Елагин прожил 68 лет в

особый исторический период потрясений и войн, о котором так отозвался: «А эпоха-то с подвохом, / с плахою да обухом!» Это, который по голове…

Цитировать можно долго, вот, к примеру, почти созвучное с Иосифом Бродским:

В государствах великих разлук
ходовая монета – пространство.
Начинают с того, что кладут
между мной и тобою моря.

Проходи по чужим городам,
под чужими созвездьями странствуй
и, как в шахте глубокой, томись
в непочатых слоях словаря.

И последнее. Итоговое стихотворение:

Длинная жизнь! Сколько ночей,
Дней, вечеров, сумерек, зорь,
Лучше, мой друг, с ходом вещей
Ты на земле больше не спорь.

Я написал несколько книг,
Все о себе, о прожитом,
Только пора мне напрямик
Честно сказать людям о том,

Что у меня важный пробел,
Что у меня крупный провал,
Что я на мир жадно смотрел,
А понимать – не понимал.

Откровенно и честно, без самовлюбленности и самоуверенности и не корча из себя мудреца. Действительно: жизнь без логики. Жизнь — театр абсурда. И понять жизнь нельзя.

* * *

И осталась в нашем ряду последняя молодежь (когда-то были молодые!) — Легкая и Ильинский. Мои ровесники. Члены «Клуба 1932» (книга о виртуальном клубе издана в 2000-м году).

Ираида Легкая о себе написала: «Родилась 1 июля 1932 года в Тартаке, Латвия. С 1936 по 1944 год семья жила в Риге, в женском монастыре, где отец был настоятелем. Немцы вывезли нас вместе с другими духовными отцами и их семьями в Германию. В Судеты, где осела наша группа, пришли советские войска. Все духовенство решило возвращаться в Латвию, и только уговоры советских солдат (с глазу на глаз) изменили это решение, и, под видом возвращающихся на родину западных европейцев, мы бежали через

Прагу сперва в английскую зону, а затем в американскую. Из лагеря Ди-Пи в Шлейсгейме, где мы с сестрой учились в русской гимназии, мы переехали в 1949 году в Соединенные Штаты. Я сразу пошла на работу, училась вечерами…»

Стихи Ираида Легкая начала писать в Нью-Йорке, печаталась в различных эмигрантских изданиях. Работала в редакции «Голос Америки» (1963–1987). Возможно, я слышал по радиоприемнику ее голос… И приведу одно из стихотворений Легкой (со своеобразным синтаксисом):

Мы говорим на разных языках
Но об одном с тобой не говорим
И разве важно, кто в огне горит
И кто сквозь сон об этом говорит?

Мы города из разных берегов
Одной реки
Скользит в реке звезда
И разве важно близки, далеки?
Я тяжесть чувствую твоей руки…

Олег Ильинский (19 мая 1932, Москва). Когда началась война, ему было 9 лет. Попал в Германию. Жил в Мюнхене, где окончил гимназию и

университет. С 1958 года — в США. В 1970-м защитил докторскую диссертацию по специальности «русская литература». Живет в Нью-Йорке. Автор пяти поэтических сборников. Публицистических и политических тем почти не касается. Основные темы: искусство и природа. Одно лишь стихотворение «Бесприютность»:

Клекотом Ливий и Палестин,
Опасной игрой и вызовом —
Мир кажется клочьями ярких картин
За плоским стеклом телевизора.

Во всех концах фитили чадят.
А истина с грязью спутана —
Мир кажется скопищем формул и дат
В зеленом сиянье компьютера,

Мир – словно сплющен. Его ведут
Законы числа и случая,
А мы бесцветны, как плоть медуз,
А мы, как вода, тягучи,

А мы бесприютней цветного клочка,
Пылинкой на стыке лезвий
Мы длимся. Но в чистой влаге зрачка

Мы носим разум созвездий.

* * *

Дефиле эмигрантов с младых лет закончилось. А финальным аккордом пусть прозвучит еще одно стихотворение **Ивана Елагина.** Оно называется «Памяти Сергея Бонгарта», художника, с которым поэт дружил в молодые годы в Киеве.

Ну вот, погостил и ушел восвояси,
За друга в пути – мой сегодняшний тост.
Он с нашей планеты уходит по трассе
Поэтов, художников, ангелов, звезд.

Я знаю – ему и сейчас не до смерти.
Я знаю, что смотрит он пристально вниз,
Туда, где остался стоять на мольберте
Последний набросок – прощальный эскиз.

Сережа, мы в Киеве, в темной квартире,
Когда-то с тобою мы встретились

здесь.

На старой газете картошка в мундире,
А в кружках какая-то горькая смесь.

И всюду подрамники, кисти, окурки,
И прямо с мольберта глядит с полотна
Парнишка в распахнутой лихо тужурке,
Склоненный в тоске над стаканом вина.

Так вот в чем искусства могучее чудо:
С такою тоскою глядит паренек,
Таким одиночеством веет оттуда,
Что глянешь – и ты уж не так одинок.

Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути,
А ты нам оставил букеты сирени,
Которым цвести, и цвести, и цвести.

Еще и сегодня убийственно-густо
От взрывов стоит над планетою дым.
И все-таки в доме просторном искусства

Есть место стихам и картинам твоим.

И ты не забудешь на темной дороге,
Как русские сосны качают верхи,
Как русские мальчики спорят о Боге,
Рисуют пейзажи, слагают стихи.

Согласитесь, эти строки органично вписываются в книгу… Есть искушение включить кого-то из художников, эмигрировавших по тем или иным причинам из России, но… объем, объем! Нельзя утяжелять книгу дополнительными страницами, и вообще, художники — это другая тропа от основной литературной дорожки. Это раз. А во-вторых, перефразируя что-то далекое, детское: живописцы — хорошо! А сатирики покруче! И поэтому оставим в покое Репина, Шагала, Кандинского, Бенуа, Сомова, Добужинского, Рериха, Ларионова с Гончаровой, Серебрякову, Эль Лисицкого, Сутина, Пуни, Экстер и других корифеев мольберта и кисти.

Как ни странно, но русские художники, несмотря на большую любовь к Парижу, мало рисовали его облик и быт. Исключение, пожалуй, одно: **Елизавета Кругликова (1865–1941).** График. Автор силуэтных портретов современников (около

1000 работ), в том числе Блока, Белого, Волошина, Цветаевой и т. д.

Кругликова долгое время жила в Париже (1895–1914) и выпустила книгу-альбом «Париж накануне войны в монотипиях Е.С. Кругликовой» — виды Парижа, набережные, кафе, бульвары и улочки, парижане, туристы, эмигранты. Реалистично, лирично, иронично. Кругликова вообще ненавидела всякий штамп, рутину, le ponsif, le pompier (шаблон, банальность). В своей квартире в Париже на рю Буассенад она устроила некий художественный русский центр, в котором бывали почти все русские знаменитости. В центре этих тусовок Елизавета Сергеевна — очень мужественная, некрасивая, но живая, добрая и заботливая женщина. Она «обладала даром все понять и все принять» (Лебедева-Остроумова).

В 1914 году Кругликова вернулась в Петроград, и парижская жизнь осталась только в воспоминаниях и рисунках…

Лично я не содержу салонов и не устраиваю приемов, но десертом готов угощать читателей. И что на десерт? Сатира и юмор. Десерт, приготовленный заранее.

6. Юмористы и сатирики

Всё человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет.

Марк Твен

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно поднимаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба, —
И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду…

Саша Черный

6 ЮМОРИСТЫ И САТИРИКИ



Юмористам и сатирикам в изгнании было чуточку легче, чем их серьезным соотечественникам. Они могли отшутиться, отгородиться от эмигрантских проблем горькой шуткой, привычными колкостями в адрес судьбы и самих себя. Как это у них получалось? Попробуем кратко ответить, перебирая персональные досье, опять же строго по годам рождения.

Тэффи – любимая писательница Николая II

Старейшей из когорты пересмешников в эмиграции оказалась **Тэффи** (1872, Петербург — 1952, Париж).

Надежда Александровна Лохвицкая писала под псевдонимом Тэффи. Не будем касаться ее творчества до революции, достаточно сказать, что в дореволюционной России слава Тэффи была огромна. Даже царь Николай II на вопрос, кого из современных писателей ему хотелось бы читать больше всего, решительно ответил: «Никого, кроме ее. Одну Тэффи». В 1910 году вышли два тома «Юмористических рассказов». Одна лишь цитата из рассказа «Отпуск»:

«…Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую ели где-то с какими-то грибами. Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице…»

Тэффи издала много иронических и веселых

сборников: «Карусель», «Дым без огня», «Семь огней» и т. д.

Эмиграция не сломала Тэффи, но избежать острой ностальгии по родине ей не удалось. В 1920 году Тэффи покинула Россию. В одном из последних эссе, написанных в Одессе, можно прочесть:

«Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать».

Тэффи и «побежала» — через Константинополь и в Париж. На корабле, поглядывая на бесконечные волны Черного моря, Тэффи написала стихотворение, которое потом Вертинский включил в свой репертуар:

К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц,
Всё равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Тэффи обосновалась в Париже и там оставалась любимицей всего русского зарубежья, неунывающей и веселой. Одно из объявлений о ее вечере 1929 года:

«Н.А. Тэффи расскажет о счастливой, вызыва-

ющей всеобщую зависть жизни русской эмиграции». Ей удавалось удивительное сопряжение серьезного и комического, трагедии и анекдота. Публика любила ее.

“Смейся!” — говорили мне читатели. “Смейся! Это принесет нам деньги”, — говорили мне издатели… — и я смеялась».

Но смех этот был сквозь слезы, и как-то Тэффи призналась: «Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь… Вянет душа — душа, обращенная на восток. Думаем только о том, что теперь ТАМ. Интересуемся только тем, что приходит оттуда».

Хотя Тэффи называла эмигрантскую жизнь «загробной» и «жизнью над бездной», она все же скрывала свои печальные мысли и не лила горьких слез. Она продолжала острить и шутить, ибо, по выражению Зощенко, владела «тайной смеющихся слов».

Из воспоминаний Ирины Одоевцевой:

«Тэффи все же, как и полагается юмористке, была неврастенична, и даже очень неврастенична, хотя и старалась скрыть это. О себе и своих переживаниях она говорила редко и, по ее словам, “терпеть не могла интимничать”, ловко парируя шутками попытки “Залезть к ней в душу

в калошах”.

— Почему в калошах? — удивленно спрашиваю я.

— Без калош не обойтись, — объясняет она. — Ведь душа-то моя насквозь промокла от невыплаканных слез, они все в ней остаются. Снаружи у меня смех, “великая сушь”, как было написано на старых барометрах, а внутри сплошное болото, не душа, а сплошное болото.

Я смеюсь. Но Тэффи даже не улыбается».

А как личная жизнь? С первым мужем, юристом Бунинским она разошлась в 28 лет, а далее поклонники, к которым она относилась весьма снисходительно.

— Надежда Александровна, ну как вы можете часами выслушивать глупейшие комплименты Н.Н.? Ведь он идиот! — возмущались ее друзья.

— Во-первых, он не идиот, раз влюблен в меня, — резонно объясняла она. — А во-вторых, мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот, чем самый разумный умник, безразличный ко мне или влюбленный в другую дуру.

В Париже судьба свела ее с П. Тикстоном. Однако брак свой они не регистрировали. Последний мужчина Тэффи был тяжело болен, и писательница нежно за ним ухаживала и продолжала

писать свои веселые рассказы, зорко подмечая нелепости быта и людские слабости.

А вот что вспоминала Ирина Одоевцева: «…И тогда, и после войны Тэффи была очень бедна. Последние годы долго и тяжело болела, но даже перед смертью не теряла своего удивительного дара — чувства юмора. Обращалась к своим знакомым за денежной помощью так: “Прошу в последний раз. Обещаю, что долго не задержусь на этой земле. А вы уж, пожалуйста, дайте сейчас те деньги, которые все равно потратите на цветы, когда придете ко мне на похороны”.

Из письма Тэффи Андрею Седых: «Я в последнее время совсем одурела от лекарств и работать не могу. Дилемма: погибать в полном уме от спазм или жить идиоткой с лекарствами. Я дерзновенно и радостно выбрала второе.

За весь год была два раза в гостях и до сих пор живу как в дурмане от сильного впечатления. Все едят и все кого-то ругают. Но главное, все-таки едят…»

В другом письме: «Дурею не по дням, а по часам, но чужую дурость вижу зорко, до тошноты».

«Торопитесь приехать в Париж, — призывала она Андрея Седых. — А то умру. Другую такую не найдете. Уникум. Только предупреждаю: здесь

(в доме престарелых. — Прим. *Ю.Б.)* вас ждут страшные хари. Голубчик, не пугайтесь… Мы очень старые, облезлые, вставные зубы вываливаются, пятки выворачиваются, слова путаются, головы трясутся — у кого утвердительно, у кого отрицательно, глаза злющие и подпухшие, щеки провалились, а животы вздулись. Вот. Теперь вы знаете, какая картина вас ждет».

Седых в своих воспоминаниях признается: «Я опоздал. Приехал в Париж уже после смерти Н.А. Тэффи».

Умерла Тэффи 6 октября 1952 года в Париже, похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Плачьте, люди, плачьте,
Не тая печали…
Сизые голуби
Над Кремлем летали…

Незадолго до кончины Надежда Александровна Тэффи, оглядываясь на свой жизненный путь, отмечала:

«Принадлежу я к чеховской школе, а своим идеалом считаю Мопассана. Люблю я Петербург, любила очень Гумилева, хороший был поэт, и человек. Лучший период моего творчества был

все же в России».

Тэффи успела отметить свой 80-летний юбилей и навсегда покинула, как она выражалась, «остров» своих «воспоминаний». О смерти, как о Хароне, она написала заранее:

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпурною каймою!
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах»…

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною!
Но люди не поймут, что он уплыл со мною
И скажут: «Вот она сегодня умерла».

Итак, серебряный корабль увез в серебряную даль одну из ярких представительниц Серебряного века — Надежду Тэффи…

Саша Черный: человек, который презирал «всё это»

Следующий представитель Серебряного века и сатирик-эмигрант — **Саша Черный** (1880, Одесса — 1932, Ла-Фавьер, Франция).

Саша Черный — псевдоним, а еще он — Сам по себе, Мечтатель, Лирический бродяга и другие псевдонимы. А на самом деле он — Александр Михайлович Гликберг. Еврей, разумеется. Сын провизора. Раннее детство провел в Белой Церкви, на Украине, в обстановке тяжелой нищеты. В 15 лет бежал из дома в Петербург. Из жизненных перипетий выделим женитьбу на Марии Васильевой, женщине старше его, опытной и энергичной даме. Она способствовала образованию Саши Черного и ввела его в круг петербургских писателей.

В 1906 году, опасаясь ареста за сатирические выпады против властей, Саша Черный уехал в немецкий Гейдельберг, где проучился два семестра в местном университете. Можно считать, что это была его первая эмиграция. В Германии он создал цикл лирических сатир «У немцев».

Прекрасные люди! Ни брани, ни давки.
Узнайте, кто герцог и кто маникюр?
А как восхитительны книжные лавки,
Какие гирлянды из книг и гравюр!

В обложках малиновых, желтых, лиловых
Цветут, как на грядках, в зеркальном окне…
Сильнее колбасных, сильнее фруктовых
Культурное сердце пленяют оне…

Но Саша Черный был не только восторженным лириком, но и едким сатириком. Как отметил Пильский, «в этом тихом человеке жила огненная злоба». Добавим и мнение Корнея Чуковского: «А ненавидеть он умел мастерски».

Перед отъездом из Германии, буквально перед отходом поезда, Саша Черный сочинил ядовитые строки про немцев-обывателей:

…Кусаю усы
И кошусь на соседа-урода, —
Проклятый! Пьет пятую кружку!
Шея – как пушка,
Живот – как комод…

О-о-о!...

А что, в Петербурге было лучше, чем в Германии? По этому поводу Анна Ахматова однажды обронила: «Вы заметили, что с ними со всеми происходит в эмиграции? Саша Черный жил в Петербурге, хуже города на свете не было. Пошлость, мещанство, скука. Он уехал. И оказалось, что Петербург — это рай».

Россия жила в ожидании радикальных перемен. Революционное брожение в русском обществе достигло апогея. Все кипело и готово было взорваться. И — «От российской чепухи / Черепа слетают...» И это было золотое время для Саши Черного как сатирика: смута, разлад; эпоха, когда «люди разлагаются, дичают». 1908–1911 годы были звездным часом Саши Черного на страницах «Сатирикона». Как отмечал Корней Чуковский, «получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть».

Четыре нравственных урода —
Один шпион и три осла —
Назвались ради ремесла

«Союзом русского народа».

Или вопрос-крик: «Считать ли мне себя холопом / Иль сыном великой страны…»

Чины из газеты «Россия»,
Прошу вас, молю вас – скажите
(Надеюсь, что вы не глухие),
Во имя, во имя чего?!

Но власть не утруждала себя ответами. Как модно выражаться сегодня, она гнала свою пургу, ей выгодную и понятную…

Что будет? Опять соберутся Гучковы
И мелочи будут, скучая, жевать,
А мелочи будут сплетаться в оковы,
И их никому не прервать…

И что остается обычному человеку, обывателю? Картинки из ресторана:

«Эй, человек! скорей вина и ужин!»
Кокотка в красном дрогнула икрой.
«Мадам, присядьте… Я Москвой контужен!
Я одинок… О, будьте мне сестрой».
«Сестрой, женой иль тещей – чем угод-

но, —

На этот вечер я совсем свободна».

Он ей в глаза смотрел и плакал зло и пьяно:

«Ты не Царь-колокол? Не башня из Кремля?»

Она, смеясь, толкнула фортепьяно,

Мотнула шляпкой и сказала: «Тля!»

Потом он взял ее в гостиницу с собой,

И там она была ему сестрой.

А как жил Саша Черный до эмиграции в Петербурге? В каких условиях? В полутемной квартирке вместе с седоватой женой, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра съехать. Кроме книг, в его комнате не было ни одной вещи, в которую он вложил бы хоть частицу души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья… С писателями он почти ни с кем не виделся, лишь изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева. При посторонних все больше молчал, и в его молчании было что-то колючее, желчно, насмешливое и в то же время глубоко печальное, как отмечал в своих воспоминаниях Корней Чуковский.

Доминирующая тема Саши Черного — разоблачение пошлости быта, поглотившего бытие. Он замечал все: людские промахи, ошибки, заблуждения и особенно человеческую глупость и тупость — и жалил, как оса:

Каждый день выходят книги:
Драмы, повести, стихи,
Напомаженные миги
Из житейской чепухи.

Лично у Саши Черного было два желания. Первое:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты…
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

И второе желание:

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не гляди ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

Это было написано в 1909 году. Прошло более 100 лет. Вы проснулись и что увидели?

«Скучно жить на белом свете!» – это Гоголем открыто.

До него же – Соломоном, а сейчас – хотя бы мной.

Скучно? А страшно — не хотите?!. «Палата № 6», — определил Чехов. «Желтый дом», — добавил Саша Черный в далеком 1908 году:

Петр Великий, Петр Великий!

Ты один виновней всех:

Для чего на Север дикий

Понесло тебя на грех?

Восемь месяцев зима, вместо фиников – морошка.

Холод, слизь, дожди и тьма – так и тянет из окошка

Брякнуть вниз на мостовую одичалой головой…

Негодую, негодую… Что же делать, боже мой?!

Каждый день по ложке керосина

Пьем отраву тусклых мелочей…

Под разврат бессмысленных речей

Человек тупеет, как скотина.

Есть парламент, нет? Бог весть,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска – я знаю – есть,
И бессилье гнева есть…
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.

Где наше – близкое, милое, кровное?
Где наше – свое, бесконечно любовное?
Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка…
Об мостовую брякну
Ведь тянет, правда?

В Первую мировую войну Саша Черный познал тяготы и ужасы солдатчины. Он был отправлен в действующую армию и все три года не снимал солдатское сукно. Пацифист до мозга костей, он не мог привыкнуть к самоуничтожению людей. В отличие от Гумилева, Саша Черный не гордился, что «творишь великое дело войны». Он войну ненавидел.

В 1917 году Саша Черный слушал речи Керенского, Зиновьева, Александры Коллонтай. И сбежал вскорости в тихий Псков: «Новую по-

слеоктябрьскую Россию я видел месяца четыре в Пскове и месяцев семь в Вильно». Этого ему вполне хватило. В памяти осталось:

Ветер дергал над Чекою
палку с красным кумачом.
На крыльце торчал китаец,
прислонясь к ружью плечом…

А далее эмиграция: Берлин — Рим — Париж. Переезжая с места на место, поэт вспоминал про «старенький, ненаглядный Псков».

В Берлине бросил самовар.
А в Риме – книги… Жизнь – могила.
Я ж не советский комиссар —
На перевозку не хватило!

О главном комиссаре — председателе Совнаркома Ленине — Саша Черный написал «Сентиментальный лубок» и противопоставил его восторженным воспоминаниям Горького о вожде:

Для далеких ликующих внуков,
Строя Нового дня ритуал,
Под разливы бетховенских звуков

По ночам он декреты писал.

Миллионы обрек он на казни —
Но ведь сам не рубил он мечом…
Только черный поклеп неприязни
Мог его называть палачом!..

О Ленине в 1924-м:

…А потом? А потом, как известно,
Наступили кремлевские дни:
Добрый вождь гениально и честно
Загасил все живые огни…

Итак, эмиграция. По выражению Осоргина, Саша Черный был одним из тех, кто имеет «две родины: родину духа оседлого, с облачными и дождливыми далями — Россию, и родину духа блуждающего — Италию, где в вечности Рима и в глубокой думе Флоренции, в этом чужом, — свое и родное найдет — если захочет — пытливый дух непоседы»

Он несколько раз посещал Италию и жил в ней. Саша Черный написал много итальянских стихов, одно из них — «Из Флоренции» (1910):

В старинном городе чужом и странно близком

Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум…

В картинных галереях – в вялом теле
Проснулись все мелодии чудес,
И у мадонн чужого Боттичелли,
Не веря, служишь столько тихих месс…

Перед Давидом Микеланджело так жутко
Следить, забыв века, в тревожной вере
За выраженьем сильного лица!

О, как привыкнуть вновь к туманным суткам,
К растлениям, самоубийствам и холере,
К болотному терпенью без конца…

Спустя 13 лет он написал горькое «Эмигрантское»:

О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, —
Давно б исчез в морском тумане

С российским знаменем «авось».

Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный холм земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли…

Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца…
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.

По вечерам в прохладе сонной
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал…

Потом, сняв шерсть с овец ленивых,
Купил в рассрочку я коров…
Двум-трем друзьям (из молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.

Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд, —
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест…

В апреле 1924 года Саша Черный обосновался в Париже, недалеко от площади Этуаль, в маленьком отеле, где хозяйка любезно позволила готовить на спиртовке… И начались «Парижские сны» — так назвал сатирик новый цикл эмигрантских стихов:

Иван Ильич храпит в постели.
В окне – парижская луна.
Мотор промчался вдоль панели,
Завыл – и снова тишина.
Над одеялом виснет кротко
Рука Ивана Ильича,
А лунный луч у подбородка,
Дрожа, кропит овал плеча.
Пусть тело умерло в Париже, —
Душа, как гимназист зимой,
Надела легонькие лыжи
И мчится в прошлое – домой!
Ни виз не надо ей, ни франков,
Ни эмигрантских директив…
Мелькают кровли полустанков
Да синий полог спящих нив…

Лишь в конце жизни Саше Черному удалось наладить свой быт, решить «квартирный вопрос», купив небольшой домик на юге Франции, в местечке Ла-Фавьер, среди виноградников и зеленых холмов Прованса. Только пожить там ему довелось совсем мало. 5 августа 1932 года на соседней ферме произошел пожар, поэт бросился туда помогать тушить его. Вернулся, и прихватило надорванное сердце эмигранта, и в 52 года Саша Черный закончил свое земное существование. Уместно вспомнить, что сам ушедший считал, что

Земная жизнь ведь беженский этап.

Лишь в вечности устроимся мы прочно.

Отпевали Сашу Черного в Париже 9 августа 1932 года в Русской православной церкви на рю Дарю. Не его первого, не его последнего.

На смерть сатирика откликнулся Александр Куприн: «Саша Черный переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков, и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия бессмертия».

Вот такая, как говорят французы, «селяви». Как

и многие эмигранты-беженцы, Саша Черный тосковал по России, разумеется, не по советской ленинского образца «рабочих и крестьян», а по старой, дореволюционной России, которую некогда жестко критиковал. Знак минус поменялся на плюс, и…

Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден.

Да и русский «человеческий бурьян» оказался пригожее любых средних европейцев.

Чужие редкие леса,
Чужого неба полоса,
Чужие лица, голоса,
Чужая небылица…

Своя-то небылица роднее, разумеется. Вспоминал Россию как затонувшую Атлантиду. А ее топителей и губителей не уставал ненавидеть:

Никогда не забуду,
Никому не прощу.

И все же Саша Черный не растворялся в ненависти, не случайно, что в годы изгнания он больше писал лирических стихов, чем сатирических. Встречавшийся с ним в Париже Андрей Седых

отмечал в Саше Черном два начала — периоды грусти сменялись веселым благодушным настроением, и поэт по праву о себе говорил:

Солнце светит – оптимист,
Солнце скрылось – пессимист.

В эмиграции Саша Черный много писал: помимо сатир и лирики — стихи для детей, «Дневник фокса Микки» — о своей любимой собачке, бытовые зарисовки («Парижские будни», «Из прованской тетради»), пейзажные зарисовки («Закат торжественный пылает над холмом / Безмолвною вечернею молитвой…»). В конце жизни Саша Черный продолжил некрасовскую тему и написал поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». Печатал ее частями, начиная с 1931 года. Вот ее начало:

Однажды в мглу осеннюю,
Когда в Париже вывески
Грохочут на ветру,
Когда жаровни круглые
На перекрестках сумрачных
Чадят-дымят каштанами,
Алея сквозь глазки, —

В кавказском ресторанчике,
«Царь-пушка» по прозванию,
Сошлись за круглым столиком
Чернильные закройщики,
Три журналиста старые —
Козлов, Попов и Львов…
И после пятой рюмочки
Рассейско-рижской водочки
Вдруг выплыл из угла, —
Из-за карниза хмурого,
Из-за корявой вешалки,
Из сумеречной мглы —
На новый лад построенный,
Взъерошенный, непрошеный
Некрасовский вопрос:
Кому-де в эмиграции,
В цыганской пестрой нации
Живется хорошо?
Козлов сказал: «Наборщику»,
Попов решил: «Конторщику»,
А Львов, икнувши в бороду,
Отрезал: «Никому».

Опять прошлись по рюмочке
И осадили килькою,
Эстонской острой рыбкою,
Пшеничный полугар.
Козлов, катая шарики
Из мякиша парижского,
Вздохнул и проронил:
«А все-таки, друзья мои,
Ужели в эмиграции
Не сможем мы найти
Не то чтобы счастливого,
Но бодрого и цепкого
Живого земляка?..»

А концовка такая: уютнейшая Наденька гордится перед пришедшими гостями своим младенцем:

«Взгляните в люльку, дядюшка, —
Не Мишка ли мой тепленький,
Курносое сокровище,
Единственный, без примеси,
Счастливый эмигрант?»

Счастливый, потому что не знает своей судьбы

и того, что ждет его в юные и взрослые годы. Счастливое неведенье — истинное счастье…

И что написать в заключение? Настоящая фамилия Саши Черного — Гликберг, что в переводе означает «счастливая гора». Ну а когда начался возрастной спуск с горы… Впрочем, об этом замечательно написал сам Саша Черный в стихотворении «Меланхолическое» в 1932 году, в год моего рождения. Грустно-меланхолические строки об ушедшей юности и о девушках — житомирских цирцеях:

…Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступил я им на туфли,
Но в изгнанье эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..
Потому что только старка
С каждым годом всё душистей,
Всё забористей и крепче, —
А Цирцеи и поэты…
Вы видали куст сирени

В средних числах ноября?

На этом и опустим занавес в литературном «Балаганчике» Саши Черного. Повторим вслед за сатириком, что «жизнь суха, как жесть», и, вспоминая, мы немного расслабляемся и мягчеем. Спасибо, Александр Михайлович, гран мерси, Саша!..

И опять же не худо вспомнить афоризм Сенеки, который Саша Черный поставил эпиграфом к первому изданию своих сатир (СПб, 1910):

«Избежать всего нельзя, но можно презирать всё это».

Перефразируя древнее изречение, скажем: «Прочитали и облегчили душу»…

Аверченко: король смеха

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881, Севастополь **-1925,** Прага). Писатель-юморист, драматург, театральный критик. И сразу напрашивается эпитет «блестящий».

А там, где кончается
звездочки точка,
месяц улыбается
и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко, —

писал Маяковский. И действительно, Аверченко умел завертеть строчку в юмористическом танце. Со словом Аверченко был на «ты». И это более чем удивительно, ибо за его спиной было всего лишь два класса гимназии. Но недостаток образования компенсировали природный ум и, конечно, талант.

В одном из писем Аверченко вспоминал о своем детстве: «Девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще

болезненен, что поступить в училище не мог. Поэтому и пришлось учиться дома. С десяти лет пристрастился к чтению — много и без разбора. Тринадцати лет пытался написать собственный роман, который так и не кончил. Впрочем, он привел в восторг только мою бабушку».

Трудовую деятельность Аверченко начал в качестве младшего писца, затем конторщика и бухгалтера. Но из службы ничего толком не вышло. Как объяснял сам писатель: «Вел я себя с начальством настолько юмористически, что после семилетнего их и моего страдания был уволен». Юморист и служба — вещи несовместные. Что оставалось делать? Податься в литературу.

Первый рассказ Аверченко «Праведник» появился в «Журнале для всех» в 1904 году. Символично: Аверченко и стал писателем для всех. Его любил читать даже сам император Николай II. Весело. Свежо. Остроумно.

С 1908 по 1913 год Аверченко редактировал журнал «Сатирикон», а далее с 1918 года — «Новый Сатирикон». Своею штаб-квартирой сделал петербургский ресторан «Вена». «Сатирикон», по свидетельству Куприна, «в то смутное, неустойчивое, гиблое время был чудесной отдушиной, откуда лил свежий воздух». В каждом номере

Аверченко печатал юмористические рассказы, фельетоны, театральные обозрения, сатирические миниатюры. Вел он раздел «Почтовый ящик». Вот как, к примеру, это выглядело:

«Ст. Грачево. Ки-мо-но. «Посылаю лучшее, что написал:

Бубенцы,
рассыпьтесь, словно бы горох.
Эх, помчись ты, взвейся,
тройка…
– Тпрру… Не надо. Зря скачет».

Откровенный смех и буффонадность стиля Аверченко позволили критикам назвать его русским Марком Твеном. В своих публикациях Аверченко бичевал замшелость общественных устоев России, мещанство с его ленью, жадностью и глупостью, с его стремлением выглядеть непременно красиво. «Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с женины теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом…» (рассказ «День человеческий»).

Подчас издевательский смех Аверченко переходил в сатирический вопль. Вот что он писал

о цензорах (да разве только о них?): «Какое-то безысходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской металлургии».

Как выглядел Аверченко? Он был весьма плотным. Его мясистое лицо, спокойное, казавшееся неподвижным, редко озарялось улыбкой. Самые смешные вещи Аверченко говорил как бы небрежно, цедя сквозь зубы. Хохот стоит вокруг, вспоминал А. Дейч, а автор шутки невозмутим, и под очками чуть щурятся близорукие глаза.

Внешнее спокойствие и добродушие Аверченко улетучилось с революцией. Февраль вселил некоторые надежды. Октябрь погубил их окончательно. Сначала писатель пытался шутить: «Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла». Но вскоре стало уже не до шуток. В 1918-м «Новый Сатирикон» был закрыт, и писатель, спасаясь от ареста, уехал с белыми на юг. Он кипит и возмущается, центральная тема его послереволюционных публикаций — «За что они Россию так?» Аверченко даже обращается к Ленину: «Брат мой Ленин! Зачем нам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны».

И далее советует вождю:

«Сбросьте с себя все эти скучные, сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого, мудрого Диккенса — этого доброго обывателя с улыбкой Бога на устах…»

Напрасно призывал Аверченко Ленина отказаться от сумасшедших революционных идей и стать частным человеком. Пришлось Аркадию Тимофеевичу покинуть Россию, устроенный вождями-болыневиками «кровавый балаган», и напоследок швырнуть новой власти свой сборник «Дюжина ножей в спину революции».

В номере «Правды» от 22 ноября 1921 года Владимир Ильич поместил отклик на аверченковскую книгу:

«Это — книжечка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замеча-

тельно слабые места этой высокоталантливой книжки…»

А далее Ленин комментирует недовольные высказывания из книги Аверченко:

«“Что мы им сделали? Кому мы мешали..?” “Чем им мешало все это?..” “За что они Россию так?” Аркадию Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях».

И удивительна концовка ленинской публикации: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».

Вот это ленинская прыть: поощрять. Может быть, просто Владимир Ильич понимал, что достать Аверченко в Париже уже нельзя и нет возможности отправить в подвалы ЧК, а отсюда и благородное великодушие за талант, хотя и с явной антисоветской направленностью.

Не следует забывать и «Приятельское письмо Ленину», которое написал Аверченко вождю мирового пролетариата сразу по прибытии в Константинополь, а прибыл он туда, кстати, в пароходном трюме на угольных мешках, спасаясь от неминуемой гибели, о чем он и сообщил в письме Владимиру Ильичу. «Здравствуй, голубчик! Ну как поживаешь? Все ли у тебя в добром

здравии?..»

Конечно, это якобы частное письмо было опубликовано в эмигрантской прессе (неизвестно, прочитал ли его Ильич).

В письме Аверченко рассказывает, как его чудом не расстреляла «комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина». Далее Аверченко вспоминает, как давно он знает Ленина, по Швейцарии еще, до той поры, как тот с балкона дома Кшесинской призвал: «Надо душить буржуазию! Грабь награбленное!» А итог революционного переворота вышел совсем не тот, на который рассчитывали.

«Ей-Богу, плюнь ты на это дело, — писал в письме Аверченко, — ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.

Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.

Хочешь, — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем — поумнее твоего марксизма.

Ну, прощай, брат, кланяйся там! Поцелуй Троцкого, если не противно. Где летом на даче? Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом

Аркадий Аверченко.

P. S. Если вздумаешь чиркнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильорану — для Аверченко».

Премиленькое письмецо. Надо сказать, что сегодняшний сатирик Александр Минкин явно не дотягивает в своих «Письмах президенту» до аверченковских высот юмора. Но не будем отвлекаться.

После «константинопольского зверинца» в июне 1922 года Аверченко поселился в Праге. Здесь он написал свои последние книги — «Рассказы циника» и роман «Шутка мецената». Бывший эстет, развлекатель, обличитель мещанства превратился в откровенного циника.

Незадолго до смерти Аверченко сетовал: «Какой я теперь русский писатель? Я печатаюсь главным образом по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски, устраиваю вечера, выступаю в собственных пьесах, разъезжаю по Европе, как завзятый гастролер».

Как отмечал современник, Аверченко «болел смертельной тоской по России». Ностальгия перешла в настоящую болезнь сердца. Писатель скончался в пражской городской больнице, похо-

ронен на Ольшанском кладбище.

В некрологе Надежда Тэффи писала: «Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала — единственного русского юмориста. Место, оставленное им. Наверное, долгие годы будет пустым. Разучились мы смеяться, а новые, идущие на смену, еще не научились».

Тут с Тэффи можно поспорить. Смеховая культура в России неистребима, смех и юмор позволяют выжить народу в любых общественных формациях. Ушел Аркадий Аверченко. Пришли новые: Михаил Зощенко, Даниил Хармс, Николай Эрдман и другие смехачи и мастера острого слова. Они пошли дальше по дороге, протоптанной Аркадием Аверченко.

Потемкин: «Над пошлостью житейскою труня...»

Потемкин Петр Петрович (1886, Орел — 1926, Париж).

Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Детство провел в Петербурге. «Когда меня выгнали из гимназии, — вспоминал Потемкин, — я решил сделаться писателем». И сделался, хотя поначалу поражал всех не своими произведениями, а своим видом: «Потемкин — дылда в непомерно длинном студенческом сюртуке», — вспоминал Ремизов. Но «дылда» вскоре стал постоянным сотрудником «Сатирикона» и лихо обличал обывателей, генералов и черносотенцев. Воспевал солнце свободы. «Рисует гротески нашего города, всегда удивляющие, всегда правдоподобные. Легкая меланхолическая усмешка чувствуется в каждом стихотворении», — отмечал Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии». Первая книга Потемкина «Смешнаяя любовь» (1908) произвела фурор.

Ночью серая улица...
Слепые дома...

Папироска моя не курится,
Не знаю сама,
С кем мне сегодня амуриться?

Александр Блок назвал Потемкина «свободным трубадуром питерским», воспевающим то, что «у всех на виду и всем доступно». К примеру, Дуняшу, которая «вечерком… не прочь бы дернуть станом и кокетнуть бедром».

Другие увидели в Потемкине хулигана, хотя и нежного, что-то вроде предтечи раннего Маяковского. Потемкин в своих ежедневных стиховых фельетонах создал, можно сказать, энциклопедию российской обывательской жизни, именно так классифицировал сатиры Потемкина Игорь Северянин:

Над пошлостью житейскою труня,
Незлобливость и скромность сохраняя,
Посильно он рассказывал о быте…

Добавим, что при этом Потемкин умело соединял сатиру с лирикой, выявляя трогательное и забавное.

В «Кафе де Пари» за столиком
Сидели три дамы из «Ямы»,

У одной шляпка была с кроликом,

У другой было боа роликом,

А третья была – алкоголиком…

На царский манифест о гражданских свободах Потемкин откликнулся так:

Однажды нам была дарована Свобода,

Но, к сожалению, такого рода,

Что в тот же миг куда-то затерялась…

Тебе, читатель мой, она не попадалась?..

А когда пришла свобода, то она оказалась вовсе не свободой духа, а свободой грабить и убивать, и поэтому Потемкин Октябрьскую революцию не поддержал. В ноябре 1920 года он вместе с женой, актрисой Евгенией Хованской, эмигрировал: из Одессы уехал в Бессарабию, переплыл на лодке Днестр, затем переехал в Чехословакию и жил в Праге. Если в Петербурге в 1912 году вышла книга Потемкина «Герань», то в 1923-м в Берлине уже иная — «Отцветшая герань».

Сердцу мило то, чего не будет,

То, что было – русская герань.

Герань как символ красоты, народной эстетики, национального уклада. В «Отцветшей герани» Потемкин буквально смаковал каждую деталь прошлого, романтизировал милый его сердцу петербургский и провинциальный быт. Именно алая герань, а не чайные розы, маргаритки и Виктория регия, которые воспевал Игорь Северянин…

И «Герань» осталась в прошлом, и кафе «Бродячая собака», и театр «Летучая мышь», и «Кривое зеркало», в которых Потемкин был одним из руководителей и исполнителей: писал тексты, играл роли, искусно танцевал, — всё это ушло и кануло.

В эмиграции Потемкин писал другие вещи, например создал цикл стихов «ЧеКа», посвященных расстрелянному Гумилеву, с которым его связывала многолетняя дружба. И строки про Ленина:

Мне поспеть бы в этот номер
Сдать одну из жгучих тем:
Вы слыхали? – Ленин помер!
И на этот раз совсем…

В 1924 году Потемкин переехал в Париж. Что-то печатал, ставил в эмигрантских театрах, но все равно жизнь была трудной и горестной.

Что подперла
Лицо рукою?
Глаза подвела
Зеленой тоскою?.. —

это поэт от имени бедняги-женщины. И от себя:

Ну да, живу. По капле дни
Текут в бадью пустой надежды.
И нету праздничной одежды
Для тех, кто, как и мы, одни.
Есть солнце, но оно не наше,
Есть ветер, но не ласков он.
Один охрипший граммофон
Кудахчет, и под скрип и стон
Вся жизнь вокруг руками машет.

Последнее лето своей жизни провел в Венеции, где снимался как актер в эпизодической роли, да еще на площади Сан-Марко поставил настоящий венецианский карнавал. Вернулся в Париж и впервые после скитаний приобрел новую квартирку вблизи Венсенского леса. Но пожить в ней практически не пришлось. Заболел гриппом и через два дня, 21 октября 1926 года, умер после

сильного сердечного приступа.

Судьба отвела Петру Потемкину лишь 40 лет жизни. Прах его покоится в склепе Тургеневского общества на кладбище Пер-Лашез.

И в завершение. Владимир Пяст отмечал природный версификаторский талант Потемкина: «Виртуоз стихов он был замечательный». Таких похвал Потемкин удостаивался от многих признанных знатоков. А вот не достигший популярности и отвергнутый в «Сатириконе» поэт Сергей Бобров терпеть не мог успешного Потемкина. В письме к Андрею Белому он не раз ссылался на Потемкина, в частности на поэму «Ее венки» в журнале «Золотое руно» (1909): «От чтений оной поэмы прямо можно в ужас притти!.. Черт знает что! Прямо не знаешь, что на это сказать, что возразить. И это печатается в одном номере с тончайшими рисунками Врубеля…».

Когда вышла «Антология» в издательстве «Мусагет» в 1911 году и рецензия на нее Сергея Городецкого «Пир поэтов», то Бобров, не приглашенный на пир, отчаянно жаловался Андрею Белому: «Дорогой Борис Николаевич!.. Тяжело мне: зачем там этот гаер Потемкин?..»

Итак, Потемкин — виртуоз стиха или только гаер? Слово ныне совсем неупотребительное,

старинное и означающее «балаганный шут».

Нет, он не был шутом. Может быть, прав Николай Оцуп, который сказал о Потемкине: «Этот поэт до конца дней оставался чуть-чуть дилетантом». Но при этом сам по себе был «живым очарованием».

«Поэт — весь целиком, — писал о нем Борис Зайцев в парижской газете “Дни”. — Такой уж уродился. Можно так или иначе оценить стихи, жизненное дело, только уж никак не отнесешь его к дельцам и практикам. Художник».

Бедный художник, зарабатывающий на жизнь исключительно литературным трудом. Отсюда и бедность…

Дон-Аминадо: ироничный путешественник по жизни

Родился в Елизаветграде Херсонской губернии в 1888 году, умер в 1952 в Париже. По рождению он — Аминодав Пейса-хович Шполянский, за чертой оседлости — Аминад Петрович. А известен в литературных кругах как **Дон-Аминадо.** Красиво. Звучно.

Дон-Аминадо — едкий сатирик и задушевный лирик одновременно. Веселый и печальный, грустный и насмешливый, он мечтательно писал:

Если б можно было счастье
Удержать на полустанке
И сказать ему: останься!
И останься навсегда!..

«О счастье мы всегда лишь вспоминаем…» — вздыхал Бунин, который дружил с Дон-Аминадо и считал его «одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение».

«Развеселый негодяй», — определение Мак-

сима Горького. Незадолго до отъезда в СССР Марина Цветаева обращалась к Дон-Аминадо: «Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт… и куда больший поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе».

И далее Цветаева признавалась: «Я на Вас непрерывно радуюсь и рукоплещу Вам — как акробату, который в тысячу первый раз удачно пританцовывал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где всё не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат…»

Сатира на Руси — это всегда смертельный номер. Любая власть не приемлет ни шуток, ни тем более насмешек. Дон-Аминадо всё прекрасно понимал:

Знаю, кесарево кесарю,
Но позвольте доложить,
Что сейчас любому слесарю
Легче кесаря прожить.

Поэт-акробат, родившийся в еврейской мещанской семье, принял звучный псевдоним на

испанский манер: Дон-Аминадо. Яркий псевдоним как вызов затхлой действительности. Дон-Аминадо учился на юридическом факультете Одесского университета, но увлекся журналистикой, укатил в Москву и стал жить исключительно на литературные заработки. Писал стихи, юморески, пародии. Печатался в «Нови», в «Утре России», «Будильнике», «Сатириконе», «Кулисах» и в других многочисленных газетах и журналах дореволюционной России. О том периоде, уже в эмиграции, Дон-Аминадо язвительно вспоминал:

Расточали каждый час.
Жили скверно и убого.
И никто, никто из нас
Никогда не верил в Бога.
Ах, как было все равно
Сердцу – в царствии потемок!

Пили красное вино
И искали Незнакомок.
Возносились в облака.
Пережевывали стили.
Да про душу мужика

Сколько слов наворотили…

Не жаловал Дон-Аминадо интеллигенцию, без умолку говорящую о народе, о его спасении, а на самом деле весьма далекую от народных нужд:

Был мужик, а мы – о грации.
Был навоз, а мы – в тимпан!
Так от мелодекламации
Погибает даже нация,
Как лопух и как бурьян.

Февральскую революцию Дон-Аминадо встретил, как и многие другие, восторженно, думал, что это очистительна я гроза. Но грянул Октябрь — и все было расставлено по местам. 20 января 1920 года на обгоревшем французском теплоходе «Дюмон д'Эрвиль» Дон-Аминадо отплыл в Константинополь.

А далее — Марсель, Париж. «Дым отечества» — так назвал Дон-Аминадо сборник стихов и прозы, вышедший в Париже в 1921 году. В Россию Дон-Аминадо уже не вернулся.

Но именно в изгнанье ярко вспыхнула его литературная звезда. Стихи, фельетоны и книги Дон-Аминадо шли на ура. Сам он стал душой литературной парижской эмиграции. «…Хорошо

очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок, — так описывал Дон-Аминадо его знакомый по эмиграции Леонид Зуров. — Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна».

Дон-Аминадо знал цену жизни и понимал всю ее сложность и трагичность, но всегда всем советовал: «Старайтесь улыбаться…» Сам он улыбался в стихах, хотя улыбка порой выходила печальной. Прочитайте его «Утешительный романс» — и вы всё поймете сами:

Что жалеть? О чем жалеть?
Огонек горит, мигая…
Надо все преодолеть.
Даже возраст, дорогая!..
Что есть годы? Что число?
Как связать нас может сроком?
Лишь бы только нас несло
Нескончаемым потоком.
Сколько раз, свои сердца

Не спасая от контузий,
Мы шатались без конца
По республикам иллюзий.
Сколько тягостных колец
Всё затягивалось туже!
Так уж худо, что конец.
А глядишь… назавтра – хуже.

Эмигрантская жизнь — тяжкая жизнь. Люди, лишенные родины, никак не могли примириться с участью изгнанников и ожесточенно спорили о «способах спасения Руси» и о своем возвращении. Дон-Аминадо не разделял ни этих надежд, ни этих планов. Он строго судил своих соотечественников за политическую возню и грызню между собою. «Вся наша позиция, — писала поэту Цветаева, — самосуд эмиграции над самой собой…»

Когда-то до революции 1917 года вся литературная богема упивалась «Ананасами в шампанском» Игоря Северянина. В эмиграции Дон-Аминадо пишет желчный ответ тем, кто никак не может забыть прежнюю роскошь жизни:

Не старайся постигнуть. Не отгадывай мысли.
Мысль витает в пространствах, но не

может осесть.

Ананасы в шампанском окончательно скисли,

И в таком состоянии их немыслимо есть.

Надо взять и откинуть, и отбросить желанья,

И понять неизбежность и событий и лет.

Ибо именно горьки ананасы изгнанья,

Когда есть ананасы, а шампанского нет.

Что ж из этой поэмы, господа, вытекает?

Ананас уже выжат, а идея проста:

Из шампанского в лужу – это в жизни бывает,

А из лужи обратно – парадокс и мечта!..

В 1935 году в Париже вышла книга Дон-Аминадо «Нескучный сад», которая содержала наряду со стихами и циклы афоризмов под названием «Новый Козьма Прутков». В 1951 году была издана

книга «В те баснословные годы». И вновь стихи и афоризмы. Вот несколько на выбор:

— Счастливые поколения занимаются шведской гимнастикой, несчастливые — переоценкой ценностей.

— Ложась животом на алтарь отечества, продолжай всегда думать головой.

— Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми.

В 30-40-е годы Дон-Аминадо много сделал для сближения русских с французами и отстаивал демократические ценности, за что был награжден орденом Почетного легиона. Внимательно следил он за событиями в советской России. Ужасался тоталитарным порядкам.

И мир рукоплещет правителю смелому.

И город заклеен большими афишами,

В которых написано черным по белому,

Что рукоплескавшие будут утешены.

Как лучший и подлинный цвет человечества…

А все несогласные будут повешены

Для полного счастья и пользы отече-

ства…

Эти строки из стихотворения «Верховный Совет», напечатанного в «Русском голосе» в Нью-Йорке в сентябре 1940 года (Дон-Аминадо активно печатался в Америке). В 1954 году в Нью-Йорке вышла книга мемуаров Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути» (в России она была издана впервые в 1991 году).

Бури. Терзанья. Тревоги.
Смысла искать – не найти.
Чувство железной дороги…
Поезд на третьем пути.

В последние годы он жил уединенно и скончался в возрасте 69 лет.

«Была весна, которой не вернуть…»

Так писал Дон-Аминадо в стихотворении «Уездная сирень» (1929). Грустно всё это. Навевает печаль и другое заключение поэта-сатирика:

В смысле дали мировой
Власть идей необорима:
– От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой.

И всё же будем верить. В пересадку. В оазис. В

исключение. А иначе жить трудно.

Так я представлял Дон-Аминадо в книге «99 имен Серебряного века». Но что-то необходимо добавить.

Жил он под Парижем в городе Йер и иногда называл себя «иеромонахом». В одном из последних писем, уже тяжелобольной, он давал совет: «За автобусом не бегайте. Не проверяйте свой возраст на автобусах». Грустил, что «страсть и певучая лира / Без денег — ни то ни сё».

Множество острых его слов никогда не было напечатано, — в особенности после Второй мировой войны, когда вообще он нигде не печатался и еженедельный свой фельетон заменял письмами друзьям в Америку.

«…О том, что было пережито всеми нами, — писал он в августе 1945 года, — оставшимися по ту сторону добра и зла, можно написать 85 томов Брокгауза и Эфрона, но никто их читать не станет. Поразило меня только одно: равнодушие. При встрече разговор такой: “А что, ваша мебель в порядке? — А потом прибавляет: — А у меня, вы, вероятно, слышали, жена депортирована…” При этом неизбежное торопливое полу-всхлипывание, и через две минуты можно смело перейти на армянский анекдот и дороговизну жизни.

Вообще говоря, все хотят забыть о сожженных, как 30 лет назад хотели поскорее отбиться от польских беженцев, когда у Яра пели цыгане и Качалов декламировал Пера Гюнта… Не думайте, что я преувеличиваю, по существу это именно так.

Ибо для тех, кто уцелел, Бухенвальд и Аушвиц — это то же самое, что наводнение в Китае».

Позже, в другом письме:

«Вот и сейчас — аккордеон по радио изображает национальное творчество “Парлэ муа д’Амур ”, а кило мяса стоит около трех долларов, хлеб и свиньи не едят, угля ни-ни, а за фунт белой муки можно писать Полу Негри в молодости! Не удивлюсь, если зимой будут петь Бублички и Кирпичики в переводе на галльский язык» *(Андрей Седых, «Далекие, близкие»).*

Эмигрантский период творчества Дон-Амина-надо оказался особенно плодотворным. Вышло несколько сборников стихов и прозы, в том числе «Дым без отечества» (1921), «Наша маленькая жизнь» (Париж, 1927). Всё, что писал Дон-Амина-до, было наполнено состраданием к «маленькому человеку», который попал в переломную эпоху, когда мир хрустнул и раскололся, «как маленький орех». И поэтому герой стихотворных и прозаиче-

ских строк Дон-Аминадо, близкий самому автору, не верит ни в народ, ни в высокое искусство, тем более — в высоких вождей и лидеров.

По утверждению Святополка-Мирского, «самый главный из прославившихся уже в эмиграции писателей, самый любимый, истинный властитель дум зарубежной Руси — Дон-Аминадо… он стоит выше партийных и классовых перегородок и объединяет всё зарубежье на одной всем приемлемой платформе равного обывательства…»

Действительно, при чем тут партийные амбиции и склоки, мечты о спасении России, когда на карту поставлена судьба каждого человека и все вынуждены решать одну-единственную задачу в эмиграции — выжить. Выжить достойно, не впадая в нищету. Отсюда глубокий трагизм Дон-Аминадо и его понимание всей сложности жизни.

И другу-учителю хочется жизни
И веры в бодрящий, в живой идеал,
И ты в него так это с юмором брызни,
Чтоб он хоронил, но чтоб хохотал.

В одном из стихотворений о весне и новых надеждах Дон-Аминадо безрадостно обещает:

И под окном шарманка играет,
И кто-то нам на счастье погадает,
Которого не будет никогда.

И для русских эмигрантов, и для других, из иных стран. В Париж слетелись все: гении и лузеры, праведники и злодеи, простаки и мошенники, романтики и ловкачи, белые и черные, цветные и всякие, и все норовили урвать хотя бы маленькую частицу счастья. Дон-Аминадо в стихотворении «Монпарнас» дает блестящую сатирическую картинку ловцов удачи различного люда, попавшего в Париж:

…Поэты, бродяги, восточные принцы
В чалмах и тюрбанах, с осанкою гордой,
Какие-то типы, полуаргентинцы,
Полусутенеры с оливковой мордой.

И весь этот пестрый чужой муравейник
Сосал свое кофе, гудел, наслаждался,
И только гарсон, приносивший кофейник,
Какой-то улыбкой кривой улыбался —

Затем, что, изведавши всех философий,
Давно для себя не считал он проблемой
Ни то, что они принимали за кофий,
Ни то, что они называли богемой.

Слишком интернациональный коллаж типов? А вот другой вариант Дон-Аминадо, чисто русский, на подкладке «небось» и «авось» под названием «Жили-были»:

Если вдруг назад отбросить
Этих лет смятенный ряд,
Зачесать умело проседь,
Оживить унылый взгляд,

Горе-горечь, горе-бремя,
Всё веревочкой завить,
Если б можно было время
На скаку остановить…

…В переулки, в тупички,
Где когда-то жили-были,
Что хотели – не смогли,
Говорили, что любили,
А сберечь не сберегли…

Да, имели Россию. Держали в руках. Не сберегли. Уронили. И рассыпалась Россия на какие-то лишенные смысла черепки…

Вспоминая минуты отъезда из России, Дон-Аминадо писал: «Все молчали. И те, кто остался внизу на шумной суетливой набережной. И те, кто стоял наверху на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех: «Здесь обрывается Россия над морем черным и глухим».

Это как афоризм Дон-Аминадо:

— Начало жизни написано акварелью, конец тушью.

С советской властью Аминад Петрович так и не примирился до конца дней. Писал о советских вождях всегда с отвращением, к примеру, о Молотове:

Лобик из Ломброзо,
Галстучек-кашне,
Морда водовоза,
А на ней пенсне.

Про министра культуры СССР Фурцеву во времена Хрущева говорил: «Никитские ворота».

Когда Дон-Аминадо было 66 лет, в Нью-Йорке вышла его книга воспоминаний «Поезд на тре-

тьем пути» (1954). На мой взгляд, блестящая книга о России начала XX века, о том, как страна шла к революции, как жила элита и интеллигенция, как все разлагалось и в конечном счете распалось. Взгляд сатирика.

«– Восток? Византия? Третий Рим Мережковского? Или державинская ода из забытой хрестоматии:

Богоподобная царевна
Киргиз-кайсацкия орды…

А от Соловьева рукой подать, в Метрополь пройти, — от кайсацких орд только и осталось, что бифштекс по-татарски из сырого мяса с мелко нарубленным луком, черным перцем поперченный.

А все остальное Европа — Запад, фру-фру.

Лакеи в красных фраках с золотыми эполетами; метрдотели, как один человек, в председатели совета министров просятся; во льду шампанское, с желтыми наклейками, прямо из Реймса, от Моэта и Шандона, от Мумма, от Редерера, от вдовы Клико, навеки вдовствующей.

А в оркестре уже танго играют.

Иван Алексеевич Бунин. Насупив брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:

— Помяните мое слово, это добром не кончится!..

Через год-два так оно и будет.

Слишком хорошо жили.

Или, как говорил Чехов:

— А как пили! А как ели! И какие были либералы!..

А покуда что живи вовсю, там видно будет.

Один сезон, другой сезон.

Круговорот. Смена. Антрактов никаких.

В Благородном собрании музыка, музыка, каждый вечер концерт…

…Театр, балет, музыка. Художественные выставки, вернисажи…

…Читали Чирикова. Тепло и без дискуссий принимали Бориса Зайцева. Иван Шмелев написал своего “Человека из ресторана”… Струей свежего воздуха потянуло от бунинского “Суходола”.

Приветствовали, умилялись. Тоже не знали, чем эта писательская карьера кончится. Потом узнали…»

«Путаница в умах, в облаках, в святцах…»

А затем — февраль и октябрь. «Смена власти произошла чрезвычайно просто. Одни смылись, другие ворвались…»

И вот эмиграция.

«Не все было весело в русском городке, через который протекала Сена. Но смешного, чудовищно нелепого было немало.

Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.

Французы шли в гувернеры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де Ришелье или Ланжерон де Рибас.

А русские скопом уходили в политику, в философию, а главным образом в литературу.

Были страны, которые чрезвычайно это поощряли, и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали еще медалями и орденами».

Про советскую Россию Дон-Аминадо пишет так:

«…Картуз Ильича превратился в корону Сталина… Пульс страны бился на Лубянке…»

Книгу «Поезд на третьем пути» Дон-Аминадо заключил словами:

«Хронику одного поколения можно было бы продолжать и продолжать. Ведь были еще страшные 1939–1945! И вслед за ними сумасшедшее послесловие, бредовый эпилог, которому и поныне конца не видно…»

Дон-Аминадо точно предвидел: конца не видно… и бреду, и развалу, и хаосу…

Бедная Россия!..

Горянский: «Отречься, сердцем отвратиться…»

Горянский Валентин Иванович (настоящая фамилия — Иванов. 1888, Петербург — 1949, Париж). Поэт-сатирик. Внебрачный сын князя, художника Эдмона Сулиман-Груд-зинского. Юность его прошла в обстановке крайней бедности. В 18 лет ему открыли тайну рождения, и отец, князь, предложил ему усыновление и материальную помощь. Юноша гордо ответил: «Для меня все сделала мать, и я не хочу знать этого человека». Стихи начал писать с шести лет. И это определило его дальнейшую судьбу. После гимназии с головой окунулся в журналистику, начал с пейзажных зарисовок и сатирических миниатюр. В 1915 году вышел первый сборник «Крылом по земле». Критики отметили «честный реализм» Горянского. Тогда же состоялась его встреча с Дон-Аминадо, который в мемуарах вспоминал Горянского: «талантливый, уродливый, тщедушный… Человек он страстный, искренний, невоздержанный. В стихах целомудренен, в прилагательных и эпитетах щедр».

О легкомысленные женщины!

О кружевные существа!

Над вами две рапиры скрещены:

И дьявола, и божества…

Второй сборник «Мои дураки. Лиро-сатиры» был в основном посвящен реальности города, где уродство, боль, нищета, унижение. «Каменный плен». Автор выразил свою ненависть к обывателю, к «желудку в панаме». В какой-то степени Горянский предвосхитил молодого Маяковского, высмеивающего мещанский мирок. Вот как Горянский живописал «Тоню-изменницу» (1914):

Тоня вышла за виолончелиста.

Презирает теперь мою гитару семиструнную.

«Я, – говорит, – как жена артиста,

Серьезную музыку люблю и умную;

Я, – говорит, – люблю Баха и Грига,

А не романсы какие-нибудь грязные.

Мир звуков для меня – раскрытая книга.

И вообще мы с тобой люди разные.

Каждый сверчок знай свой шесток, —

Согласись, что это верно сказано.

Ты беден просто потому, что – недалек,

А с Володей для меня в сто рублей пальто заказано.

Мы не связаны с тобой давно ничем,

Пусть разговор этот будет окончательным,

Мой Володя станет вторым Вержбиловичем —

Ты ж так и пропадешь незамечательным…

Я горжусь, – говорит, – что сделалась его подругой,

Скоро возьмут в филармонию.

Вот только осилит контрапункты с фугой

И проштудирует слегка гармонию…»

Высказал Горянский и свою гражданскую позицию в стихотворении «О политике» (1914):

Я, знаете ли, ужасный пессимист:

В светлые горизонты мне не верится…

Вот вчера, например, один журналист

В передовице своей на что-то надеется.

«Так или иначе, – говорит, – а приплывем
К лукоморью, к разливу широкому,
Где зоря горизонтальным огнем,
Где грани легли всему беспрокому.

Не потечет, – говорит, – река вспять,
Клянусь левой ногой Конфуция.
Через три года, или много через пять,
Будет у нас правильная конституция».

А вот я не верю ни в солнечный восход,
Ни в реформы всякие, ни в облегчения.
Знаю я, что есть пароход,
На котором можно ехать против течения!

Петров ли, Иванов ли на корме сидят,
—
Одна будет команда строгая:
Нос вперед, ход назад!..
Эх, жизнь наша пассажирская, убогая…

Ходил Горянский в лидерах «Сатирикона», хотя

и подвергся нападкам за пристрастие к «уличной вульгарной дешевке».

В Первую мировую войну Горянский, несмотря на «белый билет», поехал на фронт корреспондентом. Вернулся с арены боев категорическим противником войны, пацифистом, о чем свидетельствует резкое стихотворение «Зачем разрешил?» (1917):

Господи! Зачем порох позволил выдумать людям —

Синий порох? А сам до сих пор их оставляешь без света…

Милосердно ли это к людям? Как будем? Как?

Проживем ли на свете, если – порох!..

Ну, а уж если порох, и никто не уничтожит —

Сил нет, – если порох есть, разве же человек не может

Множество изготовить ракет, как в старомодном Китае,

Если порох есть – в небе ночном тая,

Почему бы цветом не цвесть? Миллионами искр

падать бы вниз
В цветенье зеленом, алом, лиловом…
…Было бы хорошо так – о господи!
Зачем же разрешил порох,
И ружья, и пушки, и власть
Тюремных решеток?

Свержение самодержавия Горянский приветствовал, а вот Октябрьскую революцию не принял. В развороченной бурей стране мечтал о «городе зеленых крыш», куда заходить запрещено «политикам и героям» В одноактной пьесе «Поэт и пролетарий» подверг критике новую власть. Ее не принял, да и она не приняла Горянского. И пришлось уезжать-бежать на юг, сначала в Одессу, а оттуда в 1920 году в Константинополь. Пожил немного в Югославии и в 1926-м с семьей перебрался в Париж, мучительно тоскуя по родине, впрочем, как и все русские эмигранты. Вот, к примеру, стихотворение «Россия» (1926).

Россия – горькое вино!
Себе я клялся не однажды —
Забыть в моем стакане дно,
Не утолять смертельной жажды.
Не пить, отринуть, не любить.

Отречься, сердцем отвратиться,
Непомнящим, безродным быть, —
И всё затем, чтоб вновь напиться,
Чтоб снова клятву перейти
И оказаться за порогом.
И закачаться на пути
По русским пагубным дорогам,
Опять родное обрести.
Признаться в имени и крови,
И пожелать цветам цвести,
И зеленеть пшеничной нови,
И птицам петь, и петухам
Звать золотое солнце в гости.
И отпущенье взять грехам
В старинной церкви на погосте
У батюшки. И снова в путь
По селам. Долам и деревням,
Где, в песнях надрывая грудь,
Мужик буянит по харчевням;
Где, цепью каторжной звеня
И подгоняемый прикладом,
Он зло посмотрит на меня

И, проходя, зарежет взглядом;
Гле совий крик и волчий вой,
В лесах таинственные звуки,
Где ночью росною травой
Ползут нечистые гадюки;
Где рабий бабий слышен плач
И где портной, в последнем страхе,
Для палача кроит кумач
И шьет нарядные рубахи.
Ах, не хочу! Ах, не могу!
Пускай замрут слова признанья,
Пускай на чуждом берегу
Колышутся цветы изгнанья…

В годы Второй мировой войны Горянский пережил несколько трагедий: расстрел сыновей, собственную слепоту. «Полная слепота и безвыходное восьмилетнее сидение на стуле в вечной печали и ужасном одиночестве, в холоде и голоде…» — записывал он, когда после операции ему вернули зрение.

Писал комедии, сказки, фантастические рассказы («Кот Фру-фру и прекрасная лунатичка», «Чудесные похождения сверчка Цитрилли» и т.

д.). Печатался, но значительная часть творческого наследия не дошла до читающей публики, в том числе драматическая поэма «Танцовщик и разбойник» о Серже Лифаре и поэма «Смерть ангелов».

После кончины Горянского (он прожил 61 год) был опубликован его роман «Парфандр и Глафира», написанный «классическим пушкинским стихом, — история трагической любви Парфандра и прекрасной Глафиры, символизирующей Россию. В образе “философа мыльных пузырей” Парфандра Горянский изображает русскую либеральную интеллигенцию, которая в порыве чистого идеализма мечтала о счастливом браке с Глафирой. Однако она оказалась в объятьях затянутого в черную кожу энергичного брандмейстера Гросса, напоминающего большевистского комиссара, который безжалостно разрушил уютный мещанский мирок своей возлюбленной. Поток иносказаний в романе сложен и многозначен, смешное постоянно переходит в трагическое, рождая тонкую грустную иронию» («Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции»).

Валентин Иванович Горянский похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Вот и весь сказ о Валентине Горянском.

И др

О крупных представителях сатиры и юмора поговорили. Теперь обратимся к тем, кто калибром помельче.

Осип Дымов (Иосиф Исидорович Перельман; **1878,** Белосток — **1959,** Нью-Йорк). Отец — немецкий еврей. В семье говорили по-немецки и на идише. Дымов — это псевдоним, взятый из рассказа Чехова «Попрыгунья». Но Дымов в сегодняшней России менее известен, чем его брат Яков Перельман: книги-учебники «Занимательная математика», «Занимательная алгебра», тригонометрия, астрономия, физика и т. д.

Брату Иосифу этим «занимательным» похвастаться нельзя, хотя он написал довольно много рассказов, пьес и романов. Прогремела драма Дымова «Ню», поставленная Мамонтовым в легких коричневых вуалях и шелках. Со словами, обращенными в зал: «Я слышу, как проносятся крылья Времени… Время… Die Zeit… Le Temps…»

В главку сатириков Дымов попал исключительно потому, что с 1908 года был активным сотрудником журнала «Сатирикон», хотя юмо-

рист он далеко не блестящий. По своему письму он скорее импрессионист.

В эмиграции Дымов оказался случайно, поехал в 1913 году в Америку ставить свою пьесу и не вернулся (революция, непонятная страна, зачем?!), сменил гражданство и стал еврейско-американским драматургом, и вроде успешным. Более того, в 20-е годы проявил себя как просоветский литератор и печатался в «Красной газете», что не могли ему простить русские писатели на чужбине.

По мнению Дон-Аминадо, Дымов был человек одаренный и немало обещающий, но с отъездом из России литературная карьера его пошла зигзагами и не по предсказанному ему пути. Он и сам это чувствовал и понимал.

«Во время частых встреч с ним в Нью-Йорке, — вспоминал Дон-Аминадо, — казалось, что он еще как-то бодрился, сам себя убеждал и взвинчивал, уверял, что все эти драмы, которые шли в то время во второразрядных американских театрах, хотя и с Аллой Назимовой и с Баратовым, что все это так, больше по необходимости и для денег, а то, что для души, то есть самое важное и главное — все это еще впереди, и мы еще повоюем, и я им еще докажу! И прочее…

Кому это — им, так и осталось невыясненным».

* * *

Николай Николаевич Евреинов (1879, Москва — 1953, Париж). Схожая судьба с Дымовым. Широко известен как режиссер, драматург, историк и теоретик театра. И совсем забыт как автор многих миниатюр, комедий и буффонад. В 1920 году ставил массовую постановку в Петрограде «Взятие Зимнего дворца». Но, разумеется, не смог сработаться с советской властью, с ее акцентами на пролетарское искусство. В 1925 году во время гастролей кабаре «Кривое зеркало», с которым был тесно связан, в Варшаве через Польшу отправился в Париж, а дальше в США. А с января 1927-го осел в Париже, где ставил различные постановки в разных театрах — от «Снегурочки» до «Горя от ума». Создал даже либретто балета «Шота Руставели».

Перед смертью Евреинов успел закончить книгу об эмигрантах и театре в Париже («Памятник мимолетному», 1953) и русскую версию «Истории российского театра» (1955). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Серьезный исследователь и юморист при этом.

В журнале «Сатирикон» (1931) была опубликована его музыкальная юмореска «Слон за роялем».

Однажды в одном обществе,
Где – как это ни странно —
Случайно находился слон,
Шла речь о музыке.
Говорили о Чайковском,
О Шопене,
О Вагнере
И о великих виртуозах.
«А вы играете?» – спросили слона.
«Немного», – ответил он.
«Сыграйте, пожалуйста! Сыграйте, пожалуйста!» —
Раздалось со всех сторон.
Слон сел за рояль…
Но едва он взял несколько аккордов,
По его серым щекам
Из его маленьких глаз
Потекли две жемчужные слезинки…
«О чем вы плачете?» – спросили слона.
«Как же мне не плакать, – отвечал

слон, —
Когда, быть может, я играю
На костях моей бедной матери!..»

* * *

Сергей Горный (Александр Авдеевич Оцуп, **1882,** Остров, Псковской губернии — **1949,** Мадрид). Старший брат поэта Николая Оцупа. Получил хорошее образование: окончил Николаевскую Царскосельскую гимназию (золотая медаль) и Горный институт в Петербурге (диплом с отличием). Отсюда и происхождение псевдонима. А в итоге — поэт-юморист, пародист, прозаик. Постоянный автор «Сатирикона».

Революция выгнала его в Киев, откуда, спасаясь от петлюровцев, он уехал в Одессу. Весной **1919** года вступил в Белую армию, был ранен, попал в плен к махновцам и был эвакуирован на Кипр. С **1922** года — Берлин, в 30-е годы жил в Париже. Что-то писал, и, конечно, — ностальгия и поэтизация воспоминаний.

До революции Горный протестовал против модернизма и всякой декадентщины. В стихотворении «Надоели все тонкости» (1913) признавался, что ему

Надоели все тонкости, яркости, меткости…

…Все умности, шумности, многодумности…

Пощадите. Уйдите. Придите попозже вы.

Я посплю. Отдохну. От ума. От Бердслея…

Почему эти дамы все умные, умные, —

Почему они знают про кружево мысли?..

Ну и т. д. А далее мечта:

Я с какой-нибудь Феклой уеду на Волгу,

Фекла нитей не знает. Фекла просто кухарка…

И без нудной, бердслеевской умной шарманки

Обвивать вокруг шеи задрожавшие руки…

А вместо Волги получилась Сена, вместо Феклы — какая-то Жоржетта. И вместо, казалось бы, сладкой России — горькая эмиграция. От Одри Бердслея Горный сбежать так и не смог…

* * *

Книга в целом завершена 8 января 2016 года, в 12.52, в тусклый послерождественский день с лишенными белизны остатками снега…

[Вместо эпилога]

В мире наших ужасных волнений,

В мире яда, в чугунном бреду…

Александр Гингер

Жизнь идет по кругу всё ближе к горлу.

Станислав Ежи Лец

Тема человеческого обитания стара, как мир: где жить, чему верить и кому служить, с кем дружить и с кем враждовать, быть рабом или свободным человеком и т. д. Интересно, что об этом думали две тысячи лет назад? Например, римский историк Иосиф Флавий в I веке (годы жизни: 37–95), автор «Иудейской войны» и других трудов. До нас дошел написанный Флавием «Псалом гражданина Вселенной», приведем его в переводе Юлиана Анисимова.

…Сорвись с якоря своего – говорит Ягве,
—

Не терплю тех, кто в гавани илом зарос.

Мерзки мне те, кто гниет среди смрада

безделья.

Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,

И ноги для бега.

Чтобы он не стоял как дерево на своих корнях.

Ибо дерево имеет одну только пищу,

Человек же питается всем,

Что создано мной под небесами.

Дерево знает всего лишь подобие свое,

Но у человека есть глаза, чтобы вбирать

в себя чуждое ему.

И у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное.

Славьте бога и расточайте себя над землями,

Славьте бога и не щадите себя над морями,

Раб тот, кто к одной стране привязал себя!

Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я:

Имя его – Вселенная.

Ну а после римско-иудейских высот, войн армий и идей вернемся в XX век, к русской катастрофе — Октябрьской революции и эмиграции значительной части населения страны.

Об изгнании и отъезде русских поэтов и писателей вы только что прочитали. Это первая книга. Надеюсь, что выйдет и вторая (для этого нужны деньги и силы, которые у автора ограничены).

В качестве анонса: вторая книга будет посвящена эмиграции советского периода: депортации, высылкам, побегам, отъездам людей творческой профессии… Люди покидали родину не из-за голода, насилия и террора, а уже по другим причинам: из-за коммунистической идеологии, из-за преследования инакомыслящих, из-за невозможности спокойно дышать и независимо творить. Сначала уезжали единицы, потом группы и потоки. Как декларировал Александр Галич:

Я выбираю Свободу
Быть просто самим собой…
Я выбираю Свободу —
Пускай груба и ряба,
А вы – валяйте, по капле

Выдавливайте раба!..

Во второй книге будут представлены и возвращенцы, те, кто вначале эмигрировал, а потом вернулся на родину. И те, кто хотел бы уехать, как Михаил Булгаков, но ему не позволили это осуществить. Будет и глава «Туда-сюда-обратно» о тех, кто ездил на Запад и писал о нем в советской прессе. Еще о еврейской эмиграции и о других темах.

Вторая книга, как и первая, предназначена для тех читателей, кому небезразлична история России и судьба русской интеллигенции, особенно тех, кто мыслил иначе, чем того требовала власть. В каком-то смысле обе книги — хронологические и эмоциональные новые «Вехи». Разумеется, тема эмиграции неисчерпаема, но кое-что собрано под одной обложкой. И завершу эпилог строками Анны Ахматовой из «Поэмы без героя»:

И проходят десятилетия:
Войны, смерти, рожденья – петь я,
Сами знаете, не могу.

Я тоже — ни петь, ни эмигрировать, а только сочинить книгу о «дыме Отечества».

1 января 2016 года